3. 1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЙОЗЕФ ХОВАН (Чехословакия). Подружка

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

1977

3

МАРТ

Содержание

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ — День нетерпения *(Роман. Перевод с болгарского Лидии Баша)* 3

ПАВЕЛ КОЙШ — Из книги «Для чего человеку дом» *(Стихи. Перевод со словацкого и вступление Олега Малевича)* 38

МЕДЖА МВАНГИ — Неприкаянные *(Повесть. Продолжение. Перевод с английского К. Чугунова)* 44

ЭРВЕ БАЗЕН — Анатомия одного развода *(Роман. Окончание. Перевод с французского Юрия Жукова и Розы Измайловой. Послесловие Валентина Катаева)* 82

Литературное наследие

Из лирической поэзии Китая (VII—XIII вв.) *(Перевод с китайского и вступление М. Басманова)* 173

Критика

Литература молодых: грани проблемы

Н. ФЕДОРЕНКО — В русле интернационализма (Ташкентская встреча молодых писателей стран Азии и Африки) 183

М. САЛГАНИК — Путь в Индию (Размышления о молодой индийской поэзии) 191

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — Надежда и предостережение *(Перевод с немецкого Э. Л.)* 195

Б. ГИЛЕНСОН — «Я тоже — Америка» (К 75-летию со дня рождения Ленгстона Хьюза) 201

Культура и современность

Заметки на полях

М. Фридман — Связь с жизнью. В. Перехватов — Комикс в новой роли. В. Шагаль — «Арабские горизонты» 209

Публицистика

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО — Ангола: крах мифа о наемниках *(Сокращенный перевод с испанского В. Волкова и В. Чиркова. Послесловие В. Волкова)* 216

Антирубрика

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Стихи *(Перевод с польского Александра Роховича)* 238

РИЧАРД ПАРКЕР — Как мальчика превратили в тачку *(Рассказ. Перевод с английского Михаила Загота)* 241

ВИЛЛИ БРАЙНХОЛЬСТ — Улыбки Дании *(Рассказы. Перевод с датского Марины Тюриной)* 244

ФРАЗЫ ТУДОРА МУШАТЕСКУ *(Перевод с румынского Михаила Хазина)* 249

Наши гости

Н. Попова — Андре Ремакль (Франция) 250

Советская литература за рубежом

Леонгард Кошут — Отстаивая звание человека *(Перевод с немецкого Н. Литвинец)* 252

Среди книг

Издано в СССР

Стихи Л. Беньямина на русском языке. Владимир Огнев — Зеленое древо жизни. Ласло Беньямин — Моим читателям. ◆ Н. Анастасьев — Коллективный портрет Америки. 254

Издано за рубежом

С. Рожновский — Альфред Курелла — революционер и писатель. ◆ Т. Балашова — Неправдоподобная правда. ◆ Г. Анджапаридзе — Смех честный и горький 260

Из нашей почты 267

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 285

На обложке: АНА ИЛИУЦ (Румыния). Кариатиды.

© «Иностранная литература», 1977.

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ

День нетерпения

РОМАН

Перевод с болгарского ЛИДИИ БАША

Килкин

В это утро я проснулся какой-то подавленный. Удручало ощущение непонятной пустоты, томление по чему-то, еще не начавшемуся в моей жизни, сентиментальная тоска по теплу, весенним цветам, по душному запаху нагретых летним солнцем шпал, всегда вызывавшему у меня желание уехать, забраться куда-нибудь подальше.

Мы еще не топили печки, и простыня была влажной от сырости и холода. Мария уехала в Софию, и некому было раздвинуть голубые накрахмаленные занавески, включить электрический радиатор, полить вазоны с геранью, стоявшие на подоконнике. Подсознательно я чувствовал, что за окном моросит противный, пронизывающий дождь, бесшумный и неприметный, как присутствие кошки. Из-за стены, окрашенной в светло-оранжевый цвет, доносилась заунывная мелодия — сосед включил радиоприемник. Мне было холодно и душно.

Я сел на край постели и закурил сигарету. Всю ночь меня мучили кошмары. Снилось заплаканное лицо Марии, снились длинные расплетенные косы матери и глубокий синий омут с корявыми вербами, в котором мальчишкой ловил я рыбу. Позавчера Мария уехала в Софию, а вчера я проводил на вокзал маму. Решение отправить ее обратно в село пришло совершенно неожиданно — пока обувал домашние туфли. Я понял, что иначе тоже возненавижу Марию.

Услышав об отъезде, старушка упала на застланный пестрым домотканым ковриком диван, беспомощно глотая воздух. Ее толстая серебряная коса обвилась вокруг шеи, и бледный луч угасающего солнца украсил голову сияющим ореолом. Ее исхудалые руки дрожали, стараясь ухватиться за край стола, а мне казалось, что она пытается удержать что-то ускользающее из скрюченных пальцев. Я хотел было как-то отвлечь, успокоить ее, но никак не мог найти нужных слов. Потом неуклюже подсел к ней и погладил по плечу.

Я смотрел, как она собирала свои вещи. Ее потертый фибровый чемодан медленно заполнялся, чем-то похожий на неглубокую могилку. На самое дно его она положила пожелтевший портрет моего отца, завернутый в три носовых платка, потом свои выцветшие темные платья; поверх них уложила клубки шерсти и спицы, детские кофточки и чулочки. И чемодан вдруг стал похож на корзину, полную цветов...

Я молчал, пораженный своей решительностью. Мне надоели ее непрестанные попреки, ее тяжелый, исполненный слепого упорства взгляд, который она не сводила с Марии. Мама могла вязать часами, мне казалось, что она вяжет и в то же время дремлет. Иногда она вдруг вздрагивала и со старческой суетливостью спрашивала: «Ну, что лучше сделать тут — уточку или медвежонка?» Она разматывала разноцветную пряжу и вязала, вязала... Вязала за ужином и когда мы с Марией уходили, и когда оставались по вечерам дома. Она вязала детское приданое...

— Много ем я, наверное, объедаю вас,— страдальчески сказала она, зная, что мучит меня этим.— Потому и надо ехать домой...

По дороге на вокзал мы оба молчали. Асфальт Главной улицы блестел от покрывавшей его слякоти. Я шел, понурив голову, не отрывая глаз от своих башмаков, тащил огромный чемодан, и мне казалось, что никто никуда не уезжает.

— Нет, нехорошая твоя Мария, нехорошая,— нервно говорила мать.— Я уже старый человек, Кольо, и в этих делах разбираюсь...

— А может, тут моя вина,— прервал я ее устало.

— Твоя?! Да погляди на себя, какой ты здоровенный мужичище, в дверь едва входишь...

Я испил свою чашу до дна...

Поезд уже стоял у перрона, напоминая о неотвратимости того, что должно было произойти в этот мрачный, промозглый вечер. Вагоны чернели, как стадо буйволов, начальник вокзала, подремывавший в своей клетушке, с недовольным видом слушал усатого милиционера.

— Я ее насквозь вижу, Кольо! Вижу — останется она яловой! — на прощанье сказала мама.

Я сделал вид, что не слышу, и удивился своему спокойствию. Из окна вагона мама помахала мне тонкой рукой — казалось, затрепетало на ветру пламя догорающей свечи. Она уехала, не простив нас, не смирив своей старческой ярости...

От моих переживаний и тревог простыни, казалось, стали еще влажнее. На столе не было, как обычно, завтрака — двух яиц всмятку и чашки горячего молока. Я пошел на кухню. Из окошка на меня глянул мокрый, серый день. Свет едва процеживался сквозь оконные стекла, оставляя ощущение чего-то незавершенного, безликого и скучного. В кухне еще стояли тягостные для меня, оставшиеся от мамы, запахи стирального мыла, мокрой шерсти, недогоревшей лампады... Запах старого человека, напоминающий о недолговечности бытия и неотвратимости вечного покоя...

В зеркале я увидел свое лицо. Вид у меня был усталый и неправдоподобно молодой. Очки мои, казалось, слезились, словно глаза подслеповатой старушки. Я накинул на плечи плащ и в прихожей еще раз прочитал записку Марии, изувеченную почтовым штемпелем,— она была наспех написана на старом конверте.

«Не хмурься. Давай попытаемся выяснить в Софии, у другого врача. Картофельный салат и колбаса в холодильнике».

Ярость и стыд вдруг охватили меня — казалось, кто-то раздел мою жену и показывает ее обнаженной на улице. Я грубо смял записку, разорвал ее и вышел, хлопнув дверью.

Руководство завода размещалось тогда в двух комнатах городского совета. К десяти часам утра тут собирались все, жаждущие что-то делать. Они слонялись по просторной, неприбранной первой комнате, заставленной старыми колченогими стульями, ободранными письменными столами, среди которых высился коричневый шкаф для

папок с бумагами, а на одной из стен висела выцветшая географическая карта. Инженеры-химики изучали по проспектам машины, но быстро уставали от этого скучного занятия и принимались петь под аккомпанемент расстроенной гитары. Пожарник бай Дончо, неизвестно почему одним из первых получивший назначение в административный штат будущего завода, научился даже вышивать и коротал время, сидя у печки с разложенными вокруг носовыми платочками и цветными нитками, время от времени спокойно поглядывая на нас сквозь очки. Джордж, дирижер несуществующей хоровой капеллы, играл в шахматы с социологом или же разглагольствовал о Бетховене, Бахе, Беле Бартоке с таким видом, будто только вчера вечером пил с ними водку в Клубе работников культуры.

Я, главный механик завода, понимал, что мне надлежит выглядеть серьезным, задумчивым, занятым. Я потирал руки, как плохой актер, пил кофе с секретаршей и входил во вторую маленькую комнатку, к уполномоченному ЦК Сиренкову. Тот всегда встречал меня с искренней сердечностью. Сидя за письменным столом, он покачивался от нечего делать на стуле, упираясь теменем в пестрый коврик за его спиной. Я полагал, что эта голова, способная протереть широкий круг в прочной цветной ткани, должна быть крепкой головой.

— А, Килкин!.. Как раз вовремя. Что нового?

— Ничего особенного — как всегда... Надо ждать,— меланхолично отвечал я.

— Да... ждать. А проблем так много...— с мучительной усмешкой говорил уполномоченный, в своем новом элегантном костюме он почему-то казался меньше ростом.

Мы ждали *начала*. Устав от скуки и ожидания, мы оба стали робкими и ранимыми. Словно несли в себе какую-то наследственную вину. Мы облачались в свои самые лучшие костюмы, брились дважды на день, как будто готовились к параду; нам порой даже хотелось действительно провиниться перед кем-нибудь, а отсутствие всякой ответственности, как это ни странно, нас дисциплинировало. Это был заколдованный круг. Я чувствовал, что мы можем возненавидеть себя от этого бездействия. Красивое лицо уполномоченного выражало притворную строгость, а я сидел заложив ногу на ногу, весь уйдя как улитка в свою раковину, и деловито молчал.

Окружной комитет партии выделил нам зеленоватый джип. Каждый день, часов около двенадцати, мы с Сиренковым садились в него, резко захлопывали дверцу, и шофер подвозил нас к видинскому болоту. В летнее время здесь, в зарослях тростника, с отчаянным писком тучами носились свирепые комары, а лягушки встречали и провожали солнце душераздирающими воплями; возле водоемов побольше все время вертелись мальчишки — они ловили оставшуюся с весны рыбу, уже пропахшую тиной. Осенью болото густело от гниющего тростника и водорослей и ветер едва заметно бороздил застоявшуюся на поверхности воду. По вечерам в затхлых испарениях над болотом витали духи разбойников из старой крепости.

Шофер останавливался в самой сухой части болота и непонятно чего ради громко сигналил. Мы выходили из машины, и я озябшими руками принимался раскладывать в ряд на покрытой мхом полянке чертежи будущего химкомбината, а уполномоченный Сиренков глядел на все это с видом полководца, обеспокоенно, но гордо наблюдавшего за действиями армии противника.

— М-да... Значит, граница Полиэстрового пройдет точно у этой кривой вербы, а в ста метрах от нее начнется шинный завод,— по привычке произносил я.

Мы подолгу стояли, склонившись над мокрыми картонами схем. Курили одну за другой сигареты, потому что от этого ожидания и скуки легко было получить удар.

А я думал о Марии, о маме, и мне становилось тяжко вдвойне. Я был похож на тех детей, что доходят до самоистязания, представляя себе картины собственной смерти. Мама вторгалась в мое сознание, нетерпеливая, настырная, такая непохожая на себя, а Мария отталкивала меня своей покорной, виноватой улыбкой.

Дождь становился все сильнее, он растворял худосочную мглу, постепенно открывая унылый румынский берег и часть Дуная. Река была мутной и торжественной, ее безлюдное одиночество порождало ощущение риска, скрытой опасности, жестокости.

«Вот дали мне это болото,— думал я,— и назначили главным механиком. Можно сказать, весьма конфликтная ситуация!»

Мной все сильнее овладевало безудержное нетерпение, и я, как слепец на палку, опирался на тот долгожданный день, когда перестану наконец думать о маме и Марии и когда мои жалкие усилия забыть обо всем этом дадут свои плоды.

— Мы волнуемся — это худо,— глубокомысленно изрекал я и с удовольствием разглядывал крупные брызги грязи на расклешенных брюках уполномоченного.

Не выношу одиночества — сразу начинаю ощущать какую-то неуверенность, кажется, что и самому себе сказать нечего. Стены гостиной как будто сжимаются, на занавесках мельчают цветы, а потребность что-нибудь делать усиливается. Радио и телевидение вовсе не создают эффекта присутствия, напротив, в состоянии, подобном моему, просто невыносимо видеть, что где-то люди не одиноки. Временами мне даже бывает приятно думать об огромности вины Марии передо мной, потому что как это и ни эгоистично с моей стороны, но тем самым Мария давала мне право, чувствуя себя страдальцем, быть сильным.

Мария раньше была не такой, как сейчас, хотя она и сейчас красива,— тогда она была еще и совсем молодой. Ее какая-то особенная, насмешливая улыбка преследовала меня повсюду, я боялся ее и находил опору в своем добродушии и большой искренней привязанности к Марии. Она просто ощущала свое превосходство надо мной и не скрывала этого. Она проявляла его столь естественно, с такой удивительной простотой, с какой держится с сыном мать. И даже на свадебной фотографии Мария улыбалась так, словно бы она стояла перед объективом под руку со своим сыном.

— Ну, хорошо, купим гардероб, спальню, а что потом? — сказала она шесть лет назад, вперив мне прямо в глаза свой мечтательный «голубой» взгляд.— Ты умный, ты даже сам не отдаешь себе отчет в том, какой ты умный, поэтому надо, обязательно надо, чтобы тебе это кто-то сказал.

Мария любила историю и детей, карманы ее всегда были измазаны мелом. Она выписывала все наши литературные журналы и по вечерам допоздна читала, нахмурив лоб, а я не знал куда себя девать и с восхищением наблюдал за нею.

— Ох, полнеешь ты, Килкин, полнеешь...— резко говорила мне за ужином Мария.— Вот не купил ты мне перекиси водорода, чем теперь я подсветлю себе волосы? А ведь делаю я это исключительно для тебя! Подумать только — я делаю все, чтобы быть красивой, а он — все полнеет и полнеет...

Кусок застревал у меня в горле; замерев от напряжения, я слышал даже жужжанье электрической печки. Я просто стервенел, но гнев мой был поверхностным и, как свет осеннего солнца, недолгим. Я был слишком влюблен, правда, я чувствовал и ответную влюбленность. Я нерешительно улыбался, стараясь скрыть обиду, мял в руке хлебный мякиш, делая из него шарики, или же пытался с демонстративным спокойствием зажечь сигарету.

— Кажется, я хватила лишку, ну, иди, иди...— смущенно говорила вдруг она, беспомощно опуская руки, но как раз в такие минуты ее смущение казалось мне невыносимым, ее гордость словно бы растворялась и превращалась в жалость к нам обоим.— Иди, иди сюда...— манила она меня как собачонку, и я шел.

Мои домашние туфли безлико шлепали по холодной мозаике прихожей. Обезличенный, входил я в спальню; на постели всегда валялись какие-то вещи, словно кто-то из нас должен был отправиться в путь, уехать на долгое, мучительно долгое время. Мария выскальзывала из платья так, словно снимала с себя кожу, и спина ее матово белела во мраке.

— Ну вот, все в порядке, Килкин, все в порядке. Надо только, чтобы тебе это кто-нибудь сказал.

— Да,— наконец говорил я, удивленный тем фактом, что могу выглядеть таким глупцом.

Мы были женаты уже почти два года, когда Мария в конце концов подала эту идею, выглядевшую так же наивно, как сама Мария, и так же серьезно, как она. Тут мое бессилие, точнее, моя безликость достигла предела. Она заговорила со мной об этом тихим майским вечером, когда в открытые окна вторгался аромат цветов, в которых утопал наш провинциальный город, и громкие звуки музыки, несущейся из громкоговорителей, установленных на площади. Она сообщила мне это как-то между прочим, простыми словами, но лицо ее порозовело от волнения.

— Видишь ли, Килкин, это вовсе не воздушные замки, а выстраданная необходимость. Я должна была сказать тебе это, да?

«Боже мой,— тупо думал я с благодарной усмешкой,— но как же мне закончить аспирантуру?» Она, конечно, хотела, чтобы я закончил ее ради меня самого, потому что видела в этом последнюю для себя возможность возвысить меня, сделать значительным. Мария — настоящая женщина, а каждая настоящая женщина мечтает о муже, которого она будет с нетерпением ждать, а он будет приходить домой усталый и мрачный, решительный и покоряющий. Мария хочет ждать меня, она любит слишком искренне.

Было начало мая, она заставила меня надеть черный костюм, и мы пошли вдвоем ужинать в «Балкантурист». С официантом она разговаривала так, словно была важной иностранкой, излишне торжественно орудовала вилкой, трижды танцевала со своим коллегой-географом — пожилым мужчиной с посеребренной головой и сверкающей золотыми зубами улыбкой. Мария выглядела бесконечно счастливой, у нее был вид человека, который наконец-то осмыслил свою жизнь... Потом мы долго прогуливались по парку вдоль Дуная. Темнота ласково размывала очертания реки, печально пахло разнежившейся от тепла землей. Мы целовались на каждом углу и впервые целовались как *равные!*

— Знаешь,— сказала тогда Мария,— мне ужасно хочется, чтобы ты был...

Когда мы вернулись домой, мне все представлялось уже неправдоподобно легким. Беспорядок в спальне по-прежнему вызывал навязчивое представление о чем-то непостоянном, преходящем, готовом в любой миг исчезнуть. Пепельница постепенно наполнилась окурками. Мы молчали.

— Может быть, ты станешь и профессором,— тихо промурлыкала, прежде чем заснуть, Мария, но в словах ее не было ни нотки амбиции, а только кротость покорной жены...

А потом потекли один за другим скучно-однообразные дни того запомнившегося года, отмеченные моей постоянной безропотной безликостью. До шести часов я работал на насосном заводе, потом отправлялся домой, проходя вдоль печального строя молодых тополей, в прихожей снимал ботинки и надевал просторные домашние туфли. Меня всегда донимал отвратительный волчий голод, какой-то странный голод-протест, но я входил прямо в гостиную, где в зеленоватом отсвете оконных занавесок меня ждала Мария. Она улыбалась с тем опасным добродушием, которым мы с трудом прикрываем свое презрение, целовала меня влажными губами в щеку, терлась пышными локонами о мою шею и бодро говорила:

— Килкин, сегодня ты выглядишь превосходно...

Я садился за новый, орехового дерева, письменный стол, который Мария купила специально для меня, педантично раскладывал учебники, обдававшие меня запахом старой бумаги, от одного вида которых меня тошнило, и, сосредоточившись, с молчаливым смирением исписывал десятки страниц своим нервным, нечетким почерком. Свет в комнате постепенно слабел и меркнул, сквозь закрытые окна доносилась неизбывная провинциальная тишина, скучная и однообразная, как дождливое осеннее небо. Мария, сидя позади меня, просматривала контрольные работы своих учеников, время от времени восклицая: «Эти дети просто потрясают меня!» Или листала журналы, или же чистила на кухне картошку, но ее присутствие было так осязаемо, словно она тоже мучилась над моей диссертацией. В половине девятого она приносила мне первый кофе. Мария умела приготовлять кофе цвета своих глаз — того глубокого темно-коричневого цвета, который притягивает к себе и поглощает темноту, не отражая ее. В чашке мерцала ее терпеливая, успокаивающая улыбка. Я одним духом выпивал ее вместе с кофе, охваченный счастливой уверенностью, что трачу время разумно.

— Мне так не хочется идти в кино...— страдальчески говорила Мария и минут через пять принималась рассказывать мне всякие пустячные сплетни, которые успела услышать за день.

«Нет, как бы смешно я сейчас ни выглядел, я все же справляюсь!»— думал я простодушно. Это был самый сильный аргумент, которым я укреплял свою гордость. Оберегал себя от самого себя, словно бы согласовывал себя с собой. В одиннадцать часов Мария выключала люстру и уводила меня в спальню, совсем как мать уводит своего сына к приготовленной для сна постели, к прохладной белизне простынь, напитанных покоем и туманными снами. Я поднимался и шел сразу же, как только раздавалось ее единственное слово: «Иди!», шел усталый, и перед глазами у меня мелькали красные круги.

Но так не могло продолжаться вечно. Наше добровольное неискреннее одиночество начинало меня тяготить. Мария купила себе книгу «Наша кухня» и в свободное время с нарочитым старанием вертелась возле плиты, училась печь кекс с цукатами. Я мелко крошил недоеденные кусочки его на карнизе окна, дожидаясь, когда их склюют нахохлившиеся горлинки.

— Кекс получился чудесный... а вчерашний мне показался немного суховатым,— говорил я безо всякой иронии.

— Но ведь ты же закончишь диссертацию, Килкин, обязательно закончишь,— виновато говорила в ответ мне Мария.— Надо только, чтобы тебе кто-то сказал...

Это был замкнутый круг, по которому ходили мы с Марией, желая что-то понять, противились нашей взаимной любви и уважению и скучнейшим образом возвращались к ним. У меня даже возникало чувство, что если мы будем продолжать существовать так же и дальше, то мне придется найти себе подружку. Я знал, что нравлюсь секретарше директора нашего завода; она, безусловно, была старой девой, притом некрасивой, с внушительным бюстом и властным зычным голосом. Она-то и представлялась мне тайным выходом из крепости, узником которой я оказался. Но все же это не был выход. И тогда, не сумев побороть собственную безликость, я сделал то, чего подсознательно опасался. Однажды весенним туманным вечером я сочинил письмо, монотонное, как моросящий дождь, от начала до конца преисполненное фальшивого оптимизма, не выражавшее ничего иного, кроме моей растерянности. Я писал медленно, как пьет старый алкоголик, перечитывал кривые неуклюжие строчки, представлял себе глаза Марии и лицо матери.

Мама приехала ровно через неделю, привезла свой потертый чемодан, старый задумчивый портрет моего отца и запахи села. Спокойно оглядев гостиную и оцепеневшую от неожиданности Марию, она сделала несколько мелких замечаний с таким видом, словно бы всю жизнь жила с нами. Ее присутствие ощущалось в нашем взаимном молчании, каждый из нас как будто боялся своих чувств, потому что они казались неискренними. Мама заняла кухню, я оккупировал гостиную, а Марии осталась спальня. Мама постепенно отняла у Марии право заботиться обо мне, быть единственным человеком, который имеет власть надо всем происходящим в моей жизни.

— Ну зачем ты ее вызвал, Килкин? Зачем? — допытывалась Мария с надеждой, что я не скажу ей правды.

— Не знаю...— искренне отвечал я.

Через несколько месяцев, прошедших тягостно — без сердечности, но и без взаимной неприязни, без единодушия, но и без агрессивной пугающей отчужденности, мама сказала сурово:

— Теперь мне уже все ясно...— И добавила мягче, с материнской любовью:— Ну и пентюх же ты!..

Я сосредоточенно глядел на испещренный мудреными формулами лист бумаги, старался не замечать ее тихих шагов, которые описывали круги за моей спиной. В моей памяти остались довольно скудные воспоминания детства. Но я хорошо помнил ее сильную костистую руку, ударявшую по моей голой спине с жестокостью, которая может быть только у действительно любящего тебя человека.

— Я знаю... Она родит и станет помягче!

И мама принялась вязать детскую одежду. Она вязала с утра до вечера, без устали, с тем упорством, которое может составлять смысл человеческой жизни.

Я нервно отомкнул входную дверь. Наша маленькая гостиная показалась мне пустой шахматной доской, мой чертежный стол с водруженным на него телевизором стал неожиданно уютным и вызывал недоумение. На диване, обитом ярко-красной тканью, лежала раскрытая кожаная сумка Марии.

Я закурил сигарету и вдруг понял, что пьян,— сам почувствовал, как разит от меня ракией, бутылочку которой мы с Сиренковым распили в «Ровно». Вошел в кухню и, увидев спину Марии, остановился пораженный. Казалось, Мария склонилась над ребенком. Пахло жареным луком и мокрой шерстью, и я подумал с болью: «А мама, наверное, вяжет...» Мария обернулась.

— Завтра прибывает земснаряд,— вяло заговорил я, чтобы не дать возможности заговорить ей.— Тот самый, который засыплет болото галькой. А мы никак не можем достать толстый канат...

— Я купила тебе безопасную бритву «Жилетт».— Голос Марии неожиданно оборвался.

— Оооо! — воскликнул я, открыв пластмассовую коробочку, и вынул из нее одно из лезвий, блеснувшее на свету, как плавник рыбы.

Утром я не успел побриться и сейчас, проведя ладонью по щеке, почувствовал, как неприятно кольнула ее моя отросшая борода.

— Отличная бритва,— глухо произнес я.— Завтра испробую ее.

— Мамы нет, Кольо...

— Знаю, что нет... уехала...

— Как же мы теперь?

— Ничего...— сказал я.

Мария добавила в кастрюлю соли; ее густые светлые волосы рассыпались по плечам, украсив кухню чем-то привычным и постоянным, таким же, как пожелтевшая от времени фотография отца. Я поглядел на развешанную на веревке рубашку и ощутил вдруг, что самым значительным в ней было то, что ее стирала Мария. Две дымящиеся тарелки супа сиротливо стояли на льняной скатерти, белея, словно белые брызги на ее белизне.

— Бритва отличная,— повторил я.

Я знал, что после ужина мы будем смотреть телевизор. Что суну ноги в свои старые комнатные туфли, положу их на маленький столик и к половине одиннадцатого начну дремать. И тогда в воздухе повиснет улыбка Марии, такая добрая, что мне захочется поскорее стереть ее с лица Марии как я стираю резинкой ошибки с моих чертежей. «Нет ничего более жестокого, чем доброта,— думал я,— когда приходится терпеть самих себя».

Я вспомнил тот летний день, когда защищал диссертацию в Электромеханическом институте. Мой научный руководитель подбадривал меня кивками головы, словно повторял с кротким состраданием: «Хорошо... отлично...» А для меня это звучало как осуждение. В аудиторию через открытое окно влетел голубь и сел на карнизе, мне хотелось пить... Внутри у меня как будто все перегорело — я даже не испытывал волнения, а был какой-то прозрачный детский страх. Потом Мария целовала меня у входа, а мне казалось, что эти наши нежности на лестнице выглядят со стороны смешными. Мы пошли пить кофе в новый ресторан «Берлин» — напротив памятника Левскому. Мария переусердствовала с косметикой, была очень взвинчена и пугающе молода. А я с тупым спокойствием думал: «Ну вот я и защитил... И что из этого?»

— Вот так, Кольо, ты свое родил... теперь моя очередь...— печально сказала Мария и отпила из чашечки кофе.

Я взглянул на нее и увидел насмешливую улыбку мамы...

Мария мыла тарелки. Я хорошо знал ловкие и точные движения ее женственных рук, описывавших плавные полукружия. Она будто

старалась одновременно уберечь себя и освободиться от чего-то. Ее халат меня раздражал, его красный цвет резко контрастировал с нашей уютной кухней — с ее белой мебелью, белой плитой, белым холодильником, белой скатертью на обеденном столе. Истрепанный, весь в несмываемых пятнах, халат этот придавал Марии вид провинциалки, растящей по меньшей мере троих сыновей. Вид женщины, отдавшей свою жизнь детям. Ее неспособность быть самой собой бесила меня и делала бессмысленной даже ее доброту...

Я погасил сигарету. Непрекращающийся липучий дождь, бесконечные хождения по окутанному туманной мглой гнилому болоту, изнуряющая суета при отсутствии настоящего дела вконец вымотали меня. Я чувствовал, как меня охватывает странное безволие и в то же время во мне нарастает желание стукнуть кулаком по столу, закричать что есть силы и изменить что-то в существующем порядке вещей. Я был пьян.

— Ну, что сказали доктора в Софии? — с ехидством спросил я, войдя в гостиную и ощущая пустоту дома даже в аккуратно расправленной бахроме коврика.— Сказали тебе что-нибудь утешительное софийские доктора?

Мария медленно обернулась. Копна ее светлых волос, казалось, осветила ее затаенную боль. Мне стала настолько очевидной вся подлость моего вопроса, что я на какие-то мгновенья утратил способность соображать. «Но ведь я же ради нее прогнал свою мать...» — пытался я оправдаться перед самим собой.

— Тетя Даринка сказала мне, что есть мальчик — очень славный, умненький... а волосы у него такие же, как у тебя... каштановые...— тяжело дыша, сказала Мария, пытаясь вывести меня из моего безвольного состояния.

— Что?!

Я покачнулся и, чтобы удержаться, оперся о край двери. Потом, как мне казалось, спокойно повернулся и пошел в спальню. Опустился на кровать, сжал обеими руками голову и, не стыдясь самого себя, заплакал...

— Тьфу ты, черт побери! — недоуменно воскликнул уполномоченный Сиренков, увидев подходивший земснаряд.

— Вот это да!..— поддержал его инженер-химик Борко Тасев, на полторы головы возвышавшийся надо мной.

Остальное руководство завода, социолог и Джордж — дирижер будущей хоровой капеллы — молчали. Позади, пестрыми группками, стояли представители Окружного комитета партии, Окружного совета Отечественного фронта, духовой оркестр, пионеры с букетами цветов в руках.

Почти полгорода собралось на пристани встречать земснаряд, который должен был засыпать болото галькой и тем самым заложить основу будущего современного химического комбината. А я испытывал легкую боль, потому что на всех лицах отражалось несоответствие между величием ожидания и мизерностью начала. Люди шумели, монотонно лил дождь, лениво трепыхались мокрые знамена. С противоположного берега налетал резкий, по-волчьи злой ветер, и на щеках пионеров дрожали слезинки.

Земснаряд приближался медленно и торжественно. Высоко над его мачтой в сумраке развевался советский флаг. Над Дунаем опускались невообразимо красивые сумерки. Сквозь тучи и дождь отчаянно пробивались алые краски заката, река извивалась, серая и могучая. Один только дождь, казалось, улыбался.

— Эй, Килкин! Килкин! — крикнул мне начальник пристани.— Ты зачем нас морочил? Зачем говорил, что земснаряд будет огромный, с полострова?! Да ведь он не больше обыкновенной самоходной баржи!

— Наш — из самых маленьких,— ответил я, чувствуя, что вместе со своими словами я роняю и что-то очень важное.

Земснаряд пришвартовался, его закрепили самым толстым канатом, какой только когда-либо видел Дунай. Первыми направились к нему представители Окружного комитета, за ними последовало руководство завода.

Духовой оркестр вдохновенно исполнил «Тихий светлый Дунай волновался». Старшеклассники (это был школьный оркестр) изрядно промерзли и теперь что есть силы дули в свои трубы, особенно выделялся парнишка с барабаном — он яростно колотил по нему палками и время от времени даже поплевывал на руки.

Русские — команда земснаряда — построились на борту и приветственно замахали руками встречающим. В своих толстых темных свитерах, все одинаково широкоплечие и серьезные, они были похожи, как братья.

Все утро я повторял в уме заученную по-русски и звучавшую сейчас нелепо фразу: «Какой огромный ваш земснаряд!», которая так и застыла в моей памяти. Барабанщик из духового оркестра, казалось, ударял мне прямо в ухо своей большой палкой.

Дождь бережно приносил из поднебесья свет и изливал его в обширные лужи. Горожане начали расходиться, возбужденные высказанными и невысказанными догадками, сомнениями, спорами. Через полчаса причал опустел, словно не произошло ничего особенного, словно сюда не прибыл долгожданный земснаряд. Позади меня, кутаясь в толстые ватники, стояли электросварщики — моя первая бригада! — и ждали указаний. Я знал, что военные уже доставили к болоту понтоны, понтоны, готовые нести на себе тонны труб, и меня вдруг охватил страх. Вечер надвинулся тихий и кроткий, как колыбельная песня, а дождь стал совсем мелким.

Мы вошли в каюту капитана. На первый взгляд он в своем черном форменном кителе, с дешевой крепкой сигаретой в зубах производил впечатление человека мрачного и властного. Но он сердечно приветствовал нас, пожимая нам руки. На кокарде его фуражки собрались крупные капли дождя, которые одна за другой скатывались по щекам.

— Роскошный второй голос этот капитан! — громко воскликнул Джордж, дирижер будущей хоровой капеллы.

Мы сели. Капитан достал непочатую бутылку водки и четыре металлические рюмки. Говорил он медленно, деловито и с таким чувством ответственности, словно не он пришел к нам из огромной России на этом маленьком земснаряде, а мы к нему. Требовалось обеспечить работу в полевых условиях для фрез кранов и других механизмов, а для рабочих питьевую воду и молоко электросварщикам...

— В это болото мой отец пробирался только на лодке,— начал я осторожно.— Как же я загоню вам туда бульдозеры и краны? Водой уж я вас обеспечу...

Мы говорили по-русско-болгарски и помолчали на тот же лад. Алкоголь постепенно затуманивал мое сознание, приглушал чувства. А ведь в решающие моменты жизни я всегда предчувствовал то необычное, новое, что ждет меня. Когда я защитил дипломную работу, вдруг понял, что женюсь. Когда женился, почувствовал, что наступившая успокоенность обернется самым большим беспокойством в моей жизни...

Я брился новой безопасной бритвой. Лезвие приятно скоблило кожу, на столе дымилась чашка молока. Я чувствовал себя бодрым, готовым ко всему.

Мария тихо вошла в кухню. В зеркале я увидел ее усталое, невыспавшееся лицо с выражением вечной озабоченности многодетной матери. Она протянула мне письмо и, скрестив руки, словно читала молитву, села на миндер [1], покрытый пестрым одеялом.

Мелким четким почерком мама писала, что доехала хорошо, что двоюродная сестра моя, живущая в их селе, собирается выйти замуж, что она успела связать еще одну детскую кофточку...

Я обернулся и с облегчением увидел, что Мария не плачет. Только ее полуоткрытый рот напоминал нераспустившийся еще бутон бледной розы, а на верхней губе поблескивали мелкие капельки пота.

— Гони прямо через болото! — заорал я.

Водитель джипа умолк и включил скорость — он понял, что я готов был драться. В двух местах мы забуксовали. Трясина, покрытая уже наполовину галечными наносами, была похожа на мрачную северную пустыню; там и сям возвышались одинокими дюнами кучи песка и коричневой гальки, освещенные низким зимним солнцем. Небо казалось совершенно ясным, но сеялся мелкий, колючий снег.

Я не ожидал, что встречу здесь Сиренкова, и когда увидел его крупную фигуру в меховом полушубке, мне стало не по себе. Сиренков размахивал руками и ругался, а электросварщики, выстроившиеся в ряд возле костра, держа перед собой котелки, наблюдали за приближающимся джипом. Шофер, проявляя тактичность, остановился метрах в двадцати от них.

— Что случилось? — крикнул я и направился к ним прямо через лужи.

Я просто физически ощущал, как земля цепко хватала мои резиновые сапоги, чтобы остановить меня, вобрать в себя. Сиренков смотрел на меня с досадой. Во взгляде его голубых глаз я увидел бледность неба, упорство и гнев. Только сейчас я заметил лопнувший шов на одной из труб и фонтан мутной воды, который с шипеньем, извиваясь как змея, хлестал по дальней луже. Без воды засосанная земснарядом галька могла закупорить трубы. Я даже затрясся от злости, но раздражение мое почему-то было направлено на Сиренкова.

— Кто сваривал этот шов? Кто? — сорвавшимся до хрипоты голосом заорал я.

Ребята ухмыльнулись. А уполномоченный резко повернулся и направился тяжелыми неуклюжими шагами к земснаряду. Замерзший на середине реки, он походил на огромное черное чудовище, вытянувшее щупальца-трубы; казалось, оно хотело обхватить ими всю сушу. Покачивающаяся спина Сиренкова что-то мне напомнила... Нет, не может быть, болото ничем не похоже на видинский вокзал, а он — на маму...

— Кто сваривал этот шов? — повторил я тихо.

Подошел бригадир с зеленоватым котелком в руке и сунул его мне под нос — еда в нем смерзлась и имела отвратительный вид недоброкачественного студня. Я промолчал и сел на чурбачок возле разожженного костра. Стало жарко, я даже покрылся испариной, но все нужные слова как будто выскочили у меня из головы.

— А эта баланда соответствует Трудовому кодексу, да? — накинулся на меня давно не бритый бригадир и швырнул еду в грязь.—

[1] Низкая широкая скамья вдоль стены, покрытая домотканым ковриком и подушками. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Молоко нам приносят после обеда, и в нем плавают ледышки. Сколько же можно такое терпеть?! И чего это он так раскричался...

Молоком занимался инженер-химик Борко Тасев. Ему выдали мотоцикл с коляской, и каждое утро он отправлялся в город и покупал три ящика молока. Он же был и главным склейщиком старых, протекающих понтонов. Трудовой кодекс... Я плюнул в костер и закурил сигарету. Мертвенный свет солнца, тревожно проникая в глаза людей, усиливал ощущение холода. Сиренков медленно брел, казалось, уже у самого горизонта и представлялся таким же большим, как и наш маленький земснаряд. Резкий ветер поднимал на реке барашки волн и прижимал к земле огненные вихры костра.

— Хорошо, я останусь с вами... До конца дня,— с трудом заговорил я.— Но надо сейчас же заварить эту трубу. Ведь трубы приходится все время передвигать. Кто знает, когда мы засыплем это болото? А завод...

— Знаешь что,— нагловато прервал меня бригадир,— мы не столько жратвой недовольны... Будем есть даже такую. Но мы — люди, и нечего на нас покрикивать, как на скотину. Обидно это, понимаешь?

Снова с совершенно ясного неба повалил снег. В сотне метров справа от костра рабочие, похожие на могильщиков, рыли траншею, в которую надо было укладывать трубы и сваривать их, а траншея постепенно наполнялась водой.

Меня вдруг охватило чувство жалости к самому себе. Сам отвез на вокзал мать, а теперь не мог выносить образовавшейся после ее отъезда пустоты в доме и виноватой улыбки Марии. Мария ведь тоже могла однажды упаковать свои вещи в чемодан, не в такой, правда, большой и старый, как мамин... В жизни легче всего происходят всякие нелепости. Сиренков плюет на меня... моя первая бригада хочет уйти.

— Я останусь с вами до конца дня... Куда вы? Не уходите! — взмолился я.— Молоко вам согрею, костер поближе передвину...

— И второе,— прервал меня толстяк бригадир.— Я, товарищ Килкин, двести левов запросто заработаю — да к тому же под крышей, в тепле. Дай четыре сотняги, тогда, может, мы еще помучаемся на этом чертовом болоте. Срамота, а не работа! — Он показал кивком на земснаряд, поставил котелок на грязную чурку и помахал на прощанье ушанкой.

Я закутался поплотнее в кожух, огляделся. Метрах в десяти от костра заметил старое гнездо дикой утки. Мокрая земля колыхалась под легким покровом снежинок. И вдруг во мне что-то словно оборвалось — мне показалось, будто я слышу, как мама поет в кухне и ее хрипловатый голос долетает до меня через полуоткрытую дверь...

— Как тебя зовут? — спросил я у одного из троих оставшихся молодых ребят, торчавших у меня перед глазами, как сухие вербы.

Парнишка осклабился, отряхнул ватник и поставил свой котелок в костер на две толстые чурки, чтоб согрелся.

— Эмо зовут меня... Бригадир мой дядя, но...

— Бригадиром назначаю тебя!

Ребята дружно ухмыльнулись, и я заметил, что у Эмо кривой зуб.

Солнце постепенно бледнело, становилось похожим на огромную луну. Свет слабел, очертания земснаряда сливались с темной поверхностью реки. Люди, работавшие у труб, стали совсем похожи на могильщиков. При уменьшении оборотов механизма земснаряда трубы издавали странный звук, напоминающий хихиканье идиота. В их округлых длиннющих утробах со свистом проносилась каша из песка, гальки и воды, которая через несколько сот метров с неистовым упорством заполняла болото. Рабочие жаловались, что от этого неиссякаю-

щего потока у них начинает кружиться голова. Им попросту делалось плохо. «Словно по голове твоей течет... мозг засыпает». Я не выдерживал здесь больше часа — мне необходимо было увидеть ровное заснеженное поле или же хоть минут десять посидеть на берегу реки. Некоторые ребята по этой же причине останавливали бульдозеры, которые отгребали и заравнивали мерзкое песчано-галечное месиво, но, простояв три — пять минут на месте, машины начинали вязнуть и утопать в болоте. Сперва засасывало гусеницы, затем корпус и кабину. Я приходил в бешенство, потому что это означало полдня жутких мучений. «Да не глядите вы на трубу,— кричал я им, разъяренный,— смотрите на небо!»

Мне надо было с кем-то поругаться, но уполномоченный Сиренков куда-то исчез. Ведь я так хотел, чтобы мы наконец действительно начали строить, я так надеялся на это начало... Столько обиды, скуки накопилось во мне за эти месяцы ожидания, что порой хотелось бросить все и наняться сторожем на маяк.

Мне позарез надо было выговориться... Я уже дважды пытался излить душу Сиренкову, но у него был такой невероятно занятой вид... Телефоны на его письменном столе звонили как оглашенные. Когда он разговаривал, голос его звучал напряженно.

И вот, наконец, я выговорился.

— Да возьми ты этого малыша,— бросил небрежно Сиренков и, несколько раз поглядев на часы, продолжал:— Раз это мальчик и так похож на тебя — бери его, и все тут!

И стал чинить карандаш, воспользовавшись паузой.

— Но мы же ничего не знаем о нем... это же не радиоприемник, не автомашина, не патефон, чтобы попользоваться год-другой и выбросить...

Я чувствовал себя скопцом. Мне стыдно было поднять глаза, я ненавидел в эту минуту Марию, не знал, куда девать руки.

— Что? Что? — спрашивал Сиренков, но вопрос этот относился не ко мне, а к тому, с кем он говорил по телефону.— Что за вздор ты несешь про панели, ведь мы еще с болотом не справились...

«Одиночество, одиночество...» — подумал я вдруг и огляделся. Ребята, выпив из жестяных кружек молоко, мужественно приступили к работе. Очевидно, швы на трубах, которые оставят после себя эти пока еще подмастерья, а не мастера, будут кривыми и грубыми. Земснаряд снова увеличил число оборотов, и из вечно беременных труб снова понеслось хихиканье идиота.

— Эмо, что ты делаешь по вечерам? — подойдя к бригадиру, спросил я и вдруг почувствовал, насколько важен для меня его ответ.

Он удивленно поглядел на меня:

— Как что... Ем, хожу в кино, сплю...

— Эмо,— прервал его я с надеждой,— что ты делаешь в воскресенье?

Он рассмеялся, словно я ему лукаво погрозил пальцем. Его резиновые сапоги задубели от холода и поскрипывали при каждом его движении, сварочный аппарат в руке нацеливался враждебно, как нож.

— В воскресенье?.. Есть у меня... ну, подружка...

И вдруг во мне вспыхнула ярость — огромная, неимоверная и мерзостная, как это болото. В моем сознании всплыла худая, машущая

мне, словно прощальный платочек, рука мамы. Я боролся с желанием накинуться на Марию, обидеть ее, раздавить, смять ее беспокойную доброту. Ведь она тоже могла бы упаковать свой чемодан и уехать... В жизни легче всего происходят всякие нелепости.

Клочковатый мрак и частая сетка снега скрывали от глаз берега и наежившееся туловище земснаряда. Электросварочные аппараты сверкали одиночными вспышками, как бенгальские огни, развешанные на каких-то бессмысленно-несуразных здесь елках. «Отравятся ребята,— подумал я с грустью.— По три литра молока надо им пить, а то отравятся».

Я не испытывал больше никаких колебаний, не чувствовал в себе никакой любви. Тревожило лишь какое-то смутное беспокойство да холодный мертвящий ветер и пронизывающая сырость болота. Если б не это, все казалось бы мне неимоверно простым и легким.

Ребята на четвереньках выползали из-под труб, двигались медленно и неуклюже.

— До чего же вы мне нравитесь, ребята!.. Ох, и сильны же вы!— глуповато сказал им я.

Ночь обещала быть жутко холодной; темное небо, нависая над беззащитной долиной, тяготило, как нечистая совесть. Я слушал анекдоты, которые рассказывал Эмо, и улыбался. Вдруг за моей спиной загорелась сухая, склонившаяся к земле верба. Наверное, на ее искривленный дуплистый ствол попала искра раскаленного металла и он тлел уже давно. Пламя быстро нарастало, и дерево запылало, как костер; огненные языки тянулись вверх, плясали, отбрасывая фантастические тени. Было что-то мистическое в этом зрелище.

— Ой, товарищ Килкин, да ведь это завод наш горит! Он так и дотла сгореть может! — смеясь, крикнул Эмо.

Он просто давился от смеха, но тогда он еще ничего не знал, да и все имело пока смысл обыкновенного ожидания...

Когда утихнет их ненависть

Прислонившись к разбитой панели, Эмо уставился на усыпанное галькой огромное мертвое поле. У него на глазах таяло утро. Раскаленное солнце, отражаясь в желто-коричневых кучах песка и гальки, вызывало у него навязчивое ощущение скрежета — казалось, о песок терлись чьи-то невидимые стопы. В трехстах-четырехстах метрах от Эмо тянулись вверх конструкции корпуса Экспериментальной базы. Их серые очертания напоминали с мольбою простертые к небу руки.

Бригада со всех сторон окружила Килкина, главного механика, а сам Килкин все тер и тер очки о свои смешные брюки. Эмо закурил новую сигарету, примял брошенный окурок ногой и услышал какой-то странный хруст, который, казалось, отозвался в его костях. Нереальное, ослепительное солнце и крупная фигура Килкина мешали ему думать. Он уже был убежден, что необходимо, наконец, сделать *это*. А потом представлял, как мать откроет дверь, увидит милиционера и зальется слезами. В ее голосе послышатся те особые воющие звуки, которые он уже не раз слышал. Какое-то протяжное — аааа! — взлетит высоко-высоко, как бумажный змей, и камнем упадет оттуда — оууу! — как упадет она сама, едва дойдя до кухни.

Он видел ее широкий нос, прижавшийся к краю стола, ее испуганные глаза, готовые принять все безо всякого сопротивления, и коричневую милицейскую форму. Потом она поднимается, будет угощать милиционера айвовым вареньем — единственное, что приобретало в ее

руках значимость,— сочный цвет, форма ломтиков и аромат спелой айвы... «Боже, боже!»— наверное, будет повторять она в отчаянье, наливая ему чашечку холодной воды. Милиционер сядет на маленький миндер в их кухне, под ковриком с изображением лиловой балерины, и нетерпеливо будет есть варенье.

«Это ее окончательно подкосит... А Килкин меня изобьет,— устало подумал он.— Изобьет, потому что доверяет мне, исколошматит своими ручищами...»

Эмо вздохнул беспокойно, и скрежет гальки снова отдался в его черепе.

Солнце сильно нагрело черную фуфайку юноши. Небо, застывшее и нежное, собирало силы для облаков, знойное марево трепетало и рассыпалось над панельными конструкциями Экспериментальной базы. Само утро, казалось, хотело искупаться в прохладной дунайской воде. Если бы не хилый ивнячок у прибрежной кромки и не слегка пожелтевшая зелень у дороги, ровное поле было бы совсем похоже на разрытую пустыню.

«Изобьет... потому что доверяет, изобьет!..» — неотвязно думал Эмо; он глубоко затянулся, наполнив легкие дымом сигареты, и проклинал в душе этот день.

— Давайте спускаться! — обратился он к ребятам и снял с себя фуфайку, на которой под мышками были два больших соленых пятна.

Захрустели шаги — звук этот напоминал Эмо отдаленный шум бетономешалки. Потом они с Килкиным направились к колодцам, которые должны были обеспечить стройку питьевой водой. Они сваривали здесь конструкции установки — трубы, уходившие на двадцать пять метров в глубь земли. Чуть поодаль стояли два насоса, похожие на печально повесивших нос ворон; если пробьется подпочвенная вода, они загудят и отсосут ее, поднимут на поверхность, к свету, а вместе с нею унесут и страх людей. Двести литров воды в минуту! Яростно свистят ее струи, бьют по сапогам ребят. Насосы торжественно принимают воду и выливают на песок. Под краном насоса всегда простирается огромная лужа, дно которой покрыто темно-коричневым илом, а поверхность зарастает ряской, снова и снова возрождая болото. Мертвящей была эта привязанность воды к песку...

Килкин притянул к себе Эмо и зашептал хрипло, отрывисто, стараясь, чтобы его не услышали ребята:

— Действуй осторожно! Очень осторожно! Вас всех тут может потопить, как котят. Ты же знаешь, что работает только один малый насос. Шестьдесят литров воды в минуту... Это просто ничто, если пробьет тампон. Всыпал я тому лодырю, что давно должен был исправить насос. Он зашевелился было, да тут на него беда свалилась — теща померла...

Эмо обошел его и, прежде чем спуститься в колодец, вяло произнес:

— Не тревожьтесь, товарищ Килкин...

Он стал считать. Сто ступеней вниз, туда, где сырость и ядовито-едкий запах электросварки всегда возвращали ему уверенность. Небо над ним — прекрасное и близкое — постепенно уменьшалось, сужалось. А мрак под ним и вокруг все сгущался, и казалось, что он опускается в свежевырытую могилу. Небо стало совсем крохотным. Словно голубое око всевышнего, взирало оно на Эмо. Порой одинокой слезой мелькала на нем пролетавшая птица, порой оно мутнело, когда на мгновенье его прикрывало перистое облако. Живой глаз. Частица успокаивающей вечности.

Этим утром Эмо не слышал в своей груди любимых мелодий. Что-то в нем умолкло. Он по привычке считал в уме — тридцать пять,

тридцать шесть, тридцать семь... Обычно от высоты у него кружилась голова, но тут высота давала себя знать, только когда он глядел вверх. Она нависала над его головой, а он знал, что упасть на небо не может. Они спускались по единственной лесенке, которую сами сваривали, иногда, настигнув ногою чью-то голову, останавливались и дожидались, пока тот, что внизу, не спустится дальше. Ударяли сапогами по ступенькам, и лестница звенела, как колокол. Восемьдесят девять, девяносто, девяносто один...

Ребята уже ждали его внизу, построившись полукругом возле промасленных труб, и курили. Эмо разрешил им курить. Пятеро молодых парней если не подымят как следует в этом сыром полумраке, то наверняка сдвинут тампон или же будут смотреть без предохранительных масок, как жало пламени тянет за собой расплавленный металл вокруг трубы. Или же бросят электросварочные аппараты и выползут на ослепительное солнце, которое к полудню напоминает сверкающее серебро.

Правый тампон слезился, как глаза его матери, но Эмо никому не сказал об этом. Килкин ужасно торопился поскорее сдать колодцы для питьевой воды, потому что уполномоченный ЦК торопился еще больше.

— Начнем, ребята! Гасите сигареты!

Дно колодца, покрытое темной водой, засверкало отраженными в ней огнями сварочных аппаратов. Звук их — режущий, шипящий — впивался в мозг Эмо и мешал ему сосредоточиться. «Теперь, если утихнет наша ненависть, все потеряет смысл, утратится надежда»,— тревожно думал он.

Сначала Эмо хотел примириться с тем, что он узнал. Потом решил отомстить дяде, а заодно и Иване. А теперь понял, что если он сделает *это*, то сделает только ради самого себя. В сущности ему надоели и острые, как гвозди, плечи Иваны, и ее бесцветные глаза, становившиеся светло-коричневыми, только когда в зрачки их забиралось солнце, и ее плоская, ничего не выражающая улыбка. А ее невероятное жеманство, правда типичное для каждой некрасивой женщины, приводило его в бешенство. Эмо понимал, что он тоже не красавец. С ненавистью глядел он в зеркало на свою короткую бычью шею, на мрачно выпирающие скулы, которые делали его похожим на избитого, распухшего после тяжелого поединка боксера. Но Эмо всегда оставался Эмо, тогда как Ивана хотела быть Софией Лорен, не задумываясь над тем, что ей для этого просто не хватает даже килограммов. Однажды он ее ударил... Сам Дунай, казалось, завопил, возмущенный его пощечиной. Их компания перестала жевать помидоры с брынзой, Коко оторвал, наконец, ото рта стакан с холодной ракией и криво ухмыльнулся со страху.

Эмо сознавал, что простоват, что звезд с неба не хватает и что его густые черные усы смешными лохмами нависают над верхней губой. Он давно уже обнаружил свою самую большую слабость — принимать все, абсолютно все всерьез. Его воображение рисовало только реальные вещи. Он всегда умел четко отделить значительное от маловажного, и потому мечты Иваны, не столько неосуществимые, сколько бессмысленные, его раздражали. В ее присутствии он чувствовал себя так, как будто ступил на скользкий, каменистый берег и мог в любую минуту сорваться с него в воду.

Ивана пробовала писать стихи. Потом решила стать актрисой, хотела работать статисткой в театре, но ее не приняли, и тогда она записалась в самодеятельный хор и три вечера в неделю убивала на репетиции. Ивана всегда предпочитала особенное обычному, жила в

каком-то странном будущем времени и не принимала всерьез свою неказистую внешность.

Они отправились тогда большой компанией на Голый остров и загорали там, разнеженные солнцем и водой. И вот когда Эмо нарезал огурцы, она вдруг подошла к нему, дернула его за волосы и во всеуслышание заявила:

— Поцелуй, если любишь, мне ногу...

Всю свою любовь и ненависть вложил он в пощечину, которая как эхо отозвалась на лице Коко и остальных. Эмо почувствовал запах тины. Взгляд его отчетливо вобрал в себя беловато-зеленые кроны верб, высящихся напротив, и голую спину рыбака, который пытался вытащить вершу, запутавшуюся в прибрежных корягах.

Ивана зарылась в песок и тихо заскулила, как обрадованный щенок. Ее страданье было бы ему понятно, но чувство удовлетворения, которое излучало ее свернувшееся в комочек тело, поразило Эмо, внушало ему отвращение к ней.

Но Эмо был до смешного добрым! По вечерам он не раз чувствовал, как горько плачет его доброта, притаившись у двери матери или глядя в бесчестные, бегающие глаза дяди. Эту доброту свою ему не к чему было приложить, он не знал, что с нею делать, а делать что-то надо было, потому что если доброта ни на что не расходуется, она перерастает в разочарование, в жажду мести.

Эмо готов был любить Ивану даже с ее спущенным чулком, любить и одетую, и нагую, какой видел ее лишь единственный раз. Ивана требовала, чтобы он сделал *это*, подталкивала к тому, от чего удерживала его мысль о матери. Ее слова — требовательные, ненасытные, как она сама,— науськивали его ненависть, как науськивают собак. «Вот видишь,— сказала она, когда они уезжали с Голого острова,— ты можешь ударить. Я хотела тебе доказать, что ты можешь ударить...»

Эмо хорошо помнил, как зрела в нем злоба и как вместе с нею в нем росло примирение, как душа его готовилась, подобно раннему утру, к тишине и покою. Злоба измучила его, но она же принесла и радостное открытие, что он живет полноценной жизнью. Он осязаемо ощутил себя как мир и себя в мире. Сознание того, что он действительно существует, пришло к нему только тогда, когда он почувствовал в себе нечто неповторимое, свойственное ему одному, и обнаружил, что именно тем—что у него есть свое, единственное, неповторимое — он и походит на остальных. Он был до того потрясен этим открытием, что даже стонал во сне, видя в облаках белого пара то мрачную усмешку дяди, то беспомощную наготу Иваны, похожей на осыпавшуюся гроздь винограда.

Как раз тогда прибыл на стройку земснаряд и дядя взял его в свою бригаду. Он начал учиться сваривать металл. От прикосновения к мучительно холодному металлу у него сперва дрожали руки. Буйствующий все время фонтан искр до боли утомлял глаза.

Вскоре его дядя повздорил с Килкиным — одна из труб, по которым земснаряд подавал вместе с водой гальку, лопнула по шву. В общем, разругались они не на шутку. Килкин тоже был не в себе — то ли его мучил зуб, то ли что другое, только сидел он у костра с какой-то кривой усмешкой. Дядя махнул рукой и ушел. Эмо никогда в жизни не противоречил ему, и не только потому, что тот был мужик здоровенный и драл его крепко... Эмо хотел быть благодарным своему дяде.

С румынской стороны дул сильный ветер — веселый и злой одновременно. Земснаряд, замерший на середине Дуная, походил на чер-

ное чудище, наивно решившее засыпать галькой видинское болото. Темно-красное закатное небо предвещало холод... Вспыхнувшая в Эмо злоба жгла его. Его благодарность к дяде сникла, отступила, и он не пошел за ним и остался стоять возле Килкина, которого что-то мучило.

Когда измазанная грязью спина дяди скрылась из виду, Эмо подумал: вот теперь — чего бы это ему ни стоило — что-то произойдет и та живая боль, которую он годами носил в груди, наконец, взорвется. Он допоздна, утопая по горло в грязи, с упорством разъяренного человека сваривал трубы. Стараясь не думать о матери, представлял себе, как он сделает *это*. В половине десятого они с Килкиным ушли с объекта и джип увез их в Видин.

Эмо первым делом зашел в «Ровно» и опрокинул у стойки для храбрости две рюмки «мастики». Добравшись до дома, он еще во дворе, сквозь сухие ветви тополя, увидел в освещенной рамке окна дядю, который нервно расхаживал по комнате, заложив за спину руки.

— Так ты что, решил против меня идти?! — раскричался, увидев его, взбешенный дядя и даже затрясся весь.— Ты, которого я столько лет содержал! Ох, и стервец же ты!..

— Но ведь должен же я, черт возьми, работать! Чего тебе от меня надо?

Мать вздыхала, охала в углу на кухне, нервно терла рукой край умывальника и виновато смотрела на дядю. Всю жизнь она работала — теперь шила мужские сорочки на швейной фабрике «Вида»,— а выглядела необыкновенно сохранившейся, молодой и сильной. Но сильной была она лишь телом, а не духом, да и на лице лежала печать какой-то безысходности. Край умывальника, казалось, вздрагивал под ее пальцами.

Эмо молчал — выдержать ярость дяди и беспомощность матери было ему не по силам. Он сел на миндер под лиловой балериной, расслабил свое усталое тело и закурил.

— Завтра ты на работу не выйдешь,— торжественно заявил дядя, ритмично покачивая своей большой, грубо отесанной головой.— Пойдешь к Килкину и скажешь... так, мол, и так — я ухожу...

— Не знаю...— вместе с облаком дыма выдохнул из себя Эмо, чувствуя, как сжимаются до боли его кулаки.

— Объяснишь ему вежливо: «Идите вы, мол, товарищ Килкин, туда-то и туда-то» и так далее... Слышишь?

Дядя самодовольно ухмылялся с видом победителя. Его желтые зубы блестели, словно были покрыты машинной смазкой. Он глядел на Эмила с тем пренебрежением, с каким долговязый детина глядит на малорослого хлюпика.

Эмо терзала с трудом сдерживаемая ярость, и он затягивался дымом сигареты, не в силах ни закричать, ни вскочить. «Пускай скажет еще что-нибудь,— уговаривал он себя.— Пускай повторит то, что сказал про Килкина, и тогда в глазах у него темно станет. Я ему все скажу и, наконец, сделаю *это*. Из его толстого брюха барабан сделаю...»

Дядя молчал. С нетерпением голодного человека он сел за стол и принялся сминать пальцами из хлебного мякиша шарики. Потом грубо прикрикнул на мать:

— Что ты там возишься? Наливай скорее!..

Сызмальства помнил он дядю именно таким — властным, с седеющей щеткой волос, расхаживающим по комнате. Он шаркал

ногами по полу, беззаботно размахивал руками или насвистывал незатейливые мотивчики.

Если Эмо возвращался домой, поймав в Дунае сома, карпа или остроносую стерлядь, дядя шлепал его рыбиной по губам. Потом с видом великого воспитателя он медленно поднимал кулак и опускал его на спину Эмо. На серебристой чешуе вспыхивало солнце и появлялась кровь. Тонкий визг Эмо напоминал гудок иностранной баржи, комната наполнялась запахом свежей рыбы. Затем дядя нежно гладил его по голове и, непритворно тяжело вздыхая, говорил:

— Вот видишь, не стало моего брата и твоего отца, и я должен тебя воспитывать, скотина ты эдакая! Из школы одни тройки приносишь, а на Дунае готов околачиваться целыми днями! Нет, этот номер тебе не пройдет... И не смей хныкать! — продолжал дядя.— Будь Человеком с большой буквы!

Эмо не сердился на него, потому что к матери дядя был добр. Когда Эмо закончил восьмой класс, дядя подарил ему «золотые» часы с календарем, а к Новому году всегда покупал ему новую школьную форму. Эмо питал к нему огромное доверие, и чувство благодарности росло в нем непрерывно.

В большие праздники дядя приходил к ним вместе со своей высохшей, страдающей грудной жабой женой, которая, казалось, с самого своего рождения была обречена терпеть его и грудную жабу. Кожа на ее лице была похожа на старую, пожелтевшую газету, а ее постные водянистые глаза — на мертвенно-синие бусы, обвивавшие ее шею. Мать Эмо угощала их. Дядя, нетерпеливо чавкая и пыхтя, выбирал всегда кусочки пожирнее, пил много вина и под конец с довольной улыбкой переевшего человека отрыгивал. Но Эмо не любил его, боялся его тяжелой руки, резкого голоса и округлого живота, хотя благодарность к нему возрастала из года в год.

Однажды весенним утром (Эмо был уже в одиннадцатом классе) он проснулся раньше обычного. Уже рассвело, стрелки будильника показывали пять часов. На дворе, ослабевшим от восторга и любви голосом, гугукала горлинка. Возможно, его разбудил монотонный стук капавшей на кухне из крана воды или же легкий холодок, окутавший его голые плечи. Воздух во дворе казался сине-розовым, ива за окном тужилась что есть сил забраться в комнату, прикрыть своей мягкой зеленой листвой весь мир.

Эмо продолжал лежать в постели, а неясное тревожное ощущение росло и росло, словно в нем происходило что-то, ему еще не известное. Этим утром он впервые почувствовал себя необыкновенно зрелым, полным соков жизни, нежности. От непонятного внутреннего напряжения и переполнявшей его доброты на глаза навернулись слезы. Неприязнь вызывала лишь куча учебников, изодранных, с потрепанными краями, небрежно брошенных на замызганную клеенку, покрывавшую стол.

Эмо еще не догадывался, что влюблен, но он переживал свою тревогу как неожиданно разлившееся по всему его существу спокойствие. Сосредоточенность его на самом себе была настолько сильной, что он даже покрылся испариной, и первое, о чем он в эти минуты подумал, была его новая соученица Ивана, с которой он вчера шел из школы домой, и она была в очень короткой черной юбке. Глаза у Иваны какие-то невообразимо большие и смелые; в классе она то и дело нетерпеливо встряхивала своими бесцветными волосами и смотрела в открытое окно. Хотя она была порядочная дурнушка, но Эмо нравилась. Нравилась тем, как она поворачивалась и выходила: «Она просто поворачивается и уходит...»

Возможно, Эмо помечтал бы еще, как вдруг услышал шум, доносившийся из комнаты матери.

Раздались тихие шаги, и мать заговорила возбужденно, нервно. Затем послышался скрип половиц и слабое позвякиванье ключей. От удивления у него сжалось в груди. Задыхаясь, он встал с постели, открыл дверь и оставил маленькую щель, через которую можно было видеть коридорчик. Ему казалось, что у него вот-вот лопнет сердце, но в голове не было ни единой мысли. На ободранной вешалке висела его вылинявшая ученическая куртка и плащ матери — одни-единственные и потому успокаивающие.

Но тут он увидел, как дверь комнаты матери отворилась и на пороге показались дядя в клетчатой рубашке и мать в ночной сорочке, с обнаженной шеей. Они медленно прошли мимо него, остановились перед выходом, дядя беззвучно рассмеялся и шлепнул мать по заду.

Эмо оцепенел. Какой-то животный инстинкт требовал зарычать, наброситься на дядю, но другой, тоже животный, инстинкт сдержал его возбуждение и, словно штукатурку, прилепил к стене. Эмо не отрывал от них взгляда, кулаки его невольно сжались, и он почувствовал, как ногти больно впились в ладони. И сразу же его охватила другая боль, да так внезапно, что ослепила его, и от гнева осталось лишь какое-то смутное ощущение. Эмо не вышел и не ударил своего дядю по заросшей щетиной щеке — странное тихое забытье охватило вдруг все его юное существо, и он, упав на постель, с головой закутался в одеяло. Сжал голову тяжелыми как булыжники кулаками, жаждущими нанести удар, но беспомощными...

Поняв, что произошло, Эмо вдруг почувствовал, как сильно любит мать. До сих пор эта любовь была неосознанной, хотя она всегда, всю жизнь была в нем. Эмо не представлял, что мать может поделить себя между ним и еще кем-то, и теперь его любовь к ней вдруг вытеснило разочарование — его обманули, предали самые близкие ему люди.

Несколько дней он испытывал отвращение, представлял себе расслабленное потное тело дяди, его молочно-белую грудь, заросшую густыми черными волосами. Постепенно отвращение сменилось стыдом. Ему казалось, что он сам стал нечистоплотным. Эмо начал часто ходить в баню, избегал старых друзей из своего квартала — боялся, что может рассказать им про это. Целые дни проводил у Дуная, ловил рыбу, разглядывал отражения прибрежных ив в его мутной воде — весь погруженный в себя, как корень в землю. И тогда он постиг новую для себя истину: одиночество — это некая осмысляющая жизнь тайна, которой человек не хочет или не может поделиться. Одиночество — это познание, а может быть, размышление, и оно всегда связано с разочарованием, а порой и с ненавистью. Ненависть Эмо постепенно росла и была тем страшнее, что шла от разума, а не от чувства. Но одновременно росло и желание простить...

Воспоминание об этом утре так часто возвращалось к нему, что Эмо воспринимал его уже как таинственный знак, определяющий особым образом его судьбу. В нем было что-то решающее, и это необходимо было Эмо осмыслить. Все время — пока он заканчивал школу, позже в казарме, а теперь вот на видинском болоте с его огромными грязными трубами — он носил в себе это воспоминание. Обида уже исчезла, истлела от времени. Осталось другое — мучительное желание понять...

Эмо не помнил отца и не испытывал к нему никаких чувств. Отец умер очень давно, оставив только два пересыпанных нафталином костюма и гитару без струн. Иногда Эмо разглядывал его пожелтев-

шие фотографии, и ему казалось, что он видит своего дядю, только более молодого, но с той же грубо отесанной большой головой. Отец казался ему на них слишком веселым и беспечным, чтобы быть реальным. Он ушел в небытие и своей все отдаляющейся безликостью только усиливал презрение Эмо к самому себе.

— Нет, нет и нет...— упрямо твердила Ивана, лузгая семечки на берегу Дуная.— Ты меня обманываешь. Ты, я знаю, не способен сделать *это*.

Эмо мрачно курил на скамейке; тишину ночи нарушал только тихий плеск воды и резкое постукивание его ногтей по стеклу часов.

— Нет, нет и нет...— твердила Ивана, почти сливаясь с темной гладью реки.

— Эй!— услышал Эмо и вздрогнул. Он сразу же узнал голос Килкина, как-то по-особенному вибрировавший и доходивший сюда словно из преисподней.

Он поглядел вверх и на фоне светло-синего круга заметил голову Килкина — однажды он вот так же наклонился над колодцем, и у него свалились очки.

— Эй, Эмил, слышишь?! Тасев привез вам молоко. Выходите! Перерыв!

Ребята рассмеялись, повесили сварочные аппараты и защитные маски на трубы и посторонились, чтобы дать Эмо подняться первым. Шипящий звук исчез, и в колодце — двадцать пять метров под землей — повисла зловещая тишина. Полумрак — обманно-спокойный, подстерегающий — заставлял слезиться глаза; подползающая к ногам вода несла холод и слабо отражала в своей поверхности небо, которое при каждом шаге сварщиков расплескивалось, выгибалось.

Эмо снова считал... сто ступенек узкой, сделанной из тонких железных прутьев лесенки. Вверх, вверх... падаешь плавно, медленно передвигая свое тело, чтобы достичь бездонья. «Может быть, самое лучшее для человека упасть именно в небо?» —думал он рассеянно и нащупывал резиновым сапогом следующую ступеньку.

Надежда собраться с мыслями приближалась вместе со светом; в сознание Эмо вплетались образы ухмыляющегося дяди и заплаканной матери; она, оставшись теперь бесконечно одинокой, угощала милиционера айвовым вареньем под лиловой балериной. В нескольких метрах от края колодца слышались человеческие голоса и тихий рокот мотора.

Весна приходит вместе с резким запахом оттаявшей земли, с краткими серебряночешуйчатыми дождями, с короткими юбками женщин.

Он вспоминал тот ранний майский вечер, первый теплый ветер и роскошный красный цвет реки, сливавшийся с серыми тонами острова. Закатное солнце образовало на воде длинную искрящуюся тропу. Они с Иваной прогуливались по парку, говорили о каких-то незначительных вещах, опьяненные свежим воздухом, когда Эмо вдруг услышал за своей спиной:

— Почему бы тебе не одолжить мне свою красотку, чтобы я прошелся с нею по главной аллее?!

Наступило хрупкое молчание, нарушаемое лишь дребезжаньем ресторанного оркестра. Эмо почувствовал, как покраснела Ивана. Он обернулся. На скамье сидели три типа и смеялись — один из них вертел на пальце связку ключей.

Эмо направился к ним, его душила ярость, но Ивана схватила его за руку и потащила за собой по аллее. Деревья, казалось, вспыхивали своими маленькими, едва развернувшимися листочками, тишина была спокойной и торжественной, как висящая в гардеробе праздничная одежда. Они остановились перед «Бабой Видой»[1], и ее серая громада сразу же успокоила Ивану. Она села на влажную скамью и засмотрелась на реку.

— Хотел, чтобы они тебя избили, да? Ну, и чудак же ты! — нежно произнесла Ивана, аккуратно расправляя складки платья.

— Я хотел... — Он не мог выразить то, что чувствовал.

— Что ты хотел? А ведь тот, который с ключами, он про меня верно сказал.

Ее спокойная уверенность поразила его. Эмо снял пиджак и, как это он видел в каком-то фильме, накинул его ей на плечи.

— Ты же некрасивая,— вздохнув, искренне сказал он.

В сыром, едва распустившем первые листочки кустарнике было сумрачно и скучно. Сквозь неоновую завесу фонарей «Баба Вида» выглядела заколдованным замком, весенняя полноводная река пугающе шумела, а вдали, на румынском берегу, очерчивалось бледное сиянье огней Калафата.

Страстное желание быть мужчиной одолевало Эмо и после того, как Ивана отняла у него возможность защитить ее. Но он чувствовал себя ужасно беспомощным. Припав к ее плечу, он готов был заплакать. Пахло Иваной — это был единственно существующий в его сознании запах: спокойный, нераскрытый, неповторимый. Его доверие к ней росло, побуждаемое обстоятельствами и желанием освободиться от самого себя и от своей тайны. В эти минуты Эмо чистосердечно верил, что разделенная тайна — уже не тайна и разделенное одиночество — не одиночество, потому что перестает быть чем-то исключительным.

Он стал рассказывать ей ровным голосом, не вкладывая никаких чувств, никакого особого смысла в свои слова. Опустил одно — как дядя шлепнул мать по заду. Ивана слушала внимательно. Ему теперь казалось невероятным, что все пережитое им можно рассказать за какие-то полчаса самыми обыкновенными, тусклыми фразами. Он умолк, подавленный...

Над спящим городом ярко сверкали холодные звезды. Ивана, стоявшая, как ему казалось, высоко над ним, зевнула; откуда-то донеслось слабое «кукареку!» — какой-то петух, видно с расстройства, пытался прокукарекать досрочно. Руки Иваны ласково гладили его, и ее сочувствие напоминало материнское.

— Бедный...— торжественно произнесла Ивана.— Ты лучше, чем кажешься, ты совсем не такой, каким мог бы быть с этой твоей бычьей шеей.

Эмо поднялся и зашагал по безлюдной мокрой аллее. Ивана все быстрее шла следом за ним, подгоняемая какой-то своей неясной мыслью. Она поцеловала его заросшую щеку и спросила на полном серьезе:

— Ты все готов сделать для меня?

— Да,— простодушно ответил он, понимая, как растет ее желание быть красивой.

Теперь Эмо приходилось постоянно доказывать женственность Иваны, но он делал это не задумываясь. Он был поглощен одним — надо простить и забыть.

---

[1] Так в Видине называют древнюю крепость с башней над Дунаем.

В конце июня Иване захотелось походить на Флер из «Саги о Форсайтах», недавно прочитанной ею. Ивана где-то раздобыла себе белую шляпу с широченными полями. Она то и дело улыбалась, пожимала всем руку лишь двумя пальцами, манерно нежничала с Эмо и ерошила его лохматые усы так, словно это были бакенбарды Сомса.

Именно тогда в один из вечеров Эмо тайком пробрался в их двор. Ему удалось заглянуть сквозь занавеску в комнату Иваны и увидеть ее. Она стояла совершенно нагая перед радиоприемником, искала в эфире музыку и плакала навзрыд. По щекам ее текли слезы, белье было брошено на стул; пальцы перебирали клавиши приемника, словно она играла на пианино. «Она, чего доброго, сломает приемник»,— трезво подумал Эмо, не чувствуя ни восхищения, ни разочарования. Свет в ее окне вскоре погас, и перед его глазами трепетали лишь разноцветные круги, пульсирующие в такт тихой музыке.

Частые удары сердца выдавали волнение Эмо, хотя он уверял себя, что совершенно спокоен. Мать, суетившаяся по хозяйству, непрестанно путалась в бахроме старенького коврика. В своем желании быть доброй ко всем она оскорбляла самое себя, считал Эмо. Дядя сидел за столом, ковырял спичкой в зубах и время от времени той же спичкой почесывал шею.

Ивана работала на табачной фабрике экспедитором и пришла к ним с опозданием. Она сидела прямо напротив дяди, постукивая наманикюренными ногтями по краю «хрустального» бокала. Ее весенняя некрасивость, казалось, заполнила всю комнату, пропитанную ужасной смесью запахов «Ландыша» и жареных котлет. Все молчали, делая вид, что сосредоточенно смотрят телепередачу. Это было молчание, которым обычно люди хотят выразить свою воспитанность или же взаимную неприязнь.

Голубое излучение телеэкрана освещало нервные «аристократические» движения Иваны, бокал ее звенел с ужасающей ритмичностью — звук этот был враждебен и бессмыслен, как нож на пустом столе. Неопределенность, пронизывающая, казалось, самый воздух комнаты, приводила Эмо в растерянность, и он, чтобы скрыть ее, пил кислющее теплое вино, полный презрения к собственному малодушию, к своей неспособности создать столь необходимую сейчас гармонию....

Мать не вполне уверенно сказала, что фильм интересный.

— Да, но мы так ничего и не поняли,— возразил ей дядя и вызывающе поглядел на Ивану и Эмо.

Он знал, что мешает им, и это наполняло его торжествующим самодовольством.

Эмо понимал, что ему следует встать, уверенной рукой щелкнуть выключателем телевизора, громко произнести: «Я хочу жениться на Иване...» — и этим упростить дело, разрядить напряженную атмосферу. Или же, в крайнем случае, ему надо подняться, взять Ивану за руку и вместе погрузиться в освежающую прохладу улицы. И то и другое казалось таким легким и простым, а он не мог решиться. Поминутно утирая лоб, он делал вид, что не замечает замешательства Иваны, которая всячески старалась сохранить свое достоинство.

Возмущение поведением дяди все усиливалось, а ведь Эмо был готов любить всех троих. Его душу переполняло столько противоречивых чувств, как будто бы он вобрал в себя переживания всех, кто сидел сейчас в этой просторной, давно не крашенной комнате. И еще он думал, что ему постоянно чего-то не хватает — и в любви, и в ненависти. Он был еще слишком молод и не знал, что такое бывает со все-

ми людьми и что это странное несовершенство чувств принуждает их выбирать, отдавать кому-то предпочтение. Потому что в своем стремлении быть добрым ко всем человек распыляет свою личность и не может быть по-настоящему добрым к кому-то одному — предпочтение это вытекает из самой природы и из простых законов бытия...

То ли от стеснения, то ли из желания подчеркнуть свою самостоятельность и «взрослость» Ивана протянула руку и взяла со стола сигарету. Огонек зажигалки осветил ее сильно подведенные глаза, острый с горбинкой нос и пятна от пролитого вина на нейлоновой скатерти.

— Почему же... я все понимаю,— сказала мать с виноватой, всепрощающей улыбкой.

Это был как раз тот самый решающий момент, когда Эмо должен был выключить телевизор, зажечь все три лампочки под желтым абажуром торшера и громко произнести: «А мы с Иваной решили пожениться...»

— Ни хрена ты не понимаешь...— зло ответил матери дядя и вызывающе крикнул Иване: — Эй, ты! Почему куришь? Сколько тебе лет?

У Эмо не было времени реагировать, он лишь успел произнести про себя с поражающим спокойствием: «Это уж слишком!.. Он перешел все границы!» И встретил долгий обиженный взгляд Иваны — она просила защитить ее и выбежала из комнаты. Он машинально последовал за нею и уже за дверью услышал последнее восклицание дяди:

— Ну и уродливая, ну и нахальная!..

Ночная прохлада щекотала кожу. Он нашел Ивану в скверике возле школы. Упав ничком на свежеокрашенную скамейку, она беззвучно рыдала. Ей даже не хотелось походить на Флер, спина ее тряслась как в лихорадке, пальцы конвульсивно сжимались, словно ее кто-то душил.

— Ты идиот, идиот, идиот!.. Как можешь ты терпеть этого мерзавца, как можешь?

Он нежно обнял ее, но не думал ни о свадьбе, ни о том, чтобы извиниться перед нею. Его удивляло, что люди так заняты собой — и мать, и дядя, и Ивана снова оставили его одного, с его сложными, запутанными чувствами и с его силой, которую ему некуда было девать!

По длинной, засыпанной речной галькой равнине шлепали гусеницами тракторы — подтаскивали к строящейся Экспериментальной базе безликие серые панели. Нагретое солнцем и прокисшее молоко закупоривало горло и оставляло во рту неприятный привкус. К одиннадцати часам солнце уже палило жестоко, и у Эмо появилось ощущение, будто его развесили, чтобы просушить.

— Нет, не могу двинуться с места. Этот проклятый насос словно прирос мне к пупку,— оправдывался Килкин, дымя смердящим окурком.— Ты говоришь— тампоны сочатся? Да, может быть неприятность, определенно может быть, я знаю...

— Сочатся...— безразлично ответил Эмо,— вода пробивается...

Килкин оборвал с грозди последние мелкие кислые виноградины и задумчиво принялся их жевать.

— Этому слесарю следовало бы всыпать еще раз как следует, да у него теща померла... Вот он и отдыхает... Но я боюсь — не случилось бы чего.

— Да ни черта не случится. Подумаешь какое дело! — сказал Эмо, но только для того, чтобы поддержать разговор.— Вы не беспокойтесь, занимайтесь своим делом, товарищ Килкин, а это предоставьте нам.

— Я тебе, Эмо, доверяю, полагаюсь на тебя,— продолжал с тревогой Килкин, затаптывая окурок в хрустящую гальку.— Ведь ты и тогда не покинул меня на этом проклятом болоте... так ведь?

Старые башмаки Килкина словно бы не гальку, а душу его разгребали. Эмо представил себе, как милиционер торжественно приближается к колодцу, говорит осипшим голосом с Килкиным, а тот, разочарованный, разгневанный, тихо ругается. «Он меня возненавидит, потому что так доверял мне... Люди прощают все, но обманутого доверия не прощают».

«Эй, Эмил,— крикнет Килкин в мрачный глубокий колодец,— выходи, подлец ты этакий, я тебе такой бокс устрою, что костей не соберешь! От таких, как ты, мне каждый день тошно...»

Эмо прихватил бутылку с молоком и растянулся в тени разбитого прицепа. У него невыносимо болела голова. Острое чувство одиночества сжимало ему веки, и он был похож на спящего.

Потекли дни, полные напряжения и ожидания. В присутствии Иваны Эмо ощущал неуверенность. Она всегда старалась как-то уязвить его, а иногда держалась так покровительственно, что приводила Эмо в бешенство. Ивана буквально терроризировала его; то ластилась к нему, то разъярялась, как обманутая жена, то хныкала, и впадала в апатию, и терзала бесконечными вздорными выдумками. Она решила постричь по последней моде волосы, купила «пончо», которое шло ей как корове седло, стала пить только коньяк «Преслав» и водку с кока-колой; а по вечерам готова была часами ходить по парку, наблюдая то за пугающим бегом реки, то за успокоительно-неподвижным берегом и непрестанно повторяя:

— Нет, нет и нет... я не верю.

— Я сделаю *это*... — безвольно мямлил Эмо.

О свадьбе они и не заикались — молчали, как благоговейно молчат о покойнике. Но однажды, сгорая от желания что-то изменить, он произнес, правда, не без усилия:

— А знаешь — ты здорово похорошела!

Ивана почувствовала фальшь. Она сухо рассмеялась, перестала грызть семечки и с плохо скрываемой иронией сказала:

— Нет, нет и нет... я не верю.

Эмо терзался от сознания своей нерешительности и с каждым днем все больше начинал ненавидеть дядю, мать, Ивану и самого себя. Лежа в постели, он допоздна слушал магнитофон. Искал в эфире радиостанции, передающие электронную музыку, и записывал ее на пленку. Она как будто на время успокаивала его разгоряченный мозг. Может ли человек чувствовать себя одиноким, потому что любит всех, кто его окружает?

Мать молчала целый месяц. Входила, ссутулившись, к нему в комнату, ощупывая пальцами край одеяла; взгляд ее в желтоватом свете маленькой лампы казался прикрытым тонким, прозрачным тюлем. Эмо поворачивался к ней спиной и с ожесточением принимался рассматривать выцветшую фотографию отца, его глуповатую улыбку, солнечные блики на офицерской фуражке, которые делали его голову совсем квадратной. Снимок этот висел на стене как раз напротив лица Эмо и, казалось, поддразнивал его, как чей-то высунутый язык. Мать тяжело вздыхала и спрашивала тихо:

— Ты болен, Эмил?

— Нет...— отвечал он, сломленный теплотой ее голоса.

— Ты ничего не ел.

— Я не болен.

— Дядя приходил два раза, хотел подарить тебе что-то. Очень нужное тебе!

— Я не голоден...

Тугая пружина, давно уже закрученная, раскручивалась, и Эмо, подчиняясь ей, виновато кивал головой, пил непрерывно воду, дразнил мать своим демонстративным молчанием, но как только она уходила, сразу же запускал магнитофон. Он понимал, что не создан еще ни для подвига, ни для большой жизни — ведь он даже букета из садовых цветов составить не мог. И писать стихи никогда не пытался, и не мечтал о том, чтобы ему купили скрипку или аккордеон. Но природа щедро наделила его поразительной чувствительностью, которая мешала ему быть счастливым. Он догадывался, что Иване чего-то в нем не хватает, и это ее раздражает. А его поражали ее жестокость, властность, мстительность. Ей было явно недостаточно его привязанности, она хотела владеть им полностью, безраздельно — не только его кроткой сердечной добротой, но и ненавистью тоже, ненавистью, без которой не бывает истинной любви!

Эмо было и мучительно больно оттого, что он так огорчает мать, и жаль самого себя. Ему часто хотелось подойти, прикоснуться к ней, сказать что-то важное, доброе, необходимое им обоим, но он тут же замыкался в себе, смущенный неожиданным порывом нежности. Между ними установились сложные отношения, в основе которых было молчание. Каждый мог испытывать самые разные чувства, но не должен был высказывать другому. Эмо понимал, что для матери это уже стало привычкой. Она вынесла на себе основную тяжесть переживаний и труда, чтобы его вырастить, печаль одиноких ночей своей молодости, тогда как для него то же самое время было порой беззаботного детства. Он явно мешал ей выйти вторично замуж — смешная и глупая необходимость для каждой нормальной женщины.

— Ничего, все пройдет, Эмил! Вот и дядя твой говорит: болен, мол, мальчик, трудная пора у него сейчас — мужчиной становится...— Мать пригладила его длинные волосы цвета жженого сахара.

Эмо накрыл голову подушкой. «Хоть бы какое-нибудь воспоминание осталось у меня об отце,— безвольно думал он.— А то ведь единственное, что он мне оставил,— так это свое сходство с дядей».

— Я тебе такой вкусный гювеч приготовила, а ты не ешь,— продолжала мать, готовая раствориться в своей безликости.— Телячьей колбаски тебе купила — целый час в очереди простояла,— а ты нос воротишь... Может, тебе в самом деле жениться?

Голос ее становился все тоньше и оборвался, словно кто-то погасил лампаду. В тревожной тишине ненависть Эмо росла, делала неповоротливым язык, насупливала брови, она пересиливала его кроткую доброту и в отличие от нее была очень агрессивной. Только опускающийся сумрак сокращал расстояние между ним и матерью.

— Замолчи,— прервал он ее тихо.

— Дядя тоже встревожен. Он ведь такой хороший человек. Лучше его я в своей жизни не встречала. Если б не он, мне бы и душу свою продать пришлось, чтоб тебя на ноги поставить...

— Тогда, значит, ты мало людей знаешь...— Он не сказал «мама», потому что мог заплакать.

— В том-то и дело, что людей я знаю много... и дядя твой самый лучший. Что бы мы делали без него...

«А что, если это правда?» — подумал Эмо и слегка пододвинулся к ней, но расстояние между ними оставалось неодолимым, глубоким как пропасть. В этих бесконечных попытках приблизиться к матери

он не успевал пересилить себя и прикоснуться к ней, потому что между ними стояли его дядя и Ивана.

Он надел новые бархатные брюки, медленно застегнул клетчатую рубашку и вышел из дома, окунаясь в опускающийся над городом вечер, раскаленный, оранжевый.

«А что, если это верно?..»

Как раз в один из этих дней и увела его Ивана на Голый остров с компанией Коко. Река вобрала в себя и движение воды, и небо, и отражения обступивших ее с обеих сторон задумчивых ив, и беспомощную рассыпчатость песка. Разомлевший на солнце Эмо резал огурцы, когда Ивана подошла к нему и с загадочной улыбкой сказала:

— Поцелуй мне, если любишь, ногу...

Он дал ей пощечину, и его затошнило. А Ивана, похожая в своем желтом купальном костюме на большую осу, зарылась в песок и хныкала с удовлетворением маленького ребенка, который наконец-то нашел своих потерявшихся родителей. К волосам ее прилипли водоросли и песчинки; сердце, что она носила на цепочке на шее, плюхнувшись вместе с нею на песок, лежало рядом — золотое и мертвое.

Эмо задыхался от тошноты и боли. А Ивана медленно, как кошка, поднимаясь под устремленными на нее испуганными взглядами компании, сказала хрипловато и злорадно:

— Вот видишь — ты можешь ударить! Это так легко... Сам убедился, что можешь ударить!..

Кто-то вспугнул его мысли, дернув сзади за защитную маску, Эмо обернулся, но в средневековом мраке колодца, да еще сквозь темные стекла очков он так и не сумел ничего разглядеть.

— Тампон сочится, вода вышибет тампон...

— Я не глухой! — Эмо выключил аппарат, под сапогами его плескалась вода, и отраженное в ней небо разламывалось, тяжело колыхалось, утратив свой цвет и глубину.

Высокая каучуковая плита прогибалась, словно мембрана, под тяжестью воды. По ней скатывались ледяные струйки, и она чем-то напоминала искалеченный глаз. Сварочные аппараты рассыпали вокруг искры, которые с громким шипением гасли на влажных бетонных стенах.

— Я не глухой, чего визжишь, как боров?

Эмо воспринимал грозившую опасность спокойно, потому что представление о ней, сложившееся в его мозгу, было каким-то отвлеченным, абстрактным и выражалось очень длинной фразой, составленной из одних только затертых общих слов. А вот страх перед милиционером, перед видом плачущей матери и гневом Килкина казался ему неодолимым. Сиротливый вопль матери — «аааа-оуу!» — тупо ударял в его мозг, паника охватывала все его существо, ему хотелось бежать, скрыться. «Потому что я лишу ее последнего...»

Однажды пыльным днем, когда они только начали сваривать в колодце замасленные трубы, Килкин вызвал Эмо в канцелярию — покосившийся деревянный барак в центре засыпанного болота — и, зажав в зубах погасший окурок, уставился на его измученную физиономию. Насмешливый взгляд прикрытых очками глаз Килкина выражал самодовольство. Потом Килкин принялся с добродушным видом

лузгать семечки, аккуратно собирая шелуху в горсть, а затем стряхивая ее в пепельницу.

Солнце медленно ползло по краю лесов Экспериментальной базы, хрипло тарахтели бульдозеры, а барак имел жалкий вид с его ненужной сейчас железной печкой и висящим за спиной главного механика огромным проектом завода, похожим на засохшую баницу [1]. Молчание Килкина встревожило Эмо, и он зажег недокуренную сигарету.

— Я вызвал тебя, Эмил,— гордо заговорил, наконец, Килкин,— потому что не могу забыть твоего поступка, достойного сознательного человека и настоящего рабочего. Ты не покинул меня в самый трудный момент.— Килкин вытер с лица пот смятым клетчатым платком.— А дело, ради которого я тебя позвал, простое. Мы открываем техникум, чтобы готовить для завода техников-химиков и других необходимых в будущем специалистов. Нам нужны такие парни, как ты,— умные, настойчивые... Одним словом, я тебя записал.

Эмо почувствовал, как у него прилила к лицу кровь и задрожали губы. Это доверие и то, что его называют умным, казалось ему столь невероятным, ошеломляющим, что он едва сумел кивнуть в знак согласия. В его жизнь, и без того уже отягощенную переживаниями, вплеталось новое обстоятельство. Оно ему льстило, придавало уверенности в себе, да и право на некоторое превосходство перед Иваной и дядей, но оно же и обязывало его ко многому. Он испытывал скорее смущение, чем настоящую радость. Несколько минут они с Килкиным жали друг другу руки. А когда они расстались, Эмо захотелось побыть одному, уйти... уйти куда-нибудь.

Ранний закат окрашивал воздух в нежные, весенние цвета. По новой, еще не заасфальтированной дороге проходили один за другим самосвалы и обдавали Эмо пылью. Он пытался разобраться, что же произошло, но сосредоточиться не мог, он разрывался между двумя противоречивыми желаниями — напиться, несмотря на жару, в «Ровно» или же прорыхлить грядки в их запустелом дворе. Опасался только, как бы не повстречалась ему Ивана, потому что она не позволила бы ему напиться, да и рыхлить грядки тоже.

Эмо продолжал идти вверх по Главной улице, миновал «Ровно» и вдруг подумал — если он будет идти в таком же темпе, как шел, то, чего доброго, скоро снова окажется за городом. По улице прогуливались школьницы, хихикали, переглядывались, отвлекали его.

Эмо шел энергично, всем своим видом говоря, что в его жизни совершается нечто важное. Он был уверен, что уже завтра сможет жениться на Иване...

Он остановился перед своим домом; густая виноградная лоза, огромная телевизионная антенна, двадцать квадратных метров заросших сорняком и привядших помидор усилили его желание поскорее увидеть мать. Он заглянул на кухню — матери там не было, он тщательно изучил содержимое хозяйственной сумки, лежавшей на столе, несколько раз растерянно позвал мать и, войдя в ее комнату, устало повалился на тахту, чтобы отдохнуть. Но спина его наткнулась на какой-то твердый предмет. Улыбаясь, как малое дитя, он принялся ворошить покрывала, одеяла и нашел среди них старую бензиновую зажигалку дяди. Эмо щелкнул ею несколько раз и увидел в зеркале, как злая усмешка искривила ему губы...

Дядя пилил дрова, и его согнутая голая спина подрагивала от напряжения, словно кто-то резко встряхивал кусок застывшего студня.

[1] Слоеный пирог, обычно с брынзой.

Пила, пройдя через древесину, врезалась в воздух, а распиленные полешки распространяли вокруг себя запах живого дерева. Эмо тихо подошел поближе и вдруг обнаружил, что наряду с отвращением он испытывает еще какое-то неясное ему самому чувство.

Дядя пилил и ухмылялся, ухмылялся как-то похотливо, словно щекотал женщину, и поэтому, возможно, в запахе свежей смолы Эмо учуял тот специфический «мужской» запах, какой обычно стоит в казарме.

— Дай мне пилу,— быстро проговорил Эмо, потому что иначе он ударил бы кулаком по молочной белизне его широкой спины.

— А, это ты, балбес?! — удивленно воскликнул дядя.

Он положил пилу у ног Эмо, отломил от щепки тоненькую лучинку и стал, причмокивая, ковырять ею в зубах.

— Ну что ж, пили, пили...

«Ты испортил мне самый лучший день в моей жизни! — хотел крикнуть ему Эмо.— В самый лучший мой день твоя дрянная зажигалка снова напомнила мне о моем ничтожестве, никчемности...»

Но он стиснул зубы и всю свою ярость вложил в пилу.

Беззвучно сгущались сумерки. По лицу Эмо стекали капли пота, у него было ощущение, что пот течет у него даже из глаз. В эти минуты Эмо ненавидел, казалось, все на свете — вплоть до младенчески добродушной улыбки Килкина.

— Ужасно трудный ты парень,— сказал дядя, когда все дрова были распилены.— Упрямый как осел... Мать твоя только и твердит: как бы уберечь нам Эмила от беды. Страх ее берет, что сопьешься ты, как отец.

— Нет! Этого не будет! — резко прервал его Эмо и стал медленно приближаться, вперив взгляд в квадратную голову дяди.— Меня записали в химический техникум.

— Ого-го! Значит, растешь на работе! — с издевкой, ухмыляясь, сказал дядя.— Выходит, заплатили тебе за менингит, который ты, как пить дать, схватишь на этом болоте?

Эмо продолжал приближаться к нему, ненавидя сейчас даже младенчески добродушную улыбку Килкина, который считал его умным парнем... Он чувствовал, что вполне готов сделать *это*. Ивана сейчас где-то ждет его; мать хлопочет по хозяйству, а дядя ухмыляется в трех пядях от удара, который свалит его толстое тело и обдаст брызгами крови.

«Может, он действительно такой идиот,— саркастически размышлял Эмо,— ведь он ничего не чувствует... Он даже не может себе представить, что...»

Ему доставляло удовольствие выжидать. После сегодняшнего разговора с Килкиным он наконец понял, что ему надо быть другим, решительным... И вдруг эта проклятая зажигалка... Да, он сейчас сделает *это*! Он оглядел двор, соседние дома с вьющимися виноградными лозами. Никого. Только на углу какой-то тип пытался завести мотоцикл, и это давало Эмо время выкурить еще одну сигарету, вытереть взмокшие на висках волосы и вынуть зажигалку. Ему хотелось ткнуть ее дяде прямо в нос, хотелось увидеть животную радость в его глазах, его мужицкое довольство от того, что нашлась эта дурацкая зажигалка с намалеванной на ней голой сиреной. «Да, но я нашел ее в постели матери»,— хотел сказать ему Эмо. И тогда...

Дядя бросил щепочку, которой ковырял в зубах, похлопал легонько по округлому, заросшему волосами животу, как ласково похлопы-

вают малых ребятишек, и на его молочно-белой коже выступили красные пятна.

— Знаешь,— самодовольно улыбаясь, сказал он,— у меня сегодня хорошее настроение! Напилили мы с тобой дровишек... и теперь пойдем — я тебе что-то покажу.

Они направились к желтоватому двухэтажному дому; шли по узкой дорожке рядом, касаясь друг друга. Эмо не отставал от дяди ни на шаг, словно боялся, что тот может убежать. Он бросил последний взгляд на улицу, потом закрыл за собой дверь и разулся. Впервые он делал это с удовольствием и даже отметил мысленно: «Я и обувь снимаю».

Они вошли прямо в гостиную. На столе, покрытом розовой скатертью, стояла ваза со свежим тростником, стены комнаты были окрашены в желто-серый, как обескровленная кожа его тетки, цвет, на маленьком баре напротив телевизора красовалась венецианская гондола, которая вращалась и играла колыбельную песенку.

— Садись, я сейчас вернусь...

Эмо продолжал стоять, сосредоточенно представляя себе беспорядок, который наступит здесь через несколько минут, и с удовольствием стряхнул пепел сигареты в синюю стеклянную вазу. В душе его бушевало неодолимое спокойствие.

Дядя вошел в комнату запыхавшись, странно серьезный и растроганный, как будто бы он выпил несколько литров своего кислого вина. Сунул в руки Эмо замусоленную сберегательную книжку с истрепанными краями, и тот по инерции раскрыл ее. Прочел свое имя. На следующей странице его поразила длинная колонка цифр, написанных то четко, то небрежно, они тянулись чередой на красноватой бумаге и кончались итоговой суммой в две тысячи пятьсот левов.

— Это тебе на свадьбу,— мягко сказал дядя.— Я давно их тебе приготовил, но помалкивал. Ты же знаешь... кроме тебя, у меня нет другого сына. Верно?

— Да,— ответил Эмил и бессильно опустился на стул.

Пот снова обильно выступил у него на лбу и перехватило в горле. Нахлынувшая вдруг госка ледяным холодом сковала все его существо, и он был не в силах даже пошевельнуться. Где-то поодаль стоял дядя; слова его отдавались в сознании Эмо, как шаги в пустом помещении.

— Тетка твоя не знает про эти деньги, и ты ей ничего не говори. Я тогда выставил ее — ну, эту твою девчонку. Но сам подумай — разве можно было ей вот так курить перед старыми людьми? Ты должен учить ее уму-разуму, тогда потом тебе будет с нею легко. С первого же дня надо учить...

Деревья устало поникли, пресыщенные солнцем, жаждущие влаги и ночной прохлады. Эмо тихо свистнул — это был условный знак — и увидел, как растрепанная голова Иваны появилась в освещенном квадрате окна. Прислонившись к деревянной изгороди, он завел часы. Через несколько минут он почувствовал тяжелый, неподвижный запах «Ландыша» и ощутил прикосновение ее руки к своему плечу. Ивана смотрела на него недоуменно, и он понял, что с ним действительно произошло что-то важное.

Они шли как влюбленные, под руку; не без труда, но все же уверенно миновали ресторан «Балкантурист» и вошли в парк. Ивана молчала и в то же время, казалось, проявляла нетерпение.

Эмо искал среди кустов ту скамью, на которой они сидели после выпускного бала, но все кусты были похожи на спящих близнецов, и он увел ее наверх, к «Бабе Виде». Усталый, опустошенный, он хотел

одного — рассказать все Иване, хотя он еще не понимал, что, собственно, должно означать это «все».

Они сидели на песчаном пляже под мощной средневековой стеной. Вверху она почти сливалась с небом, у ее основания буйно разросся бурьян, скрывший их от чужих глаз. Надежда и любовь переполняли сердце Эмо. Беспомощно прикоснувшись к налившейся груди Иваны, он почувствовал ее готовность отдаться, но самая мысль об этом вызывала сейчас в нем отвращение. Губы ее были сухими, тело вытянулось и прижималось к нему.

— Я не смогу сделать *это*,— произнес он излишне громко и почувствовал, что она поняла смысл его слов.— Никогда не смогу, потому что...

Ивана резко отодвинулась от него.

— А ты действительно похорошела,— неуверенно добавил он.

Ее большие глаза поблескивали в темноте, и он подумал, что она и в самом деле каким-то чудом станет красивой.

Ивана страдала, но страдала уже не как Флер — она даже не плакала, а просто дрожала. Эмо обнял ее и хотел было поцеловать в губы, как вдруг где-то рядом раздался плаксивый писк сверчка и вслед за ним, казалось, заплакал и воздух.

Они поднялись почти одновременно и пошли по тихой безлюдной аллее, окаймленной кустиками аккуратно подстриженного самшита. Остановились в самом конце парка, не зная, что делать дальше,— не было никого и ничего, что бы мешало им, и не было у них повода ни для того, чтобы поссориться, ни для того, чтобы остаться вместе.

— Послушай, ведь ты же вовсе не трус... Тогда почему же?..— мучительно недоумевая, сказала Ивана и погладила его по плечу.

Потом она, как-то странно размахивая руками, вдруг затерялась среди деревьев.

Сперва вода ударила ему в поясницу, и он с трудом удержался на ногах. Эмо увидел, как бросились бежать ребята, трое уже карабкались по лестнице, наступали друг другу на голову, и их крики смешивались с шумом бьющей струи... заметил, что тампон пробило только с одной стороны. Значит, можно еще сдержать напор воды, зажав плечом пробоину...

Эмо понимал, что дело это трудное, глубокий колодец как будто всасывал в себя и через несколько минут уже нельзя будет сдвинуться с места. Но за какие-то секунды Эмо сумел убедить себя, что ничего ужасного произойти не может — сильная струя хоть и будет давить на него, но он все же может продержаться долго. Да и кто-нибудь из ребят, может быть, вернется и подопрет его плечо своим. Он посмотрел вверх — там лишь светилось голубое небо, далекое, как дно пропасти.

То, что он сумел с непостижимой быстротой сориентироваться и собрать все свои силы, не могло не ослабить силы воды. Ее клокотанье становилось все тише, а его внутреннее напряжение нагнеталось и усиливалось с лихорадочной быстротой, и у него уже не оставалось времени для страха. Прежде чем собрать до конца все свои силы в этой исступленной борьбе, прежде чем постигнуть высший смысл своего существования, он уже твердо уяснил себе, что точно сто ступенек отделяют его от самой обыкновенной человеческой справедливости и от сжигающей его любви к Иване. Только сто ступенек, всего сто ступенек... У него должно хватить сил...

Килкин

Наши с Марией прогулки в парке над Дунаем участились. Терпеливо вышагивая, мы измеряли расстояние до реки, откуда, как нам казалось, мы можем созерцать весь мир. Позади оставалась суета возле ресторана «Балкантурист» и «Телеграфкапия» [1], лица людей, похожие на их модную одежду, пронзительный вой оркестров и безмолвие тысяч брошенных в замерзший воздух слов, рожденных лишь для того, чтобы, осуществив мимолетный контакт, исчезнуть...

Поблекшие деревья размахивали своими уродливыми черными ветками, закат воспламенял, не согревая, холодный воздух, насыщенный печальным ароматом тихой осени. Река казалась неподвижной — медленно волочила она свое змеевидное туловище.

В эти минуты — тягучие и наивные — мы, оставаясь с Марией один на один, возвращались к прошлому, словно воспоминания могли уравновесить наше желание молчать. Восстанавливаемый в деталях первый поцелуй на полутемной лестнице в университете; общежитие Марии, увешанное гроздьями разноцветного белья; душистый скверик с символическим фонтаном; мой студенческий чердак, похожий на ястреба, заплутавшегося в задымленном софийском небе и присевшего на крышу,— неприлично маленький и жалкий, где мы предавались любви. Вспоминали, каким тогда мы представляли наше будущее: мою аспирантуру — десятки часов, проведенные над книгами, от которых у меня уже мутилось в голове, когда Мария читала детективные романы и готовила мне кофе; и, наконец, озадачившую нас невозможность Марии забеременеть. Ото всех этих воспоминаний веяло нафталином, как от давно не ношенной одежды, убранной заботливыми и ловкими женскими руками в старый гардероб.

И я спрашивал себя: почему, почему мы это делаем?! Что с нами произошло, что в нас переменилось, что заставляет нас постоянно возвращаться к прошлому? Я уже давно убедился: если человек начинает рыться в прошлом, он испытывает страх перед своим будущим, ищет в прошлом опорную точку, чтобы подготовиться к тому дню предстоящего «переоткрытия» — открытию наново — самого себя, которое я называю «днем нетерпения». Мы с Марией боялись!..

Все свое свободное время Мария отдавала школе — организовала два исторических кружка, а кроме того, читала лекции об Александре Македонском и искусстве Древнего Рима в Клубе работников культуры. Я все свое свободное от служебных обязанностей время проводил на болоте, среди куч безжизненной гальки и свистящего ветра. Грязный, вечно усталый, я разговаривал, спорил до сипоты или же насквозь продымленный просиживал у разложенных там костров. Возвращались домой мы с Марией поздно вечером. Усталые, опустошенные входили в свою хорошо обставленную холодную квартиру; я надевал домашние туфли, и мы смотрели телевизор. Связь между нами в эти часы осуществлялась, казалось, только через наши воспоминания.

Мы старались не думать о том времени, когда я вызвал к нам маму. Мария то ли не догадывалась, то ли делала вид, что не знает о причине моего письма, а я старался забыть ласковое восклицание матери: «Ну и пентюх же ты!» — слова, прозвучавшие для меня в полутемной тишине коридора как пощечина. «Когда она родит, станет помягче!» — сказала мать.

В сущности мама меня не защищала. С Марией она держалась хорошо, даже нежно. Они вместе ходили по магазинам, раз в неделю отправлялись в кино, но остальное время мама с лихорадочным упорст-

[1] Старинная сигнальная башня, где теперь устроен ресторан.

вом вязала детское приданое. Мария стала все чаще закрываться в спальне, охваченная неожиданной для нее манией быть постоянно красивой. Она научилась пользоваться косметикой и вся благоухала, как парфюмерный магазин. Порой она беспричинно впадала в восторженное состояние, которое быстро переходило в мрачную молчаливость, похожую на мелкий осенний дождь. Я делал вид, что не замечаю в ней этой перемены.

— Послушай, Килкин,— пыталась порой спросить меня о чем-то Мария.

— Я должен написать сегодня пять страниц диссертации,— поспешно прерывал я ее и бросался к письменному столу, как к спасительному острову, который давал мне право быть одному.

Марию я оставлял один на один с моей матерью — постоянным немым укором. Мама ни разу больше не повторила обидного слова «пентюх». Она, наверное, опасалась моего наивного гнева, а ей хотелось сохранить меня как своего союзника.

Мария осознавала очень медленно, что не может забеременеть, но ведь подобная замедленность психической реакции вообще характерна для больного человека. По вечерам мы истязали друг друга ласками, демонстрировали свою силу, но не испытывали при этом наслаждения. Иногда Мария плакала или подолгу сидела на краю постели, уставившись в одну точку. Пышные светлые волосы словно нимб великомученицы окаймляли ее голову, обнаженная спина вздрагивала от холода, а синий свет ночника придавал что-то мистическое всему ее облику, который так точно отражал ее душевное состояние. Она возвращалась потом ко мне, растроганная, сникшая... Постепенно я обнаружил у Марии страх, сковывающий ее усилия, мешающий ей найти выход.

Месяц за месяцем проходили с ритмичностью пассажирских поездов, мама упорно вязала, а я делал вид, что целиком поглощен диссертацией. Мария боялась, но когда человек свыкается со своим страхом, страх превращается в вину. Улыбка Марии была рассеянной, робкой; говорила она приглушенно и только о мелочах... Она стала более женственной, но и более обыкновенной, а моя уверенность в себе возрастала. Это меня радовало, потому что я тогда еще не испытывал горького чувства одиночества. Потом уехала мама...

На смену ярким краскам осени пришла ровная белизна зимы. Небо сжалось, воздух набух, вечера погружались в чернильный декабрьский мрак. У меня вошло в привычку выпивать рюмку коньяку, чтобы согреться; я читал газеты, а Мария возилась на кухне в своем красном заношенном халатике — мы удлиняли для себя время, когда каждый из нас мог оставаться один.

— Ты помнишь,— спрашивала она, поправляя рукой свои золотистые волосы,— помнишь тот глупый букет роз? Боже, до чего ж ты был смешон!

— Разумеется,— отвечал я настороженно.

— Ты был тогда красивый,— добавляла она, и это было самым значительным, о чем мы могли говорить...

Постепенно мы сблизились с нашими соседями — милым семейством,— которые поставили на двери своей квартиры солидный бронзовый замок и сделали глазок. Они тоже терпеть не могли зиму, скучали по вечерам и очень гордились своим камином, купленным в валютном магазине. Собирались мы обыкновенно у них и до полуночи играли в бридж или беллот с тем постоянством, с которым одинокие люди держатся своих привычек. Иногда рассказывали анекдоты, пили домаш-

нюю ракию, тесно прижавшись друг к другу в нежно-розовом свете торшера. Сосед мой часто повторял одну и ту же глубокомысленную фразу, не имевшую прямого отношения ни к одному из нас, но произносил ее весьма многозначительно, поглаживая рукой свое облысевшее темя:

— Мы знаем себя настолько мало, что совершенно излишне задавать себе вопросы...

Был прозрачный декабрьский вечер. На этот раз соседи пришли к нам, и я выпил безрассудно много. Когда мы, наконец, остались одни, Мария долго мыла в кухне тарелки. Сидя в гостиной, я прислушивался к тихому плеску воды и вдруг почувствовал, что мне необходимо, наконец, что-то предпринять. Я поглядел в зеркало — мой живот, совсем как у беременной, заполнял половину его блестящей поверхности. В углу зеркала покачивалась остроносая комнатная туфля. Улыбка моя выглядела чрезмерно жизнерадостной и подчеркивала уродливость оправы очков. Медленно, словно шар, я поднялся с дивана. На душе у меня было ужасно гадко.

— Я — идиот,— пробормотал я несколько театрально и попытался обнять Марию.

Она не реагировала. Взгляд ее оставался все таким же сухим и напряженным, словно перед ним сейчас проходили какие-то видения, а вода в кастрюле, которую она держала в руках, расплескалась.

— Нам недостает мамы, Килкин!

— Нам недостает чего-то другого,— сказал я, повертев рукой над головой, словно ввертывая электрическую лампочку.— Если хочешь, напомни тете Даринке... Про того мальчика...

Я произнес это четко, громко, но мягко и лишь через несколько секунд осознал смысл своих слов. Их абсолютная нелогичность меня ожесточила — ведь я хотел доказать, что люблю Марию! Я принялся трясти ее за плечи, и это продолжалось ужасно долго, она рассердилась.

— Когда ты поедешь? — спросил я скорее самого себя.

Мария молчала. В эту минуту она выглядела так, как многим мужьям хочется, чтобы выглядели чужие жены, когда их обнимают. Я целовал ее волосы, пахнущие мылом. «Ну, наконец-то!» — подумал я с облегчением, потому что это решение давало мне, по крайней мере, право чувствовать себя несчастным.

В те дни шел чистый и обильный снег. По утрам город был весь посеребренный. На улицах буксовали легковые машины, стайки воробьев с жалобным чириканьем облепляли ветви деревьев на площади, а Дунай влачил крупные желтоватые льдины, и его погустевшие воды, казалось, бурлили от холода. По вечерам наш двор с озябшими тополями синел, растворяясь в холодном сумраке, как будто был неумело скопирован на кальку тушью индиго.

За две недели до того, как привезти мальчика в дом, я стал задумываться над тем, как бы не ошибиться с самого начала, не совершить какого-нибудь промаха, который испортит мои отношения с будущим сыном. Я возвращался с объекта промерзший и, пока ужинал при счастливом молчании Марии, с трудом старался побороть нараставшее нетерпение, которое приводило меня в растерянность. После нескольких бессонных ночей я решил, что во время нашей первой встречи мне необходимо быть строгим и естественным, несмотря на

то, что тогда (а может быть, и сейчас) я понятия не имел, что это означает: быть отцу строгим и естественным.

Помню, мы в тот день завершили строительство корпуса ТЭЦ. Я долго топтался в магазине детских игрушек, не зная, на чем остановить свой выбор, и продавщица стала уже насмешливо поглядывать на меня. Потом с полчаса стоял на улице, у подъезда: выкурил несколько, не снявших напряженности, сигарет, созерцая, как во дворе ребятишки лепят снежную бабу. У меня даже ноги окоченели. Надо было идти.

В прихожей висело пальто Марии, и вид его меня успокоил. Через приоткрытую дверь (это напоминало мне фрагмент картины) я впервые увидел ребенка, точнее, его улыбку, ангельски расцветшую на губах и выражающую любопытство перед начинающейся новой для него жизнью. Но я не пришел в особый восторг — мальчик походил на брошенную игрушку, случайно попавшую на красную обивку кресла, и выглядел вовсе не испуганным, а удивленным; длинные синие штанишки и пушистые светлые волосы делали его достаточно стереотипным.

В гостиной царил успокаивающий беспорядок, Мария держала в руках ворох разноцветной детской одежды, на телевизоре покачивалась деревянная лошадка, а мои домашние туфли украшали угол напротив буфета. «Странно, как это они туда попали?» — подумал я. В гостиной следов моего присутствия почти не осталось.

Мы молчали. Все трое. Мне явно недоставало искренности. Но подгоняемый желанием быть строгим и естественным, я присел на корточки и с трудом составил на сверкающем паркете поезд электрической железной дороги, которую только что купил.

— Как тебя зовут? — мягко спросил я и закурил сигарету.

— Момчил... Так это ты мой папа?

Мария улыбнулась, на лице ее я прочел желание прийти мне на помощь и неуверенность.

— Да... я!

— А я знал, что у меня есть папа,— мудро продолжал мальчик и по-взрослому пригладил свои длинные светлые волосы.

Таких миловидных мальчиков снимают в кино. Обычно им дают роли озорных, даже жестоких детей, которые оказываются все же куда лучше своих родителей.

И все же Момчил был похож только на самого себя — своим высоким «интеллектуальным» лбом, розовыми бархатистыми щечками, вздернутым коротышкой-носом. Помнится, тогда я даже прослезился, но не от счастья и не от страдания, а просто потому, что в мое бытие вторглась реальная условность, которая требовала переосмыслить все мое существование.

Потом мы купали Момчила в ванне, и я подумал, что на свете нет ничего более гармоничного и ничего более незащищенного, чем купающийся ребенок. И вода и ребенок выражают такое взаимное доверие друг к другу, какое каждый из нас может питать только к самому себе. Грудь Марии проглядывала через расстегнутый халатик, как луна сквозь облако. Ее тело напряженно изгибалось, словно от накопившегося в ней желания и любви.

А я не знал — этого ли я ждал и это ли было мне нужно?

— Да... я твой папа,— глуповато сказал я и загасил в умывальнике сигарету.

Мальчик доверчиво улыбнулся из своего кокона—мы его закутали в широкий купальный халат,— а Мария скорее для самой себя обронила:

— Пахнет молоком...

(Продолжение следует)

ПАВЕЛ КОЙШ

Из книги «Для чего человеку дом»

Перевод со словацкого и вступление ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Павел Койш вступил в словацкую литературу на рубеже 50—60-х годов нашего века, в пору многочисленных и ярких поэтических дебютов (Мирослав Валек, Любомир Фельдек, Йозеф Мигалкович, Ян Шимонович и др.). Самый старший среди этих тогда молодых, а теперь уже сорокалетних поэтов (он родился 8 января 1932 г. в селе Ладце на западе Словакии), Койш поначалу привлек внимание читателей прежде всего своей интимной лирикой. Книга его избранных стихов, посвященных женщине и любви, «Любовные вариации» (1972), стала настоящим бестселлером. Поэт и сейчас остается верным этой теме. В 1975 году он издал своего рода любовную поэтическую энциклопедию — сборник «Признание в любви». В большом заключительном стихотворении «Мир влюбленным» он пишет:

Мир нужен как воздух и человеку,
и насекомому, и дому, и любой
безделушке на полке. Мир для мудрых книг.
Мир для стариков, что крошат хлеб голубям
и мирно греют старые ревматизмы.
Мир любит загорать в малиннике,
подобно пчеле льнет к цветам, раскачивается на ветках,
катит солнце по автостраде, резвится на лугу.
Мир сияет так ослепительно, что и шахтеры,
лишенные неба,
ощущают его кожей. Мир без бомбоубежищ,
без тюрем, свободный, как птица. Мир
для пахаря, чтобы он довел до конца борозду дня,
для солдата, чтобы он никому не причинил зла.
Мир — благо для каждого чистого сердцем человека.
Но всего благодатнее мир для влюбленных.

Поэт призывает сделать неприкосновенными «границы любви», создать для влюбленных «всемирную зону мира». Той же мыслью пронизана и поэма Койша «Вечное лето» (1973), посвященная Десятому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Берлине и отмеченная премией Рудольфа Яшика.

Поэтическое обращение к участникам фестиваля было обращением ветерана молодежного движения. Еще семнадцати лет Койш стал работником словацкого ЦК ЧСМ, затем сотрудничал в молодежной газете «Смена», был главным редактором литературного журнала «Млада творба», директором издательства «Смена». И многие его ранние стихи раскрывали жизнеутверждающее мировосприятие его поколения.

В последующие годы поэт все больше проявляет склонность к стихотворной эпике и серьезным философским раздумьям. Возникают поэмы «Деревенские старухи» (она вошла в книгу «Жестокая верность», 1968), «Есть такой человек» (1972) — поэма посвящена 50-летию образования СССР — и «Песня о Словакии» (1973). Если Милан Руфус в книгах «Люди и горы» и «Стол бедных» [1] прощался с уходящей патриархальной Словакией, то Койш продолжает этот поэтический рассказ и повествует о Словакии новой, современной, социалистической. В поэмах Павла Койша ощутимы поэтические тради-

[1] См. «Иностранную литературу» № 10, 1975.

ции «Песни мира» Витезслава Незвала, словацких поэтов Яна Костры и Войтеха Мигалика.

Большая творческая удача Койша — сборник «Для чего человеку дом» (1974), который в том же году был отмечен премией Словацкого союза писателей. Эта книга отличается тематическим многообразием и оригинальностью, сочетанием открытой публицистичности, лиризма и юмора. Словацкая критика и собратья Койша по перу приветствовали успех поэта и подчеркивали, что герой его сборника — «сладкоземный человек», проникнутый любовью к родному краю, и что стихи его «дышат жизнью и энергией».

Сейчас поэт Павел Койш — заместитель министра культуры Словацкой Социалистической Республики. В одном из интервью он говорил: «Слово не бессильно. И стократ могущественнее поэтическое слово. Об этом свидетельствует история мировой литературы. После Данте и Пушкина, после Бальзака и Драйзера не приходится ссылаться на бессилие слова. Виктора Хару чилийские фашисты убили из-за силы его слова, поднимавшего на борьбу миллионы. Слово может быть обвинением, песней и оружием. Правда, не оружием массового уничтожения, а оружием творчества, оружием очеловечивания человека». И в своей поэтической публицистике и лирике Койш — поэт равно «ангажированный», ибо «ангажированность» для него и в осуждении фашизма, и в прославлении труда, и в стихах, наполненных шелестом берез, стихах, которые неповторимой речью раскрывают тайну, именуемую жизнью.

Для чего человеку яблоко

Чтобы он вгрызался в брызжущую плоть жадно, со смаком,
наполняя свои жилы кремнистым соком.
Сквозь тугую кожуру светятся нетерпением
невзорвавшиеся ядра зерен.
Рдеет на скатерти.
Содрогается от приглушенного гула атом яблока.
Немотствует, дозревая.
Удивительно мудрым бывает яблоко,
исполненное земной уверенности в себе. В нем
багрянец цветов, прозрачность дождя, отвага ветра,
долготерпенье человеческих рук.
В благоухании яблока зашифрован человек.
А мне яблоко нужно для того,
чтобы завтра в сверкающий белозубый полдень
я дал его годовалой внучке Мартинке.
Пусть в ее ручонках свершится
легчайшее дозревание вселенной,
пусть ее пронижет беспокойство,
таящееся в яблоке и рвущееся из его души.

Для чего человеку море,

если он, сухопутный моряк, живет посреди континента?
Море волнует душу, зовет натянуть паруса
надежды, утолить ненасытную жажду далей.
Содрогается под серебряной чешуей,
глаза выжжены солнцем, а белые зубы
пережевывают соль времени.
Одно лишь море никогда не отчается, не выдаст глубинных тайн,
не выплачет бирюзовых снов,
не разобьет о берег росу улыбки,
не скомкает кружева зеленых ресниц-водорослей.
Нам кажется — море прекрасно,
а море о камни дробится, покуда не умори́тся,
и едва успокоится — само в себе моется.

Бриз и волны для вас создают настоящий домашний уют.
Зачем сладкоземному человеку море,
его колючая хвоя?
А как мы в наших горах узнаем
высоту над уровнем моря?
Как поймем,
сколь высоко,
сколь глубоко в нас
родной Липтов?[1]

Для чего человеку дом

Столько этажей — это же не шутка!
Ну-тка!
Поднимите кабину лифта на последний этаж
железобетонного высотного здания!
Высота ж!
Улицы за день устанут,
выйдут за город — воздухом подышать,
остановятся, словно пришли на свидание,
и покажут: вот твой дом, человечья душа.
Дом свое выстоит! Как дерево, запустил корневище в землю.
Порывы сердец и порывы ветра
ему не страшны, даже если он весь из стекла.
С битым стеклом не считаются.
В расчете с жилого метра
это пустяк. Главное,
чтобы смета времени не истекла.
Свежевыкрашенные дома как свеженамеченные ориентиры.
Хорошо, когда не очень тесны квартиры.
Дом — словно жужжащий улей без меда,
квартиры — соты.
Ах, к чему мне бездомная свобода,
я живу в сотой.
Перед домом светит дерево, в квартире цветет лампа.
Рядом с тобою слева и справа
тоже квартиры — и в каждой сосед.
Поболтаешь в субботу — вот и забава,
не беда, что ты — домосед.
Для того человеку дом, что он не медведь
и жить ему одному не хочется.
Не мед ведь
пещерное одиночество.

Для чего человеку радиоприемник

Очень многие толком не сознают,
зачем поселилась у них эта бестия,
хотя ежедневно пережевывают последние известия
о пропавших без вести, эпидемиях
и о том, что антициклон переместился на юг.

---

[1] Липтов — горный край на севере Словакии.

Хорошая новость как стихотворение —
улучшает самочувствие и настроение.
Да здравствуют новости!
В конце концов,
жизнь без них была бы пресной.
Ночь спит в росе. Пугает птенцов
кваканье лягушки древесной.
Ничего себе — ария!
Просыпаюсь в каком-то кошмаре я.
Серп луны. Облаков вата.
Но тут мой добрый приемник «Кантата»,
всегда извещающий, где усилился гнет,
зеленым глазом магически подмигнет.
Из Хильверсюма, Каира, Софии и Монако,
из Рима, Киева, Марселя и Белграда
одиноко и одинако-
во доносится маленькая ночная серенада.
Приглашает приемник: полуночник-коллега,
прислушайся, какая в этой музыке нега!
Мы выпиваем аперитив — какой-нибудь популярный мотив,
пьем апельсиновое солнце прямо из Неаполитанского залива,
слушаем, как тоскует песок Сахары,
как Венеция продается на лотках-лодках.
А потом звучат песни Греции — терпкие, черные оливы,
и лихой казачок искрится, как водка.
К утру опьяненье проходит —
говорю, умудренный длительной практикой, —
и я добавляю в бокал далматинских мелодий,
а затем умываюсь вспененной Адриатикой.
Для того тебе нужен приемник ночью,
когда темные окна не греют, не светят,
чтобы ты, как и все прочие,
открыл сердце гобою и флейте.
Слава арфисткам и скрипачам!
Музыка, музыка слушает нас по ночам.
Днем, в суете, когда каждый куда-то спешит,
остерегайтесь сделать слишком обыденной встречу
с музыкой. Ночью она не проспит
и поймет вас на всяком наречье.

■ ■ ■

Я вернусь... Не загасить ненастью
уголья остывшего костра.
Вспыхнет воздух от накала страсти,
чтоб гореть до самого утра.

Звезд ночных нежней твои ресницы.
Разделю с тобою каждый вздох,
припаду к груди — две белых птицы
свили из молчания гнездо.

Руки у тебя совсем озябли.
Руки у тебя как ветви яблонь.
Эту тайну только им шепну.

И опять соединятся души.
Лампу тайной рук своих потушишь
и, луною став, рассеешь тьму.

Пшеничное поле

Пшеничное поле подобно прекрасной женщине
налилось тяжестью —
в хлебе
сама наша плоть
Человечество обретает благословение
в девятом полнолунии женщины
Пшеничное поле отдается ветру
прогибаясь перед колошением
как спина молодой овечки
Женщина улыбается самой себе
похожая на рдеющее
персиковое дерево
Усталое жнивье ложится
на руку косца
Женщина дозревает
до любви
В муках рожениц — боль всего мира
Вся его доброта — в доброте материнского взгляда
Из осколка солнца рождается человек
будущее зерно земли

Московское утро

Словно куст пылающей малины
рдеет это утро над Москвой.
От Черемушек и до Неглинной
радостью пронизано насквозь.

Площадей умытых самовары
отливают древним серебром.
И Москва заводит тары-бары,
вся светясь улыбкой и добром.

Улицы от гула захлебнулись,
в них как половодье — москвичи.
Соты человеческого улья
озаряют первые лучи.

До сих пор гоняет Маяковский
солнце по Садовому кольцу.
Оттого и женщинам московским
золотые волосы к лицу.

Город-сад, в твоих метаморфозах
сталь, и камень, и колосья строк.
И с фонтаном как с хрустальной розой
затевает игры ветерок.

В чашках, полных солнечного чая,
тают, точно сахар, облака.
Молодость Москвы рассвет встречает
и от счастья жмурится слегка.

И в глазах грядущих поколений
зажигает новый добрый день
человек с подпольной кличкой Ленин —
он зарю всех раньше разглядел.

■

МЕДЖА МВАНГИ

Неприкаянные

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

4

Майна мчался по закоулкам до тех пор, пока не достиг главной улицы, огибающей центральную часть города с западной стороны. Затем — усталый, распаренный — перешел на шаг. Путь его лежал по шоссе, ведшее в пригороды. Знакомая дорога — по ней он не раз хаживал в поисках случайного заработка. Здесь уже можно и расслабиться. Он спрашивал себя: зачем гнался за ним служащий супермаркета? И что сталось с Меджей, после того как он исчез в переулке?

Майна решил не возвращаться в свое обиталище возле супермаркета, пока не прекратится погоня. Сейчас там полно полицейских, его разыскивают, хотя он и не понимает, по какой причине. Майна свернул на Хилл-роуд. По обе стороны улицы из-за живой изгороди застенчиво выглядывали особняки, злобно лаяли сторожевые собаки, бросаясь на железные прутья ворот. В некоторых домах слышны были радиоприемники и патефоны, звуки «ча-ча-ча» и напевной музыки разносились над широкой дорогой. Временами они дополнялись насвистыванием садовников, работавших на газонах и клумбах. Там, где изгородь была невысокой, Майна видел белое, чистое белье, гордо развевавшееся на ветру и отбивавшее свои ритмы.

Сильно припекало солнце, от дороги пахло разогретым гудроном. К этому запаху примешивался запах пищи, которую хозяйки готовили к обеду для своих мужей. В пустом желудке Майны громко заурчало, и он вспомнил о яблоках и о Медже.

Тем временем на Хилл-роуд загудели моторы автомашин — хозяева особняков съезжались обедать. Майна весь сжался и старался держаться как можно дальше от дороги. Некоторые водители, сворачивая на свои подъездные аллеи, подозрительно косились на него и даже запирали за собой ворота. Майна чувствовал себя очень неуютно на фоне аккуратно подстриженных кустов и роскошных автомобилей. Чтобы не бросаться в глаза, он зашагал быстрее, беспокойно

Продолжение. Начало см. в № 2.

глядя по сторонам, боясь нарваться на полицейского, который арестует его и отведет в участок.

Когда он приходил сюда колоть дрова, эти богатые предместья не внушали ему страха. На улицах бывало много торговцев фруктами, с которыми он всегда мог смешаться. Теперь же торговцев нет. Помня о недавнем инциденте в супермаркете, он чувствовал себя в чем-то виноватым и точно голым.

На углу Хилл-роуд и Форест-роуд он увидел человека, сидевшего на камне. Майна хотел пройти мимо, но человек окликнул:

— Майна!

Майна остановился. Он весь напрягся, готовый в случае чего броситься наутек. На человеке, назвавшем его по имени, были дешевые черные джинсы, нейлоновая рубашка и зеленый, потемневший от грязи, хлопчатобумажный галстук. От пыли и перхоти его курчавая шевелюра стала рыжевато-серой и имела такой вид, словно к ней давно уже не прикасалась расческа. Кожа на его скуластом лице была шершавая, грубая — такая же, как и его черная борода. Белки глаз — с красными прожилками. Майне казалось, что они сверлят его насквозь, стремясь проникнуть в его испуганную душу.

— Ты меня не помнишь, Майна? — спросил человек.

Майна молча покачал головой. Чтобы не выдать страха, он не хотел говорить.

— Я так и думал. Тебя ведь Майной зовут?

Майна кивнул.

— Сколько уж времени прошло с тех пор, как мы вместе в школу ходили. Помнишь Манг'а и Кимайто?

Майна перебрал в своем воображаемом досье множество старых и новых имен и лиц, но не нашел в нем ни Манг'а с Кимайто, ни обличья сидящего перед ним человека. Он снова покачал головой, испытывая все растущее беспокойство.

— Я же с тобой в первом классе учился,— продолжал новый знакомый.

— Ты Манг'а? — хрипло спросил Майна.

— Нет,— засмеялся человек.

Майна встревоженно озирался по сторонам. К перекрестку подъехал автомобиль. Водитель, прежде чем повернуть на Хилл-роуд, немного притормозил, увидел двух парней, находившихся в опасной близости от проезжей части, и покачал головой. Если бы машина срезала угол, обоим была бы крышка.

«Школьный товарищ» Майны поймал на себе взгляд водителя.

— Чего уставился, свинья? — заорал он.— Езжай дальше, пока мы тебя не кастрировали.

Водитель, видимо, не понял, улыбнулся, помахал рукой и поехал дальше. Его ждал обед.

Майна проводил взглядом машину и спросил:

— Ты Кимайто?

Человек покачал головой:

— Когда-то ты звал меня Каманда. Теперь меня зовут Бритва.

— Кто тебя так зовет?

— Мои друзья. Мировые ребята. Хочу познакомить тебя с ними. Ты куда путь держишь?

Майна замялся. Он не понимал, как этот человек ухитрился запомнить своего соученика по первому классу. Ведь прошло столько лет. Разве можно упомнить всех одноклассников? Но человек назвал его по имени. И он не похож на шпика. Майна считал, что может справиться с кем угодно, только не с полицейским.

— Да в общем — никуда. Прогуливаюсь.

— В моей шайке это называется «нести патрульную службу»,— засмеялся Бритва. — Почему ты выбрал себе такую нескладную кличку?

Лицо у Майны вытянулось. Он снова насторожился:

— Кличку?

— Ты же несешь патрульную службу,— сказал Бритва.— Ты главарь своей шайки?

— Шайки?

Бритва встал:

— Ладно, поговорим по дороге. Кто в твоей шайке главный?

— Не понимаю.— Майна отступил на шаг.— В какой шайке?

Бритва с удивлением посмотрел на него:

— Да ты не бойся, я не легавый. У меня тоже есть шайка, и я никого не боюсь.

Майна пожал плечами:

— Нет у меня никакой шайки. Ни к чему она мне.

Бритва рассмеялся:

— В этом-то и беда таких, как ты. Не научились вы еще устраиваться в жизни. Ну, а я и мои ребята научились. И дела у нас идут клево. Кто же ты такой? Трудяга?

Майна покачал головой и смахнул с лица капли пота. Бритва заметил, что он волнуется.

— Значит, ни в какой шайке ты не состоишь?

Майна кивнул. Он чувствовал, что в горле у него пересохло. Бритва бросил на него понимающий взгляд и улыбнулся:

— Работаешь где-нибудь?

— Нет.

— Как же ты набиваешь брюхо? Где живешь? Чем зарабатываешь на жизнь, друг?

Майна хотел было что-то сказать, но запнулся и покачал головой.

Бритва пристально смотрел на него:

— Странно. Не работаешь, не воруешь. Чем же ты тогда занимаешься?

Майна пожал плечами.

— Хочешь к «бритвам»?

Майна смутился еще больше.

— «Бритвы» — это мои ребята. Хочешь к нам?

Майна стоял в нерешительности. Он еще не вполне понимал, что это за ребята, но уже начинал догадываться. Он снова взглянул на Бритву. Не очень крепкого сложения, одежда бедная, дешевые туфли из синтетики на босу ногу. Волосы курчавые, черты лица грубые. Непохоже, чтобы такие люди набирали себе «ребят» для благотворительных дел. Обычно это делают скорее для своекорыстных целей, чем ради общественных интересов.

И все же Майна был в затруднении. Отказаться от предложения и уйти? Но куда? Спасаться от погони уже не надо — супермаркет остался далеко позади. Где сейчас Меджа? Все еще прячется там, в закоулках?

— У меня тут приятель один есть,— сказал Майна.

— Пускай тоже к нам идет,— предложил Бритва.— Все друзья однокашников Бритвы — также и друзья Бритвы. Где он, твой товарищ?

Майна не знал, что ответить. Меджа убежал в переулок, но где он сейчас? Вечером он, конечно, будет ждать за супермаркетом. У Майны и в мыслях не было бросить своего товарища и пойти к незнакомым «ребятам» без него. Они достаточно долго прожили вместе, и Майна чувствовал себя в отсутствие Меджи одиноким. Он должен

знать, по крайней мере, где тот обретается. Да, Меджа будет ждать его на прежнем месте.

— Где он живет? — опять спросил Бритва.

— Я оставил его в одном месте. Может быть, он сейчас там.

Бритва взглянул на него с удивлением:

— Как это «может быть»? Он что, мобильный, твой приятель?

Майна улыбнулся. Общение с этим человеком начало его успокаивать. Непринужденность, с которой Бритва разговаривал и двигался, внушала доверие к нему. При упоминании слова «мобильный» Майна живо представил себе Меджу, переходящего от одного мусорного бака к другому в поисках съестного.

— Он парень хоть куда,— сказал Майна.— Да, он очень мобилен.

— Что ж, такие люди мне по душе,— одобрил Бритва.— Такие, если захотят, всегда своего добьются. Пойдем разыщем его.

Майна молчал.

— В чем дело, друг? Не знаешь, где его искать?

— И да и нет,— задумчиво ответил Майна.— Понимаешь, нынче утром у нас случилась маленькая неприятность, и он, возможно, до сих пор скрывается.

— Тут замешана полиция?— В голосе Бритвы прозвучала тревога.

— Нет.

Бритва облегченно вздохнул.

— Сейчас мы не можем туда идти,— продолжал Майна.— Наверно, лучше в конце дня. Сейчас он прячется где-нибудь.

Бритва, почти не раздумывая, согласился ждать конца дня. Майна с удовлетворением отметил, что не один он боится полиции. Чтобы скоротать время, они отправились в парк и улеглись там под деревом, лениво наблюдая за праздношатающимися. Бритва рассказал Майне о своих «ребятах» подробнее. В разгар дня, когда солнце было в зените и над землей в парке замерцало марево, их одолел сон. Майна растянулся во весь рост и заснул так крепко, как не спал уже давно. Когда они проснулись, день клонился к концу. В парке, кроме них, почти никого не осталось.

— Теперь, я думаю, можно идти? — спросил Бритва.

— Да. Должно быть, он уже вернулся.

Они вышли из парка и снова очутились на Форест-роуд. Дойдя до конца улицы, свернули на Вэлли-роуд, которая вела в центральную часть города. По дороге Бритва без конца разглагольствовал о своей шайке. Слушая его, Майна рисовал в своем воображении огромную банду подонков, устроивших себе логово где-то в центре города. Он был слегка возбужден и встревожен. В каких преступлениях замешана эта шайка? А вдруг большая ее часть разыскивается полицией? Но если шайка остается в подполье и на главных улицах не появляется, то можно было бы и примкнуть к ней. Любая воровская шайка лучше закоулков. Майна мечтал о спокойном будущем, а Бритва расточал похвалы своим партнерам. Время от времени он переставал хвастаться и показывал Майне то на окно, через которое легко проникнуть в дом, то на белье, висящее в достаточной близости от забора.

— Вот это окно мне ничего не стоит открыть,— сказал он.— Погоди.

Они остановились прямо против ворот, и Бритва внимательно осмотрел подходы к дому и к заинтересовавшему его окну, потом прикинул расстояние от ворот до дома и размеры окна.

Майна начал нервничать. Он понимал, что они уже делают что-то недозволенное.

— Пошли скорее,— взволнованно сказал он.

— Да, здесь можно легко пролезть.— Бритва держался уверенно.— Велю ребятам как-нибудь заняться этим домом.

В это самое время в их сторону кинулся толстый мопс. Показывая белые клыки, брызжа пеной, он залаял, но близко к воротам не подходил. Лицо у Бритвы вытянулось.

— Это меняет дело,— сказал он, трогаясь с места.— Там, где такие звери, брызжущие слюной, окна не взламывают.

Бритва умолк и, пока они добирались до центра города, больше не заговаривал. Солнце уже не припекало так сильно. Рабочий день кончился, и движение на дорогах значительно оживилось, местами даже образовывались пробки. Бритва и Майна осторожно лавировали между машинами и пешеходами, толпами возвращавшимися домой. Когда они добрались наконец до грязных закоулков, был уже вечер. В нос им ударил знакомый гнилостный запах. Заметив, к своему огорчению, что Бритва брезгливо сморщился, Майна заспешил. Скорее бы супермаркет! Он ожидал увидеть Меджу у излюбленной канавы, но того не оказалось ни там, ни где-либо поблизости. Полагая, что ничего серьезного с его товарищем не случилось, Майна продолжал искать среди мусорных баков.

Бритва наблюдал за ним, пока не иссякло терпение, потом спросил:

— Да кто он такой, твой приятель? Подметальщик, что ли?

Майна молча повел плечами и, явно обеспокоенный, заглянул в мусорный бак.

— А может, он отверженный?

— К-кто? — спросил заикаясь Майна, обиженный насмешливым тоном Бритвы.

Бритва засмеялся и нетерпеливо спросил:

— Так где же твой приятель? Чего ты ищешь в этих мусорных баках? Уж не живет ли он в одном из них?

Майна сдержал раздражение и с тревогой сказал:

— Ладно, пошли. Поищу его после.

Бритва с готовностью кивнул головой, и они отправились в путь. Как объяснить всезнающему Бритве, что Майна искал в мусорном баке не подметальщика и не отверженного, а преданного друга, которому мусорный бак служит домом? Он не понимал, почему Меджа до сих пор не вернулся.

Они миновали центральную часть города и направились на окраину. Шли долго, но Майна, несмотря на усталость, не задавал никаких вопросов. Бритва, видимо, очень хорошо ориентировался в этой части города. Он не сказал, куда они идут и где обитают его «ребята».

Бедняцкий поселок вырос перед ними так неожиданно, что Майна остолбенел. Только что они шли городом, среди высоких домов, и вдруг — жалкие лачуги из картона, жести, глины и еще бог знает из какого материала, лишь бы он не пропускал дождя. Лачуги эти сгрудились в кучу; глядя на них сверху (Майна и Бритва остановились на минутку на возвышенном месте), можно было подумать, что перед тобой — сплошная свалка, полная обрывков бумаги и кусков блестящей жести. Единственным признаком жизни в этих лачугах был доносившийся снизу гул голосов. От этого пейзажа у Майны перехватило дыхание: о таких поселках он читал в школьных хрестоматиях, но никогда не думал, что они существуют на самом деле.

— Добро пожаловать в Шенти-ленд [1],— сказал Бритва. Голос его звучал уверенно, по-хозяйски.

---

[1] Страна лачуг *(англ.)*.

Майна рассеянно кивнул головой.

— Здесь Бритву знают все. Любой однокашник Бритвы — их друг.

Майна снова кивнул.

Они спустились с косогора и подошли к лачугам вплотную. В воздухе густо запахло дымом, мочой и зловонными испарениями. Среди всех запахов был один, который казался Майне роднее всего: запах человеческого жилья. Теплый, успокаивающий. Такой же запах Майна вдыхал, когда жил в рабочем поселке при ферме.

Пробираясь вслед за своим спутником по узеньким улочкам, Майна чувствовал, как внутренняя напряженность у него спадает, уступая место любопытству. Время от времени Бритва окликал кого-нибудь из обитателей этих домиков-курятников, и те отвечали ему сквозь завесу из бумаги и дыма. Те немногие, кто высовывался наружу, глазели на Майну как на редкое, неведомое им животное, отводя взор лишь после того, как Бритва устремлял на них выразительные взгляды.

Недалеко от центра поселка Бритва шагнул в одну из лачуг, велев Майне подождать снаружи. Скоро Майна услышал чьи-то невнятные голоса, потом громкий женский смех.

— Входи, Майна! — позвал Бритва.

Майна помедлил, затем низко нагнулся и вошел. Внутри было сумрачно, и он сначала ничего не видел. Потом потер глаза и начал угадывать смутные очертания человеческих фигур. По-видимому, в помещении курили: в насквозь продымленной комнате пахло чем-то напоминающим тлеющую траву. Лицо курильщиков и даже лицо самого Бритвы было почти невозможно различить. Майна стоял у входа, вглядываясь в полумрак и выжидая, пока кто-нибудь скажет ему, что делать и куда пройти.

— Пройди сюда, здесь светлее,— сказал чей-то грубый голос.

Майна решил, что приглашение адресовано ему. Он шагнул вперед и наступил на чью-то босую ногу.

— Эй! Ты что, слепой? — недовольно пробурчал потерпевший.

Майна пробормотал извинение и огляделся кругом. Теперь, благодаря свету, проникавшему сквозь бумагу, он лучше разглядел людей. Их было восемь человек. Семеро сидели на ящиках, расставленных по всей комнате, а восьмой — Бритва — на единственной кровати. Он обнимал одной рукой лежавшую рядом с ним женщину, которая с нескрываемым любопытством изучала Майну.

— Кто он такой, Бритва? — спросила она.

— Один из моих друзей. Его зовут Майна.

Все остальные молча наблюдали.

— Знакомься, Майна. Вот этот одноглазый, что сидит справа от тебя, — Каменобоец. Слева от него — Профессор. Рядом с Профессором — Подметальщик. Дальше...

Майна с интересом вглядывался в лица тех, кого представлял ему Бритва. Одноглазый Каменобоец — худощав и хрупок на вид. Вряд ли такой поднимет десятифунтовый молот и сможет раздробить хотя бы куриное яйцо. На нем были выцветшая спортивная рубашка и старые джинсы. Почти как у Бритвы. Гладко выбрит, волосы курчавые и, наверно, давно не мытые. Пальцы, похожие на клешни, сжимали толстую сигару, испускавшую густой вонючий дым. Зрячий глаз слезился от дыма, и Каменобоец непрестанно вытирал его тыльной стороной ладони. Глаз этот, пока его снова не застилали слезы, все время следил за Майной недобрым, змеиным взглядом.

Профессор тоже курил сигару. Одежда на нем, как и на всех, была потрепанная. Голова почти совсем облысела, хотя, судя по

всему, лет ему было еще немного. Лицо украшала клинообразная бородка, из-за которой, видимо, его и прозвали Профессором. Уши торчали в стороны, точно у огородного пугала. Голова напоминала Майне клубни турнепса, что он видел на ферме белого хозяина.

Подметальщик, коренастый человек, казался старше других. Щеки толстые, между двумя верхними передними зубами зияющая щель. Огромный выпуклый лоб и массивная грудь придавали ему сходство с изготовившимся к бою буйволом. Редкие зубы, жидкие усики на мясистом лице Подметальщика напоминали Майне гигантских крыс, докучавших им с Меджей на ферме.

— А вот это — дама моего сердца, Сара.— Бритва закончил церемонию представления и, крепко обняв молодую женщину, поцеловал ее в лоб.

Майна еще раз окинул взглядом комнату и всех, кто в ней был. Картина хорошо организованной шайки и тихого убежища, которую он рисовал в своем воображении, утратила ясность очертаний. Сейчас он видел перед собой только сборище бедняков, отчаянно цепляющихся за жизнь. Единственное, что у них осталось. Жалкий удел, что и говорить! Однако никто из них, по всей вероятности, не страдал склонностью жаловаться на свою судьбу. Казалось, их вполне устраивала эта темная дыра и эти толстые сигары.

— Ну, как тебе нравятся ребята? — спросил Бритва.— Должен признаться: на вид они не очень умные. Но это потому, что они не хотят показать себя с лучшей стороны. Вообще-то они хорошие парни.

Майна усилием воли отвлекся от тяжелых раздумий.

— Я рад, что познакомился с ними.

— А что до нас, то мы и знать тебя не желаем,— сказал, вставая, Подметальщик.

— Что-о? — Бритва вскочил с кровати.

Подметальщик измерил Бритву взглядом, бросил окурок сигары на пол и растер его своей ножищей. По сравнению с его массивной фигурой Бритва казался маленьким, тщедушным человечком.

— Что ты сказал? — снова спросил Бритва. Руки его, свисавшие вдоль тела, угрожающе напряглись.

— В прошлом году ты тоже привел сюда одного своего старого дружка,— сказал Подметальщик.— Кончилось тем, что все мы загремели за решетку, а двоих даже вздернули. Как знать, может, этот твой друг — тоже шпион?

— Я — Бритва, и мне дано решать, кого звать к нам, а кого нет. Так? Если ты в чем-то со мной не согласен, сколоти свою шайку и убирайся к черту. Это же относится и ко всем остальным, если они уж больно умные стали.— Он с вызовом посмотрел на своих товарищей. Большинство из тех, с кем он встретился взглядом, отвели глаза. Но было ясно, что никто не хочет принять сторону Бритвы.

— Слушай, Бритва,— неожиданно заговорила Сара.— Будь благоразумен. Сперва о ребятах подумай, а потом уж обо всем остальном.

Бритва резко обернулся к ней:

— А ты чего тут мешаешься? Помолчи, тебя ведь не спрашивают. Или катись отсюда.

Сара пожала плечами:

— Не злись, я ничего такого не сказала.

Она встала с постели. На ней была очень короткая юбка, отчего ее полные ляжки обнажились больше, чем позволяли приличия. Огромные груди выпирали так сильно, что, казалось, вот-вот прорвут блузку и вывалятся на пол. Присмотревшись к ней внимательней, Майна подумал, что хотя она и не красавица, но женщина аппетитная.

Сара подошла к Бритве и сунула свою руку в его. Ростом она была ниже, но более крепкого, чем он, сложения.

— Мы ничего не имеем против твоих друзей, Бритва.— Она старалась говорить как можно ласковей.— Но мы не хотим еще одного провала. Уже больше четырех лет, как мы вместе, и будет жаль, если твой друг провалит нас. Разве не так?

Бритва взглянул на Майну. Профессор смущенно кашлянул.

— Мы тут без тебя посовещались,— объявил он запинаясь и посмотрел на своих товарищей, как бы ища у них поддержки.

Бритва вскинул голову и оттолкнул от себя Сару.

— Что ты сказал? — крикнул он.— Кто дал вам право совещаться в мое отсутствие? Говори! Кто это придумал?

Все молчали. Атмосфера в комнате чрезвычайно накалилась. Подметальщик сел, обрадованный тем, что гнев Бритвы обращен теперь не на него, а на других. Профессор нервно теребил свою бородку.

— Ну, кто? — опять спросил Бритва, стараясь говорить спокойно.

Никто не отвечал.

— Ты, что ли, Каменобоец?

Каменобоец, не взглянув на Бритву, покачал головой.

— Подметальщик?

— Нет, не я, Бритва.

— Профессор?

— Мы тут...— начал было Профессор.

— Ты или не ты?

— Нет, сэр.

Остальные тоже ответили, что они не были зачинщиками. Оставалось спросить только Сару. Бритва посмотрел на нее.

— Это было не совсем совещание,— пояснила та.— Мы просто разговаривали, потом вдруг вспомнили Шефа. Ты ведь помнишь, что его убили после того, как твой верный дружок донес на нас. И тогда...

Бритва полез в карман и вытащил нож. Его лезвие, длинное и острое, как ядовитое жало змеи, слабо поблескивало, вызывая жуткое чувство. Все, кто был в хижине, кроме Майны, замерли на месте. Сара, бледная, испуганная, замолчала на полуслове. Каменобоец поперхнулся дымом своей сигары и едва не зашелся, силясь остановить кашель. Даже дюжий Подметальщик явно страшился этого маленького ножа.

Бритва оглядел всех и, довольный произведенным на них впечатлением, сказал поучительным тоном:

— Напоминаю вам: я в этой шайке хозяин. Впредь без меня чтоб никаких совещаний не проводить.

Никто не пошевельнулся.

— Если я говорю «это мой друг», значит — друг. И точка.

Бритва сделал паузу, ожидая возражений. Но возражений, конечно, не последовало.

— Майна — мой товарищ по школе. Он вступает в нашу шайку.

Сара возбужденно спросила:

— Ты правда учился в школе?

— Зачем же мне врать,— ответил, повеселев, Бритва.— Спроси Майну, если не веришь. Я тоже был неплохим учеником.

Все посмотрели на Майну. Напряженность ослабла. События последних минут подействовали на Майну ошеломляюще. Ему было не по себе.

— Скажи им, Майна,— приказал Бритва.

Майна колебался. По правде говоря, до сегодняшнего дня он не знал никакого Бритвы. Но есть ли резон признавать это и тем подрывать авторитет главаря шайки? После всего только что пережитого?

Мысль об опасном ножичке страшила Майну. Ведь это оружие может и против него обернуться.

Все с нетерпением ждали его ответа.

— Да,— с трудом выговорил Майна.

— Вот видите.— Бритва с облегчением вздохнул.— Он со мной в одном классе учился. Дай ему закурить, Подметальщик.

Теперь, когда нож исчез в кармане Бритвы, разговор в лачуге возобновился. Бритва схватил Сару в охапку и потащил на кровать. Они целовались и обнимались как ни в чем не бывало. Никто из присутствующих, казалось, не обращал на них внимания. Каждый был занят своим делом.

Подметальщик достал из кармана сигару и протянул Майне. Свободных ящиков не было, и он предложил гостю сесть рядом с ним прямо на пол. После первой затяжки Майна поперхнулся и долго, до боли в груди кашлял. Он посмотрел на остальных: те курили с видимым удовольствием и не кашляли. Майна решил сделать вид, что и ему это курево нравится. Во всяком случае, сказал он себе, все, что могут выдержать Каменобоец и Подметальщик, выдержит и он. И даже в три раза больше. Он улыбнулся Подметальщику, но тот не ответил на его улыбку. Он затянулся еще несколько раз, и ему стало легко и приятно. Дым уже не разъедал горло и не стеснял дыхания. Он благоухал, и он него исходило ровное, приятное тепло. Теперь даже с Подметальщиком можно держаться смелее.

Когда Майна докурил первую сигару, Подметальщик предложил ему вторую. Они разговорились, хотя речи их были бессвязны. Но не это имело значение. Важно было то, что он, Майна, среди друзей. Ему казалось, что и Бритва, и Подметальщик, и все остальные — его старинные знакомые. Всех он любил, всем улыбался, даже одноглазому Каменобойцу. Полумрак хижины действовал умиротворяюще, щербатый, невыметенный пол, на котором он сидел, казался ровным и гладким, а стены — чистыми и красивыми. Никогда он не чувствовал себя таким счастливым, как теперь.

Бритва раздел Сару, потом начал раздеваться сам. Майна с умилением наблюдал, как они ложатся на красивую кровать и накрываются единственным одеялом. Но вот из-под одеяла высунулась голова Бритвы.

— Устраивайся, Майна,— с улыбкой сказал он.— Чувствуй себя как дома, среди друзей.

— А как же иначе, Бритва.— Язык у Майны заплетался.

Никто, видимо, не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Все сидели и курили гашиш. Им было тепло, уютно, вольготно. Единая, дружная семья, скрепленная любовью, лишениями, бесправным положением. Вне этого круга ничто ничего не значит. Нищета, невежество — все нипочем. Никого не смущали ни теснота этого крошечного убежища, ни убогая одежда товарищей, ни отсутствие домашней утвари и даже очага. Никто не думал о том, что будет есть на ужин и где его место на грязном полу, когда он захочет спать. Все, что они имели в этих картонных стенах — доброе слово, человеческое тепло, гашиш, нищета... да, и нищета,— все делилось между ними поровну, бескорыстно.

Вечерний ветер за стенами хижины крутил пыльные вихри. С ними вместе разносился по улочкам поселка запах мочи и тел. Жалобное клохтанье голодной курицы, плач голодного ребенка, приглушенный гул голосов — все это уносилось прочь. Оставалась только тихая и мирная мусорная свалка, называемая Шенти-ленд.

Нелегко было Майне осваиваться в этой компании. По крайней мере, первые недели. Чтоб научиться добывать еду и питье, не рискуя при этом жизнью и избегая тюрьмы, надо было начинать с азов. Овладеть многими тайнами ремесла — тайнами, которых он боялся и не желал разгадывать когда-то прежде, чем попал на городские задворки. Его учили лазить по карманам, снимать с рук часы и выхватывать сумки ловко и бесшумно, не вызывая переполох на многолюдной улице. Учили отпирать окна и двери, снимать с веревок белье, пока хозяйка, мурлыча что-нибудь себе под нос, хлопочет на кухне.

Обучал Майну этим премудростям в основном сам искушенный Бритва, но помогал ему и Каменобоец, прекрасно владевший всевозможными приемами и уловками, благодаря которым поддерживалась жизнь в лачуге. Постепенно Майна привязался к этому человеку. Дружба с Каменобойцем приносила немало выгод.

Единственным человеком, к которому Майна не мог относиться с симпатией, был Подметальщик. Впрочем, тот и сам не стремился расположить его к себе.

Но теория — это одно, а настоящее дело — другое. Майна боялся. Страшно было представить себе, как это он выхватит у кого-нибудь сумку или кошелек и пустится наутек. Он начал было подумывать об уходе из шайки, но перспектива возвращения к мусорным бакам после столь длительного перерыва тоже не радовала. К тому же и Меджа куда-то исчез. Майна несколько раз приходил к супермаркету, надеясь найти там товарища, но все безуспешно. Уж не решил ли тот вернуться домой в деревню и признаться родным в своих неудачах?

Временами, когда жизнь в шайке становилась особенно тягостной, Майне тоже приходило в голову отправиться домой и рассказать родителям о своей жалкой доле. Но, поразмыслив как следует, он пришел к выводу, что вряд ли сумеет растолковать, почему человек, истративший все состояние своего немолодого уже родителя на образование, не может заработать себе на жизнь. Разве не за тем люди ходят в школу, чтобы научиться читать и писать и набраться ума? И разве неправду говорят люди, что те, кто имеет хорошее образование, получают выгодные места и зарабатывают большие деньги? Как же после этого Майна решится поехать в родную деревню и заставит отца поверить в то, что он не сумел добиться даже низкооплачиваемой работы? Как?..

Итак, ничего не оставалось, кроме как держаться за воровскую шайку и не терять надежды, что когда-нибудь и ему улыбнется счастье.

Тем временем жизнь в поселке, равнодушном к его образованию и его мечтам, шла своим чередом: одни рождались, другие ходили в школу, третьи теряли работу, четвертые, наоборот, находили ее.

Жизнь «малины» в центре Шенти-ленд тоже текла без особых перемен. В хижине было по-прежнему темно, сыро и душно. Бритва со своей королевой Сарой валялись на королевском ложе, остальные располагались либо на ящиках, либо прямо на полу, не подметавшемся, наверно, со дня сотворения мира. Как обычно, каждый занимался своим делом: кто покуривал гашиш, кто чесал бороду, а кто просто искал в своей одежде вшей.

— Майна! — неожиданно позвал Бритва.

— Да? — Майна отвел глаза от рубашки, которую чинил с помощью украденной нитки и иголки.

— Есть хочешь?

— Да, очень,— простодушно признался Майна.

— Я тоже.

Майна вопросительно взглянул на Бритву, но, решив, что это, видимо, обычный дурманный бред, снова погрузился в свою работу.

— Так ты не прочь бы сейчас закусить, Майна? — не унимался Бритва.

— Конечно.— Майна улыбнулся.

— Я тоже. Как и все мы.— Бритва вздохнул.— А что, если б ты раздобыл для нас что-нибудь, а, Майна?

Майна вскинул голову. Ну, вот и конец. Настал момент, которого он так боялся. Кончилось учение, пора сдавать экзамен. Надо показать им, на что ты способен. Майна растерянно почесал затылок и, стараясь не выдать волнения, сказал беспечным тоном:

— Что-то я не понимаю.

— Может, тебе по-итальянски объяснить? — насмешливо спросил Бритва.— Должен же кто-то добывать жратву. Сегодня — один, завтра — другой. По очереди. До сих пор ты только ел да учился. Теперь знаешь, как это делается. А мы все есть хотим. Твоя очередь.

Майна окинул взглядом полутемную хижину. Профессор углубился в рассматривание своих грязных ногтей. Разговор о еде его не интересовал, он ел, когда ели другие, и, казалось, никогда не думал о пище. Да и вообще, думал ли он о чем-нибудь? Он делал лишь то, что велел Бритва, и делал весьма основательно, но потом уходил в тень.

Каменобоец, по обыкновению, дремал. Ничем другим он уже более недели не занимался. Сон — его любимое занятие. Когда его спрашивали, почему он так много спит, Каменобоец отвечал: «Я обожаю сон». Ничего более вразумительного он, видимо, сказать не мог.

Один из членов шайки «играл в прятки» со вшами, рассеявшимися по его рваной одежде, другие не переставая курили. Лишь один Подметальщик прислушивался к разговору и с ухмылкой поглядывал на Майну.

— Это-то мне понятно, — сказал Майна. — Только не знаю, что именно я должен делать. Где я достану еду?

— А это уж твое дело,— сказал Бритва и, повернувшись на бок, принялся ласкать Сару.— Мы хотим есть. Хоть из-под земли достань, нам все равно. Верно, крошка?

— Верно,— ответила Сара.

Майна растерянно поморгал глазами, потом встал и надел рубашку. Чинить ее уже не было времени. Подметальщик продолжал наблюдать за ним, ухмылка растеклась по его толстому лицу.

— Хочешь дам тебе мудрый совет, друг? — спросил он.

Майна повернулся и с надеждой посмотрел на него.

— Почему бы тебе не устроить набег на кухню отеля «Ориенталь»?

Майна весь напрягся и почувствовал жар на щеках. Измерив Подметальщика взглядом, подумал: «Жаль, что он такой верзила. Хоть бы чуточку был поменьше меня».

Почти все засмеялись. Профессор засмеялся тоже, потом повернулся к своему соседу и спросил:

— Что он сказал?

— А я не слушал,— ответил тот.

Бритва приподнял голову, прислушался. Потом оттолкнул от себя женщину, вскочил с кровати и, опершись руками о бедра, обвел взглядом всю шайку.

— Ничего смешного тут нет. Вы, дурачье, потому смеетесь, что память вам отшибло. Забыли, как сами трусили. А смеетесь.

Все смущенно умолкли. Даже Подметальщик понурил голову и уставился на свои корявые ногти. Бритва повернулся к Майне.

— Так, значит, ты не знаешь, как добыть еду?

Майна кивнул.

— А если я объясню, ты послушаешься?

Майна снова кивнул.

Бритва еще раз оглядел всю шайку, ища самого достойного. Все, на кого падал его взгляд, отводили глаза, стараясь показать, что они для этого дела непригодны. Впрочем, некоторые могли и не стараться — и так было видно, что они непригодны.

— Подметальщик! — позвал Бритва.— Иди с ним.

Подметальщик резко поднялся на ноги. Улыбки на его лице как не бывало.

— Что? — рявкнул он.

— Ты слышал, что я сказал.

Лицо Подметальщика налилось кровью. Казалось, он вот-вот лопнет от злости. Рядом с Майной и Бритвой он выглядел гигантом.

— Но... но ведь это же не по правилам,— проворчал он.— Новички сами должны проявить себя, даже если еще не совсем обучены. Так было со мной, когда я вступил в шайку.

— А какой ты был, когда пришел к нам? — спросил Бритва.

Лицо Подметальщика искривилось и стало еще безобразнее.

— Голодный и больной, — ответил за него Бритва.— Полиция тебя разыскивала. Вот что ты собой представлял, когда я брал тебя в свою компанию. А теперь ты вон в какого буйвола превратился и хочешь...

— Так не я же, а ты устанавливал тут порядки.

— Верно, устанавливал. И до сих пор устанавливаю. Майна — мой школьный товарищ, к тому же его не разыскивает полиция. А тебя, возможно, и до сих пор ищут. За изнасилование.

Подметальщик резко подался вперед и топнул ногой. Все, кто был в хижине, встрепенулись и с ужасом смотрели на него. Подметальщик, сжав кулаки, двинулся на Бритву.

Дальше случилось нечто неожиданное. Точно по мановению волшебной палочки. Минуту назад ничего не было — и вдруг в худой руке Бритвы засверкал страшный нож. Подметальщик тотчас замер на месте. Он смотрел не отрываясь на эту маленькую штучку, рот его был раскрыт, по подбородку на голую волосатую грудь струйкой стекала слюна.

— Ну, ну, попробуй.— На губах Бритвы играла зловещая улыбка.— Подойди поближе, я из твоей рожи красивых лент нарежу.

Подметальщик застыл в бессильной злобе. Мышцы его были еще напряжены, тело дергалось точно в припадке. Он обернулся назад и обрушил свой кулачище на Каменобойца. Тот охнул и упал. Но ярость еще не иссякла, и Подметальщик снова повернулся лицом к Бритве. Острый нож по-прежнему угрожающе поблескивал. Подметальщик задрожал всем телом.

— А ну, мотай отсюда,— сказал Бритва и шагнул вперед, искусно поигрывая ножом.

Подметальщик попятился и выставил вперед ладони.

— Вон!

— И-извини меня.— Всем было ясно, что Подметальщик побежден.

Бритва подошел ближе и, размахнувшись, полоснул ножом воздух у самого его живота. Ему ничего не стоило выпотрошить этого детину одним ударом.

— Я не хотел тебе зла,— бормотал Подметальщик.— Извини меня, Бритва... Извини.

Бритва был поистине страшен. Таким его еще ни разу не видели.

— Я сказал: мотай отсюда. Ребята и так от тебя натерпелись.

Уходи и не возвращайся. Нет здесь места тому, кто не любит моих друзей.

Подметальщик беспомощно дрожал, его жирное лицо обливалось потом. Он понимал, что не может уйти. Без главаря ему не обойтись. Понимали это и все остальные. Кто, как не Бритва, обмозговывал все их дела? На ком держится шайка? Именно благодаря Бритве они еще на свободе и действуют как единая группа, в то время как люди из других шаек отбывают свои сроки в тюрьме. Нет, от Бритвы редко кто уходит. Подметальщик знал, что без шайки долго не проживет. Он замотал головой и жалобно смотрел на Бритву.

Но Бритва был неумолим.

— Уходи, уходи. Считаю до трех: раз, два три...

Подметальщик знал, что Бритва не шутит. На его памяти было немало случаев, когда строптивые гангстеры выходили из хижины с окровавленными, изуродованными лицами. Поэтому он не стал пререкаться и поспешил к выходу.

— Стой! — окликнул его Бритва.

Подметальщик остановился и, не поворачивая головы, стал ждать.

— Майна, иди с ним.

Майна вздрогнул. Ощущение реальности вернулось к нему. Не чувствуя под собой ног, он двинулся к двери. Бритва напутствовал Подметальщика:

— Если ты не объяснишь ему, что делать, можешь сюда не возвращаться.

Они вышли из хижины. Сильно припекало солнце. Бродили куры, лениво копаясь в земле в поисках пищи, валялись в пыли собаки, провожая глазами прохожих. На улицах было малолюдно, лишь полуголые мальчуганы, увлеченные своими играми, носились наперегонки. А в одном из переулков их собралась целая ватага. Они гоняли старый, потрепанный теннисный мяч. Другого теннисного мяча, видимо, не было во всем поселке.

Всю дорогу, пока они пробирались по кривым улочкам среди хижин, кур и детворы, Подметальщик недовольно ворчал. Он не понимал, почему должен опекать каждого обормота, что приходит к ним в шайку. О нем-то небось никто не заботился, когда он был новичком.

— Сочувствую тебе,— сказал Майна.

Подметальщик остановился и бросил на Майну злобный взгляд.

— Знаешь ведь, что я не хотел даже знакомиться с тобой.

— Ты же слышал, что сказал Бритва,— напомнил Майна.

— А ты Бритвой меня не стращай,— проговорил Подметальщик сквозь зубы. Глаза его сверкали гневом.

Как раз в это время их догнал Профессор. Он вспотел и тяжело дышал. На нем были все те же старые тесные джинсы и рваные туфли.

— Бритва сказал, чтоб я тоже шел с вами.

Подметальщик проворчал что-то и оскалился, обнажив желтые зубы. Щель между двумя верхними зубами придавала ему сходство с прожорливыми крысами, которых Майна и Меджа видели на ферме.

Все трое вышли на дорогу, ведшую к центру города. По мере приближения к главным улицам, которых он так боялся, Майну все сильнее охватывало паническое настроение. Встреча с полицией, с враждебной толпой его совсем не радовала. Двое матерых воров шагали впереди и несли «патрульную службу», высматривая подходящую жертву, Майна плелся сзади. Пробираясь сквозь толпу пешеходов, он старался преодолеть страх и совсем позабыл об искусстве маскировки, с которым был знаком всего лишь теоретически. Теперь он чувствовал, что и прохожие и полицейские, мимо которых они шли, следят за каждым

его движением. Но, несмотря на огромное нервное напряжение, он не отставал от своих спутников.

Вот жертва была наконец найдена и выслежена. Ею оказался мужчина довольно крепкого сложения в синем костюме и черных ботинках. Он часто заходил в магазины и делал покупки, так что воры начали уже опасаться, как бы он не истратил все деньги, прежде чем они освободят его от бумажника. Толстую пачку денег в его бумажнике они обнаружили, когда его владелец расплачивался с чистильщиком обуви. Подметальщик не замедлил указать на него Майне:

— Вот твой клиент. Смотри не упусти. Здесь верняк.

Майна побледнел:

— Что я должен делать?

Подметальщик вытаращил от удивления глаза. Потом, оправившись, с кривой усмешкой сказал:

— Как что? Подойди к нему, пожми руку и скажи: «Извините, уважаемый сэр, я хочу залезть к вам в карман».— И уже серьезно добавил: — Не придуривайся. Бритва, твой... школьный товарищ, велел мне навести тебя, я и навел. Действуй.

— Да это совсем нетрудно,— вмешался в разговор Профессор.— Подойди к нему незаметно и сделай вот так.— Мгновенным движением он сунул руку в карман Майны и вытащил грязную тряпку, служившую ему носовым платком.

Но беда в том, что человек в синем костюме держал свои деньги не в брюках, а в пиджаке, во внутреннем кармане. Попробуй доберись до них незаметно. Надо было выжидать, пока не представится удобный случай. Тем временем Майна молил бога, чтобы клиент, зайдя в какой-нибудь магазин, больше не выходил оттуда или чтобы его вдруг схватила полиция и увезла на служебной машине, на вертолете, на чем угодно. Неужто ничего не случится и он не избавится от мучительной необходимости лезть к этому коренастому за пазуху и, ощущая рукой биение его огромного сердца, тащить бумажник. Мысль о том, что его могут схватить на месте преступления, привела Майну в такой ужас, что он уже почти не мог идти. Двое других, шедшие сзади, быстро поравнялись с ним.

— Что с тобой, приятель? — спросил Подметальщик.

— Не могу, устал,— отрешенно сказал Майна.— Слишком он быстро идет.

Подметальщик посмотрел на его дрожащие руки, на потный лоб.

— Ну, что будем делать, трус? Сказать Бритве, что его школьный товарищ сдрейфил?

Майна понурил голову. В горле у него пересохло. В эту минуту он желал только одного: чтобы разверзлась под ним земля и поглотила его.

— Ничего не выйдет,— с трудом выговорил он.— Слишком он быстро идет.

— Глупо упускать такого клиента,— сказал Профессор.— Постарайся не отставать от него. Ты должен взять эти деньги.

— Если не можешь догнать шагом, беги,— предложил Подметальщик.— Можешь даже ударить его. Покажи, на что ты способен.

Майна ускорил шаги. Он шел спотыкаясь. И полиция, и тюрьма, и шайка, и Бритва — все одинаково страшно. У него больно сжималось сердце. А не сбежать ли ему назад, в свой закоулок, и укрыться в первом попавшемся мусорном баке? Но он никогда не бывал в этой части города и боялся заблудиться. К тому же здесь много народа, люди могут поднять шум, если он вдруг побежит. Чего доброго наткнешься на полицейского. На главной улице все может случиться.

Он машинально плелся за своей жертвой и от волнения и страха даже не заметил, что приблизился к белому человеку почти вплотную. Оба они одновременно подошли к автобусной остановке; почти в ту же секунду подъехал автобус, и синий костюм — прямо в него. Майна едва не вскрикнул от ярости и отчаяния. Не помня себя, он протянул вперед руки и чуть было не схватил клиента за полы пиджака, но опоздал, и тот исчез в спасительном салоне автобуса. Люди, стоявшие сзади, заторопились на посадку, стиснули Майну и увлекли к открытой двери. Единственное, что ему оставалось,— это не выдать панического страха и отдаться на волю судьбы.

Когда автобус уже начал трогаться, Подметальщик и Профессор, стоявшие в стороне и наблюдавшие эту сцену, вскочили на подножку и присоединились к Майне. Машина повезла их в пригород.

Подошел кондуктор, и у Майны помутилось сознание. Подметальщик порылся в своих лохмотьях и извлек каким-то чудом явившиеся три затертые монетки. Заплатив за троих, он открыл окно автобуса, чтобы дать Майне дохнуть свежего воздуха. Этому парню предстоит трудное дело. Вдали от многолюдных центральных улиц укрыться будет негде, и от него потребуются хладнокровие и находчивость.

Проехав несколько миль, синий костюм стал пробираться к выходу. Три хвоста последовали за ним. На остановке стояли какие-то люди. Плохо дело. Если начнет сопротивляться, хлопот не оберешься. Дальше пошло еще хуже. Сойдя с автобуса, синий костюм направился в особняк. Прямо против остановки. Все трое остолбенели от неожиданности.

Тем временем их жертва, весело насвистывая, удалялась по аллее в сторону дома, унося с собой их деньги, их пищу, их жизнь.

— Догони его,— прохрипел Подметальщик, толкая Майну в спину.— Если уйдет, тебе крышка.

Майна нетвердо шагнул вперед. Жалобно скрипнула под ногами щебенка. Он остановился в раздумье и оглянулся назад. Его спутники смотрели куда-то в сторону, делая вид, что не имеют к нему никакого отношения. В воздухе, окружавшем их, ему почудилось сверкание ножа Бритвы. Он двинулся, точно во сне, следом за синим костюмом. Он не знал, куда и зачем идет. Лишь бы подальше от этих бандюг и подальше от ножа, что висит над их головами.

Майна остановился у парадного входа, за которым только что скрылся белый человек, и наблюдал, как тот, продолжая беззаботно насвистывать, ни разу не оглянувшись и даже не заперев за собой стеклянную дверь, бросил покупки на диван, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Потом снова собрал все свертки, прошел через вторую, внутреннюю, дверь и кого-то окликнул. У Майны бешено заколотилось сердце, кровь больно ударила в голову. Вот он, этот пиджак! И в нем — бумажник, за которым он так долго охотился!

Какую-то долю секунды он стоял в нерешительности, но, услышав шаги хозяина, возвращавшегося по коридору, встрепенулся, бросился в переднюю, схватил пиджак и побежал обратно к выходу. Стул, на котором висел пиджак, с грохотом повалился на пол. В этот момент в передней появился хозяин. В мгновение ока он сообразил, что случилось, и закричал. Потом поднял стул и бросил в Майну. Но тот успел выскочить, и стул, ударившись о раму двери, разлетелся на части.

Люди, стоявшие на автобусной остановке, обернулись на шум и увидели бегущего вора. Не долго думая, они стали у края аллеи и преградили ему путь. Заметив опасность, Майна изменил направление и побежал между цветочными кустами и висящим на веревках бельем обратно, на задний дворик дома. Дворик окаймляла пятифутовой

высоты терновая изгородь, за которой зеленел сплошной кустарник. В нем было спасение. Терн недавно подрезали, острые его шипы угрожающе целились в Майну. Он никогда не занимался спортом и не умел прыгать, но надо было спасаться любой ценой. Не колеблясь, он разбежался и прыгнул и в ту же минуту почувствовал, что всей своей тяжестью угодил на колючки. Но силой инерции его перекинуло на другую сторону изгороди. Исцарапанный, весь в синяках, он упал на землю. Потом встал и, не выпуская из рук пиджака, побежал в чащу. Там его уже поджидали Подметальщик и Профессор. Он почти упал им на руки, и они потащили его дальше в глубь зарослей. Тяжело отдуваясь, он старался вспомнить, что с ним произошло несколько минут назад, и в то же время чувствовал, что товарищи радостно поздравляют его и похлопывают по спине. Но в глазах его по-прежнему плыли круги. Ему все еще мерещилась полиция, бегущая толпа и... холодный, леденящий душу нож Бритвы.

5

Впервые за долгое время в бедной халупе в центре Шенти-ленд состоялось веселое пиршество. Пол подмели, жизнь в доме забила ключом. Еда была в изобилии, и речи лились так же легко, как нубийский джин из небольших белых бутылок. Люди урчали от удовольствия, набивали рты — казалось, у них вот-вот лопнут щеки. Время от времени кто-нибудь переставал жевать и пьяным голосом изливал на Майну, «героя века», слова сердечной благодарности. Все признавались, что никогда у них не было столько денег, еды и выпивки, как сегодня.

Майна радовался, что все так удачно сложилось, хотя синяки и царапины давали себя чувствовать. Ему было приятно видеть довольные улыбки на лицах тех, кто долгое время не улыбался совсем. Впрочем, это не были улыбки в полном смысле слова — люди просто с удовольствием открывали рты, чтобы набить их пищей, а потом жевали, кивая головой. Важно то, что они довольны; а то, что их никто не научил говорить «спасибо» — не имеет значения. Даже во взгляде Подметальщика угадывались довольство и признательность. Майна заметил, что и Сара то и дело бросает в его сторону восхищенные взгляды. Но больше всего его радовало то, что он вышел из этой истории более или менее невредимым, если не считать ободранной кожи, клочки которой висели точно флажки на острых шипах терновой изгороди.

Веселье достигло высшей точки, когда кто-то предложил произнести речь в честь Майны и поблагодарить его за смелый поступок, избавивший всех от голода. Слово взял Профессор. Но речи у него не получилось, потому что он был слишком пьян и не мог стоять на ногах достаточно долго, чтобы высказать главную мысль. Начал он с небылицы: будто бы Майне пришлось драться со всей семьей и будто бы только он, Профессор, пришел на выручку мужественному товарищу. Тут Подметальщик прервал его и обвинил во лжи. Началась ссора, и они едва не пустили в ход кулаки. После этого испробовал свое ораторское искусство Каменобоец, однако и его речь получилась не лучше. Он был так переполнен чувством любви и восхищения Майной, что из его единственного глаза потоком хлынули пьяные слезы, и он быстро умолк. Слова благодарности застряли у него в горле.

Пока другие ораторствовали, Бритва предложил Майне отпить немного нубийского джина. До сего дня Майна не пристрастился к спиртным напиткам, а гашиш употреблял либо по необходимости,

либо от нечего делать. Но теперь, желая показать свою удаль, он взял у Бритвы бутылку и отхлебнул из нее. Горькая жидкость обожгла ему горло, и он не стал больше пить.

— Давай, давай, выпей еще,— подбадривал Бритва.— Для здоровья полезно.

Все, кто был в хижине, сказали, что Бритва прав. Все должны пить за здоровье друг друга. Но Майна решительно отказался, показав жестом, что с него довольно.

— Смотри, как надо пить,— сказал Бритва и, взяв горлышко в рот, выпил большую часть джина. Потом передал бутылку Майне.

Майна посмотрел дьявольский напиток на вечерний свет, проникавший с улицы через открытую дверь, и покачал головой.

Выход из затруднения нашла Сара. Она дала Подметальщику несколько монеток и отправила его с тайным поручением. Тот принес бутылку шипучки, чем вызвал всеобщее одобрение. Сара старательно смешала шипучку с джином и подала Майне. Это было уже лучше. Майна оглядел напряженные подбадривающие улыбки друзей и быстро опорожнил стакан.

Тем временем на улице стало совсем темно, и впервые сумрак лачуги показался им невыносимым. Не потому, что они привыкли к лучшему освещению, а потому, что никогда еще у них не было такого изобилия еды и питья. Каждый хотел веселиться и видеть, как веселятся другие.

В тот вечер Профессор совершил чудо: раздобыл где-то замызганный огарок и зажег его. Наглухо закрыли скрипучую дверь, и в доме воцарилась любовь.

Но скоро, очень скоро еда, закупленная Сарой, кончилась — на полу в углах валялись только объедки. Всеобщее внимание привлекала теперь бутылка с джином. Кое-кто начал тихо напевать веселую песенку. Даже Майна уже не противился, когда ему предлагали пить прямо из бутылки. Сознание его притупилось, и, когда кто-то извлек из кармана окурок с гашишем, он, как и все остальные, встретил это событие с одобрением. Дурманящая сигара странствовала из уст в уста. В этом ритуале, равно как и в распитии джина, участвовала и Сара. Голоса звучали все громче, и Майна, несмотря на опьянение, забеспокоился.

— Ш-ш-ш...— зашипел он икая.— З-зачем так громко? Ведь могут услышать.

Он был прав. Их пьяные голоса слышали, наверно, даже на искусственных спутниках земли — для этого не требовалось ни антенны, ни передатчиков. Разумеется, слышало их и большинство граждан Шенти-ленд, только никто не осмеливался приблизиться к хижине Бритвы. Так что шайка веселилась вовсю.

— Ты все еще боишься? — засмеялся Бритва.— Успокойся, друг. — Шенти-ленд — наша священная земля. Я здесь король. Нет у нас ни солдат, ни полиции, ничего. Так что бояться нечего. Пей и кричи сколько влезет. Здесь Бритва хозяин. Так, ребята?

— Так, так! — закричали «ребята». Наконец-то нашелся оратор, способный произнести осмысленную речь.

Майна напряженно улыбнулся. Сигара совершила, наверно, уже сотый круг. Словно из ничего возникла вдруг песня, да такая разухабистая, что Майна только рот разинул. Подобных песен он сроду не слыхивал. Каменобоец, сверкая своим глазом, запевал, ему вторил Подметальщик, а все остальные, кроме Майны, Бритвы, его возлюбленной Сары и безнадежно пьяного Профессора, дружно подхватили. Хриплые, грубые голоса звучали все громче и громче, но хора не получилось, и песня иссякла. Кто-то попробовал снова запеть, но безус-

пешно. Те, кто больше всех говорил о дружбе, начали ссориться. Но они были слишком пьяны, чтобы затеять настоящую драку. Удары не причиняли вреда, бутылки летели мимо цели. В конце концов обессиленные драчуны опустили руки и лениво расселись вдоль стен. И снова — уже в который раз — сигара, пропитанная джином, поплыла из рук в руки, наполняя комнату ядовитым дымом. Единственным трезвым существом в хижине оставалась воткнутая в горлышко бутылки свеча, свет которой отбрасывал на стены пьяные, уродливые тени людей.

Бритва поднялся кое-как на ноги и вышел с Сарой за дверь справить нужду. Вернувшись домой, они упали на кровать и предались пьяным ласкам. Большая же часть шайки продолжала сидеть и грезить вслух о том блаженном времени, когда у всех будет в достатке и еда, и пиво, и сигареты, и прочее. Лишь немногие из них бывали когда-нибудь даже в настоящем баре.

Пирушка затянулась до поздней ночи. Джин кончился, и некоторые стали опрокидывать пустые бутылки в надежде добыть хотя бы несколько капель спиртного. Кто-то нечаянно проглотил окурок сигары, так что делать стало совсем нечего.

И как раз в это время появилась новая бутылка джина. Все оживились и зашумели.

— Кто это прятал от нас джин? — спросил Каменобоец. — Дай-ка мне глоточек.

Он попробовал вырвать у счастливца бутылку, но тот не отдавал. Началась возня. Подметальщик, раздраженный шумом, тотчас ринулся в бой. Рывок был столь неожиданным, что драчуны не оказали ему никакого сопротивления. В одно мгновение он разнял их и отшвырнул в угол. Бутылка осталась у него в руке. Он поднес посудину к свету: почти полна. Хотел было приложиться к горлышку, но те двое прекратили драку и бросились на него, сбив с ног. Каменобоец первый схватил бутылку и, опрокинув ее вверх дном, вылил себе в горло почти все ее содержимое. Но в ту же минуту почувствовал что-то неладное и начал энергично отплевываться. Понюхал бутылку и скорчил брезгливую гримасу.

— Что это за напиток? — встревоженно спросил он.

Подметальщик протянул руку.

— Дай-ка я погляжу.

Взяв бутылку, он подошел ближе к свету и только теперь увидел, что оставшаяся в ней жидкость желтого цвета. Он покачал головой и понюхал. Склонил голову набок, подумал немного и понюхал еще раз. Возвратил перепуганному Каменобойцу бутылку, согнулся почти вдвое и упал на пол. Тело его содрогалось от хохота. Остальные недоуменно смотрели. Привстал с кровати Бритва и тоже проверил странную жидкость на запах. Принюхавшись, повалился обратно на кровать и закатился смехом. Начался всеобщий хохот. Каменобоец стоял, пьяно улыбаясь, посреди хижины и держал в руке с таким трудом отвоеванную бутылку.

— Ну, так допивай, приятель,— проговорил сквозь смех Подметальщик.— И будь здоров. Моча — вещь полезная.

Каменобоец как-то странно изменился в лице. Весь вид его показывал, что он мучительно переживает свое дурацкое положение. Страх, обида, негодование — все перемешалось в его помутненном сознании. Он с силой взмахнул бутылкой и швырнул ее в стену. Посудина пробила картон и вылетела наружу. Было слышно, как она ударилась о твердую землю и вдребезги разбилась. Подметальщик застонал, опустился на колени и заколотил кулаками по полу. Его начало тошнить.

Майна смеялся вместе со всеми — сначала как-то несмело, потом все громче и громче. Пусть знают, какие у него голосовые связки. Он тоже умеет смеяться. Под конец он закатился таким смехом, что его пьяные вопли прорезали ночную тьму улиц и разбудили большую часть жителей Шенти-ленд. Те выходили в свои дворики и перекликались с соседями.

— Откуда такой шум?

— Из хижины Бритвы.

— Что у них там — пожар?

— Кто их знает. Хорошо, если пожар.

— Господи, да что же они там делают?

— А ты пойди и спроси.

— О, нет.

— Вот скоты,— тихо выругался кто-то и захлопнул за собой дверь. Остальные последовали его примеру. На их памяти такой кошмарной ночи не было уже много лет.

В хижине Бритвы медленно догорала свечка. Тише становились пьяные голоса людей. Каменобоец, выплакав все слезы, заснул на полу. Его оставили в покое. Никто не стал допытываться, кому вздумалось наполнить бутылку мочой. Может, этот человек хотел сделать доброе дело и угостить их коктейлем собственного изготовления? Надо еще благодарить его за то, что он придумал такое веселое развлечение. Вполне вероятно, что виновником всего был изобретательный Профессор, ибо, как выяснилось, наполненная бутылка была впервые обнаружена рядом с ним. Самого Профессора в это время видели спящим, и никто не заметил, чтобы он хоть раз вышел на улицу помочиться, в то время как все остальные выходили. Однако никто не придал этому факту значения, да и вообще инцидент был скоро забыт. Все устали и хотели спать.

— Майна! — неожиданно позвал Бритва.

Вместо ответа Майна промычал что-то невнятное.

— Ты не знаешь, что случилось с Кимайто?

— Он выпил мочу.

Бритва тихо засмеялся.

— Да я не про Каменобойца. Он же одноглазый, какая ему школа?

Майна хихикнул.

— Школа. Ты когда-нибудь интересовался, кто обучает поваров в пансионах?

— В пансионах? — повторил кто-то.— Знакомое слово. А что это такое?

— Не знаешь, что такое пансион? — спросил, икая, Майна.— Ты что, только в детском саду и учился?

— Да он и про детский сад не знает,— сказал Бритва.— Он же нигде не учился.

— А ты учился?

— Конечно. В частном. Но не только в детском саду. Мы с Майной и в среднюю школу ходили.

— Что значит «средняя»?

— Эх ты, темнота,— засмеялся Бритва.— Расскажи ему, Майна, про школу. Расскажи, чем мы там занимались.

Майна икнул.

— Мы пели, играли и считали пальцы.

— И это все? — спросил Подметальщик.

Майна посмотрел на него осовелыми глазами.

— Да.

— Ну тебя,— запротестовал Бритва.— Скажи им, что мы еще делали.

Майна задумался. Голова у него плохо соображала. Он снова икнул.

— Ну, скажи, скажи,— не отставал Бритва.

Майна почесал затылок.

— Ну, считали... пальцы... и на ногах тоже.

— Неужели не можешь вспомнить ничего более интересного? — проворчал Бритва.— Помнишь, какое коленце ты, я и Кимайто выкинули? И как нас тогда наказали?

Глаза Майны бессмысленно блуждали по сторонам.

— Пальцы друг у друга считали, пили мочу...

Бритва понял, наконец, что от Майны уже ничего не добьешься, и обернулся к Саре. Та крепко спала.

— Свинья ты, Майна,— сказал он сонным голосом.— Хоть и школьный товарищ, а свинья. Не помнишь разве, как мы стащили у учителя портфель и убежали из школы?

— Не убегал я ни из какой школы,— возразил Майна.— Я держался до конца...

— И осел к тому же,— продолжал Бритва.— Пьяный осел.

Майна засмеялся, не понимая, почему Бритва сердится.

Все обитатели лачуги уже спали. Свеча почти сгорела. Осталась лишь капелька стеарина, крошечное пламя билось о горлышко бутылки. В притупленном сознании Майны всплывали, сплетались и растворялись картины прошлого.

— Знаешь что, Бритва,— сказал он.— По-моему, я никогда вместе с тобой не учился. По-моему, ты вообще нигде не учился. Не было среди моих школьных товарищей ни одного, кто воровал бы у учителей портфели и убегал бы из школы.— Майна снова икнул.— Я люблю чтение, Бритва. Я прочел много книг. И в пансионах бывал, безропотно ел их болтанку и спал на их тюфяках. Сдал экзамены и отправился на поиски приличного места. А в городе спал в мусорных баках и... прислуживал в разных паршивых кухнях. И вот попал в твою грязную шайку...— Майна сделал паузу. Бритва громко храпел.— А еще у меня был друг. Замечательный. Таких друзей твоя братия никогда и не видывала. Настоящий земляной червь. Землю копал лучше крота. Хороший был товарищ. Мы с ним вместе читали. Прочли столько книг, сколько вам, мартышкам, и не снилось. Жаль, что Меджи здесь нет, а то он сказал бы вам, что я о вас думаю.— Майна икнул и клюнул носом.— Так что, Бритва, живешь ты без толку. Прячешься в этой дыре, пьешь мочу и жрешь насекомых, словно мышонок какой. И все вы тут ублюдки. Ублюдки, Бритва. Но мне вы нравитесь. Мне бы надо...

Огонек свечи, напуганный обступавшей его темнотой, все еще отчаянно цеплялся за жизнь. Потом забился в агонии, точно умирающий человек, вспыхнул в последний раз и пропал в холодной тьме. Да и весь Шенти-ленд окутался мраком, скрывшим его нищету и счастье, его привязанности и тайные страхи.

Майна лениво плелся по улочке предместий. Его патрульная служба кончилась, и он шел отчитываться перед главарем шайки. День выдался весьма удачный, его товарищам приятно будет узнать, что скоро, очень скоро у них появится еда. Ремесло свое он освоил окончательно и не боялся ходить по городу один. Встреча с полицейским его уже не пугала; с Подметальщиком и другими членами шайки он научился ладить. Конечно, полиция и до сих пор играет в его опасной игре далеко не последнюю роль, но с ней можно ужи-

ваться, пока не даешь повода для подозрений. Порою полицейские бывают даже дружелюбны, если ты не суешь носа на подвластную им территорию. Но слишком уж фамильярные отношения могут расположить полицейского к тебе настолько, что он посадит тебя в машину и отвезет в участок. А там — темная комната и пристрастная «беседа», которая вполне может кончиться выдачей тебе тюремной «стипендии». Избежать этого жестокого исхода можно только одним способом: никогда не пытаться убедить в чем-нибудь полицейского. Раз уж он задался целью заслужить себе медаль, то никакие доводы разума не убедят его в твоей невиновности. Для него ты всегда преступник, даже если твое преступление ничем не доказано. Многие честные граждане, пытающиеся защитить свое доброе имя, только усугубляют положение, от решетки же их это все равно не избавляет. Поэтому Майна твердо усвоил одно сокровенное правило: увидишь полицейского — сразу пускайся наутек и моли бога, чтоб тебя не догнали. Даже если этот полицейский дружески с тобой заговаривает.

Как объяснить ему, почему ты в лохмотьях и без ботинок? Полицейские хотят знать все: и что ты ел сегодня на обед, и где тебя искать в декабре будущего года. Как объяснить ему, почему ты стоишь у витрины и с вожделением глядишь на выставленные там кексы? Если скажешь, что пробовал кекс только один раз в жизни (на ферме, в двадцати милях от города), то он спросит, почему ты сейчас не на ферме и почему слоняешься по улицам, в то время как все остальные работают. Не скажешь же ты ему, что работаешь вором-карманником. Так что как ни крути, а дорога тебе одна — в тюремную камеру; полицейский же, этот милый слуга народа, получит за тебя новенькую блестящую медаль, а то и прибавку к жалованью. Каждый живет как умеет.

Майна дошел до косогора, спускавшегося к Шенти-ленд, и остановился в глубоком раздумье. Люди, изредка проходившие мимо, с уважением посматривали в его сторону. Его здесь уже знали. Хотя он и состоял в шайке Бритвы, но был добрее и общительнее других, в глазах его не было такой пустоты и жестокости. Он не пинал ногами кур, не давал затрещин детям, мешавшимся у него под ногами. Его редко видели пьяным. Он никогда не выплескивал воду на картонные стены соседских хижин и не обзывал соседей скверными словами. Люди радовались, что среди товарищей Бритвы нашелся человек, который вежливо здоровается с ними и относится к ним с участием. Случалось даже, что Майна давал кое-кому из жителей поселка взаймы деньги, заранее зная, что те никогда не смогут вернуть долг, хотя и обещают.

Майна задумчиво смотрел с вершины холма вниз, на поселок. В воздухе, как обычно, стояли дым, пыль и гомон. Люди и животные. Люди, возвращавшиеся домой после бесконечных поисков средств к существованию, не вызывали у него неприязни. Напротив, он считал, что со временем мог бы и полюбить их. Он сравнил жителей Шенти-ленд с батраками фермы, на которой трудился вместе с Меджей. Батраки, работающие за банку муки и бутылку снятого молока, низведены до положения чуть ли не рабов белого хозяина и его приказчика-зверя, в то время как обитатели Шенти-ленд чувствуют себя свободными. Правда, они тоже бедны, но над ними, по крайней мере, нет ни хозяина, ни приказчика. Здесь каждый себе хозяин, каждый как умеет добывает пропитание своей семье. И каждый надеется на лучшую долю. В Шенти-ленд нередко можно встретить ветерана, много лет прожившего в поселке,— ему и жить-то, может быть, осталось недолго,— который говорит: «Когда я накоплю денег, то...» Вот что значит

сила духа. Такое отношение к жизни близко и понятно Майне, ибо оно и ему помогло выдержать много испытаний: учебу в школе, скитания на задворках, работу на ферме и, наконец, жизнь в «священном» Шенти-ленд.

— Приветик! — услышал он у себя за спиной и быстро обернулся на женский голос.

— А, Делила. Привет,— обрадованно сказал он и протянул девушке руку.

Делила, одна из самых привлекательных девушек в Шенти-ленд, внимательно посмотрела на него.

— Ты чем-то встревожен?

Он улыбнулся и покачал головой:

— Нет. Просто думал.

— О ком?

— О тебе, крошка. О ком же еще?

— Ну, и что ты обо мне думал? — с улыбкой спросила она.

— Где ты была?

Она помедлила с ответом. Он смотрел на нее: большие черные глаза, длинные черные ресницы, круглое личико и улыбчивые губы, обнажавшие два ряда ровных зубов.

— На работе.

— На работе?

— Да.

Ее улыбка показалась Майне вызывающей. Значит, нашла себе место и теперь работает.

— Давно?

— Уже три дня.

Майна улыбнулся, сжал ее маленькую ладонь и заглянул ей в глаза:

— Где?

— В городе.

— Где в городе?

— В баре «Дружба».

Майна удивленно поднял брови.

— Официанткой.

Он смотрел на нее с застывшей улыбкой. Потом качнул головой и тихо прищелкнул языком. Знакомясь с ней несколько месяцев назад, он пленил ее именно этим жестом и этим прищелкиванием.

Она широко раскрыла глаза и спросила:

— Ты не рад?

Майна не отвечал. Желая скрыть свое огорчение, он погладил ее плечо и крепче сжал руку. Но она разгадала его мысли, и он это понял. Она знала, чего он боится. Он попробовал снова улыбнуться, но вместо улыбки получилась страдальческая гримаса.

— Я не брошу тебя, Майна,— с жаром сказала Делила.

Майна притворно засмеялся.

— Никогда?

— Никогда.

— Даже если я вор, грабитель, пьяница и... безработный?

— Даже если ты одноглазый, одноногий и страшный, как дьявол.

Майна с нежностью посмотрел на нее и хотел было опять прищелкнуть языком, но Делила сделала это раньше него. Они рассмеялись. Она придвинулась ближе и заглянула ему в глаза. Он обнял ее за плечи и стал целовать в лоб. Сзади послышались чьи-то шаги, и они отпрянули друг от друга. Майна оглянулся. По тропинке шла пожилая женщина. Она улыбнулась понимающей улыбкой и прошла мимо в сторону поселка. Делила высвободилась из его объятий.

— Мне пора.

— Куда ты торопишься? — спросил он.— Может, тебе стыдно, что нас видят вместе?

— Не надо так говорить. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но иногда я не понимаю тебя. Твое поведение такое... странное.

Майна взял ее руки в свои и посмотрел на ее обиженное лицо.

— Ты мне нравишься,— сказал он.

— Только нравлюсь?

— Не только.

— Очень нравлюсь?

— Да, очень, очень и даже больше.

— Любишь? — Она широко улыбнулась.

Майна, стараясь удержать слезы, выдавил улыбку.

— Майна, ты женишься на мне? — спросила она и обхватила его руками.

Вопрос этот, точно кувалда, ударил его по голове.

— Когда?

Она задумалась.

— Ты прав. Я должна была спросить иначе. Когда ты на мне женишься. Майна?

Майна все еще улыбался. Он был в затруднении.

— Я первый тебя спросил. Ответь сначала ты.

Она вскинула голову и посмотрела ему в глаза. Лицо ее вдруг сделалось серьезным.

— А выйдет ли толк из нашей женитьбы?

Майна растерянно пожал плечами.

— Вот что мне хотелось бы знать,— продолжала она.— Очень хотелось бы.

— Мне тоже,— тихо сказал он.

— Ты знаешь, что я люблю тебя, Майна?

— Конечно.

Если бы он сказал, что тоже любит ее, это была бы истинная правда. Делила — единственный человек в Шенти-ленд, единственная женщина в мире, которая понимает каждое движение его души и знает, чем он живет и, что еще важнее, чего страшится. Но он не хотел признаваться ей в любви. Пусть сама догадается. Да, он хотел бы на ней жениться. Но он не имеет на это права. И не станет объяснять почему. Всякое объяснение обидит ее. Они оба прекрасно понимают, что их дружба так и останется дружбой. Это так же верно, как то, что он любит ее. Делила должна это понять. Но беда в том, что женщинам свойственно слушаться веления сердца, а не разума.

— Ты не ответил на мой вопрос, Майна. Ты же...

— А разве нельзя... любить и оставаться друзьями? Неужели надо обязательно жениться?

— Ты не понимаешь,— сказала она.— Женщина хочет быть не только любимой. Ей нужны замужество, дети и... Нет, ты неспособен этого понять.

— Нет, почему же. Я понимаю.

Да, он понимал. Слишком хорошо понимал. Однажды — это было еще в далекие школьные годы — ему пришлось слышать такие речи. Попавшись на удочку, он надавал кучу невыполнимых обещаний. Но сейчас — другое дело. Он стал взрослее и умнее. Теперь он все понимает. Хочет ли женщина быть любимой? Да. Но одной любви ей мало. Ей нужен муж, нужны дети, жилище, счастье и обеспеченная жизнь. А что, кроме любви, может предложить ей Майна? Ничего. Не приведет же он ее на правах жены в лачугу Бритвы. Там и без этого неприятностей хватает. Сара не потерпит, да и Бритва тоже, чтобы у них

в доме жила еще одна женщина. А что они будут делать с детьми в окружении воров? Детям нужен отец, способный содержать их постоянно, семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, а этого Майна обещать никак не может. Он и сам-то не каждый день ест. Если Делила хочет замуж, то Майна должен порвать с ней ради ее же пользы. И дать возможность выйти за такого человека, который в состоянии предоставить ей домашний очаг и хоть какие-то материальные блага. Ему будет трудно без нее, он это знает, но другого выхода нет. Да, любовь, в сущности,— еще не самое главное.

— Мне пора идти,— сказала Делила и разняла руки.

— Мы сегодня еще увидимся?

— Вечером я работаю.— Голос ее дрожал.

— В баре?

— Я вижу, тебе это не по душе.

— Там будут другие мужчины.

— Я бы с радостью обслуживала тебя, а не других.

Он вздрогнул и отвернулся. Делила поняла, что обидела его, и почувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она знала, что не суждено ее возлюбленному стать «настоящим мужчиной». Никогда она не увидит его в баре на высоком табурете — веселого, хмельного, как все настоящие мужчины. Знал это и сам Майна.

— Когда же мы все-таки увидимся? — спросил он.— Завтра вечером?

Она в раздумье опустила голову.

— Да, завтра вечером.

— Ну, значит, до завтра.

Майна стоял и смотрел, как она идет, покачивая широкими бедрами. Вид ее полной фигуры в голубом платье действовал возбуждающе. Он встряхнул головой и быстрыми короткими шагами пошел в Шенти-ленд, насвистывая мотив старой веселой песенки, которая вдруг показалась ему наполненной новым смыслом. Песенка называлась «Моя любовь».

Вся шайка — трезвая, голодная и, как обычно, угрюмая — была в сборе. Когда нет нубийского джина, еды и гашиша, то нет и шуток, смеха и песни. Вот она, шайка Бритвы. Майна попробовал представить себе, чем эти парни были до того, как сделались ворами и наркоманами. Вообразил их мальчишками: бегают без штанов по деревне, их рубашонки полощутся, точно флаги, от ветра; кожа на теле грубая, грязная, волосы кишат насекомыми. Помыть этих ребят — целая проблема. Во время мытья они поднимают такой гвалт, что их слышит вся деревня. Признают они только один вид купания — это когда мать случайно окатывает их грязной водой из ведра. Выдернуть у такого мальца молочный зуб — все равно что подвиг совершить. Матери самой с этой операцией не справиться, она вынуждена звать на помощь соседок.

Такой же жизнью жил в детстве и Майна, поэтому хорошо знал и понимал эту среду.

Он застал своих сожителей лежащими в странных, неестественных позах. Если бы они изредка не открывали глаз и не ворочались, то их можно было бы счесть неживыми. Бритва лежал один на кровати. На появление Майны он реагировал легким поворотом головы.

— Ну, как? — спросил он.

— Неплохо.— Майна плюхнулся на стоявший в углу ящик и оглядел комнату. Вот новая домашняя утварь: две кастрюли, несколько металлических тарелок, кружек и ложек. Она появилась несколько месяцев назад, после того памятного дня, когда Майна стащил у белого человека пиджак с большой суммой денег. Пиджак присвоил

себе Бритва, а часть денег Сара, проявив хозяйственность, потратила на дорогостоящую посуду. Однако сомнительно, что все это добро сохранится в доме надолго, подумал Майна. С ухудшением их финансового положения отпадает надобность и в посуде, так что в конце концов ее сдадут под залог. От очага тоже придется избавиться: слишком большая роскошь. И так уж спалили почти все ящики, так что не на чем стало сидеть, а теперь добрались и до крыши. Одну стропилину прожорливое пламя уже поглотило. Сходить бы кому-нибудь за дровами, но ни у кого не было сил заставить себя немного поработать. Лицо Майны скривилось в улыбке.

— Раздобыл что-нибудь? — спросил Бритва.

— Сегодня — ничего.

Те, кто с надеждой поглядывал на Майну, снова опустили веки, как только узнали, что он пришел с пустыми руками. Слышно было, как у кого-то возмущенно заурчало в желудке.

— А завтра?

— Ни завтра, ни даже послезавтра. За один день этого дела не провернешь. Терпенье надо. Кроме того...— Майна сделал многозначительную паузу,— мне, возможно, потребуется немного наличных денег.

Бритва отвернулся к стене.

— На что тебе деньги?

Майна взглянул на него, потом на остальных.

— На тетрадь, папку и авторучку.

— Хм.— Бритва был явно заинтригован.

— Да. На этот раз я придумал кое-что новое. Воспользуюсь пером и бумагой. Не зря же меня в школе учили.

Бритва вперил взгляд в потолок.

— Подлог?

Майна покачал головой.

— Подлог — старо. У меня другая идея, более современная. Нечто совсем другое. В случае удачи все расходы окупятся в сто, а то и двести раз. Грандиозный план!

Бритва вздохнул:

— Иначе и не должно быть. Не можем же мы тратить время и деньги на пустяки.

— А еще мне белый комбинезон надо,— сказал Майна.

Бритва встрепенулся, посмотрел на товарищей и лег на живот, подперев голову руками.

С улицы доносился несмолкаемый гул. Жизнь в Шенти-ленд текла своим чередом, словно и не было хижины Бритвы с ее волнениями и заботами. А в хижине этой изнывали от безделья люди, обессиленные голодом и отчаянием.

— Ну-ка, что там у тебя за грандиозный план? — спросил Бритва.

Майна хитро улыбнулся:

— Сейчас объясню.

6

Наутро Майна встал чуть свет. Прежде чем приступать к осуществлению плана, надо было кое-что уточнить. В хижине все еще спали, когда он выбрался из Шенти-ленд. По пути его обогнало несколько автомашин, в том числе одна полицейская, так что ему пришлось спрыгнуть в кювет, чтобы не попасться ее пассажирам на глаза. Уличные фонари еще горели. Он прошелся по Кедровой аллее, приметил дома, где за воротами лаяли сторожевые собаки, изучил подходы к калиткам.

Затем свернул на боковую улицу, вышел на Восточный проезд и там, под густой кроной большого дерева, стал ждать.

Вскоре на Восточном проезде появился разносчик молока, и Майна, держа дистанцию, последовал за ним. Подойдя к дому, молочник останавливался, ставил одну-две бутылки молока и шел, насвистывая, дальше. Майна следил за каждым его движением. Затем они свернули в Западный тупик, и там повторилось то же. В конце улицы стоял автофургон. Молочник подошел к нему, сел рядом с шофером и поехал с оставшимся молоком в другой квартал. Майна, прячась от набегавшего на него света фар, распластался на дне канавы и стал ждать, когда исчезнут из вида задние фонари машины. В воздухе еще пахло бензиновой гарью, а он уже вскочил на ноги и поспешил вон из опасной зоны. Назад, в Шенти-ленд.

До дома оставалось с полмили пути, когда Майна услышал шум, напоминающий раскаты грома. Шум этот сопровождался треском, какой издают ломающиеся сухие палки. Глядя в направлении Шенти-ленд поверх низеньких домиков, он увидел медленно поднимающееся к небу густое черное облако дыма, гигантские языки пламени и миллиарды искр. Потом до его слуха донеслись звон колокола на пожарной машине и вой сирены. Чувствуя, как у него колотится сердце и холодеет голова, он побежал, спотыкаясь и падая, по направлению к дому.

На вершине холма Майна остановился. Лицо у него горело, грудь сдавило, со лба стекал пот, одежда прилипла к телу. Внизу, у горящих лачуг понуро толпились жители Шенти-ленд. Они сбились в кучу, точно объятое страхом стадо, а рядом с ними грудой лежали узлы с жалкими пожитками. Плакали дети, разбуженные в столь ранний час, женщины успокаивали их, а мужчины то и дело шмыгали в огонь, пытаясь спасти еще что-нибудь ценное. Пламя ревело все громче, озаряя испуганные лица людей.

Кое-кто из женщин, как и большинство детей, были полураздеты, мужчины — в нижнем белье, их худые шеи блестели от пота.

Нескольких хижин на краю Шенти-ленд огонь еще не коснулся, и пожарники попытались их спасти. Но борьба была неравная: пламя, одержимое жаждой уничтожения, с ревом обрушилось и на эти дома.

Пронзительно закричал младенец, мать которого, потеряв сознание, упала на груду глиняной посуды и плетеной мебели. Из огня выскочил, нагруженный вещами, какой-то мужчина. Глаза его были широко раскрыты, язык высунулся точно от жажды. Когда он упал, двое дюжих пожарных, ломавших обгорелые строения и искавших тех, кто, может быть, остался в живых, подскочили к нему, помогли выбраться из-под кастрюль и разного тряпья и отнесли на вершину холма, где пострадавшим от ушибов, царапин и ожогов оказывали первую помощь. Имущество, которое этот человек спасал с риском для жизни, осталось на прежнем месте, и пламени не составило труда превратить его в кучу серого пепла.

Водопровода в Шенти-ленд не было, поэтому пожарные, истратив всю привезенную ими воду, отошли в сторону и только наблюдали, как огонь съедает то, что они не успели спасти. Из горевшей лачуги на окраине поселка донесся отчаянный вопль ребенка. Один из пожарных бросился было на помощь, но едва он сделал три шага, как крыша лачуги рухнула и поднялось густое черное облако дыма. Вопли ребенка потонули в реве огня. Пожарный закрыл лицо руками и, поняв, что ничего сделать не может, отпрянул назад. Потеряли сознание еще несколько женщин.

Тем временем к поселку подъехала, оглашая местность воем сирен, колонна машин «скорой помощи».

Быстро наступал рассвет.

Майна смотрел на все это вместе с другими, не в силах сдвинуться с места. Он ошалел от жары, дыма и отчаянных криков людей. От мысли о товарищах, которых он оставил ночью в лачуге, его бросило в дрожь. Ведь они крепко спали. Живы ли они?

Пламя завершило свой последний аккорд злобы и гнева, снова осветив небо градом искр. Пожар сделал свое дело. Из темно-красного, как свежая кровь, огонь превратился в желтый, короче стали языки пламени. Пламя уже не ревело, а тихо и насмешливо смеялось, как бы удовлетворенное своей работой. Дымовая туча стала меньше, сажа мелкими хлопьями падала на головы людей и слепила глаза. Подул прохладный утренний ветер, унося дым, как дурную весть, в сторону города, рассеивая его над богатыми предместьями с их благоустроенными дорогами и чистыми газонами.

Майна переходил от одной группы к другой, ища свою шайку. Прибыла полиция. Полицейские сновали в толпе и расспрашивали людей, стараясь установить причину пожара. Много любопытных набежало из других районов города. Они стояли в отдалении и взирали на то, что осталось от Шенти-ленд. Но смотреть, в сущности, было не на что. Почему они не приходили смотреть, когда жизнь в поселке била ключом? Этого Майна не понимал.

Бритва сидел, прислонившись спиной к дереву, в кругу своих верноподданных, в стороне от толпы. Даже в минуту бедствия они не желали смешиваться с обычными гражданами поселка.

Увидев своих, Майна чрезвычайно обрадовался. Он успел привязаться к этим полуграмотным, заблудшим людям, сознание которых отравлено наркотиками, алкоголем и беспутной жизнью.

Уже взошло солнце, а Бритва и его товарищи, переглядываясь, покачивая головами и бормоча что-то невнятное, все еще глазели на пепелище и на пожарников, бог знает что разыскивавших среди головешек. Возможно, они искали обгорелые кости, которые помогли бы им сосчитать число жертв.

Наконец, Бритва встал и пошел прочь из поселка. За ним последовали остальные. Профессор беспокойно засопел.

— Куда мы илем?

— Что теперь будем делать? — растерянно спросил Каменобоец.

Оба вопроса повисли в воздухе. Бритва резко повернулся лицом к Майне.

— Как это случилось? — спросил Майна.

— Мы спали,— только и сказал Бритва.

Майна вздохнул.

— Как прошла патрульная служба?

— Хорошо.

— Когда приступаешь?

— Завтра утром,— ответил Майна.— У тебя все готово?

Бритва протянул ему узел, который держал под мышкой. Майна взвесил его на руках.

— Здесь все, что я просил?

— Все.

Некоторое время они шли молча. Никто не отставал. Все доверились своему главарю — это его обязанность указать им, где их новое надежное пристанище. Даже Сара молчала, веря в его мудрость.

Солнце начало уже припекать. Ободранные, жалкие, они миновали предместья и приближались к городу. Майна, не выдержав молчания, спросил:

— Куда мы идем? Какие у тебя планы?

Вся группа шла теперь строем, по трое в шеренге. Впереди шествовали Бритва, Сара и Майна.

— Надо начинать все сначала,— ответил, не поворачивая головы, Бритва.— Есть одно местечко за городом. Надежное. Жить-то ведь надо, вот мы и будем жить.

Его мозг усиленно работал. Где-то в долине, поросшей темным лесом, есть для них место. Там есть ручей, на берегах которого они начнут новую жизнь. В прохладной тени деревьев вырастет новый Шенти-ленд. По примеру прошлых лет жители поселка перекочуют следом за ним на новую землю. Жизнь возобновится. Да, туда переберутся все, он в этом уверен. Потому что деваться им больше некуда. Подобно животным, преследуемым страхом и голодом, они будут вместе с ним искать в лесу убежище. Нет, для Бритвы поселок Шенти-ленд не погиб, хотя море огня и превратило его в пепел. Поселок просто заснул. Скоро он восстанет из руин, возродится в другой долине, на берегу ручья. Для этого требуется только картон, немного ржавой жести, глины и немного воли. Да, воли к жизни.

7

У жителей Кедровой аллеи уже давно были трудности с молоком. Ни одна из молочных фирм не хотела рисковать, доставляя молоко по узкой, избитой дороге: из-за того, что машины то и дело подпрыгивали на ухабах, фирма теряла много посуды. Одно время, желая возместить убытки, причиняемые скверной дорогой (особенно в дождливый сезон), торговцы брали за молоко на несколько центов больше, но вскоре возникло новое обстоятельство: начались жалобы на нечестность жителей этой улицы. От таких только и жди, что они удерут куда-нибудь, не оплатив счетов. В результате гражданам с Кедровой аллеи приходилось покупать молоко в городе, в то время как в соседние кварталы оно доставлялось аккуратно каждое утро.

Вот почему «жулики» с Кедровой аллеи так удивились, когда увидели на улице чернобородого, с воспаленными глазами молочника. Человек этот обошел все дома и объявил, что в городе создана новая фирма, готовая ежедневно, в любую погоду снабжать их молоком. Эта весть обрадовала хозяек. И условия простые: каждая семья лишь вносит задаток в размере пятидесяти процентов месячной стоимости молока. Ночью состоялись семейные советы. Мужья недовольно ворчали, но, поддавшись уговорам жен, в конце концов решили, что хотя у них и туговато с деньгами, но молоко покупать все равно надо. Тем более что требовалось внести только половину суммы. О том, что в конце месяца придется платить и вторую половину, никто пока не думал.

На следующий день Майна снова появился на Кедровой аллее — в белом комбинезоне, с папкой в руке, с авторучкой за ухом. Волосы у него были причесаны, ботинки аляповато вымазаны черным кремом, замешенным на угольном порошке. Он ходил по домам и собирал деньги, занося в тетрадку фамилии клиентов и номера домов. Опасаясь излишних расспросов, старался говорить как можно меньше. Некоторые домашние хозяйки склонны были объяснить его неразговорчивость стеснительностью и, вопреки указаниям мужей, выдавали застенчивому молодому человеку полную месячную сумму. В этих случаях Майна действительно изображал на лице смущенную улыбку.

«Большое спасибо, мадам,— говорил он.— Вы получите молоко завтра утром».

После этого Майна шел в следующий дом. Теперь он уже умел обращаться с женщинами предместий. Этому он научился еще в то вре-

мя, когда колол у них дрова и ухаживал за газонами. Никогда нельзя показывать женщине из предместья, что ты умнее ее. Оскорбленная твоей самоуверенностью, она повернется и уйдет во внутреннюю часть дома, куда никто из посторонних, не говоря уж о молочнике, не осмелится войти. Поэтому Майна вел себя деликатно (что женщинам очень нравилось) и старался ни в чем им не перечить.

Всего Майна собрал у скупых жителей Кедровой аллеи пять фунтов стерлингов. Это было больше, чем он рассчитывал получить. Пока что его дерзкий замысел дает хорошие результаты. Но долго ли продолжится эта игра?

В тот вечер, когда он, усталый, вернулся в новое убежище, началось обычное шумное пиршество. Предприимчивость Майны встретила всеобщее горячее одобрение. Сара, не сдержав порыва нежности, принялась обнимать и целовать его, невзирая на неодобрительные взгляды Бритвы. Инстинкт самосохранения заставил Майну отвергнуть эти ласки, дабы не задеть самолюбия ее возлюбленного, хотя ни Подметальщик, ни Каменобоец, ни Профессор, ни все остальные не замечали в глазах своего предводителя ничего угрожающего.

— Угощайтесь, ребята,— приглашал Майна.— Завтра у меня будет настоящее дело.

Профессор так расчувствовался, что предложил Майне свою помощь.

— Обойдусь, — важно сказал Майна. — Дело это особое. Солидное. Тут требуются ум и обходительность, а у тебя этих качеств и в помине нет. Только мешать будешь. Нет, сынок.— Майна покрутил головой и громко рыгнул.— Сиди лучше дома, ешь и подрасти вот тут.— Он показал пальцем на голову.— Так и быть, папаша Майна за тебя поработает.

Они выпили сначала за успех нового предприятия папаши Майны, потом — за то, чтобы у Профессора прибавилось ума. Поздно ночью — сытые, пьяные, усталые — друзья улеглись спать. Чувствовали они себя почти как в добром старом Шенти-ленд.

Наутро Майна встал раньше обычного. Деловые люди не спят допоздна, и Майна — не исключение. Он сходил на ручей, умылся, смочил водой свою жесткую бороду, потом надел белый комбинезон и отправился в предместья города. Тетрадку с записью имен, номеров домов и количества заказанных бутылок молока он аккуратно вложил в папку и взял под мышку, а в другой руке нес большую корзину, которую раздобыл для него каким-то таинственным образом Подметальщик.

Майна стоял под деревом, когда в другом конце Восточного проезда появился всегдашний молочник. Тот шел своей обычной неторопливой походкой и насвистывал свою обычную навязчивую мелодию. Майна шагал сзади, стараясь оставаться незамеченным. Всякий раз, когда разносчик ставил у неосвещенного входа в дом очередную бутылку молока, Майна, выждав немного, подходил и осторожно перекладывал ее себе в корзину. Разносчик делал свое дело, а Майна — свое. После того, как с Восточным проездом было покончено, они свернули в Западный тупик, где повторилась та же процедура. Чем меньше оставалось бутылок у молочника, тем больше их накапливалось у Майны. В конце улицы молочник сел в автофургон и поехал дальше, а Майне, как и в первый раз, пришлось прыгать в канаву. Потом он собрал остальные бутылки и, не переводя дыхания, потащил корзину на Кедровую аллею. Там, на «своей» территории, он разнес молоко по адресам, завернул пустую корзину в тряпку и спрятал под кедровым кустом. А теперь — скорее назад, к друзьям в новый Шенти-ленд и там ждать, чем все это кончится.

Жители Кедровой аллеи наслаждались свежим молоком, в то время как жителям Восточного проезда и Западного тупика нечем было даже забелить чай. Мужья, уезжая на службу, не знали, чем их жены будут кормить маленьких детей. Сначала они предположили, что сломался автофургон (хотя многие могли бы поклясться, что рано утром слышали шум мотора и знакомое посвистывание разносчика) и что на следующий день им компенсируют недостачу и пришлют извинительные записки. Но прошла неделя, а ни молока, ни извинительных записок от фирмы не поступало.

В конторе управляющего Центральной молочной базы не переставали раздаваться телефонные звонки. Возмущенные жители Восточного проезда и Западного тупика жаловались, что им не привозят молоко. Управляющий пришел в смятение и вызвал клерка. Они посовещались немного и, решив, что два ума хорошо, а три лучше, позвали приказчика. А когда и это не помогло, затребовали водителя автофургона. Водитель заверил, что доставлял молоко как положено, каждое утро, и улицу не перепутал. Никакой ошибки не было.

Но ведь не могло же молоко испариться. Тем более вместе с бутылками. Может, всему виной кошки и бродячие собаки? И опять же вопрос: куда девается посуда? Быстро навели справки по телефону и установили, что никаких следов битой посуды возле домов пострадавших граждан нет. Допросили разносчика. Тот клятвенно подтвердил, что ставил молоко каждое утро у дверей жалобщиков.

Собралось правление Центральной молочной базы. Началась перебранка. Дошло до того, что члены правления стали обвинять друг друга в злом умысле. Но здравый смысл все же одержал верх, и они попытались спокойно разобраться в том, что случилось. И наконец нашли ответ. Всю эту историю приписали коварству почтенных граждан Восточного проезда и Западного тупика. Решили, мол, попользоваться неделю бесплатным молочком. Правление клокотало от злости.

Послали сигнал бедствия. Из Главного полицейского управления пришли самые знаменитые из знаменитых сыщиков. Они задавали вопросы и что-то писали. Их опрос не понравился никому и в первую очередь разносчику молока. Уж не подозревают ли они его в том, что он сам выпивал все молоко?

Вернувшись в полицию, сыщики подумали, посоветовались, после чего поехали опросить самих жалобщиков. Один из полицейских жил как раз в этом квартале, поэтому знал по личному опыту, что значит остаться на целую неделю без свежего молока.

Потом они опять собрались в полиции, сопоставили свои записи и быстро разрешили загадку. Всем стало ясно, что они имеют дело с отъявленным правонарушителем, а попросту — вором. Только зачем человеку с одним ртом и одним желудком понадобилось столько молока?

Так или иначе, соответствующий приказ был отдан, сыщики прищелкнули каблуками и взяли под козырек.

Наступил понедельник. Раннее утро. Шел мелкий моросящий дождь, над улицами предместий сгустился сырой туман. По слабо освещенной улице двигалась одинокая фигура в белом комбинезоне; всякий раз, когда вдали показывалась полицейская машина, человек этот прижимался к темной изгороди и как бы сливался с нею. Люди, сидевшие в машине, позевывали, всматриваясь полусонными глазами в утреннюю мглу.

Вот одинокий путник нагнулся к кедровому кусту, поднял какой-то узел и развернул его: в руке у него оказалась корзина из пальмовых листьев. Человек прошел по Кедровой аллее, потом свернул на Восточный проезд и спрятался в кустах. Ему не пришлось долго ждать: скоро

появился молочник и начал, насвистывая свою обычную мелодию, разносить молоко. Человек спокойно шел сзади, собирая только что поставленные бутылки.

В ту же минуту возле кустарника шевельнулась черная тень, вдруг превратившаяся в призрачную фигуру человека в плаще и шляпе, надвинутой на лоб. Призрак дождался, когда мимо него пройдет сначала разносчик, а потом, немного запыхавшись от тяжести корзины,— сборщик бутылок. Сборщик действовал уверенно, словно занимался обычным делом. Сыщику даже почудилось, что он насвистывает тот же мотив, что и молочник.

Теперь по улице шествовали уже три человека. Первый не подозревал о том, что кроме него есть еще двое, а второй — что еще один. Лишь третий видел обоих и знал, чем они заняты. Когда они свернули в Западный тупик, к сыщику присоединился его партнер, тоже в плаще и шляпе. Он засунул руки глубоко в карманы, потому что было холодно. Оба они преследовали свою жертву молча. Как обычно, в конце улицы молочника дожидался автофургон, который и увез его прочь из Западного тупика.

Майна, не замечая своих преследователей, собрал последние бутылки и направился на «свою» территорию. К его радости, сегодня его мучения заканчивались. Скоро он обойдет дома Кедровой аллеи и потребует у хозяек вторую часть денег. Он был уверен, что они не откажут ему, тем более если он посетует на дождливую погоду и на плохое состояние дороги. Если же это не подействует, то он пригрозит прекратить поставку молока. Так что придется им раскошелиться. Майне уже начало надоедать раннее вставание по утрам, да еще в такой холод. Он предпочел бы спать вместе с остальными ребятами. Да и следы пора заметать, пока жители Восточного проезда и Западного тупика не всполошились и не подняли на ноги полицию — его самого заклятого врага. Он рассчитывал продержаться одну неделю, и эта неделя подошла к концу. Теперь, пока не поздно, надо сматывать удочки. А жители Кедровой аллеи пусть добывают себе молоко где угодно: хоть кур своих доят, хоть еще кого...

Он подошел к первому дому и поставил первую бутылку. Посмотрел на небо. В пучках света уличных фонарей струи дождя казались золотистыми. Он опустил голову и стал осторожно пробираться между лужами. Время от времени на него лаяли собаки, но его это не беспокоило. Зная, кто из хозяев держит собак, он предусмотрительно вычеркнул их из списков своих клиентов. С собаками иметь дело опасно, особенно в ранние утренние часы.

Майна озяб и промок, но на душе у него было тепло и радостно. Свою задачу он уже почти выполнил. Он тихо напевал популярную песенку «Поезд свободы» и думал о Делиле, милой толстушке Делиле. Девушка не перебралась вместе с остальными в новый Шенти-ленд, и Майна не представлял себе, где она теперь живет. Он ужасно скучал по ней и собирался сходить в ближайшие дни в старый Шенти-ленд — авось удастся напасть на ее след.

Вынув из корзины последнюю бутылку, Майна от избытка чувств даже поцеловал ее, перед тем как поставить у порога последнего дома. Сердце его ликовало, оно переполнилось ощущением свободы и мыслью о Делиле, с губ срывалась другая песенка — «Холодная испарина». Насвистывая любимый мотив, он собрался уходить и вдруг остановился как вкопанный. Песенка так и застыла у него на губах. Тело, и без того влажное от дождя, покрылось настоящей холодной испариной. Мускулы напряглись, глаза забегали в поисках лазейки. Лазейки не было. Единственный путь от веранды надежно преграждали два человека в черных плащах.

— Привет,— сказал один из них.

Зажатый между верандой и двумя субъектами, Майна понял, что выбора у него нет. Либо он делает, чего хотят эти люди, либо ему костей не собрать. Он уже начал догадываться, кто они такие. Попробовать взять их на пушку? — быстро соображал он. Это может удаться, если они не знают его намерений. Весь вопрос в том, давно ли они за ним следят.

— Доброе утро,— ответил он с простодушным видом.— Я из Центральной молочной базы. Чем могу служить?

— Слыхал, инспектор? — засмеялся один из сыщиков.— Каков нахал!

— Неудивительно. В таких делах без нахальства нельзя.

— Руки вверх! — скомандовал полицейский. В руке у него была какая-то черная штука, похожая на пистолет. Его партнер продолжал держать руки в карманах.

Оба полицейских впились в Майну глазами. Их глаза действовали, как гипноз. Он стоял и со страхом думал о том, что может случиться, если он откажется повиноваться. И еще его мучил подсознательный страх тюрьмы. Руки его начали машинально тянуться вверх и тянулись до тех пор, пока он не почувствовал, что вот-вот разойдутся плечевые суставы.

Один из сыщиков (тот, у которого не было в руке оружия) вынул наконец из карманов руки. В них оказались пачка сигарет и зажигалка. Достал, не глядя, сигарету и зажал ее краешком рта. Закурив, положил зажигалку вместе с пачкой обратно в карман. С любопытством посмотрел на Майну.

— Можешь объяснить, чем ты тут занимался? — От ледяного тона, которым был задан этот вопрос, Майну бросило в дрожь. Он хотел было что-то сказать, но голос изменил ему.

— Пускай лучше в полиции объясняет,— сказал другой сыщик.— Бери молоко и пойдем с нами. Там разберемся.

Майна не двигался.

— Я сказал: бери молоко!

Майна опустил руки и нагнулся к бутылке. Видя, что арестованный ведет себя смирно, сыщик спрятал пистолет в карман. Но он слишком поторопился. Разгибая спину, Майна с новой силой ощутил тягу к жизни и к свободе, и в тот же миг в воздухе мелькнула бутылка.

— Берегись! — крикнул куривший сигарету и отскочил в сторону. Его товарищ сделал то же самое.

Бутылка, никого не задев, стукнулась о каменные плиты дорожки. Майна ринулся головой вперед в образовавшееся между оторопелыми полицейскими пространство, видя в нем единственный путь к спасению, но поскользнулся и рухнул прямо на руки блюстителей закона. Послышался щелк наручников. Уж теперь-то ему покажут, как не надо вести себя с инспекторами уголовного розыска во время их ночного дежурства.

Избитый Майна корчился от боли, когда подошла полицейская машина. Его подняли с земли и бросили на заднее сиденье. Потом собрали все бутылки. Уличные фонари погасли, машина тронулась с места и повезла закованного в наручники вора-молочника в город. Справа и слева сидели довольные сыщики.

8

По пыльной дороге, ведущей в деревню Нгайни, тащился большой оранжевый автобус с синей полосой вдоль кузова. По случаю базарного дня он был тяжело гружен бананами, ямсом и другими сельскохо-

зяйственными продуктами. Много было и пассажиров — усталых мужчин и женщин. Огромные колеса машины то и дело буксовали, двигатель натужно ревел, машина с трудом продвигалась вперед. Водитель, прикусив губу, с ожесточением крутил рулевое колесо то вправо, то влево, его фуражка от тряски все время сбивалась набок. Но пассажирам не было дела ни до измученного шофера, ни до старой, разбитой машины. Думали они лишь о том, как бы поспеть домой к началу дойки коров. Кое-кто из них все время пререкался с кондуктором, не желая платить требуемую сумму за багаж. Изо ртов людей, когда они говорили, исходил противный запах гнилых зубов и табака.

В заднем углу сидел, стараясь не обращать на себя внимания, молодой человек в рваной одежде. Он был явно смущен. Его большие глаза беспокойно блуждали по лицам пассажиров, сразу же опускаясь, как только встречались с чьим-нибудь взглядом. Он морщился от запаха потных тел, табака и переспелых бананов и от оглушительного шума. Пассажиры, стараясь перекричать рев мотора, делились базарными новостями, хотя вряд ли в этом гвалте можно было разобрать, кто что говорит. А молодой человек наблюдал за ними из своего угла. Он хоть и морщился, но утешал себя мыслью о том, что все-таки это — свои люди и говорят они на его родном, понятном языке. Радовало его и то, что они не лезут с расспросами, не интересуются, почему он забился в угол, куда и зачем едет.

Автобус плыл по морю пыли и выхлопного дыма. Одноглазый, он почти ощупью находил дорогу на знакомой сельской местности. Молодой человек смотрел, все примечая, в крошечное окошко. Уже начали попадаться ему знакомые места, возрождавшие в памяти картины детства. Он не будил их, не гнал от себя; они приходили и уходили помимо его сознания.

В окошке мелькали банановые рощи, и было ясно видно, как большие зеленые листья шевелятся от ветра. Потом потянулись кукурузные поля. То тут, то там, низко нагнувшись, работали женщины: они пололи сорняки, давая всходам кукурузы свободу. Молодой человек с удивлением думал: как ни тесно этим банановым деревьям на небольшом участке, а все-таки они растут. И всходы кукурузы тянутся кверху, как бы ни старались их заглушить прожорливые сорняки. И старые женщины не перестают трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. Непрестанная борьба за существование идет давно, все годы его сознательной жизни, только раньше он этого не замечал. Не замечал, пока сам не включился в борьбу. Так вот она, реальная жизнь. Такая мучительно реальная.

Шум мотора уже не докучал ему — голова его была теперь занята этой мыслью.

Старый автобус дотащился до центра деревни и стал, скривившись на один бок. Шофер снял фуражку, вытер лоб и с облегчением вздохнул. Слава богу, пронесло и на этот раз. Несмотря ни на что. Пассажиры, выскакивая из автобуса, уже покрикивали на кондукторов, занятых выгрузкой багажа. Некоторых пришли встречать родственники; начались рукопожатия, возбужденные разговоры. Люди зашумели, как на базаре.

Молодой человек мешкал в автобусе, сердце у него в груди бешено колотилось, по лицу стекал пот. Спазма сжала желудок, и трудно было дышать. «Надо вылезать и идти домой»,— твердил он себе, хотя все его нутро противилось этому. Когда он, голодный, больной и одинокий, был еще в городе, возвращение домой казалось легким делом. Мысль о поездке к родным не предвещала ничего плохого. А сейчас? Сейчас она представлялась ему ужаснейшим кошмаром. Да и как он

покажется им на глаза после стольких лет бесплодных мытарств? Чего он добился, кроме шрамов и нищенского положения?

Медленно, с большим трудом он встал на ноги и размял свои вялые мышцы. Оглядел на себе рваную одежду и провел рукой по бритой голове. Потом, прихрамывая немного на правую ногу, вылез из автобуса. Близился вечер. На улице было холодно. Большинство сельчан, приехавших с ним в автобусе, разошлись по домам, остались только те, кто не успел разобраться со своим багажом. Молодой человек прошел мимо них. Биение сердца все еще болью отдавалось в груди, желудок так сильно сжимало, что парень согнулся почти вдвое. Пот застилал глаза, но ему было уже все равно. Главное — не обратить бы на себя чьего-нибудь внимания. Противнее всего ему были сейчас чужие люди и их бесцеремонные расспросы. И тут его окликнула какая-то старуха:

— Эй, парень, пособи. Не справлюсь я одна с мешками.

Молодой человек остановился в нерешительности, обернулся на голос. Во взгляде женщины было нетерпение, почти приказ. Он вернулся к автобусу. С трудом владея поврежденной рукой и стараясь, насколько возможно, скрыть это от старухи, помог ей перетащить сначала один мешок, потом второй. Но этого ей было мало. Она взяла его за руку и повела опять к автобусу.

— Стой здесь, парень. Еще не все.— Подняв голову, сказала стоявшим на крыше кондукторам: — Там еще гроздь бананов. Давайте ее сюда. Быстрее.

Двое мужчин переглянулись. Губы их сложились в кислые гримасы.

— Быстрее! — уже громче сказала старуха. Она боялась, что один из них — тот, что помоложе,— уйдет, не закончив разгрузки.

— Но здесь полно бананов,— сказал кондуктор.— Которые из них ваши?

— Ну, та, зеленая! — пронзительно выкрикнула женщина. — Давай! Скорее!

Кондукторы опять переглянулись.

— Здесь все зеленые,— сказал один из них.

— Да там она! — Старуха явно выходила из себя.— Вы же сами клали ее наверх. Может, потеряли?

— Тут есть большая зеленая, очень большая презеленая и самая большая презеленая-зеленая. Какую давать?

Старуха задыхалась от возмущения.

— Бросайте сейчас же! Еще шутить вздумали.

Кондукторы пожали плечами и принялись за работу. Бананы буквально посыпались как дождь на головы стоявших внизу людей. Гроздья ломались в воздухе, разлетались в разные стороны. Снизу раздавались протестующие крики.

Покончив с бананами, кондукторы начали сбрасывать ящики, мешки, стулья и столы. Завидев свои вещи, владельцы хватали их руками и падали под их тяжестью на землю. Кондукторы разыгрались вовсю. Побросав грузы, скинули веревки и брезентовые пологи, служащие для предохранения багажника от дождя. Поднялось густое облако пыли. Кондукторы уселись рядышком на скамью и спокойно наблюдали, как внизу копошатся люди, разбирая зеленые и зеленые-презеленые бананы.

Воспользовавшись всеобщей суматохой, молодой человек незаметно ушел. В голове у него мутилось, и он не отдавал себе отчета в том, куда идет, хотя какое-то смутное чувство подсказывало ему, что он — на знакомой тропе. Ему не хотелось идти по этой тропе, однако ноги шагали сами собой. Они несли его домой.

Солнце клонилось к закату. Он шел по той же тропе среди кукурузного поля. Деревня осталась немного в стороне. Листья растений, обдуваемые вечерним ветром, издавали тонкие свистящие звуки, вызывая чувство душевной боли. Мысли его витали в прошлом, в далеком-далеком прошлом, когда он был еще маленьким мальчиком и бегал вот по этой самой тропе. Тогда музыка полей ласкала слух, потому что напоминала о доме, любимом доме, где он не знал ни горя, ни забот. Теперь эта музыка звучала глухо и холодно, так холодно, что казалась ему смертью, готовой схватить его, как только на землю опустится мрак. Чувствуя, что дрожит всем телом, он ускорил шаги. Боль в ноге то усиливалась, то ослабевала. Солнце продолжало свой путь на запад, воздух с каждой минутой становился все холоднее.

Он достиг развилины тропы и остановился. Отсюда правая тропа вела в дом отца, а левая — на земли соседей, в глушь, к чужим людям, в неизвестность. Молодой человек стоял в раздумье одной ногой на правой тропе, другой — на левой. Его сознание жаждало вырваться из плена нерешительности. Путь ему преграждал какой-то невидимый барьер. Охваченный сомнениями и страхами, он не двигался с места.

— Меджа! — раздался чей-то возбужденный голос.

Молодой человек вздрогнул и еле устоял на ногах. Сердце забилось так сильно, что сотрясало тело. Глаза застилал горячий соленый пот. Он протер их тыльной стороной изуродованной руки и сквозь пелену тумана разглядел стоявшую перед ним тщедушную фигурку двенадцатилетней девочки, освещаемую косыми лучами солнца. На ней была старая грязная ситцевая тряпка, завязанная узлом, на плече и скрепленная булавкой под мышкой. Засаленный узелок блестел на солнце, открытая ключица казалась белее остальной части тела. На длинной и тонкой шее сидела бритая голова. О том, что это девочка, можно было судить только по двум крошечным холмикам, обозначавшимся на худой груди под ситцевой одеждой.

Меджа смотрел на это жалкое создание, оказавшееся его сестрой, и сердце его больно сжалось. Он подошел, пошатываясь, к жердяной изгороди и, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу. Девочка бросилась к нему в объятия. Он опустился на одно колено, чтобы лицо стало вровень с ее лицом, но не в силах был произнести ни слова. Но девочка и не ждала никаких слов. Она была счастлива.

— Меджа! Так ты вернулся?

— Да.

Девочка засмеялась, обхватила его шею своими худыми ручками и поцеловала в лоб.

— Я очень рада, Меджа.

Меджа тяжело вздохнул и прислушался. Кровь стучала в висках в такт отдаленному звону колокольчиков на шеях коров и звяканью подойников. Все вокруг кипело жизнью, и только здесь было пусто и мертво. Медже казалось, что жалобное мычание телят и запахи навоза, полей и человеческого жилья нереальны, они пришли сюда из ненужного прошлого, для того, чтобы нарушить покой этой одинокой тропы.

— Меджа!

— М-м?

— Привез?

— Что привез? — Меджа окончательно очнулся. Но он никак не мог понять смысла вопроса.

— Как что? Бусы.

— Бусы?

Девочка засмеялась.

— Да, бусы, Меджа. Маленькие синие бусы. Где они?

Сердце у Меджи дрогнуло. Опять сильно ударило в виски, и он вдруг почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Потом перевел дух и крепче прижал девочку к груди.

— Ты же обещал купить, когда устроишься на работу.

Меджа вспомнил. Ну, конечно, обещал. Это было уже давно, когда он кончил школу и собрался в город. Его маленькая сестренка расплакалась тогда, ей жаль было расставаться с любимым братом, и он, в порыве нежности, обещал ей красивые синие бусы. Но ведь он не только ей, а и другим надавал разных обещаний. Они тоже, наверно, ждут... Его охватило чувство обиды, обиды на себя и на всех. Да, да, где бусы? — бессмысленно повторял он один и тот же вопрос. Бусы.

— Ты привез бусы? — снова услышал он тоненький голосок.

Меджа покачал головой.

— Но ведь...

— Да, я знаю. Я действительно обещал...— чуть слышно проговорил он.

Девочка с тревогой заглянула ему в лицо, на глазах у нее были слезы. Меджа заметил это, и ему стало невыносимо больно. За себя и за нее.

— Кто сейчас дома? — спросил он.

— Мама дома,— ответила она сквозь слезы.— И другие тоже.

Меджа перевел дух.

— И отец?

— Папы нет.

— А где он?

Девочка с трудом сдержала рыдания.

— Ушел к дяде. Денег занять. Ему платить надо за мою школу. Да, Меджа! А я в школе учусь! — весело объявила она, уже забыв о своем горе.

Школа, деньги, плата, школа, бусы... Эти слова неотступно преследовали его. Вместе взятые, они приобретали непомерно большой смысл. Поэтому и причиняли ему столько страданий. Да, именно поэтому.

— Еще в прошлом году начала ходить,— продолжала девочка.— Теперь умею писать, читать и считать.

— Да ну? — Меджа старался отвлечься от своих мыслей.

— Да. Папа сказал, что если я научусь хорошо читать, то поеду в город и устроюсь там на работу. Как ты.

Меджа молчал.

— Хочешь посмотреть, как я пишу? — спросила девочка. Она высвободилась из его объятий и побежала на тропу. Меджа остался у изгороди. Спустя минуту она позвала его, но он ничего не слышал. Она встала, подбежала к нему и потянула за руку — Иди смотри.

Он подчинился и заковылял следом за ней, стараясь скрыть хромоту. Но она сразу заметила, что он прихрамывает.

— У тебя нога болит? — спросила она, устремив на него широко открытые глаза.

— Нет.

Он посмотрел вниз и прочел: ВАБУИ. Буквы получились кривые. Точно не палец девочки вывел их в пыли, а там прополз червячок. Полз, полз и случайно изобразил слово. Меджа опустился у тропы на колени.

— Вот видишь? — сказала она.— Я уже знаю, как писать свое имя.

— Разве твое имя так пишется?

Она завела руки за спину, посмотрела на него с серьезным видом и кивнула.

Меджа покачал головой.

— Не совсем так. Смотри, как надо писать.— Он вытянул палец и рядом написал: ВАМБУИ.— Поняла?

Она не ответила. Взгляд ее остановился на его изувеченной руке. Он это заметил.

— Что у тебя с рукой?

Но он не слышал вопроса. Снова закружилась голова. В памяти проплывали слова: школа, учебники, конторы, мусорные баки, мус... Больше он ничего уже не соображал. Чтобы не упасть, уперся пальцами в землю. Потом выпрямился и поспешно спрятал руку в карман.

Девочка все еще не сводила с него глаз.

— А теперь пиши цифры.— Медже казалось, что голос его доносится откуда-то издалека.

Вамбуи тотчас забыла про его руку и начала царапать на пыли: 1234...

— Написать твое имя? — спросила она.

Он кивнул и бросил взгляд в сторону дома. Сквозь листву кукурузы и банановых деревьев виднелась хижина отца. Такая близкая. И такая далекая. Над кровлей вился дымок. Он лениво прокладывал себе путь в неласковое предвечернее небо. Но внутри хижины, конечно, царят человеческое тепло, любовь и дух семейственности. Да, все это так близко и вместе — так далеко.

Он представил себе мать: хлопочет, готовит еду для детей. А отец ушел просить денег на оплату за учебу. Он же, Меджа, околачивается здесь. Весь в шрамах и боится идти домой. Не может решиться. Сестренка не забыла про бусы. Значит, и другие помнят, что он обещал. Как им объяснить, почему он не сумел устроиться на работу? И откуда взялись эти шрамы, почему он хромой и ходит в рубище? Нет, объяснить это невозможно. Глядя на красную пыль и на пальчик, змейкой продвигающийся по дороге знания, Меджа заплакал, сотрясаясь всем телом. Как радовались родные, когда он, кончив школу, собрался в город! Еще бы! Ведь он ехал зарабатывать деньги и... покупать синие бусы.

Память его воскресила беспросветную жизнь на городских задворках среди мусорных баков. Подумать только: без малого полтора года питаться отбросами, а потом несколько месяцев проваляться на больничной койке!

Он вспомнил, как выписывался из больницы и как добрая медсестра снабдила его деньгами на дорогу. Хорошая женщина. Все поняла и не требовала никаких объяснений. Все же есть на свете добрые люди, только мало их, особенно в городе. Из ее денег у Меджи сохранился только один шиллинг. На бусы, даже самые дешевые, этих денег вряд ли хватит, а уж о плате за школу и говорить нечего.

Держась рукой за плечо своего ученого брата — так она чувствовала себя уверенней, — Вамбуи вывела на земле первую букву.

— Вот это — Мэ...— Девочка почесала худенькой ручкой бритую голову.— Покажи, как писать дальше, Меджа.

Правая рука Меджи непроизвольно высунулась из кармана и начала писать. Девочка уставилась, как загипнотизированная, на шрамы и изуродованные ногти.

— Что у тебя с рукой? — опять спросила она.— Ну-ка, я посмотрю.

Не успел он отдернуть руку, как Вамбуи схватила ее в обе свои и стала внимательно разглядывать. Лицо ее оцепенело от испуга.

— Что случилось?

— Ничего,— уныло ответил он.

Снова часто забилось сердце. Мысли в голове путались. Мусорные

баки, автомобили, полицейские, автомобили, люди — все это вихрем проносилось в его сознании и потом... визг тормозов.

Девочка выпустила его руку и наклонилась посмотреть, что он написал. Вот на пыльную землю капнуло что-то, потом еще и еще, и она снова вопросительно посмотрела на брата.

Тело Меджи странно напряглось, по щекам потекли слезы, у краешка рта появилась пена. Ему показалось, что за спиной у него прозвучал гудок автомобиля. Он резко обернулся назад и сбил девочку с ног. Но на тропе ничего не было. Издав отчаянный вопль, Меджа рухнул на траву.

При виде неподвижного тела брата Вамбуи очень испугалась. Став на колени, она попробовала повернуть его на спину.

— Меджа! Меджа!

Но он не двигался. Она приподняла его голову и присмотрелась к искаженному болью лицу. Потом взглянула еще раз на изуродованную руку, сжимавшую кусок дерна, и побежала к дому.

— Мама! Мама! — кричала она.— Он умер, мама! Он умер!

Спустя немного времени она вернулась. Вместе с ней была мать — немолодая изможденная женщина, на лице которой были написаны неверие и волнение одновременно. Прибежали, запыхавшись, и другие члены семьи, работавшие на кукурузном поле и в банановой роще. Солнце быстро садилось, бросая длинную тень на то место, которое указала им девочка. На пыльной земле, шагах в трех от развилины тропы, еще можно было разобрать надпись: ВАБУИ. ВАМБУИ. 1234. МЕДЖА.

И тут же, рядом с надписью, лежала старая потертая шиллинговая монета. Меджи нигде не было. Он ушел, не оставив ни красивых синих бус, ни денег на оплату школы. Но он отдал им все свое состояние. Весь капитал, накопленный за долгое время странствий. Один-единственный старый, истертый шиллинг. Это был все-таки шиллинг!

(Окончание следует)

ЭРВЕ БАЗЕН

Анатомия одного развода

РОМАН

Перевод с французского ЮРИЯ ЖУКОВА и РОЗЫ ИЗМАЙЛОВОЙ

Май 1967

5 мая 1967

Гранса вернулся из четырнадцатого зала хмурый. Ну и услужили ему: всего только раз выступал он по уголовному делу, и вот извольте — клиент получил максимум. Гранса заподозрил это уже в тот момент, когда председательствующий Дютуатр уселся в кресло вместо заболевшего старика Гарну и с весьма заинтересованным видом склонился над делом. Зная, что кассировать приговор будут потом разные судебные крючкотворы, сам Дютуатр никогда не подрывал репутацию защитников по гражданским делам, особенно тех, которые умели загребать большую деньгу. «Если за провал хорошо платят, он не так мучителен»,— говаривал патрон своим помощникам. Это еще вопрос! А престиж разве не в счет?

Размышляя на эту тему, Гранса шел в гардеробную, со всех сторон его подталкивали коллеги, спешившие сбросить судейскую мантию, чтобы отправиться в приемные залы. У дверей гардеробной он нос к носу столкнулся с Лере, который выходил оттуда.

— Знаешь,— сказал Лере,— это меня устраивает. Я как раз собирался звонить тебе по поводу Давермелей.

— Не стойте в проходе! — буркнул какой-то важный судейский тип с розеткой командора ордена Почетного легиона.

— Сейчас, сейчас,— сказал Лере.— Моя клиентка жалуется, что твой кузен использует встречи с детьми, чтоб их против нее настраивать!

Гранса стащил мантию через голову и повесил на крюк.

— Будем говорить серьезно,—сказал он, приглаживая волосы,— Луи, конечно, виноват, но Алина — потрясающая дуреха. Алименты выплачиваются скрупулезнейшим образом, хотя Агата постоянно уклоняется от встреч с отцом, да и Леон приходит нерегулярно.

— Ну что ты,— заметил Лере.— Ведь они уже взрослые люди, их трудно к чему-либо принудить. Впрочем, я хотел тебе сообщить, что младшие поступают как раз наоборот: они совершают набеги в Ножан в те дни, когда, согласно судебному решению, обязаны находиться у матери.

Окончание. Начало см. в № 2.

Увлекая за собой коллегу, Гранса дошел до двери и начал быстро подниматься на галерею.

— Три заказных письма отправлено матери и десять заявлений в комиссариат, они свидетельствуют о том, что не все дети ходят к отцу! — сказал он.— Пора рассмотреть требования и, если необходимо, подать жалобу. Я понимаю, Алина в ярости: она должна покинуть дом, к тому же она видит, что, как только Луи от нее избавился, его дела сразу наладились. Но разве это основание для таких козней и интриг, для всех этих уколов...

— Тут все обоюдно! — заметил Лере.

Гранса раздраженно щелкнул языком: к чему пререкаться, ведь здесь же нет клиентов.

— Брань, вранье, проклятья по адресу отца,— сказал Гранса,— и детям ежедневно приходится все это выслушивать. Если нужна какая-то бумажка, Алина отказывается ее подписать. Когда к ней на дом приходит почта для Луи, Алина ее тут же сжигает; если зайдет клиент, она отвечает, что понятия не имеет, где проживает Луи. Я уж не говорю о жалком, крохотном наследстве, оставленном недавно скончавшейся тетей Ирмой: Алина кинулась на него, как...

— Но ведь доходы детей, находящихся под опекой, принадлежат тому из родителей, которому поручено их воспитание, даже если сам родитель из другой семьи,— замечает Лере.

Он толкает одну из стеклянных дверей, выходящих на главную лестницу, и говорит уже более спокойно.

— Конечно,— соглашается он,— эта дама надоедлива до крайности! Они так и стремятся перещеголять друг друга, мои клиентки. У меня есть одна мамаша — она научила своего мальчишку ломать мебель у отца, платит малышу по двадцать франков за каждое поломанное кресло. Для многих женщин такие выходки — своего рода условный рефлекс: если нет любви, не должно быть и родственных чувств. Большинство детей, воспитание которых поручено матерям, растут в ненависти к отцу...

Спустившись с лестницы, Лере остановился возле большого канделябра, нагнулся подтянуть шнурки на ботинках; со всех сторон доносился стук каблуков: из Дворца правосудия расходились посетители.

— Что же мы предпримем? — спросил Гранса.

— Попробуй припугнуть ее,— ответил Лере.

8 мая 1967

Во время шумной школьной перемены сочинение переходило из рук в руки.

Госпожа Виансон не решилась аттестовать его или хотя бы поставить красными чернилами вопросительный знак и с какой-то робкой гордостью отдала заведующей учебной частью. «Черт побери!» — прошептала эта дородная дама, известная в лицее под кличкой Булочка. Не выпуская из правой руки неизменный бутерброд, а из левой тетрадку с сочинением, она долго всматривалась в то единственное слово, которое там было начертано, как бы пытаясь расшифровать тайный текст, нанесенный симпатическими чернилами на белую бумагу. А похожий на веретено господин Дотон, казавшийся еще более долговязым из-за чересчур узких брюк, оторвался от разглядывания страницы и громким голосом прочел:

— Ги Давермель. Шестой класс «Б». Сочинение на тему: «Кого вам хочется видеть, когда вы приходите домой?» — Учитель умолкает, хмурит брови и обращается к окружающим: — «Никого!» Это он написал: «Никого!»?

Четыре головы мрачно кивают в ответ, и господин Дотон наконец произносит:

— Кратко, но страшно.

— Зато смело,— добавляет госпожа Виансон.— Другие развели тут сладкую патоку, и если это правда — тем лучше для них. Все написали так, даже маленький Гарнье, который нередко является избитым.

Директриса, госпожа Равер, не любит вмешиваться сразу, но тут и она вступает в разговор, рассматривая странное сочинение через нижнюю половину своих бифокальных очков.

— Не хотела бы я быть его матерью! — говорит она и передает тетрадь занимающейся социальными проблемами мадемуазель Равиг, особе, впрочем, весьма квалифицированной в своем деле.

Мужчины и дамы обступили их тесным кружком — тут и учитель математики, на которого все неодобрительно смотрят после его ворчливой реплики: «Ну и что? Зачем так серьезно к этому относиться? Надо признать, что дети, у которых родители в разводе, охотно пользуются ситуацией, чтобы бить баклуши». Он уклоняется от участия в консилиуме и уходит, размахивая руками. Директриса тщательно протирает очки.

— Никак нельзя показывать это сочинение мадам Ребюсто,— говорит она.— Я уже давно раздумываю: как же изменился этот малыш — совершенно не занимается, отвратительно себя ведет, что с ним такое? А теперь все ясно. Его следует направить в Центр для психически неполноценных детей.

— Вместе с матерью? — спрашивает госпожа Виансон.

— Разумеется,— говорит мадемуазель Кубэ.— Я ее знаю. Ее-то как раз и следует освидетельствовать. Ведь у нее еще трое детей, и только одна Роза продолжает учиться как следует.

Преподаватели расходятся по классам. Директриса удаляется вместе со своей помощницей, занимающейся социальными проблемами, они идут сквозь шумную толпу неохотно расступающихся мальчишек и охорашивающихся девочек, которые уставились на них и встряхивают своими длинными гривами. Господин Дотон и его коллеги, оставшиеся, чтобы присмотреть за дисциплиной, хотя эффект от этого невелик, погружаются в социологические исследования. Госпожа Виансон, все еще взволнованная разговором, рассеянно слушает их и вдруг поодаль от всех этих юбочек и штанишек замечает одинокого худышку: сидя на подоконнике, он со злостью обдирает принадлежащую привратнице герань.

— Ги! — жалобно произносит госпожа Виансон.— Хочешь, я тебе помогу?

14 мая 1967

Луиза и Фернан Давермель никак не могли опомниться от того, что они увидели. Родители согласились приехать к новой невестке; прежде они виделись с ней всего три раза, каждый раз у себя — под предлогом, что Луи и Одиль привозили к ним внуков. Пришлось пригласить Одиль на траурный обед по случаю кончины тетушки Ирмы, которую невестка покорила раньше их; незадолго до смерти Ирма убеждала стариков: «Вам надо оттаять: она не так уж плоха». Но к Луи родители приезжали лишь за восемь месяцев до этого, весьма неожиданно, днем, чтоб взглянуть на дом в Ножане, «на эту прогнившую халупу в саду, заросшем колючками», как отозвался о нем господин Давермель-старший; он был уязвлен тем, что деньги, которые он

ссудил сыну для покупки дома в Фонтенэ, улетучились как дым и не были ему возвращены.

Но вот прошло еще десять месяцев, необходимых, по мнению стариков, чтобы доказать прочность нового брачного союза, и они увидели дом, стоящий на узком зеленом травяном ковре, окаймленном кустарником; снаружи дом выглядел весьма скромно — он остался таким, каким его купили, только был освежен побелкой; зато внутри вместо потемневших от копоти стен с отклеившимися обоями, с потолком в трещинах они увидели нарядные, уютные комнаты — свидетельство того, что при известной экономии можно сделать с помощью умелых рук. Старики Давермель, привыкшие к своей загроможденной вещами квартирке, здесь обнаружили совсем новый стиль убранства — простор, почти пустоту, а среди этой обстановки — и нового рода невестку: подвижную, с непринужденными манерами, чувствующую себя вполне свободно и естественно в своей роли; она сказала им спокойным, негромким голосом:

— Сегодня мы ожидаем также моих родителей, они заедут по дороге в Париж. Луи пошел их встретить. Я должна проследить за жарким, а вас пока оставлю, посмотрите наш дом.

— Ну и ну! Они сами все тут выгребали,— пробормотал Фернан Давермель, как только невестка удалилась на кухню.

— Пошли! Подымемся наверх,— говорит госпожа Давермель, преисполнившись самых благих чувств.

Из большого зала на нижнем этаже (его удалось расширить, устранив перегородки) они поднялись по винтовой лестнице в комнаты второго этажа, тоже очень опрятные, тоже не слишком заставленные мебелью и выходящие на две стороны: на юг выходит мастерская Луи, освещаемая стеклянными светильниками, на север — четыре детские комнаты, разделенные меж собой перегородками.

— Хитро придумано! — говорит госпожа Давермель, обозревая диванчик, откидной столик, закрывающий, когда нужно, умывальник в углу, у вделанного в стену гардероба со скользящей дверцей.

— Не слишком ли много затрат для арендуемого дома? — заметил господин Давермель.

Он задержался в мастерской сына, рассматривая портрет неизвестного, совсем свежий, пахнущий масляной краской. Немного отступил, чтобы вернее оценить. Сначала на его лице появилась скептическая гримаса, затем улыбка, выражающая удовлетворение. Господин Давермель нагнулся посмотреть другие полотна, прислоненные к стене.

— А вот эти недавно вернулись с выставки,— заметил он. И ни слова о том, что выставка произвела на него впечатление и, несомненно, повлияла на решение приехать к сыну в Ножан. Старик с усилием повернул свое бородатое лицо, шея с трудом поворачивалась в тугом крахмальном воротничке. На лестничной площадке он тронул руку жены и неожиданно произнес:— Я не хочу его оправдывать. Но надо признать, что с Алиной он ничего не мог добиться, а вот с этой...

Госпожа Давермель приоткрыла дверь в ванную. С удовлетворением кивнула головой, и ее подсиненные, заботливо уложенные седые волосы слегка качнулись.

— Да, она смотрит за ним не хуже, чем за домом,— ответила мать.

■

Когда, вернувшись в столовую, они не без опаски уселись наконец в непривычные для них кресла-корзинки, Одиль, посмотрев из кухни в слегка приоткрытое сервировочное окошко, поняла, что все

идет к лучшему. Родители мужа и ее родители, которых она пригласила по случаю Троицына дня, будут у нее на крючке. Хватит отчуждения — пора мириться. Одиль решила показать им товар лицом — остальное довершит святой дух! Ни аптекарь, ни владелец книжного магазина, хоть у одного бородка круглая, а у другого — остроконечная, не смогут отрицать, что меньше чем за год Одиль самым убедительным образом доказала, чего можно добиться. Она уже не та, «другая», а вторая жена. Она проявила настойчивость, чтобы изгладить из памяти супругу номер один, и ничто теперь ей не кажется трудным. Многие, даже посторонние, люди считали, что нехорошо обходиться без церковного венчания, и хотя самой Одили это было безразлично, все же ее раздражало, что брошенной жене досталось небесное преимущество; так, значит, ей — Одили — следует лучше управляться в земных делах. Судя по всему, Одиль и правда делала это лучше. Через окошко в кухню, служившее также акустической трубой, до нее донеслось шутливое ворчание свекра:

— Женитьба для некоторых как соус — один свернется, другой удастся на славу. Выводы делать рано, но если сравнить...

— Что касается меня,— заметила свекровь,— то я давно сужу о женщине не по качествам, которые она проявляет лежа, а считаюсь с тем, что она умеет делать стоя.

Неужто в самом деле давно? Одиль не строила себе иллюзий. Ей помогли мерзкие выходки Алины и снисходительность стариков к единственному сыну. Она выключила духовку, схватила поднос с аперитивами и ровным шагом вошла в столовую.

— Не очень разочаровались? — спросила она.

— Должен признаться...— сказал Фернан Давермель, любитель незаконченных фраз.

— Вы даже слишком преуспели! — ответила Луиза, принимая разговор на себя.

— Я как будто говорила вам, что мы в общем-то не арендуем дом, а купили его,— продолжала Одиль, нажимая на последние слова.— Но мы предпочли бы, чтобы это не было широко известно — из-за Алины. Конечно, иначе мы не стали бы так много переделывать, чтоб потом оставить все владельцу. Я думаю, что была права, настояв, чтобы Луи пустил в оборот именно для этой цели те деньги, которые достались ему от продажи дома в Фонтенэ.

Шансы Одили сразу подскочили, как ртуть на шкале термометра, если подышать на него.

— Конечно, все тут записано на его имя,— закончила Одиль.

Свекор и свекровь со взаимным пониманием, но и с некоторой растерянностью посмотрели друг на друга, а потом чинно опустили веки, словно выражая сожаление, что раньше не догадались о качествах молодой невестки и так долго подвергали ее полубойкоту. Но наконец справедливость решительно взяла верх.

— Мне кажется, Одиль, настала пора сказать откровенно: сначала мы боялись вас...

Откровенность не всегда бывает высказана достаточно внятно. Приходится изображать смущение, укрываться за маской скромности, с оттенком горечи что-то лепетать...

— Алину, конечно, не изменишь, но что вы хотите, ведь четверо детей. А вы, Одиль, очень милы, да еще на двадцать лет моложе...

Наконец-то все сказано, вернее — промурлыкано.

— Поймите нас правильно, дорогое дитя. Луи — наш единственный сын, его предназначали для аптекарского дела, но он отказался и выбрал себе самую ненадежную профессию; потом начал бегать за девушками, то за одной, то за другой, был вынужден жениться на

какой-то машинистке, без единого сантима в кармане, закабалил себя большой семьей; опять стал погуливать и вот, пожалуйте, увлекся молодой девушкой, разбил семью, чтобы начать новую жизнь... Скажите, разве тут мало причин для волнений? Достаточно. Вот почему мы решили повременить, посмотреть, как у вас все сложится. Хоть какое-то время...

— Зато теперь,— прервала мужа госпожа Давермель,— мы знаем, чего нам держаться.

Пауза. Потом разговор продолжается. Опасения сменяются удивлением, удовлетворение — признательностью... Исчезают мрачные тучи, но все же не стоит закрывать глаза на трудности, их надо предвидеть, чтобы в новой жизни справиться с последствиями прошлого: *Впрочем, до сих пор... особенно в том, что касается детей... вы выходите из положения, говорю это с полной откровенностью... с большим тактом...* Словно волос из бороды, словно волоконце сыра — слова тянулись, переплетались, путались. Наконец-то перешли к фактам — в выражениях сдержанных, но достаточно внятных. Научитесь беречь любовь сына. Деньги сына — тоже, впрочем, вы это можете, доказали. И продолжайте, детка, претворять в жизнь свои добрые намерения: во-первых, помогайте ему, насколько это возможно, сочетать в себе художника с декоратором, неплохо бы сбывать картины клиентам фирмы «Мобиляр»; во-вторых, стоило бы заинтересовать этих клиентов — пусть они заказывают свои портреты; в-третьих, практикуя эту профессию, теперь довольно редкую, он может создать себе имя, карьеру, возможность дополнительного заработка.

— Я ведь, знаете ли, люблю Луи! — говорит Одиль.

И лица сразу умилились; Одиль полагала, что иной раз простительно слегка пококетничать, сказав правду дрожащим от волнения голосом. Забвение прошлого помогает обелить настоящее. Представляются они дурачками или на самом деле глуповаты — в сущности, какое это имеет значение? «Милые родители,— весело подумала она,— не столь уж длинна эта дорога от ваших проклятий до признания моих заслуг! Любовник он мой или муж, это все тот же самый Луи, только в других руках и ублаготворенный другими средствами. Для вас я ровно ничего не сделала, все только для него и для себя самой».

■

Хлопают двери, слышатся шаги, откашливанье: прибыли Милоберы. Поздоровались, кивая головой с некоторой робостью.

— Мама! — обратилась Одиль к госпоже Давермель.— Вот моя мать...

Мама! Это прозвучало впервые. До сих пор Одиль, когда рассказывала о свекрови или писала ей, так ее не называла, а, как и Луи, употребляла разные забавные сокращения во множественном числе: «Звонили «Д»; ту же формулу она применяла для своего клана — «М» и для Фонтено — «Р».

— Весьма счастливы познакомиться с вами...

Счастье, конечно, умеренное, с некоторыми оговорками, не высказанными вслух. «М» *пристроили* свою дочь, которая вначале была отвергнута, «Д» *переменили* невестку на ту, которую прежде считали узурпаторшей. Однако хватит уже! Простите нам прегрешения наши, как мы прощаем их врагам нашим. Одиль сразу приглашает всех сесть за стол.

— Вы как будто коммерцией занимаетесь? Лично я недавно оставил эту сферу деятельности...

Лангустины, которых подали на закуску, имеют одно важное преимущество; вы снимаете с них панцирь, скребете внутри, тянете мясо из шейки, из лапок, это продолжается долго, вы все время заняты. При этом беседа может быть почти бессодержательной, вроде тех же пустых панцирей на дне вашей тарелки. А Одиль, улыбаясь, подбавляет закуску то одному, то другому, прекрасно понимая, что мягкая приветливость, а не желчь, как у Алины, создает уютную атмосферу, когда можно достичь желаемого без нажима, но так, чтоб даже молчание становилось полезным делу; и в этой тактике ее сила. Веселые всегда берут верх над нытиками.

— Мы оба, дорогой мой, занимаемся благородной коммерцией, не правда ли?

Конечно, это было сказано не без яда. Но так или иначе, а еще вчера владелец книжного магазина и аптекарь всякое болтали и про сына, и про дочку, и, несомненно, и тот и другой ожидали извинений или обещаний, которые могли бы спасти положение, а вот теперь они уже друг друга поздравляют! Луи посмотрел на жену. По обе стороны от нее сидели отцы, по обе стороны от него — матери; от Одили к Луи струился живительный ток, не нуждающийся ни в каком проводе. Они и ведут свой род от этих самых отцов, нашедших свое призвание в коммерции: коммерция одного поддерживает дух, другого — тело. Конечно, хозяин книжного магазина не может стать доктором, как аптекарь, это ясно; тут преимущество на стороне Луи. Зато он стал образованнее благодаря своей торговле и знает толк в книгах лучше, чем аптекарь,— тут уж преимущество на стороне Одили. Но семья «Д», как и семья «М», теперь говорит лишь о том, что их объединяет; этим занялись и дамы: они успели обозреть свое житье-бытье, переходя от лавки к дому, от обслуживания клиентов к уходу за детьми.

— Кто это там? — вдруг спросил книготорговец. По гравию во дворе кто-то шел, скрипя башмаками.

— Вы ожидаете Четверку? — осведомился дедушка.

— Нет,— ответила Одиль.— Мы с ними видимся два раза в месяц, по воскресеньям, сегодня же Троицын день, а все короткие каникулы мы делим пополам. Алина их отпустит лишь завтра после полудня.

— Это только так говорится — Четверка, — добавил Луи. — К нам ходят двое. Я так огорчен постоянным отсутствием старших, что собираюсь послать к Алине судебного исполнителя.

Алина. Снова Алина. Упоминание этого имени внесло холодок. По выражению лица новой супруги было ясно, что Одиль вовсе не собирается бороться за старших детей и не грустит из-за их отсутствия. Но дверь приоткрылась, впустив Розу и Ги, запыхавшихся, потных.

— Мы сказали дома, что хотим покататься на велосипедах,— выкрикнул Ги.

— Простите, я посмотрю, который час,— торопливо проговорила Роза.— У нас всего минут десять свободных.

Фернан Давермель не верил своим глазам. Ги бросился лобызать отца и уже вертелся возле Одили, которая тут же встала, поставила две тарелки, отрезала два куска пирога с фруктами и усадила детей по обе стороны стола; она остановилась около младшего.

— До чего же ты неряшливо одет! — сказала она.— Нельзя ходить с продранными локтями. Послезавтра, когда придешь, переодену тебя.

— Если ты мне купишь костюм и она узнает, что это ты, то сразу отберет его,— тихо сказал Ги.

— Когда будешь уходить домой, костюм снимешь.

Интимная беседа, почти неслышная. Однако в официально-ласковых улыбках собравшихся сквозили немые вопросы: *Не слишком ли?*

Против самой природы, не так ли? Все ли козыри тут годны? Может, ей хочется... Мать и свекровь, как более проницательные, уже не сомневались. Луи, Одиль, Роза, Ги... родители Давермель, родители Милобер, как бы они теперь ни были связаны между собой, все же их связь вторична, по-настоящему же их объединит только новый ребенок.

20 мая 1967

Три часа. Приехавшая в Париж в предвкушении Дня матерей — он будет, таким образом, отпразднован сразу двумя поколениями,— госпожа Ребюсто сидела и вязала, бросая злые взгляды в окно, за которым до самого горизонта шли бетонные здания. Сколько изменений произошло с тех пор, когда Алина принимала своих родных в собственном доме, в комнате для гостей, а родители в ответ могли предоставить ей в дни каникул свой сельский домик и парк! Хотя ее новое жилье в «Резиданс Лотер» обогревалось центральным отоплением, но четыре комнаты на пять человек площадью меньше восьмидесяти квадратных метров — это еще хуже, чем слегка задымленный печами первый этаж, который после смерти мужа занимала в центре Шазе бабушка Ребюсто. Из-за недостатка места ей пришлось вчера ночевать в одной комнате с дочерью; и Алину было не узнать — она как-то сжалась, растерялась и даже сама горько сказала, выйдя на узкий балкончик, с которого был виден лишь строительный мусор:

— У нас сейчас куда более высокое положение — живем на пятом этаже. Что же касается всего прочего, то мы кубарем летим вниз.

Можно было в этом и не признаваться. Беспорядок в доме, безразличие ко всему на свете, вечные распри между девочками, засунутыми в одну комнату, эгоизм Леона, единолично окопавшегося в собственной комнате по праву старшего и решившего не допускать сюда Ги, раздражение младшего, вынужденного довольствоваться для приготовления уроков уголком обеденного стола, а для сна — запасным диванчиком, причем лишь тогда, когда остальные соглашались освободить гостиную. Все это, по мнению госпожи Ребюсто, не предвещало ничего хорошего. Старшие по существу уже жили вне дома: у Розы был неприступный вид, Ги весь ощетинился. Алина находилась в каком-то полубреду: ко всем придиралась, молчала, когда надо было негодовать, негодовала, когда следовало молчать, позволяла себе грубую брань. Нельзя настраивать одного ребенка против другого. Зачем брать сторону Агаты, поборницы закрытых окон, против ее сестры, любительницы свежего воздуха? Конечно, нехорошо, что Роза имела основания сказать матери:

— У тебя, мама, всегда права только Агата.

Но ответ Алины уж и вовсе непростителен:

— Она хотя бы понимает, кого из родителей следует предпочесть.

Четыре часа. Госпожа Ребюсто встревоженно оборачивается: кто-то ударил ногой по двери, и створка с грохотом стукнула о перегородку. В гостиную, забитую неразобранными еще вещами,— право, требуется незаурядное мастерство, чтоб навести здесь порядок,— врывается Алина, бросает на пол хозяйственную сумку и со злостью дергает застежку на пальто.

— Ты опять бродила вокруг своего прежнего дома,— говорит госпожа Ребюсто.— Не надо было снимать новую квартиру так близко.

— Четверка и так уже много потеряла. Неужели нужно еще расставаться с друзьями, менять лицей, привычки? — отвечает Алина.— Впрочем, ты ошиблась: я была в суде, у судебного исполнителя, хотела с ним поговорить. Еще две жалобы! Луи даже в мелочах не уступает.

Голубая повестка торчит из хозяйственной сумки между головками лука-порея.

— Я, видите ли, все еще пользуюсь его фамилией. Агата, видите ли, больше не бывает у него.

— Ну и ну! — осторожно замечает госпожа Ребюсто.

Еще сегодня утром за кофе они беседовали о том, что Луи разрешил Алине оставить детей у себя в День матерей, в воскресенье двадцать восьмого мая, при условии, что Алина уступит ему двадцать первое — Троицын день. Даже ворчали: «Ну и расщедрился ваш папаша! Даром ничего не даст, только выменяет». Даже пропели: «Вот Троицын день проходит... Вернется ли, бог весть...»[1] А несколько минут спустя, все еще именем госпожи Давермель, была подписана квитанция — рассыльный принес коробку с сыром «Труа Сюис». Тем не менее сейчас Алина, нервно сцепив руки, потом снова разжав их, меряет шагами комнату и вдруг произносит со злостью:

— Весело, правда? Вчера мой адвокат просил меня сделать уступку, словно его оплачивает Луи, а не я. А сегодня палач уже жалуется на свою жертву. Этот подлец сам задохнется в своей мерзости. Я всегда верила, что судьба его когда-нибудь накажет и он тоже будет рогоносцем. Насчет этой девицы, которую он подобрал на панели, можно не сомневаться, и я только жалею, что до сих пор сама этим не занялась. Представляешь? Ведь у него на руках могли бы оказаться незаконнорожденные.

— Алина! — остановила ее госпожа Ребюсто.

Но Алина, не обращая на нее внимания, лихорадочно вопила:

— Пусть! Что это за адвокат? Он только и думает, как бы вас утихомирить, и вовсе не старается оказать вам поддержку. Пошлю его к чертям. Что же касается Луи, то раз он так жаждет видеть Агату, то получит ее. Малышка тоже умеет за себя постоять. Можно не закрыть кран в ванной — пусть течет, можно опрокинуть на ковер бутылку масла... сколько прекрасных возможностей есть у падчерицы, чтобы мачеха смогла ее оценить! Да и я постараюсь доставить удовольствие мадам и мосье, поинтересуюсь их финансами, выясню, что у них за доходы. Сразу сейчас и начну, не буду терять ни секунды... — Она застегнула пальто и направилась к двери, бросив напоследок: — Скажешь детям, что вернусь поздно: пойду к мэтру Гренд.

■

Пять часов. Четверка уже возвратилась нестройными рядами, каждый заперся у себя в комнате. Кроме Ги, разумеется: девочки его прогнали, когда он попытался проникнуть к ним, а Леон шуганул из уборной, ибо ему надоела возня брата со спусковым крючком, раз шесть он его дернул; тогда Ги начал носиться, прыгая, как воробей, по всей квартире без всякой цели. Потом он устал, свалился на диван, по ночам заменявший ему постель, а днем превращавшийся в весьма живописное скопление подушечек, тщательно разложенных на чехле, мять который строго запрещалось. У Ме не хватало сил стащить Ги с дивана, а потому она попыталась найти обходной путь.

— Если у тебя нет уроков, — сказала бабушка, — то почему не пойти погулять?

— Куда же мне идти, по-твоему? Мама взяла мой велосипед и заперла его в погреб на ключ.

---

[1] Слова из популярной французской песенки «Мальбрук в поход собрался...».

Алина так поступила после того, как встретила Ги у выхода из Венсенского леса: стало быть, опять ездил в Ножан. А бабушка хотя и знала об этом, но промолчала; неразумная это была мера, она вызвала в мальчишке только злобу и желание снова насолить—отправиться в Ножан на автобусе или даже пешком. Однако, не желая касаться больного вопроса, бабушка затронула еще более болезненную тему.

— А как твои хомяки? — спросила старуха Ребюсто.— Ты перестал ими заниматься?

— Мама выкинула их,— ответил Ги.— Она считает, что в квартире от них только вонь.

Единственное, что могла придумать в такой ситуации бабушка,— это немедленно уйти на кухню и приготовить там несколько чашек горячего шоколада и песочное печенье с кремом, которое у нее отлично получалось. Ги скоро насытился сладостями, но когда старуха собралась унести поднос, рассердился:

— Никак ты хочешь угощать нашего Пашу?

Тем не менее он отправился вместе с ней, трижды постучал в дверь указательным пальцем (таково было требование Леона), чтобы предупредить второгодника, усердно готовившегося к экзаменам, а потом Ги вдруг быстро толкнул дверь и с торжеством увидел, как подымается всклоченная голова прилежного ученика, задремавшего над своей тетрадью.

— Ну, что я тебе говорил! — рассмеялся Ги.— Это называется, он работает.

— Пошел вон! — прорычал Леон.

Бабушка приблизилась к старшему внуку, но тот не проявил никакого интереса к шоколаду. Хмуро оглядел чашку, скорчил гримасу и заворчал, как это делал всегда, отгоняя осточертевшие материнские заботы:

— Опять шоколад! Будто ты не знаешь, что я терпеть не могу все, что делается на молоке.

■

Ме идет к девочкам. Диван-кровать слева, такой же справа, два узких платяных шкафчика друг против друга, два узких столика-секретера; обитательницы комнаты сидят друг к другу спиной скорее по необходимости, чем по своей воле: им мешает белая линия, начерченная мелом на полу и надвое разделяющая комнату. Хорошо еще, что дверь и окно находятся в центре; одна часть комнаты почти пустая, строгая; другая половина выглядит более легкомысленно — увешана фотографиями кинозвезд, бумажными цветами, юбочками для танцулек.

— У каждой из нас свой дом,— говорит Роза.— Мне осточертел хаос Агаты.

Сестры, хмурясь, пьют шоколад.

— А куда девались твои ракушки? — спрашивает Ме.

— Как куда? — отвечает за сестру Агата.— Она их пристроила у папы.

Роза уже отвернулась и снова принялась за чтение. Агата же выскользнула на балкон, осмотрела сверху улицу и, помахав кому-то рукой, надела пальто. Легкий свист послужил сигналом для Леона, он вылез из своего логова — глаза у него возбужденно блестели — и спросил: «Они здесь?» Растерявшаяся Ме не знала, уместно или нет требовать разъяснения, и поспешила ретироваться вместе с подносом. А когда она вернулась из кухни, дверь за старшими уже захлопнулась. Младшие смотрели с балкона на улицу.

— Это Марк,— сказала Роза.

— И Соланж,— добавил Ги.— Ручаюсь, что раньше полуночи они домой не вернутся.

21 мая 1967

Триста тюльпанов заполняют газон тесными рядами, в каждом ряду по пятнадцать цветов. Ги лавирует среди них с электрической машинкой для стрижки газона, боясь выдернуть шнур, который тянется через раскрытое окно от розетки, куда вставлена также вилка от телевизора. Одиль еще четверть часа назад упрашивала:

— Останови хоть на минутку, ведь пробки перегорят!

Они и перегорели, прервав разом и стрижку травы, и демонстрацию фильма. Луи спустился со своего чердака и живо сменил пробки.

— Ничего не поделаешь, бывает. Посмотри, как мальчишка огорчен.

Добрый папа! Спокойно наклонился над раковиной и моет в жидкости «Пейк-Ситрон» свои кисточки. Потом снова поднимается к себе. Он уже совершенно забыл о том, как был утром рассержен: и тем, что Агата продолжает наплевательски относиться к решению суда, и фокусами Леона, который только десять минут побыл у отца — как раз столько, чтобы не сказали, что он уклонился от свидания; Луи, пылая местью, поклялся, что в следующий раз заставит Леона прийти при свидетелях. Но с ним сейчас была Роза, а когда она ласкается как котенок, Луи тает и нежно мурлычет.

На экране телевизора вновь появился фильм, укороченный на две-три сцены, которые были пропущены, пока меняли пробки. Одиль, предпочитавшая стоять, а не сидеть, была не так увлечена фильмом, как своей книгой; ее не занимало, почему героиня все время хнычет, а только удивляло, как же режиссер допустил, чтобы актриса утопала в этих фальшивых слезах? В сущности, ее не интересовала тайна этой девушки, а волновала собственная тайна, во имя которой она и решила передохнуть. Пустота телефильма вполне устраивала Одиль, как и отсутствие Агаты и Леона, которые за это время ничуть не изменились и, видимо, не станут такими, какими ей хотелось бы их видеть. Она, пожалуй, поудобней усядется сейчас в этом кресле-корзинке, немного подремлет... Но что там еще?

— Возьмешь трубку? — громко крикнули сверху.

Звонил телефон. Одиль потянулась, немного подвигала затекшей ногой, взяла трубку и очень внятно, уверенно произнесла:

— Мадам Давермель слушает.

— Говорит экс-мадам! — ответили ей.

Три секунды молчания... Даже если заберешься на высокое дерево и внизу зарычит пантера — все равно будет страшно.

— Ну что же, значит, вы боитесь меня? Но я не за вами охочусь, моя крошка. Впрочем... словом, давайте-ка сюда этого типчика!— уточнил голос настолько жесткий, что в его принадлежности можно было не сомневаться. Одиль с негодованием покачала головой. Самым противным было *моя крошка*: вроде бы ласково, но в то же время и свысока, заранее считая, что этим можно смутить. Почтенная дама из Фонтенэ ошиблась. Тут не будут изображать ни застенчивость, ни высокомерие, ни любопытство. Можно просто прервать разговор — наверняка снова позвонит.

Так оно и было. Пусть звонит подольше, куда спешить.

— Ты возьмешь трубку? — опять раздается с чердака.

Одиль кричит:

— Это тебя! — и наконец подымает трубку с рычага.

Урок, видимо, усвоен.

— У телефона мать детей,— звучит голос по-прежнему едко, но уже более сдержанно.

— Вы, верно, хотите поговорить с моим мужем, мосье Давермелем? — говорит Одиль, сделав легкое ударение на притяжательном.— Сейчас, мадам, я передам ему трубку.

Долгая пауза. Запыхавшись, входит Луи.

— Извини, я была вынуждена прервать разговор, потому что эта женщина была крайне невежлива,— говорит Одиль так громко, чтоб ее услышали и в комнате, и на другом конце провода.

И снова усаживается в свое кресло-корзинку.

■

Теперь очередь Луи. От волнения кадык перекатывается у него в горле. Алина резко обрушивается на него:

— Раз уж мне приходится звонить вам, мосье, то, наверно, можно было бы и не говорить, как я рада визитам судебного исполнителя. Уверена, мосье, что вы, в свою очередь, сумеете оценить прошение, которое сейчас подготавливает мой новый адвокат. Зная вашу щедрость...

Луи, оторопев, вначале ничего не замечает, кроме этих тяжеловесных, сугубо подчеркнутых обращений на «вы», среди которых даже ненароком ни разу не проскальзывает «ты». Продолжение уже выглядит менее достойно, чем зачин, и насыщено оскорблениями и несуразной бранью.

— Кстати, скажите своей воображале, что я не так богата и мне трудно из-за ее вздорных выходок платить за два вызова... Откуда она взялась, такая визгливая? Из Ажена, а? Так или иначе меня тошнит от нее... Ладно, черт с ней! Итак, я сказала, что вы человек щедрый, любите посылать вызовы в суд, а потому, может, соблаговолите присылать мне побольше денег...

Луи слышит едкий смешок, перешептывания. Верно, там, где-то рядом, Эмма Вальду. Но не исключено, что Алина совсем одурела и дала вторую трубку дочке.

— Короче, чего вы хотите? — обрывает ее Луи.— Если речь идет о прибавке алиментов, то считаю нужным сказать вам...

— Нечего зря болтать: ваши доходы возросли вдвое. Я вас поздравляю с успехами, но почему же мы не получаем своей законной доли?

Думаешь о бедах ближнего с волнением, положа руку на сердце, но там же находится бумажник, и это не менее чувствительно... Ее законная доля! Изменить ей сумму алиментов — это еще куда ни шло! Но чтобы Алина из-за того лишь, что когда-то, в трудные времена, она была его женой, имела право претендовать на его теперешние заработки, чтобы во имя прошлого она могла, как пиявка, присосаться и к его будущему — черта с два! Луи слушает эту голубушку, а она перестала разглагольствовать и с точностью счетной машины перешла к цифрам:

— Итак, у вас есть твердое жалованье в фирме «Мобиляр»: две тысячи пятьсот франков. Кроме того, вы получаете по крайней мере тысячи три по заказам... Несколько слов и о вашей выставке, я там была, осведомилась о ценах, подсчитала красные ярлыки, означающие, что полотна проданы, подвела итог и...

— А расходы вы не учитываете? А то, что пятьдесят процентов мне приходится платить за галерею? — сказал Луи, стараясь по возможности не кричать.

Одиль отключила трубку, чтобы не мешать разговору: сверху спустилась Роза, вернулся из сада Ги. Оба остановились, молчаливые, притихшие, неподвижные. Значит, слышали. Ну и положение! Приходится спорить о прибавке алиментов в присутствии детей, которые в конце концов от этого только бы выиграли, да еще в присутствии женщины, которая уж точно пострадает.

— Знаю, эти расходы я вычла,— продолжала Алина.— Но уж мне-то известно, что некоторые любители платят вам наличными за свои портреты. Вы можете обмануть сборщика налогов, но не пытайтесь провести меня. Ваше положение стало вполне приличным. Особенно если учесть, что плюс ко всему ваша жена тоже работает...

Ах, значит, Одиль работает... Надо быстро ухватиться за эту юридическую ошибку.

— Ну вот что, пора говорить серьезно. Моя жена ничего не должна вам выплачивать из своего заработка.

— А разве это не чудовищно? — восклицает Алина, стараясь говорить как можно убедительней.— Она разрушила нашу семью, значит, должна, как и вы, возмещать нам ущерб. Без всякого стеснения я упорно буду добиваться того, что нам положено... Конечно, мой дорогой, я нахожусь от вас в полной зависимости. Теперь это стало моим основным ремеслом. Есть две категории женщин, живущих на содержании: одних держат для удовольствия, других принимают как кару. Вы, бедняга, совмещаете и то, и другое, ибо женились на девице из первой категории и развелись с той, что была во второй, а теперь вынуждены содержать обеих!

Луи ошеломленно заморгал. Упряма, но не слишком хитра — такой он считал Алину. Если разум не всегда приходит к девушкам вместе с любовью, как гласит поговорка, то уж, во всяком случае, с потерей любви он оттачивается.

Тем временем Алина продолжала:

— Если хотите, я всего лишь гувернантка ваших детей; ознакомьтесь с тарифом — он много выше того, что вы мне даете...

По многолетнему опыту Луи знал, что Алине надо дать выговориться, особенно если она все это выкладывает по телефону; тут он может и помолчать — при этом она еще больше смелеет и выдает себя полностью. Того, кто не знает меры, лучше не удерживать, пусть зайдет подальше, тогда можно и одернуть. Что и произошло с Алиной.

— Для меня все просто, как при дележе дыни: каждому свой кусок. В дыне не больше восьми кусков. Я, стало быть, возьму из них пять. Два куска оставлю вам, а восьмой пойдет на налоги: я не скуплюсь, ведь мне тоже приходится платить налоги с алиментов, которые вы вычитаете из ваших доходов... А раз вы расходуете эти деньги на себя, то с этой суммы мы теперь и взыщем. Какие выводы? Вы должны оплачивать мои налоги.

— Великолепно! — сказал Луи.— Это все Эмма вам нашептала? Как ни досадно, но мне пришлось покопаться в этом вопросе. Посмотрите еще раз статью двести четырнадцатую. Максимум для вас — треть. Суд может посчитаться с интересами детей и увеличить им пособие, но ваш пересчет, конечно, не совпадет с мнением суда. При расчете там исходят из суммы чистого дохода, а не валового, ибо наша работа влечет за собой соответствующие расходы, а у вас таковых нет. Ввиду этого по положению — одна часть на взрослого, полчасти на каждого из детей. Итого, вы, моя милая, получаете три части против двух с половиной...

Вот так сообщение! Одиль внезапно поворачивается, чтобы посмотреть на Ги, но тот ничего не понял; затем она смотрит на Розу —

та не решается понять, как и ее мать, которая находится в трех километрах отсюда.

— Двух с половиной?.. Неужели вы так глупы, что хотите еще утяжелить свое бремя?

— А разве мы были так уж глупы, когда четырежды приумножили его?

■

Только одна эта фраза, но она вырвалась из глубины души, и атмосфера сразу смягчилась. Всего на мгновенье. Да, это произошло четырежды, четыре раза, теперь будет пятый, и все — от одного и того же отца. Но матери у них разные, одна там, на проводе, сразу замолкла, внезапно онемев от слов «разве мы были так уж...», как замолкает пациент у врача, глубоко вдохнув немного келена[1]. Какие мерзости говорим мы иной раз друг другу — даже слюна брызжет изо рта, не давая вытряхнуть все до конца. «Кто мне сейчас помешал добавить, что, видимо, Агата для меня уже потеряна, Леон тоже под сомнением, а вот двое младших мне верны, но они находятся в ваших руках. Удастся ли мне сохранить хотя бы одного, не помешаете ли вы мне в этом? И как я могу надеяться, что кто-то из них будет жить в моем доме и будет полностью моим? То-то и оно. У меня не было причин отказать в праве на материнство совсем молодой женщине. Напротив. Любить и родить ребенка для меня означает идти до конца, а для нее — хотя бы частично утвердить себя, лишив вас монополии материнства...»

— А как отнесется к этому Четверка? — произносит Алина где-то вдалеке.

Но недолго длится благостное настроение, возникает досада, и Алина говорит:

— Сын родится или дочка, ты для них будешь вроде дедушки. И сразу добавляет:— Это еще одно основание, чтоб оставить в покое Агату. Пусть ходит к тебе, когда сама захочет, разве так не лучше, а? Ты все кричишь и сердишься, но у тебя даже нет желания ее уломать.

Как ни грустно, но это была правда. Луи отлично знал, что дерзости Агаты, ее хищные когти, копанье в чужих вещах невероятно раздражают Одиль, что когда Агата у них в доме, за ней нужно следить, быть осторожным в выражениях, нужно прятать портмоне, документы. Луи знал, что Алина колеблется между злорадным удовольствием отлучить от него дочь и боязнью потерять в ее лице преданного агента-осведомителя; так же колебался и сам Луи, не зная, что же предпочесть — покой или гордость, выбрать ли постоянный страх или пренебречь чувством привязанности. И поэтому он бурчит:

— Будь благоразумна, Алина. Если ты и на этот раз обратишься в суд, адвоката тебе придется самой оплачивать, а если ты проиграешь дело, то и все судебные издержки...

Он и сам в ужасе от подобной перспективы, от возможности нового процесса и дальнейших бесконечных трат.

— Ну, если еще десять процентов, то я не стану возражать.

— Пятнадцать,— немедленно выкрикивает Алина.— Жизнь так дорожает. Если ты согласен, то я скажу тем, кто мне помогает, что лучше все оформить частным порядком.

Как не согласиться? Чтоб мстить за жалобы. Алина прибегла к гениальному способу — финансовому шантажу. Она выиграла, но

[1] Келен — хлористый этил, ингаляционный наркотик.

могла бы добиться и большего и отлично понимала это. Правда, бойкотирование отца старшими детьми было Алине невыгодно перед лицом судей: процесс обошелся бы ей дорого, и еще неизвестно, чем бы кончился. Да, эта оса умела соображать, она была не так уж безумна. А жало держала про запас. Она еще заставит Луи поволноваться, угрожая внимательным изучением его доходов,— нет, не тех, о которых сообщают официально, а тех, что он хотел бы скрыть.

— Пусть будет так! — сказал Луи, тяжко вздохнув, чтоб сбить с толку даму из Фонтенэ.

Но она-то не дура. Ищет уже, чем бы поживиться.

— Хорошо! Подвожу итог. Итак: свободное посещение в подходящее для детей время — я имею в виду старших. Увеличить алименты на пятнадцать процентов. Кроме того, так как ты собираешься купить новую машину — мне об этом сказали,— то оставь старую мне.

Ноябрь 1967

10 ноября 1967

Именно в пятницу, накануне Дня перемирия — официальной даты, а не того, что было подписано с Луи, но быстро превратилось в мертвую букву,— итак, в пятницу Алина согласилась отвести Ги в Центр для психически неполноценных детей.

Конечно, она все еще была в нерешительности, да и как могло быть иначе? Подчеркнутое сочувствие всей этой учительской шайки, только и толковавшей, что ребенок лишен общения с отцом, вызывало у Алины тошноту. Даже само название этого учреждения отталкивало: корень *психо* в слове «психология» не пугает, но он тревожит, когда с вами говорят о педопсихиатре. Конечно, Ги был ребенком не из легких, это так! Но можно ли считать его ненормальным? Конечно нет! *«Временами я думаю, не болен ли ваш сын, у него так изменился характер»*,— даже в такой смягченной форме заключение мадемуазель Равиг казалось обидным; особенно потому, что после недавней драки в классе и жалобы кого-то из родителей на то, что Ги подставил их мальчику синяк под глазом, эта самая мадемуазель Равиг попросила Алину поставить в известность отца. Известить Луи? Как бы тогда Алина выглядела? И зачем это делать, сами скажите? Ведь суд доверил ей воспитание мальчика. Стало быть, она одна за все отвечает. Со времени развода Алина ни о чем не советовалась с Луи; даже дневника с отметками ему не показывала. Хотя адвокат Лере, любитель поучать, постоянно твердил ей, что ее право опеки вовсе не исключает права контроля со стороны Луи. Хотя и Роза часто ей говорила: «Ты, мама, все повторяешь, что папе на нас наплевать, а когда он интересуется нами, ты начинаешь кричать, что это не его дело». Эта девчонка вечно своему папаше вторит, ей хочется похвалиться своими школьными успехами! Но, с другой стороны, если остальные дети ничем не выделяются, то, по крайней мере, благоразумно помалкивать.

В общем, если бы Ги не заработал за какую-то мелочь пару пощечин, если бы он не впал тут же в истерику и не стал кидать в мать чем попало — кофейником, масленкой, банкой с вареньем, сковородкой, загрязнив всю кухню содержимым всей этой утвари, если бы к тому же дирекция, подписывая листки посещения школы, не начала хотя и несколько туманно, но все же грозить ей отменой пособия на воспитание, Алина пренебрегла бы и третьим вызовом в Центр для психически неполноценных детей, напечатанным на зеленом бланке.

И вот Ги медленно тащится за ней, весьма недовольный; порой Алина брала его за руку, но и сама все еще колебалась, даже когда они подошли к площади Сен-Мишель, откуда надо было свернуть на улицу Дантона. И уже в коридоре, за дверью, ее все еще мучило желание повернуть назад. Какой козырь для Луи, если он только узнает, куда ей пришлось ходить с сыном! И хотя Алина бесконечно долбила мальчишке: «Каких ты только глупостей не делаешь, вот если б я о них отцу рассказала, он бы тебе задал порку», она не была уверена, что Ги не проболтается и не будет хвастать своим озорством. Нет, придется идти. Алина поискала звонок и вынула зеленый листок из сумочки.

— Вы привели к нам этого молодого человека?— улыбаясь, спросила девушка, появившаяся в приемной в указанное время.— У вас зеленый листок?.. Это к доктору Тренелю. Я провожу вас.

Пришлось идти с ней на второй этаж.

■

Это просто молокосос. Ему нет и тридцати — худой, рыжий, зеленоглазый, руки в веснушках. Медицинского халата на нем нет. Сидит за каким-то жалким металлическим столиком, загроможденным кучей карточек и диктофоном. Кабинет почти пуст — лишь у стола четыре стула. Доктор обращается к помощницам:

— Сначала я поговорю с мамашей. А вы пока займетесь мальчиком.

И он поручает ребенка упомянутым дамам в возрасте двадцати пяти, тридцати пяти и сорока пяти: три разные женщины на выбор, и Ги сразу подходит к самой молодой; Алина оставляет его в большой комнате — светлой, украшенной детскими рисунками: здесь мягкие игрушки, зверьки из плюша, куклы, детские конструкторы и какие-то странные, трудно определимые приборы, превращающие комнату в нечто среднее между залой для игр и лабораторией для исследований. Держась прямо как палка, Алина садится в кабинете на ближайший стул и ожидает, разглядывая носки своих туфель. Но быстро успокаивается. Медикус ей пока ничего не предъявляет, пробегая глазами содержимое папки, в которой находится всего один листок.

— Все это не столь серьезно,— замечает молодой человек.

— Я того же мнения,— отвечает Алина.

— Вы развелись, не так ли? — небрежно бросает врач.— Ребенок не хочет считаться с нашими трудностями, не так ли? Нет ли чего-нибудь особого, на что вам хотелось бы обратить наше внимание?

Он хоть и начинающий, но сообразителен, этот доктор Ленель или Ренель, как там его, впрочем, не важно, наверняка в этом институте ему поручают случаи не слишком сложные.

— Бог ты мой,— вздыхает Алина,— ничего нет особого, все самое обычное. Ги любил отца. Тот нас бросил, чтобы жениться на своей любовнице. Но добился от суда права на встречи с детьми, этим он и пользуется, чтоб восстанавливать их против меня.

— Так часто бывает,— говорит психиатр.

Он ничего не записывает. Только посматривает, будто исповедник или полицейский, но в общем довольно дружелюбно. Если он согласится с Алиной, что отцовское влияние наносит вред, то его папка может стать полезной. Наверно, доктор нуждается в более полной информации и будет доволен, если мать сумеет ему в этом помочь. Снова вопрос:

— А брат мальчика и его сестры так же реагируют на сложившуюся ситуацию?

— Конечно нет,— отвечает Алина.— Двое старших — уже взрослые люди и во всем могут сами разобраться; Леон только что сдал на бакалавра и скоро будет изучать аптекарское дело. Агата сейчас в последнем классе лицея. Оба они настолько презирают отца, что почти не ходят к нему.

Рыжая голова мягко кивнула. Алина уже завелась. Обычно младшие дети не очень послушны, не так ли? Ги ведь всего одиннадцать, умишко совсем детский, и его поведение не должно удивлять, менее естественно это для Розы, ей-то уже пятнадцать с половиной, она отлично учится. Но тут надо принять во внимание желание противопоставить себя сестре, к тому же более красивой, чем она, и, конечно, более независимой; то же самое происходит и с Ги — тому приятно дразнить старшего брата, которого он прозвал *Пашой*, а с того времени, как Ги начал учить латынь, он еще называет брата ego nominor [1] Леон. Хитрец мальчишка, а? Но озлобленный. Потому что его злит многое. У нас маленькая квартира, нет автомобиля, денег всегда не хватает. У них — большой дом, отличная машина, полный достаток. В Фонтенэ у Ги своей комнаты нет, а вот в Ножане есть. Отец развивает в Ги эгоизм, так как это ему выгодно. Может ли мальчик, сравнивая разные образы жизни, стать на сторону того из нас, кто больше любит его?

— Но ведь те же преимущества должны ощущать и старшие,— вдруг сказал психиатр.— Вы не думаете, что привязанность может иметь и другую причину, чисто эмоциональную?

Лицо у Алины стало жестким.

— Если говорить о Розе,— прошептала она,— то здесь я могла бы предположить сентиментальные чувства, какие нередко возникают между отцом и дочерью. Но для Ги все это ужасно, у меня создалось впечатление...

— Впечатление? Какое?

Зеленые глаза стали внимательней, настойчивей, взгляд как сверло.

— Этим летом,— продолжала Алина,— во время каникул я отправила Ги в детскую колонию, а Розу в Англию. После этого мне полагалось передать их отцу. Но с тех пор как они вернулись из отцовского дома, Роза холодна, точно лед. А вот Ги — только послушать, до чего он восхищен своей мачехой! И ребенком, которого она ждет! Как будто, доктор, это я, как будто обо мне он все это говорит. И напрасно я внушаю ему, что этот ребенок ему не будет ни братом, ни сестрой, раз родит его другая женщина; но Ги смеет возражать: «Все равно мы одного семени!»

— И у вас создалось впечатление,— сказал психиатр,— что для Ги семья — я имею в виду полноценную, неразделенную семью: отец, мать, дети — восстановлена в Ножане?

— У чужой женщины! Скажите, доктор, разве это не ужасно! — возопила Алина.

Доктор Тренель наклонился к диктофону:

— Раймонда, вы закончили? Можете привести ко мне мальчика.

■

Слегка подталкиваемый в спину, вошел улыбающийся Ги и нахмурился только за три шага от стола.

---

[1] Здесь — так называемый *(лат.)*.

— Садись где хочешь,— сказал доктор, глядя в сторону.

Ги вразвалку, раскачивая плечами, прошел позади стульев и выбрал четвертый, самый дальний от матери, отодвинул его немного назад, уселся на самый край, придерживая сцепленными руками поднявшиеся при этом коленки. Ассистентка незаметно подмигнула врачу и положила перед ним на стол листок бумаги.

— Мы дали ему несколько небольших тестов. Совсем не плохо, я вас уверяю,— сказал психиатр.— У меня есть еще некоторые, присланные из лицея. Коэффициент более чем удовлетворительный. Мальчик совсем не глуп. Нам надо минут пять поболтать. Если вы, мадам, пройдете в соседнюю комнату, моя ассистентка составит вам компанию.

Алина в тревоге поднялась. Этот ребенок может наболтать невесть что. Ну, конечно, он тут для этого и находится. Однако есть факты, требующие пояснений, выводов...

— Знаете ли, доктор,— начала она,— Ги так робок...

С тем же успехом она могла бы обратиться к гранитному монументу.

— Вы полагаете? — вымолвила статуя.— Он не казался слишком робким, когда ввязался в драку на школьном дворе...

Ассистентка уже взяла ее под руку; Алина покорно последовала за ней, но, обернувшись, заметила на стене черную грифельную доску с желобком внизу, в котором лежали цветные мелки, а психиатр, не обращая внимания на уходившую мать, уже говорил мальчику: «Не нарисуешь ли мне домик? А сбоку от него дерево, а? Рисуй как хочешь и что хочешь, только быстро...» Когда Алина с сожалением закрыла за собой дверь, Ги большим красным кольцом изобразил солнце, а двумя зелеными черточками воткнул рядом тисовое дерево.

■

Алине вернули сына полчаса спустя; он вышел, ухмыляясь, с хвастливым видом, уплетая неизвестно откуда появившийся бутерброд с сыром. Ассистентка попросила дать адрес отца, если понадобится связаться с ним. Алина ожидала этой просьбы и дать адрес не отказалась, но она намеренно перепутала всех Давермелей и сделала так, чтобы Луи было невозможно разыскать: сказала, что он живет на улице Вано, в Ножане, невзирая на насмешливую улыбку сына, на которую ассистентка, однако, не обратила внимания.

— Было бы желательно,— сказала она,— чтобы мальчик к нам заходил время от времени.

— Вы ему ничего не прописали? — удивилась Алина. И, заметив, что женщина поморщилась, добавила: — Я не знаю, может, надо что-то успокоительное?

— Лечить следует причину, а не следствие,— уклончиво сказала ассистентка.— Доктор Тренель скоро вам пришлет свое заключение.

Алина быстро вышла и направилась к кондитерской, где перед изумленным мальчиком появились ромовая баба, пирожное с вишнями и шоколадный эклер; мать подступала к нему и так, и эдак, забрасывая его вопросами: *«О чем тебя спрашивали? Что они тебе сказали? Про отца говорили?»* Ги глотал, глотал, глотал все подряд и вдруг стал чересчур воспитанным — с полным ртом говорить не полагается; временами он вздыхал с явной скукой. Уже выходя из кондитерской, Алина догадалась:

— Они у тебя спросили папин адрес в Ножане?

— Конечно! — ответил Ги с жестоким простодушием.

12 ноября 1967
13 часов

Посмеяться над этим? Или заплакать? Поди пойми! Если на свете нет чудес, то бывают лотереи; и вместо крупного выигрыша иногда выпадают мелкие — для утешения. Жинетта всегда готова поносить своего муженька, но она и представить себе не могла существование женщины без двуспального ложа, а значит — и без брачного свидетельства. Анри прочно угнездился на этом ложе, свято придерживался тех же принципов. И когда месяц назад оба они во время доверительного разговора с Алиной рассказали ей о своем соседе, одиноком человеке, ставшем инвалидом после автомобильной аварии — обе ноги у него были перебиты, а жена и дочери погибли,— Алина как-то не сразу уловила смысл их сообщения. *Несчастный мосье Гальве, он жил лишь для своей семьи...* И поскольку разговор шел за триста километров от их набожной матери, Жинетта не побоялась добавить: «К тому же он протестант». Потом сообщила интересную подробность: «Бедняжка! Посмотри, он живет вон там, в этом большом доме с зеленой крышей, целыми днями слоняется из комнаты в комнату...»

Прошел месяц после разговора, и за это время накопилось немало добрых советов. Совет президентши после короткой встречи в клубе «Агарь»: «Знаете, моя дорогая, девять десятых брошенных мамаш не выходят потом замуж, потому что мужчины плохо свыкаются с чужими малютками». Совет адвоката клуба, Эдме Гренд, к помощи которой вместо мэтра Лере обратилась теперь Алина: «Я советую вам быть осторожной! Разведенная, намеревающаяся снова вступить в брак, ставит под угрозу свое пособие». Совет Эммы: «Растолките в одной ступе траур и разочарование, какой бальзам вы получите!» Совет набожной кузины: «Муж — все равно что нога, его не заменишь». Другой кузины: «Ну и дуреха эта Эдмонда! Ведь существуют протезы». Высказывания Агаты, Аннетты, Габриеля и еще некоторых, реагировавших коротко: «Это немыслимо!» Или: «А почему бы и нет?» Впрочем, они ничем не интересовались, кроме собственных мнений, так же как и мать Алины, которую бог знает кто всполошил в ее лесной глуши; она написала дочери четырехстраничное послание, заканчивавшееся мстительными, обидными словами: «Твой отец перевернулся бы в гробу, узнав об этом».

Но Алине нужно было поворачиваться в жизни, и она задумалась: несмотря на проявленный ею холодок, она все же в глубине души была польщена тем, что стала объектом всех этих разговоров. Ведь если люди считают, что брошенная жена еще может пристроиться — пусть об этом говорят даже с негодованием,— все равно для нее это неплохо. Но между чувством любопытства к тому, что могло бы произойти, и неверием в неосуществимое есть еще удовольствие помечтать, потешить себя. Хотя бы показать кукиш — ха, стоит мне только захотеть — тем, кто бросает серьезных женщин ради доступных девиц. Была собрана обширная информация: итак, господин Гальве — вдовец, он им стал после кончины некоей Симоны — дамы вполне почтенной, о которой никто не сказал ничего плохого, кроме того, что к своим дочерям и к своему кошельку она относилась весьма строго. Сам господин Гальве был колониальным офицером (отсюда — военная пенсия), сейчас он обеспечен работой в префектуре Кретей (и тут у него тоже будет пенсия, если он досрочно уйдет в отставку), и хотя господин Гальве калека (поэтому у него есть инвалидное пособие), но ничуть не хуже какого-нибудь чиновника-писаки. Теперь у него уже нет... нет детей, которых он мог бы обожать. Если вдовец намерен снова обзавестись женой, а у женщины есть возможность

благодаря ему изменить свою жизнь, понятно, как много это значит; к тому же переселить семью в такой хороший дом — тоже не так уж плохо. Надо об этом подумать; вот удивится Четверка, вернее, те двое, что уделяют чересчур много внимания своей беременной мачехе! А между прочим, их родная мать — тоже женщина и вполне может завести себе нового мужа.

Вот почему во второе воскресенье ноября, когда дети обычно уезжали к отцу, Алина, тщательно принарядившись — духи, завивка, новое платье — и убедив Агату поехать хоть раз к отцу, дала согласие пообедать в семье Фиу вместе с сестрой Аннеттой и господином Гальве.

■

Когда он подходил к дому, в котором жила Жинетта, стоявшему среди скопления небольших каменных особнячков, Алина была просто поражена. Он шагал четко, по-военному — раз-два, постукивая костылями; можно было подумать, что он ведет за собой целый полк таких же инвалидов.

— Ты не выйдешь к нему навстречу? — спросила Алина своего зятя, склонившегося рядом с ней над балконной решеткой.

— Только не раздражай его, предлагая свою помощь,— ответила Жинетта.

Гость управился весьма ловко, вызвал лифт, прошел коридор позвонил, вполне сохраняя равновесие; он опирался на один костыль и, когда здоровался, крепко пожимал руки. Борт его пиджака был украшен планкой из цветных орденских ленточек, а величественный взгляд заставлял забывать о целой сети мелких морщинок, разветвлявшихся от глаз к вискам, когда он прищуривался. Он небрежно и непринужденно передал один костыль Жинетте, другой Алине и уселся верхом на стул. Так же непринужденно расстегнул пальто, отвернул в стороны обе полы и сбросил его с себя без всякой посторонней помощи. Наверно, в те времена, когда он был еще невредим, его дочери спорили между собой, кому достанется честь повесить на крючок его коричневое пальто, под которым он носил кофейного цвета пиджак с неизменно торчавшими из левого бокового карманчика тремя карандашами.

— Как будто я где-то встречал вашу свояченицу,— сказал господин Гальве, усевшись и обращаясь к Анри.

Он обратился к Анри как к хозяину дома, хотя тот сразу вопросительно поглядел на жену, и она ответила за него:

— Да, наверное, года три назад вы были у нас вместе с мадам Гальве, когда мы принимали друзей.

Господин Гальве кинул на нее красноречивый взгляд: женщина не должна отвечать вместо мужа. Затем без всякого стеснения стал разглядывать Алину. Она не знала куда деваться. Что же ему о ней рассказали? Где? Когда? При каких обстоятельствах? Она предполагала, что встретит безногого калеку с материальным достатком, который он готов будет ей предоставить в ответ на заботу. А увидела мужчину, достаточно крепкого, чтобы вступить в новую жизнь. Но господин Гальве уже переключил свое внимание на собственные карманы, порылся в них, вытащил трубку с крышечкой, набил ее, зажег и, выпустив голубой дымок, сосредоточился на баре с колесиками — гордости семьи Фиу, который Жинетта подтолкнула поближе к гостю. Гримасой он выразил то, что думает по поводу виски, портвейна, вишневого ликера и других напитков, и только бутылка анисовки вызвала у него улыбку.

— Теперь тут уже такой не сыщешь,— заметил гость.— Симона обычно выписывала анисовку из Блиды.

Ему было достаточно двух рюмочек — он их медленно смаковал, прищелкивая от удовольствия языком; это удовольствие еще не рассеялось, когда в комнату внезапно ворвались Артюр и Арман — сыновья Жинетты, на которых гость посмотрел так пристально, что даже они смутились. Но Жинетта уже пригласила всех к столу, чем вполне ублажила гостя, ибо он, приподняв рукав, взглянул на ручные часы и заметил:

— Уже час дня. Откровенно говоря, я голоден. Дома у нас обед всегда ровно в двенадцать.

Стремясь еще раз доказать, до какой степени он натренирован, господин Гальве ухватился за спинку стула, переваливаясь с ноги на ногу, проковылял до своего места за обеденным столом и только после этого обернулся к присутствующим.

— Дома,— сказал он, заметно удовлетворенный произведенным эффектом,— у меня есть кресло на колесиках. Но я прекрасно обхожусь и без него.

Может ли он обойтись и без женщины? Казалось, для него было вопросом чести доказать, что его следует принимать таким, как есть. Но в сущности он предупреждал: осторожней, я не из тех, кто подчиняется, а тот, кому подчиняются. Алина уже перестала питать иллюзии, затихла и, глядя на него, отмечала: вот у него прыщ на носу, лиловато-красные скулы, щеточка усов с одной стороны пожелтела от табака. Да это карикатура на ее отца! Но господин Гальве уже отвернулся от Алины. Теперь он рассматривал Аннетту. Не разведенная, не потрепанная, не обремененная детьми, она, пожалуй, объект, более достойный его внимания. Впрочем, он ведь ни на чем не настаивал и принялся жевать, проявляя заметный интерес к утке с ананасом.

— Даже в Тонкине лучше не сделали бы! — заверил господин Гальве.

На этот раз, громя вьетнамцев, расхваливая туземок, он снова отправился в поход от Красной реки до Меконга, чтобы оттуда прокатиться со своими нашивками от Варсениса до Ореса, и долго описывал битвы, которые заняли у него целых пятнадцать лет; он только дважды на несколько минут прервал свое повествование, чтобы одобрить зеленоватый сыр «савиньи» и пощупать «камамбер», после чего сразу предложил пари, утверждая, что если его разрезать, то в середине окажется белая полоска, которая там и оказалась и которую умелым прощупыванием вполне можно обнаружить. К концу обеда Анри, Жинетта, Аннетта, Алина и мальчики—все уже были охвачены скукой, хотя из вежливости старались этого не показывать. Но господин Гальве, оценив внимание аудитории и не сомневаясь в своем престиже, завоеванном на протяжении пятнадцати лет, проведенных уже на государственной службе, когда он обрел, наконец, семейное счастье и держал под своим крылом жену и дочерей, решил вдруг, попивая коньяк, вызвать из небытия тени покойных:

— Я понял это еще на войне: те, которых убивают на месте, хотя бы не испытывают страданий. Они даже не успевают узнать, что умерли. Жалеть нужно раненых.

■

И хотя он добавил: «Особенно, если они ранены дважды и пострадали не только физически, но и духовно», Алина уже не в силах была дольше здесь оставаться.

— Извините,— сказала она, быстро встав,— я обещала детям прийти пораньше.

И в коридоре услышала шепот Жинетты:

— Извини, в жизни бы не поверила, даже если б...

Алина убежала, не дожидаясь конца фразы. Уже ни о чем не могло быть и речи, и потому она ушла первой, предоставляя сестре расхлебывать свою нелепую затею. А вот у нее, Алины, теперь будет хотя бы небольшое преимущество. Если вами пренебрегли, то и вам приятно кем-то пренебречь. Конечно, этот тип мог бы вести себя поприличней. Но так или иначе, толку из этого не будет. Того, что потеряно, не вернешь. Дом! Предать себя только из-за дома! Она же чуть этого не сделала. Это мимолетная слабость. Когда уже нет ни молодости, ни красоты, ни здоровья, ни денег, когда не ждет тебя ничего, кроме неприятностей, горечи и труда, останешься тем, что ты есть,—женщиной, принесенной в жертву и все же верной тому, кто тебя предал и с кем ты должна была прожить всю жизнь. С потерей любви можно смириться — годы этому способствуют. С уходом нежности — несмотря на жестокость одиноких ночей и на мысль, что тот, кто во всем повинен, ничуть не страдает,— тоже справиться можно: сердце, как и чрево, смиряется с тем, что работает вхолостую.

12 ноября 1967

После полудня

Леон надел черный кожаный комбинезон поверх зеленой куртки с эмблемой Французского спортклуба, нахлобучил каску и большие очки, придававшие ему облик гидроцефала-марсианина, хотя с него и скатывались блестящие капельки доброго мелкого дождика Иль-де-Франса, и теперь стоически ждал, как договорились, на тротуаре возле клумбы с желтыми кудрявыми хризантемами, расположенной у ворот стадиона. От кого-нибудь другого Леон не стерпел бы такого опоздания. Наконец он сделал знак рукой, Марк остановил свою машину, предназначенную для двоих, буркнул одно-единственное слово:

— Садись!

Агата пересела из «БВМ-500» на «Яву-350», подаренную Леону отцом и матерью — пополам, в честь получения аттестата зрелости. У Агаты под дождевиком тоже надета спортивная куртка — это было сделано, во-первых, для матери (клуб — хороший предлог), во-вторых, ей хотелось выглядеть небрежно одетой там, куда она сейчас направлялась. Девушка наклонилась, чтобы еще раз поцеловать Марка.

— Да что у вас, не хватило времени попрощаться? — крикнул Леон, дав газ.

И обе трещотки разъехались в разные стороны.

■

Легкая тряска, развороты меж вереницами машин, стеклоочистители которых ходят из стороны в сторону, как бы качая головой в знак отрицания, переходы от зеленого света к красному, окоченевшие руки, неясные реплики, прерываемые то остановками, то новым рывком вперед, отброшенные назад волосы, которые, как только затихнет ветерок, снова падают на лицо,— все это Агате очень нравится. Она перестает быть маменькиной дочкой, которую опекают до смешного, как дитя. Скучно, конечно, но лучше пойти, чем остаться без гроша. Зря Леон так гонит в лесу — ведь асфальт совсем мокрый. Перед светофором на площади Леклерка Агата вдруг сказала без всяких угрызений совести:

— Я уже давным-давно не была у отца.— А вблизи светофора на мосту через реку Мюлуз обеспокоенно добавила: — Наверно, он на меня станет дуться.

И все. Это мать попросила Агату хотя бы раз уважить судебное решение о праве отца на встречи: «В виде исключения, моя дорогая! Ведь днем меня дома не будет. Воспользуйся случаем, пойди посмотри, что делается у твоего папаши. Надо же, чтобы я все-таки была в курсе его покупок, могла судить о его денежных возможностях. И потом, мне хотелось бы, чтоб ты рассказала о его красотке, которая небось уже раздулась как шар». Как Агате хотелось отказаться! Ей одинаково не улыбались ни поездки к тетке в Кретей, ни день слежки в Ножане. Кончилось тем, что она согласилась поехать, но с одним условием: в удобное для нее время, без предупреждения, вместе с Леоном, чтобы не чувствовать себя такой одинокой среди *«папиных»* деток. Такое впечатление, будто у нее уже нет там ни с кем общего языка. И ничего не поделаешь: как только она попадает в Ножан, ей кажется, что она пересекла границу и находится в чужой стране.

■

Уже поздно, и это, пожалуй, неплохо: Одили придется добавить экспромтом еще два прибора на столе. Леон барабанит по звонку, выступающему с правой стороны парадной двери, а под ним блестит медная дощечка, совсем недавно прибитая:

ВИЛЛА «ВДВОЕМ»

Господин и госпожа Давермель.

Леон с интересом читает, продолжая невозмутимо нажимать на кнопку звонка.

— По-латыни надо: «In duo»,— говорит он.

— Слушаю вас,— звучит голос из переговорного устройства.

— Смотри-ка,— говорит Леон,— вот что у них тут устроено.

Агата показывает пальцем: вон оно — аккуратненький квадратик с левой стороны. Это не только рот, но также и ухо!

— Это я, Леон! — восклицает Леон.

— Сейчас,— отвечает аппарат.

Щелк, и электронная задвижка приподымается — еще одно дорогое нововведение, выражающее недоверие.

Леон вводит в калитку свой достойный всех похвал мотоцикл, прислоняет его к дереву, потом берет под руку свою улыбающуюся сестру. Многие считают Леона сухим эгоистом. И правда, он скуп на внимание, но зато уж если проявит его, то всегда с избытком. Агата в ответ прижимает к себе его локоть, и они вместе подымаются на крыльцо.

В вестибюле стоит Роза, все еще склонившись над переговорным устройством, и громко извещает домашних: «Одиль, прибыли старшие. Я пойду накрою еще для двоих». Не ожидая ответа, Роза входит в столовую и уверенными движениями переставляет тарелки. Леон не спеша снимает свой кожаный комбинезон. Агата начинает расстегивать плащ и вдруг замечает Ги: внимательно глядя перед собой, осторожно шагая, он спускается с лестницы и повторяет: «Смотри не оступись!» — он держит за руку Одиль, которая, если смотреть снизу, выглядит очень забавно: голова у нее вроде бы лежит прямо на животе, как яблоко поверх тыквы.

— Ну вот, на этот раз мы в полном составе,— говорит Одиль.

И все. В Фонтенэ обычно вопят, ругаются, меры не знают. А здесь негласное правило: лучше промолчать, принять непокорных так, будто только вчера с ними расстались. Но все равно, размахивая руками,

нервно дергая подбородком, Агата сердито суетится, ищет, где повесить плащ,— она уже раздражена, и ей хочется чем-то нарушить спокойную атмосферу дома. Одиль сошла с лестницы; она так изменилась, настолько утратила свое изящество, что вместо злости Агата должна была бы испытывать радость. Но заботливость Ги просто невыносима — ведь до сих пор именно Агата с шестилетнего возраста заботилась о нем, когда он был еще в тепле и холе под крылышком их матери; а тут еще в столовой появился виновник происшедшего, помолодевший, с подкрашенными волосами, в спортивном свитере, явно озабоченный тем же:

— Видите, ждать уже недолго.

— Да у тебя, Агата, мокрая голова,— говорит Одиль.—Беги в ванную. На туалетном столике есть сушилка. Воткни вилку в штепсель для бритвы, слева около шкафчика.

Только Роза может считать вполне естественным, когда папашина красотка указывает его родной дочери, где лежат необходимые вещи. Агата резво, через три ступеньки побежала в ванную, недавно заново отделанную.

Пока мягко урчала сушилка, девушка успела рассмотреть все, что находилось вокруг, тем дружеским оком, которое бы охотно здесь все сокрушило: стены и пол облицованы фаянсовыми плитками; дорогое санитарное оборудование, эффектно контрастирующее с ними по цвету; толстые, пушистые полотенца, подобранные в тон халатам; ванные коврики, мягкий пуф перед зеркалом и великое множество всяких дорогостоящих вещиц. Весы, полочки, сиденье для ванны, вешалки, мыльницы, набор стаканчиков — со всех сторон блестящий никель.

— Водятся денежки! — сказал Леон, вошедший следом помыть руки.

— Эти деньги могли бы принадлежать нам,— ответила Агата.

Она с удовольствием подхватила бы золотую цепочку, лежавшую на столике: хоть мелкое, но все же возмещение. Но тут был Леон, да еще такой хмурый. Тогда Агата, тряхнув высохшими волосами, сделала небольшой крюк по коридору, заскочила в одну из комнат, где заметно прибавилось мебели, мигом открыла шкаф, вырвала из меховой накидки клок и степенно спустилась вниз.

— А мы только тебя и ждали,— сказала Одиль, внося жаркое.

Мясо было разрезано электрическим ножом на красивые, ровные кусочки. И соус, которым его будут поливать, не застынет сразу, потому что тарелки заранее нагреты. А после обеда грязной посудой займется недавно украсившая кухню моечная машина. Да, ничего не скажешь, у них есть все. Агата не зря сюда приехала, надо было захватить записную книжку, чтобы ничего не забыть.

Остается лишь как-то убить это скучное воскресенье — телевизор послужит в качестве алиби. Не подниматься же в эту чердачную конуру, которую ей тут выделили,— это означало бы признать, что у нее есть пристанище, второй адрес, как у Розы, которая здесь себя чувствует так непринужденно; Агата, оставшись с ней наедине, не может удержаться от укола:

— Клянусь! Ты просто как у себя дома. Может, тебе следует здесь остаться?

И Роза отвечает:

— Я уже об этом подумываю, представь себе! — Да еще добавляет: — Тебя это очень устроит. Наша комната станет твоей. Но ты сдохнешь от ревности.

Агата помрачнела и в таком настроении находилась весь вечер. Всего на секунду проявила она слабость: когда отец, рассеянно глядя

на экран телевизора, сел около нее и, как бывало, потрепал ее по затылку. Но это же послужило и сигналом к уходу — она уехала на мотоцикле своего покорного брата, на его «такси».

■

Вечером Агата вынула из шкатулки свою заветную тетрадь, взяла ручку с серебряным колпачком и написала:

Кто же там, в животе у Одили? Малыш, у которого будут отец, мать, два дедушки и две бабушки,— словом, две семьи, все в двойном комплекте и в полной гармонии, как руки и ноги!

Короче, у него будет то, что положено нам иметь.

Мне у отца не по себе, наверно, потому, что там я чувствую себя ущемленной. Как, впрочем, и в Фонтенэ — и чем дальше, тем больше. Мама ведь ничего не делает, чтобы мы могли забыть. Наоборот. Леон, который никогда не пускается в откровенности, все же вчера мне признался: «Когда я бываю с Соланж, то хоть забываю все это».

И это Леон, обычно такой сдержанный. Что же до меня, то если я и соединюсь с кем-либо, то лишь при условии, что смогу порвать в любую минуту.

Январь 1968

16 января 1968

«Не больше двух человек» — гласило объявление. Но когда Луи, наконец, добрался до клиники в Ножане (его долго задерживали, клиент был настолько важный, что нельзя было отмахнуться; затем следовала бумажная волокита по оформлению заказа, а потом такси увязло в пробке на улице Сент-Антуан) и когда он в конце выкрашенного масляной краской коридора обнаружил палату № 31, то оказалось, что в ней уже находятся девять человек: его родители, тесть с тещей, Габриель, две сослуживицы Одили, сама роженица и ее сын; их окружали бесчисленные горшки с азалиями, перевязанные шелковыми бантами, красивые вазы с прозрачной зеленью аспарагуса и розами «баккара».

— Почему именно Феликс? — спрашивал Габриель.

Мужчины мучились в зимних пальто, ибо в комнате было двадцать пять градусов, а снять и повесить одежду было негде.

Дамы завладели тремя стульями, а госпоже Милобер, мамаше роженицы, разрешили в качестве привилегии присесть на край кровати.

— Я уже сказала: надо назвать по святцам,— объясняла Одиль.— Ведь так и со мной было. Мой день рождения совпадает с днем именин.

Феликс сосал объемистый предмет, изборожденный лиловатыми жилками, с пупырчатым кружком вокруг соска,— словом, в прямом значении этого понятия питался грудью, тем самым сделавшейся священной, открытой взглядам и потерявшей свой эротизм. Два растопыренных пальца сжимали сосок, чтобы молоко текло и чтобы можно было высвободить маленький носишко. Мать склонила голову к ребенку, вся сосредоточившись на этой струйке молозива. Она напоминала традиционную скульптуру, олицетворяющую материнство, только опиралась на подушку, которой нет обычно у мраморных изваяний. И все же эта мать ни в чем им не уступала,—Луи невольно сравнивал ее с той, предыдущей, четырежды болевшей грудницей. Тесть вытащил маленький фотоаппаратик, и вспышка магния осветила комнату. Один снимок за другим, вместе и в отдельности; в точности, как сни-

мали раньше *Леона — единственного*, так и теперь *Феликса — самого младшего из всех*. Впрочем, эти фотографии не точнее фиксируют прошлое, чем память. Ему, Луи, двадцать шесть лет на одном снимке, сорок шесть — на другом. Кто же он теперь? Отец, кажущийся стариком из-за разницы в возрасте? Или отец, вновь обретший свою молодость в новом мужском подвиге? Производитель, распыляющий свое потомство, вожак целого стада? Или, напротив, родоначальник, продолжающий род согласно новому салическому закону, первопричина, рождающая многие следствия? Древнейшая из тревог, всегда усиливающаяся в новом браке, но тщательно замалчиваемая мужчинами, возникла из боязни, что отец никогда не может быть отцом в том понимании слова, как мать бывает матерью; это осложняется еще одним опасением: когда у вас рождается ребенок и первый крик отделяет его от тела матери, то вся ее нежность отныне делится надвое, а раз так, то ваша доля уменьшается. Луи, уже менее довольный собой, решил взять перевес над госпожой Милобер, приехавшей на восемь дней раньше, чтобы помочь дочке, сел на другой край постели и, чтобы скрыть волнение, заговорил:

— Назвать по святцам! Легко сказать. Ведь этот малыш счел удобным высадиться ровно в полночь; как теперь узнать, когда он родился: четырнадцатого числа в двадцать четыре часа или пятнадцатого в ноль часов? Общество стоит за четырнадцатое, и это правильно. Святой Маврикий, который приходится в календаре на пятнадцатое, убийственно одинок в этот день. Но есть возможность выбирать между святым *Иларием* и святым *Феликсом*, попадающими на это воскресенье. А тут и колебаний быть не может: ясно, что *Феликс*, он же *счастливый*, да это просто удача.

— Гм! — шепчет госпожа Давермель.— Меня несколько расхолодило то, что написано в словаре Ларусса. Феликс был сельским священником, которого подвергли пыткам во времена римского императора Деция, уничтожавшего христиан. Стало быть, этот «счастливец» был вынужден выбрать вечное счастье.

Тем временем бабушки, имеющие много общего между собой и твердо убежденные, что в храме материнства мужчины должны помалкивать, уже обменивались традиционной информацией. «Да, да, шесть с половиной фунтов. Ну и плут, на восемь дней задержался! Но простим его хотя бы за ту поспешность, с какой он постарался избавить от себя мамашу; роды ведь продолжались всего три часа».— «Это редко случается при первых родах! Чересчур даже быстро...» — «А какая у него светлая кожа: значит, детской желтухи у Феликса не будет».— «Но все же как я испугалась: Луи дома нет, он поехал проводить своих детей, и вдруг все началось...».

— А детей известили? — спросила госпожа Давермель.

— Я думаю, да,— ответила госпожа Милобер.

Бабушка Феликса явно не разделяла интереса, проявленного к этому вопросу госпожой Давермель — общей бабушкой всех детей. Госпожа Давермель, несколько обеспокоенная, нахмурилась: до сих пор Одиль вела себя вполне достойно с Четверкой, но не выдвинет ли она инстинктивно на первый план своего младенца — ведь для нее по семейному счету он вовсе не пятый.

— Я звонил сегодня утром Алине,— сказал Луи.

— Она способна скрыть от детей,— ответила бабушка Давермель.

— Самое странное, что Ги сюда не торопится,— заметила Одиль, тормоша своего маленького, задремавшего у груди.

— Во всяком случае,— продолжал Луи,— Алина не обязана отпускать к нам детей до двадцать восьмого числа и не сделает этого. Она

так и сказала. Она совсем круто повела дело с того дня, как Роза имела неосторожность сказать сестре, что предпочла бы жить у меня.

Теперь нахмурились Милоберы: нужно ли перед «свидетельством новой любви» распространяться о досадных последствиях старой? Но госпожа Милобер не удержалась и спросила:

— А вы думаете, Роза на самом деле?..

— Да, Роза и Ги оба этого бы хотели, но ведь Алина их не выпустит,— заметил Луи, желая ее успокоить.

Он выразил свое сожаление таким тоном, что Одиль, вытирая ротик срыгнувшему сыну, подняла усталые веки.

— Роза и Ги? — повторил господин Милобер.

В этом восклицании сквозил подтекст: «Можете себе представить, моя дочка, которая до сих пор была у вас единственной отрадой, вдруг за один год получает в наследство трех ребятишек, из них двух приемышей!» Луи встретился взглядом с отцом Одили и тут же отвел глаза, посмотрев на Феликса: у него на щечке появилась белая полоска, а мягкая головка, слишком еще тяжелая для его морщинистой шейки, на которой трепетала голубая жилка, откинулась назад. Луи и так уже много сказал. Ему не хотелось признаваться, что его охватила грусть, оттого что он не увидел у этой постели Четверки. Он не рассказал и о некоем сообщении, о тех медицинских выводах, которые прочел, хотя письмо и было отправлено по ложному адресу. Не сказал и о старом автомобиле, отданном бывшей жене, которая вместо благодарности лишь заметила: «Спасибо и за такую рухлядь!», хотя владелец гаража предлагал Луи вычесть четыре тысячи франков из стоимости новой машины за сдачу старой. Луи продолжало казаться, что из-за него Алина столкнулась со многими трудностями, что он ей чем-то обязан; и она этим так пользовалась, что многих это шокировало. Четыре тысячи франков! Если бы Одиль узнала... Луи погладил руку жены. Бабушки столпились вокруг плотно завернутого ребенка, передавая с рук на руки сверток, укрытый тремя одеяльцами, чтобы положить его в белую колыбельку. Дамы учтиво обсуждали меж собой фамильное сходство новорожденного. Подбородок — ваш. А наши — ушки, может, еще и глаза, если они останутся такими голубыми. Они-то, конечно, голубыми не останутся, но, по крайней мере, Феликс не будет иметь ничего общего с семьей Ребюсто.

18 января 1968

Ветер трясет будку телефона-автомата, пока Ги рылся в карманах. У него осталась только одна монетка из тех пяти, что ему дают. Кроме того, у него есть еще сберегательная книжка, неприкосновенная, тетушки и бабушка пополняют ее мелкими суммами («Зато будут высокие проценты, малыш!» — заверяет его Ме; «Все проценты съест девальвация!» — заверяет отец); у Ги есть еще и копилка настоящая, осязаемая, но он ее прячет на вилле «Вдвоем» — из элементарной предосторожности после обыска и немедленной конфискации пятидесяти франков, когда мать сказала: «Я тебе даю по пять франков в неделю. Если у тебя больше, значит, тебе их дал отец и он хочет купить тебя своими подачками».

Только одна-единственная монетка у Ги, и нельзя упустить последнюю возможность. Кончиком карандаша Ги переправляет надпись на стенке. Изречение «Дурак тот, кто это прочтет!» превращается в «Дурак тот, кто это зачеркнет». Потом он набирает номер фирмы «Мобиляр», вслух говоря себе: «Если папы там нет, я пропал». Но телефонистка с акцентом, характерным для жителей Бордо, который он всегда узнает, уже напевно выговаривает:

— Тебе повезло: твой папа только вернулся.
— Привет, Фиделио!
— Привет, мой птенчик!

Это пароль. Изобретение Розы. Хотя опера «Фиделио, или Супружеская любовь» меньше всего подходила к образу жизни Луи, но согласно мнемотехнике это слово великолепно укладывалось в цифры 345—35—40.

— Все еще ничего, папа?

— То есть как ничего? — прорычал телефон.— Феликс родился еще в воскресенье вечером, через три часа после вашего отъезда. Я известил твою маму в понедельник утром.— И у Луи невольно вырываются злые слова.

— Зачем ты нервничаешь, папа? — говорит Ги.— А что ты думал? Что она отведет нас в больницу с букетом цветов для Одили? — И несколько покровительственно, с высоты своих одиннадцати лет, добавляет: — Не беспокойся. Остальным займусь я сам.

■

Рука госпожи Равер, украшенная кольцом с аметистом, поднялась, описав в воздухе кривую, и Роза, стоявшая на песчаной дорожке пустого школьного двора, где ветер поднимал маленькие желтые круговороты пыли, увидела, как исчезли за поворотом на улицу последние группы детей с ранцами на спине. В эту минуту показался Ги — он бежит им наперерез.

— Кто это говорил вам о Комитетах надзора, черт побери? — спросила директриса.— Хотя это, пожалуй, неплохая мысль... Я могу дать вам адрес мосье Гордона, президента местного Комитета. Но вы должны забыть, от кого вы этот адрес получили, понятно? — Рука с аметистовым кольцом легла на плечо Розы.— Но Гордон скажет то же, что и я: «Подумайте, моя деточка. Ваша мать и так уж много вынесла».

Ги прибежал весь взлохмаченный, в разлетающейся, как крылья, пелерине и, вытянув острую мордочку, хвастливо затрещал как пулемет. Он начал еще издали, не обращая никакого внимания на присутствие госпожи Равер:

— Вот так штука! Братик родился три дня тому назад. И мама, оказывается, знала...

— Бог ты мой! — выдохнула директриса.

■

Агата, у которой есть собственный ключ от дома, пришла раньше всех — как раз вовремя, чтоб схватить телефонную трубку и принять на себя первый раскат дальней грозы.

— Папа, папа,— успела она вставить,— ты ведь не с мамой говоришь. Она ушла за покупками. Это я, Агата́...

Только она повесила трубку, как в замке скрипнул ключ. Явился Леон и сразу прошел к себе: сестра последовала за ним, и начались перешептывания.

— Ну это уж чересчур! — сказал Леон.— Просто слишком.

— У мамы есть на то причины,— возразила Агата.— Если тебя интересует мое мнение, то я думаю, нам не надо вмешиваться,— докончила сестра и затянула на нем потуже галстук.

Бесшумно повернулся ключ в замке, и вошла Алина, хмурая, с опухшей от воспаления надкостницы щекой.

— Младших нет еще? — пробормотала она.

И, не ожидая ответа, пошла в кухню, зло бранясь по дороге.

— Что, Роза поселилась там насовсем? У нас не семья, а куча шариков[1] — каждый стремится закатиться куда-нибудь подальше. А я что тут делаю, скажите, я-то кто? Прислуга?

Алина и правда мать-служанка; она принялась швырять тарелки, кастрюли. Ах, какая мерзкая история! Красотка нарочно соорудила себе младенца, чтоб реабилитироваться в глазах людей, превратить Луи в няньку и оттяпать долю Четверки.

Нет, тут нельзя ликовать да еще позволять этим дурачкам прославлять ее самую опасную соперницу. Но возможно, умолчание тоже было бы ошибкой. Рефлекс страуса. Конечно, неплохо, что Роза и Ги сразу не отправились туда, к колыбельке, пусть думают, что они относятся к этому событию с полным равнодушием. Но придется еще с ними объясняться, как-то оправдываться.

Медленно движется стрелка стенных часов. Алина успевает промолоть остатки мяса, смешать его с хлебным мякишем. Кладет в духовку котлетки, и в эту минуту у входной двери раздается звонок. На полчаса опоздала, моя доченька, погоди же! Лучший способ защитить себя — это сразу перейти в наступление:

— Ну, и где же вы таскались?

Они входят вместе в глубоком молчании, ранцы на плечах. Ладно, все ясно. Только откуда они могли узнать? Наверно, из запрещенного источника? Она, Алина, как молчала, так и будет молчать, выжидая, пока противник разоблачит себя.

— Нас задержала директриса,— спокойно ответила Роза, говоря о себе во множественном числе.

Никаких подробностей. Ги, который обычно хитрит, сейчас очень уверен в себе, Роза тоже кичливо выпятила грудь — они просто невыносимы.

Алина резко схватила дочь за руку:

— Что вы от меня скрываете?

— Скорее нам следует спросить тебя об этом,— говорит Роза.

Алина поворачивается, ища взглядом старших — даже если они не вмешиваются, одно их присутствие будет для нее поддержкой. Но их здесь нет, укрылись в комнате Леона, наверно, заранее решили удалиться. Алина выпускает руку Розы и угрожающе поднимает кулак. И тут вдруг замечает, что Роза почти одного с ней роста и вовсе не пытается увернуться. Пришлось ограничиться окриком:

— Как ты со мной говоришь? Что за тон? Я тебе запрещаю...

— Ты мне запрещаешь иметь брата?

Раздается пощечина, Роза отскакивает и заслоняет собой Ги. Алина разражается злобной тирадой:

— У тебя брат появился? Ну и что? И ты мне, своей матери, обманутой твоим папашей, радостно объявляешь, что эта богородица, которая спит с кем попало, уже выродила ему Иисусика? Ты что, дурочка, что ли? Бог весть где болтаешься, дерзишь не думая, да еще пользуешься тем, что Ги мал и глуп и можно его подстрекать. Но ведь на деле ты упрекаешь меня не в том. А я скажу тебе в чем: тебе не нравится наша нужда, то, что мы не можем свести концы с концами. Ты меч-

[1] Во Франции среди детей популярна игра в маленькие стеклянные или каменные шарики, особенно в рабочих кварталах.

таешь, глупая, что станешь у них любимицей, сумеешь пользоваться деньжатами, которые папочка заработает, если будет малевать портреты этих простофиль. Как же ты не понимаешь, что отец не для того вас бросил, чтобы снова брать к себе, и что его добрая женушка не благословит тебя за то, что ты хочешь за ее счет поживиться.

Алина останавливается, чтобы перевести дыхание. На этот раз она не в силах заплакать. Не в силах унять дрожь во всем теле. Она не может не думать о парадоксе: ее дочь — ее двойник, ее портрет, но в споре она, совсем как Луи, обладает обезоруживающим спокойствием, умеет вставить словцо, смотрит в упор. Отойдя в сторону, Роза еще нахально добавляет:

— Не суди о других по себе. — Она отворяет дверь, пропускает вперед Ги и на пороге говорит: — Я тебя упрекаю в том, что вот уже несколько лет ты добиваешься, чтобы мы разделяли твое ожесточение; а если мы сопротивляемся, ты говоришь, что мы злые. Извини, мама. Мы хотим повидать Феликса, и ты нас к обеду не жди.

— А оттуда мы пойдем прямо в школу,— заявил за спиной Розы Ги.— Одиль напишет нам справку для заведующей учебной частью.

Ги не захотел отстать от Розы и инстинктом нашел самую больную точку.

— Только попробуйте пойти! Клянусь, что вас притащит ко мне полицейский!

— Надо еще найти такого, который одобрит твои действия,— ответила Роза, закрывая за собой дверь.

■

Сгоревшие котлеты обратились в камень — тем хуже для тех, кто будет обедать! Пусть Леон и Агата лопают эти угли в наказание за то, что не присутствовали при разговоре. Алина нервно дергает телефонный диск, трижды ошибается, набирая номер директрисы, наконец соединяется, называет себя и выкрикивает в трубку:

— Роза и Ги, наверно, сегодня опоздают на занятия. Я хочу сказать, что причину, на которую они сошлются, я не считаю уважительной.

Но мир плохо скроен. Алина это поняла, ощутив на минуту стыд.

— Дорогая мадам, я догадываюсь,— говорит директриса.— Но полагаю также, что вы, как и мы, сумеете проявить должную снисходительность.

Апрель 1968

6 апреля 1968

Феликс на руках у Одили, Одиль на коленях у Сиуля, они разместились в большом овальном кресле. Вербное воскресенье, обед уже окончен, они сидят, ожидая гостей, молча. Им не надо слов, а достаточно взаимного тепла, оно согревает. Несмотря на всю сложность ситуации, они чувствуют себя неплохо. Но как же быть дальше?

Алина, например, едва лишь вышла замуж, тотчас бросила работу и перешла на иждивение мужа. Затем подарила ему еще четырех иждивенцев, одного за другим, ни разу не попытавшись избежать этого. Ну, конечно, не без участия Луи, пусть и ему будет стыдно. Но как бы то ни было, факт остается фактом: если жена не возражает, то муж себя распускает. Алина верила в то, что, рожая детей, она укрепляет свою безопасность: четверо детей — четыре ножки брачного ложа, так оно прочнее будет стоять. Я же поведу себя иначе, мой дорогой! Мне

нужен только один ребенок, но мой и твой. Он явится тем звеном, которое из нас двоих — тебя и меня — создаст цепь: я, ты, он. Но и все. Да здравствует Феликс! И на этом закончим. Не будем уродовать то, что создано для любви, и превращать эту превосходную систему в машину для деторождения.

Но ребенок, пусть он даже единственный, остается ребенком: его ведь нельзя оставить, как котенка, около блюдца с молоком и миски с опилками, и чтобы к вечеру он был по-прежнему чистенький и ласково мурлыкал. До рождения Феликса у его родителей были такие спокойные ночи, да, собственно, и дни тоже; оба они, люди трудолюбивые, обеспечивали себе двумя самостоятельными заработками полную свободу действий, достаток позволял им жить в свое удовольствие. А вот как будет теперь, когда у них есть Феликс?

Одиль себя не обманывала: что ей за радость вечно торчать на кухне и в конце каждого месяца протягивать руку и объяснять, зачем ей нужны деньги, вместо того чтобы распоряжаться своими собственными? Добавился еще один рот, но исчез один заработок,— разве обязательна такая взаимосвязь? Если бы она выбрала лучшую участь, то все равно хотела сохранить свой заработок и продолжать платить взносы в органы социального обеспечения. Что же? Пристроить куда-нибудь малыша? Нет, об этом и речи быть не может: она мечтает сама вязать ему одежку, тетешкать его—ведь ей суждено только раз испытать блаженство материнства. Нанять няню? Нет, тоже нельзя: ее питание, жилье, спецодежда, жалованье, взносы в профсоюз—все будет стоить кучу денег, куда больше, чем то, что заработает сама хозяйка. Да, это серьезная проблема, и, несмотря на всю свою обыденность, она так и осталась неразрешимой в обществе, которое канонизирует дам, верных кухонному ремеслу. Но Одиль — домашняя хозяйка и кормилица — все же отказывалась ограничить себя только этим.

— Он заснул. Пойду положу его в колыбельку.— А вернувшись, она сказала:— Знаешь, когда я работала у отца в книжном магазине, я бралась делать переплеты по просьбе некоторых наших клиентов. Но сбыт был невелик. А здесь, может быть, дело пойдет иначе? Ты, Сиуль, делал бы мне макеты и даже мог бы рисовать картинки.

— Это мысль,— сказал Луи.

Он был счастлив, полон нежности и в то же время смущен. Обычно мужчинам свойственно верить только в свои заслуги. Каковы же были они, если он заслужил счастье обладать молодой, красивой, преданной и деятельной женщиной? И это вместо сварливой мученицы, изображавшей угнетенную невинность, убежденной, что ее палач, как она выражалась, станет жертвой собственного распутства!

— Этот тип как будто уже пришел,— сказала Одиль.

■

Голос в микрофоне сообщил: Жюльен Гордон из Комитета общественного надзора. Гость, миновавший ограду, походил на отставного учителя: мелкий шаг, повисшие руки, брюки на коленях вытянуты, очки сползают к кончику носа, который как будто что-то вынюхивает. Но едва он вошел и взглянул на колыбельку, мягкая улыбка осветила и разгладила его морщины.

— Вот человечек, который в нас вовсе не нуждается.— И, усевшись, сразу же приступил к делу: — Вы, конечно, уже слышали о нашем Комитете?

— Кое-что,— ответил Луи,— но признаюсь, что...

Луи чуть покривил душой: ведь он вовсе не хотел признать, что первый заговорил с Розой, и хотя сам не участвовал в последующих

событиях, но тем не менее своим намеком положил начало активным действиям дочери.

— Вас может удивить мое появление,— продолжал посетитель.— Но вы тут ни при чем. Обычно мы занимаемся более тяжелыми случаями. Ваши дети, по их собственному признанию, не подвергались ни побоям, ни лишениям. Свою мать они любят, она их тоже, но она чувствует себя ущемленной тем, что к вам они также относятся с нежностью. Они приходили ко мне несколько раз, и со стороны, через своих бывших коллег, я получил нужные сведения.

Учтиво, уверенно, нейтрально, с большим спокойствием, без излишней жестикуляции он изъясняет все это своим немного простуженным голосом; голова его поворачивается на длинной шее, живые глаза оглядывают все вокруг и останавливаются на Одили.

— Не буду ничего преувеличивать,— продолжает господин Гордон,— но должен признать, что педопсихиатр, который исследовал Ги, хоть и болтает на своем ученом жаргоне о *девальвации образа матери и обращении к отцу для выявления своего «я»*, подтверждает очевидное. Да и я под впечатлением этого деления на *папиных* и *маминых*, которое ваши дети придумали...

— Как? — удивился Луи.

— А вы не знали? — спросил господин Гордон.

Соблюдение приличий, эвфемизмы, стремление не нарушать привычного течения жизни — все это помогает заглушать семейные недуги; и вдруг является чужой человек, срывает повязки, обнажает кровоточащую рану. Луи рот открыл от удивления, был озадачен, восхищен. Папины дети! Да за что же они его так любят, его, который их столь сильно ранил, почему тянутся именно к нему?

— Не подумайте, что я их в этом поощряю,— продолжал господин Гордон.— Вначале я просил их избегать столкновений, иметь доказательства, что не они сами их вызвали. Посоветовал несколько месяцев поразмыслить. Но вижу, что они устали. Роза сама мне в этом на днях призналась: «До каникул еще надеюсь продержаться. А потом уже ни за что не отвечаю».

Луи смотрел на Одиль, та — на своего малыша, не говоря ни слова. Господин Гордон понизил голос:

— Хотел бы еще раз сказать вам, что это дело не в моей компетенции. Оно не касается и Управления по санитарным и социальным вопросам. Скорее оно в компетенции суда, и вы сами могли бы подать туда заявление о необходимости изменить опеку над детьми. Но пожалуй, надо немного обождать: суд обычно отказывается менять опеку над детьми в течение учебного года. Все это будет нелегко, и решение должны принять вы...

— И моя жена также,— сказал Луи.

— Ну, конечно,— согласился господин Гордон.— Мадам Давермель несет ответственность прежде всего за своего ребенка; она вправе не брать на себя ответственности за других детей и даже нежелательно, чтоб она принуждала себя это делать. Ей эта опека над детьми может надоесть, а тут неуместны опыты.

Луи замер, застыл как глыба. Он-то в долгу перед Розой и Ги за то, что они лишились отца, это ясно, но неужели и Одиль, как его сообщница, тоже в долгу перед ними? И вдруг, к своему удивлению, он услышал:

— Роза и Ги,— сказала Одиль,— окажут мне большую честь.

— Не хотел бы я искушать вас,— обратился к ней господин Гордон,— но одного честолюбия тут будет мало.

Тогда Одиль поднялась с места, подошла к мужу, встала за ним и положила руки ему на плечи.

— А вы чего бы хотели? Чтобы я прыгала от радости? Нет, не могу я прыгать от счастья при мысли, что мне придется мыть посуду после пятерых. Но сейчас дети Луи уже не пугают меня, как это было в самом начале нашей семейной жизни. По крайней мере, младшие, потому что, надо откровенно сказать, мне было бы куда хуже, если бы пришлось взять к себе двух старших.— И она рассмеялась, запустив все десять пальцев в волосы мужа:— Ну что ж, если так случится — тем лучше! Если нет — еще лучше! Не так уж я прекраснодушна, господин Гордон. Не стыжусь сказать вам, что, хотя по моей вине рухнула семья, я мечтаю о своем маленьком счастье. Луи молчит, но и он думает так же. Правда, в его представление о счастье, как мне кажется, входит не только любовь ко мне, но и любовь к своим детям. И, чтобы сделать прочным мое счастье, я обязана понять Луи. Вот почему я готова принять к себе всю компанию... Хотите чашку кофе?

26 апреля 1968

Клочки бумаги, разорванной на восемь частей, брошенные Розой в мусорный бак, а затем тщательно склеенные Алиной, содержали загадку: *Надз, Цветочная, д. 18* и, видимо, обозначали что-то важное. К тому же, вместо того чтобы пойти домой, дети вскочили в автобус. Стало быть, нужно сразу ехать следом.

Спидометр в старой колымаге Алины показывал 104567 километров; сиденья в машине были засаленные, продавленные, а чехлы пропитаны неистребимым запахом, который, несмотря на опрыскивание всевозможными освежающими средствами, не выветривался. Лишь одно достоинство имела машина — она была серой и не бросалась в глаза. Дети и не подумали обратить внимание на этот автомобиль, выделить его из потока других машин, как не узнали на расстоянии свою мать, надевшую на голову косынку, темные очки и старое пальто Жинетты. Если вы содержите этакую «гостиницу с рестораном», которую неизвестно почему называют семьей, клиенты редко дают вам передышку, но зато ваше отсутствие объясняют лишь хозяйственными нуждами; когда из-за нехватки денег у вас нет гаража, машину приходится ставить на улице в ста метрах от дома, и тогда можно отправляться в любом направлении и следить за кем угодно, не вызывая подозрений. Задача, конечно, неблагодарная, но такова печальная необходимость. Право на опеку и сама опека соединены, как чайник и вода, которая может испариться. Когда у вас четверо деток, которые подрастают и вот-вот разбегутся в разные стороны, надо все-таки знать, где они находятся.

Что касается Леона, то с ним не так сложно. Пять лет он учится — пять лет отсрочки. Удалось установить, кто его подружка — это дочка почтового чиновника, студентка фармацевтического факультета и так же, как и он, член Французского спортклуба. К тому же она соседка, приметившая Леона здесь же, в этом квартале, ее можно и домой пригласить — только стоит ли разочаровывать девушку, которая живет в лучших условиях, к тому же Леон любит тайны.

А вот что творится с Агатой? Мотоцикл у Марка — просто дьявольская машина с бешеными скоростями и потрясающей маневренностью, за ним не угонишься, но и те соперники Марка, которые катали Агату на мотоциклах «Альпин» или «Хонда» — а это все равно что прогуливаться пешком,— тоже не давали повода делать какие-то выводы. Пару поцелуев Алина как-то приметила, встретив однажды дочь в парке со светловолосым атлетом, другой раз на террасе кафе с каким-то ученого вида брюнетом— все это доказывало, что юная искательница приключений относится к любви как к своим выпускным экзаменам, в общем-то довольно поверхностно. Во всяком случае, тут

не вмешаешься. Как просто было бабушке Ребюсто давать советы из Шазе: «Меня беспокоит то, что я узнала о старших: не позволяй им делать все, что захотят». А Эмма выражала другую точку зрения и, конечно, несколько преувеличивала, утверждая: «То, что некогда называлось девичьей добродетелью, исчезает гораздо быстрей, чем привязанность». Любовник может похитить у вас не только невинность вашей дочки, но и ее самое: вот тут и начинаешь думать, что главное — это не допустить, чтобы дитя всерьез увлеклось. Пусть позабавится малышка Агата, пусть поиграет с опасностью, лишь бы только поразмыслила над примером самой Алины, столь ясно доказавшим, что самое большое несчастье часто таится именно в законном браке; бабушка, конечно, прожила всю жизнь в условиях воздержания и законного супружества, потому и написала: «Слыхала, что ты дурно отзываешься о брачной жизни; если твой союз оказался неудачным, это не значит, что надо отвращать от брака дочерей».

■

Автобус проезжал одну станцию за другой, выпуская по пути лицеистов и машинисток, и добрался до района Нейи-Плезанс. Вот еще новые заботы с Розой и Ги! После того как мать запретила им навещать маленького братца, пришлось держать их в узде и контролировать строже. Но попробуйте-ка урезонить детей, если их через каждые две недели может затребовать к себе отец! В семье они как-то отделились, ведут себя обособленно. Роза увлечена ролью покровительницы Ги, и он ей охотно подчиняется, слушается ее, повторяет с ней уроки, и оба они как бы находятся в изгнании, ожидая лучших времен. Ведут себя тактично и даже чересчур вежливы, стараются быть незаметными словно призраки, но подчинить их можно лишь силой судебных решений. Выбросить блокнот с пометками, которые делает Роза? Бесполезно: она со всего сняла фотокопии в автомате на вокзале. Переводить стрелку стенных часов, чтобы Луи томился у двери в дни посещений? Тоже бесполезно: волшебным образом стрелки забегают даже вперед или же радиостанция Люксембурга шумно сообщает точное время. Алина заставила Ги изучать в школе катехизис, чтобы донять этих безбожников Давермелей, но мальчишка заявил викарию, что в случае развода ребенок может сам решить, выполнять ему религиозные обряды или нет, и что его отец не согласен с матерью в этом вопросе. Тем не менее Ги все-таки зачислили в группу, изучающую катехизис. Но он устроил так, чтобы его выгнали, процитировав шиворот-навыворот Символ веры: «Я не верю ни в бога-отца Всемогущего, ни в Иисуса Христа, его единственного сына...» Алина знала, где искать подсказчика. Она устроила в этот день такой разнос! Но тотчас же в ответ раздался телефонный звонок от Луи и посыпались упреки госпожи Гренд, которая упорно твердила Алине: «Остерегайтесь, не давайте поводов для обвинений». Алина остерегалась. По некоторым признакам — высокомерная повадка, частые опоздания домой, перегляды-ванье и даже проявления подчеркнутого сочувствия к ней — она убедилась, что против нее готовятся козни.

■

Автобус снова остановился. Из него вышел какой-то старомодный кюре в сутане и шляпе с загнутыми полями, а затем Роза и Ги, видимо уже знакомые с этим районом, потому что, ни минуты не задерживаясь, они пересекли улицу и быстро прошли туда, где на зеленой лужайке среди круглых обломков скал, расположенных кучно, как яйца в корзинке, стояло несколько домов. Здесь было несколько

подъездных дорожек, и пока Алина освоилась в этом лабиринте и пристроила свою машину, дети успели исчезнуть из виду. Адрес был правильный. Надписи гласили, что это действительно *Цветочный городок* и *площадь Ламартина.* Наконец Алина разыскала привратницу, но ни эта женщина, ни другие люди никогда не слыхали про господина Надз, да еще проживающего в доме 18, который записан на имя мадемуазель Пьервен. *Д. 18,* стало быть, означало совсем иное, может — *до восемнадцати часов?* Алина бродила от одного здания к другому, между игравшими здесь детьми, тщетно искала среди них своих детей, а они все не появлялись. Когда стемнело, Алина решила вернуться, но обнаружила, что спущено колесо. Лишь к девяти часам вечера она прибыла домой, очень усталая, готовая устроить скандал и потребовать решительных объяснений. Но Роза уже точными и бесшумными движениями кончала накрывать на стол, так что ни одна тарелка не звякнула; оказалось, что Агаты еще нет дома, Леона также, значит, у Алины нет союзников. Роза подошла к матери, сказала: «Извини, пожалуйста, мама! Вот, все готово. Тебе сколько яиц, одно или два?» Алину растрогало усердие этого робота: дочка, не прерывая своих трудов, поцеловала ее и, несмотря на странное опоздание матери, ни о чем не спросила. Алина решила не выдавать себя и тоже не задала ей никаких вопросов.

Июнь 1968

16 июня 1968

Жасмин и пионы не соизволили дождаться этого дня, лепестки их преждевременно облетели на пожелтевший от летнего зноя газон. Но ласточки взмывали в небо, голубое, как по заказу. Через широко открытую калитку можно было войти в сад или уйти оттуда по своему желанию, устроиться где захочется, постоять перед стойкой деревенского буфета с царствующим посередине бочонком «божоле», капавшим на скатерть. Праздник продумали заранее, как и состав приглашенных. Все тут учли. Надо было проявить некоторые знаки внимания к соседям, отметить с запозданием не только новоселье, но и традиционный День отцов, доставить удовольствие клиентам и владельцам фирмы «Мобиляр», вернуть семье некоторых друзей; возможно, тут было еще намерение выйти из изоляции, из своего рода гетто, в коем обычно вынуждена пребывать незаконная чета, которая впоследствии становится узаконенной в ущерб предыдущему брачному союзу; поэтому необходимо какое-то время, чтобы люди привыкли к мысли, что новая семья существует.

Одиль принимала гостей в самом доме, держа на руках своего первенца с тремя зубками — нежный залог всеобщего уважения; присутствие бабушки придавало этой картине респектабельность в глазах собравшихся дам. Госпожа Давермель знакомила их с новой невесткой. Луи красовался в саду, одетый с некоторой небрежностью, чтобы придать обстановке бóльшую непринужденность при такой смеси самых разных гостей: соседей, родственников, близких и дальних знакомых, художников настоящих или тех, которые таковыми считаются. Одни были в галстуках, другие без оных, к одним надо было учтиво обращаться на «вы», другие довольствовались дружеским или родственным «ты». Луи мог быть доволен: коктейль проходил с успехом.

Это было предпоследнее, третье воскресенье июня; приглашения, посланные Луи в Фонтенэ, несомненно, бросили в мусорный бак — надеяться на то, что дети приедут, не стоило. Что же касается друзей, то здесь, на лужайке, их было трое или четверо. Явился, конечно, неиз-

менный Габриель. Он чувствовал себя несколько одиноко и признался Луи:

— Да, друзья стали редки! — И, как обычно, сразу принялся философствовать: — Что ни говори, таков закон! Когда женишься, теряешь тех, кто не одобряет твой выбор. Когда разводишься, теряешь половину тех, кто оставался, ибо их жены боятся дурного примера. И половина из последней четверти шарахается от тебя, если надумаешь снова жениться...— И вдруг умолк, удивленный: — Смотри-ка! Наверно, Алина нынче в хорошем расположении духа: вот твои дети.

■

Нет, это были не младшие, а на этот раз старшие, с которыми Луи уже несколько месяцев не виделся. Но как странно они ведут себя сегодня: ни с кем не говорят, а, как бы мысленно поделив сад на квадраты, осматривают все вокруг, кого-то разыскивая. Наверное, ищут отца. Луи машет им издали, чтобы они его увидели. Агата и Леон отвечают тем же и исчезают внутри дома.

— Да, кстати,— говорит Габриель,— любопытное послание я получил от Розы. Похоже, что у них дома не совсем ладно.

Но Луи уже заинтригован, он тоже уходит, устремляется в вестибюль, подымается по лестнице. Агата и Леон где-то здесь, бродят из комнаты в комнату — слышен скрип петель, хлопанье дверей. Но вот они спускаются.

— Если ищете брата, то он в зале, вместе с Одилью,— говорит Луи, обнимая их.

— Ги? — спрашивает Агата.— Но я его там не видела.

— Я говорю о Феликсе.

Агата недоуменно пожимает плечами.

— При чем тут он! — бросает она.— Мама вне себя. С утра Роза и Ги исчезли из дому.

Ее подозрительный вид показался бы смешным, если бы не было этого оскорбительного поведения, нахального копанья во всем доме и предвзятой убежденности в вине Луи. Значит, целью их прихода был обыск. Даже Леон, рассудительный Леон, и тот поддался — гнев Луи быстро сменяется тревогой.

— Почему вы мне это сообщили с таким опозданием? Если я не ошибся, вас послали сюда для обыска?

— Это в твоих же интересах,— бормочет Леон,— мама намерена подавать жалобу.

Сыщики уже покидали дом. Луи открыл окно в своей комнате — дверцы шкафа в ней так и остались распахнутыми настежь — и увидел, как Агата и Леон пробегают через толпу гостей к ограде и дальше, к старому «ситроену», который стоял метрах в пятидесяти от дома, в двойной цепи автомобилей, принадлежавших гостям. В нем сидела Алина, ожидавшая свой боевой отряд, нетерпеливо глядя в окно.

■

Рефлекс первый — умиление, второй — досада. Они, а *они* — это на восемьдесят пять процентов Роза и на пятнадцать Ги, придумали все сами, никого не предупредили, не побоялись последствий и полусотни сплетников, которые начнут зубоскалить по этому поводу. Но беспокойство у Луи возобладало над всем остальным: где же дети? Если, не желая ставить под угрозу отца, они решили удрать к дедушке и бабушке Давермель, то там заперт дом; если бы они остались дожидаться стариков у привратницы, то их мать, сообразив, где они на-

ходятся, и нагрянув на улицу Вано, забрала бы их домой. Для нее это был бы прекрасный повод, чтобы выполнить недавнюю угрозу: «Если будете валять дурака, я вас отправлю в интернат».

На какую-то секунду в душе Луи молодой муж победил отца: закрытое заведение упорядочило бы его встречи с детьми, и ему было бы гораздо спокойней. Но в нем проснулся дух приключения, желание взять реванш над Алиной. Она повержена, бывшая мадам Давермель, ее осудили собственные дети, наказали ее же методом. Право опеки нарушено ею, кончилось время компромиссов. Роза и Ги не поймут, не простят никакого отступления.

Минуты две спустя на том же месте, откуда только что отъехал старый «ситроен», притормозил маленький «рено», весь заклеенный бумажными маргаритками; казалось, вот-вот из него выпорхнет какая-нибудь провинциальная пташка, а вместо нее вышел полный достоинства господин Гордон. Бдительное око! И все сразу разъяснилось. По счастью, среди гостей оказался адвокат Гранса (конечно, это была чистая случайность, он мог и не прийти, но, видимо, Роза на это рассчитывала). В одну секунду Луи, проскользнув между гостями, предупредил Одиль и напуганных стариков, и в кухне уже собрался настоящий военный совет вокруг господина Гордона, который все им и рассказал:

— Роза и Ги у меня обедали. Приехали они в полдень. До этого они часа два сидели в привокзальном кафе и писали письма: своей маме, дедушке и бабушке, судье по делам детей, прокурору республики, директрисе лицея, некоторым преподавателям. В письмах сообщалось: мы уезжаем, хотим жить у отца. Последнее время Роза уже многим знакомым писала, что в их жизни наступает перелом. Она отлично понимала, что если ей не удастся лично предстать перед судом во время разбора дела, то эти ее письма будут зачитаны. Очень организованная девочка.

— Тем не менее она поставила нас в пренеприятное положение,— сказал мэтр Гранса.— Ее мать имеет право привлечь нас к уголовному суду за похищение детей.

— Алина только что была на этой улице,— сказал Луи.

— Я это подозревал,— добавил господин Гордон.— Поэтому решил не брать с собой детей. Возможно, мадам Ребюсто действительно пожалуется в суд, но будут ли с ней считаться? Ведь мосье Давермель не может отвечать за этот побег, он к нему не подстрекал, да и вовсе ничего о нем не знал, а это вполне весомый аргумент. Вы же знаете, как судьи не любят возвращаться к уже решенным делам. И понять их легко: пересуды, доносы — все это им давно осточертело. Чтобы они вторично вернулись к делу, требуется несчастный случай, и я—увы!— убедился на опыте, что иной раз они тянут, пока не произойдет попытки к самоубийству или же пока вконец избитого ребенка не заберут в больницу. У нас пока, слава тебе господи, ничего подобного не случилось, но инцидент произошел. Сейчас, господин адвокат, дело за вами.

— Не будем чрезмерными оптимистами,— посоветовал Гранса.— Может и плохо обернуться.

— Все равно дело уже сделано,— сказал Луи.

— Надо найти способ выгородить тебя,— добавил старый Давермель.

— Само собой разумеется,— сказал господин Гордон.

Он вынул из кармана конверт и протянул его Гранса, но тот принял неохотно. У профессионалов любители всегда вызывают раздражение: солдатам не нравятся скауты, корпорациям — благотворительные общества, оправданием которых не может стать даже их успех.

— Моя роль окончена,— сказал Гордон,— если только вы, мэтр, не сочтете необходимым вызвать меня в качестве свидетеля. Но как бы то ни было, я заходил в комиссариат полиции моего квартала и оставил у них заявление. Даю вам копию. На мой взгляд, мосье Давермелю нельзя терять ни минуты. Ему также следует немедленно заявить местным полицейским властям, что он поставлен перед свершившимся фактом и хочет, чтобы над детьми был учрежден прокурорский надзор.

— Отлично! — сказал Гранса, наконец сдаваясь, чтобы покрепче все взять в свои руки.— Но было бы еще лучше, если б Роза и Ги могли пойти вместе с отцом и подтвердить его показания.

В глазах Гордона мелькнула хитрая искорка, но он тут же постарался погасить ее и скромно сказал:

— Они ждут вас в караульном зале. До того как прийти сюда, я поручил их одному из полицейских.

— Я иду вместе с вами,— предложил дедушка.

— Нет,— сказал Гранса,— это покажется нарочитым. Но завтра же я отправлю Алине вызов в суд: вся эта возня займет не менее пяти-шести дней, а пока мне хотелось бы, чтобы никто не знал, где дети; пусть они побудут у кого-то из посторонних. Устройтесь как-нибудь. Я не хочу знать у кого.

— Хорошо! — хором ответили Луи и его отец.

— Отправляйся! — сказала Одиль.— Гостями я займусь сама.

Она устало ссутулилась: одно дело принять на себя тяжелую ношу, другое — ощутить, с какой силой она давит на твои плечи. Эта разница чувствуется в семейной жизни так же, как в тяжелой атлетике.

■

Комиссариат полиции находится по крайней мере в трехстах метрах от дома, и так как движение по улице одностороннее, то проще пройти пешком. Но Гранса этому воспротивился:

— Вдруг здесь бродит Алина? Если она опередит тебя и выяснит, где дети, то полицейскому придется передать их ей; для этого ей достаточно предъявить справку о праве опеки. Единственный шанс для тебя — постараться помешать ей что-либо выведать до самого вызова в суд. Нам нужно выиграть время... приятно думать, что оно работает на нас.

Но он вовсе не выглядел веселым и был явно обеспокоен; адвокат сел в свой «таунус», по его мнению менее истрепанный, чем «ситроен» Луи Давермеля, и поехал вслед за Гордоном, искоса поглядывая через стекло на тротуар и даже немного сгорбившись, чтобы его не было видно; возможно, ему чудилось, что снаружи за ним следит сам старшина адвокатского сословия, мстительно готовя западню, чтобы ему, Гранса, пришлось потом предстать перед Дисциплинарным советом. По пути он снова начал брюзжать:

— Все эти «деятели» из Комитета надзора часто бывают неблагоразумны. Хотите помочь нам — браво! Но ведь в суде приходится считаться с формальностями. Правда, в данном случае нам просто повезло, что они вмешались, это может произвести впечатление. Показаниями папаши Гордона я, конечно, воспользуюсь!

Он уже тормозил перед зданием с флагом, а папаша Гордон привычно въехал во двор, бесцеремонно поставил свою машину рядом с двумя полицейскими фургонами, дружески кивнул часовому и, спокойно ткнув пальцем в свободное место на стоянке, тоже зарезервированное, как и то, которое он уже занял, говорит:

— Начальника сегодня нет, ведь день воскресный.— Потом тихо добавляет: — Он мне нравится. Хотя бывает и чересчур педантичен. А вот постоянный секретарь — тот только и думает, как бы поскорей отбыть повинность и смыться.

■

Все было предусмотрено, как в хорошем сценарии. Появились Роза и Ги, они пытались улыбаться, но были немного напуганы и ошарашены мельканием форменных мундиров, запахом старого сукна, кожи и табака — запахом, в котором им пришлось мариноваться, пока они ждали отца, за которого теперь и уцепились, наконец-то почувствовав себя в безопасности.

— Представьте себе,— сказала Роза,— до восьми часов мы еще ничего окончательно не могли решить. Все из-за мамы, она заперла телефон висячим замком...

— Ты это нам потом все расскажешь,— сказал Гранса.— Пошли! Я жду вас в машине.

В качестве двоюродного брата он мог бы, конечно, пойти с ними вместе, но адвокату не полагается быть ни свидетелем, ни участником, а потому возглавил операцию господин Гордон: ему совсем не обязательно считаться с судебными правилами.

— Предоставьте все мне,— шепнул он,— сделайте вид, будто вы ошарашены.

Двадцать две ступеньки. На площадке три двери. Та, которая им нужна, находится в центре, но обращаться надо не в первую секцию, а во вторую; там сидел толстый великан, который сразу протянул Гордону пухлую лапу и воскликнул:

— Уже месяца три, как вы к нам не заходили!

— Я бы предпочел вас вообще не беспокоить,— ответил господин Гордон.

И он начал излагать дело: разъяснил ситуацию, представил отца, детей, подчеркнул добрую волю граждан, уважающих все решения суда, сказал, что он, Гордон, может удалиться, дабы предоставить возможность высказаться тем, кто делает заявление, но думает, как и старший чиновник, что нужды в этом нет и что надо скорее помочь этим людям, потерявшим от волнения дар речи. Затем он дал толстяку прочесть свое заявление, и тот, все еще с пером в руке, вопросил:

— А как же мы это сформулируем?

— Как обычно,— ответил господин Гордон.

«Как обычно» — это, пожалуй, удачное выражение. Господин Гордон не хочет казаться бесцеремонным и что-либо диктовать, он только напоминает, что аналогичное дело тут уже было, и у него в записной книжке оно отмечено под номером 107 от 4 января. Он даже цитирует формулировки, которые кажутся ему образцом краткости и точности. Припоминает одну-две фразы, легко применимые и в данном конкретном случае. Еще несколько фраз с некоторыми вариантами тоже могут быть здесь использованы. Но в этом случае, возможно, следует и кое-что добавить. «Подойдите-ка, дети, не бойтесь». Ну вот хотя бы что-то от них самих. К примеру: «И Роза Давермель, шестнадцати с половиной лет, и ее брат Ги, двенадцати лет, с которыми мы беседовали, подтверждают, что они без ведома отца, по собственному желанию, покинули дом матери-опекунши...»

— И решительно отказываются туда вернуться,— воскликнула Роза, услышав в этом разговоре свое имя.

— Да, ни за что не пойдем! — как эхо откликнулся Ги.

— Во избежание какого-нибудь несчастья! — добавил Луи.

Добавили то, другое, и получился недурной финал.

— «И отказываются туда вернуться во избежание серьезного несчастья,— шептал писец, покачивая головой.— Они полностью доверяют суду, призванному решить их участь...»

■

Прочли еще раз. Запятая здесь, точка там. «Как надо писать «Давермель» — с двумя «л»? У вас есть с собой паспорт?» Наконец все проверено и бумагу предложено подписать. Господин Гордон заботливо отмечает у себя номер документа, чтобы сообщить адвокату: *регистр от 16 июня 1968 года, номер 287*. Ну, груз как будто свалился с плеч. Спускаются по лестнице уже более легким шагом. Но успокоение длится недолго. «Мне так грустно, как подумаю о маме,— шепчет Роза.— Но если бы она захотела...» Отец понял мысль дочери и добавил: «Да, бедняжка! Могла бы этого избежать». Он глубоко вздохнул, и это досказало остальное: ненависть заразительна, и каждый, кто защищается от нее, лишь усугубляет недуг, который, как ему кажется, он подхватил от другого. Во дворе господин Гордон наклонился к дверце автомобиля, в котором ожидал мэтр Гранса, потом выпрямился, не дослушав благодарности, и начал прощаться.

— Очень редко бывает,— сказал он,— что нам сообщают, чем кончилось дело. Но если б вы позвонили и сказали мне, я был бы рад.

«Таунус» мэтра Гранса двинулся за «рено» в маргаритках, потом затормозил перед виллой «Вдвоем», чтобы пересадить Розу и Ги в дедушкин «пежо». Луи вошел в сад и смешался с многочисленными гостями, которые были заняты только собой и ничего не заметили. Отличное алиби. Но разве он нуждается в алиби? После всех перенесенных испытаний этот небольшой прием казался ему просто смешным; а вот День отцов для него сегодня был особенно знаменательным.

18 июня 1968

Ни сна, ни покоя, аппетит пропал, силы на исходе. Все эти таблетки, высыпанные на ночной столик из маленьких алюминиевых тюбиков, из которых три уже совсем пустые, на мигрень нисколько не повлияли. Тщетно Алина обрушивалась на старших детей, на своих сестер, на адвоката, полицейских, привратниц, соседей, на последних, немногих уже друзей, на мать, на членов клуба «Агарь», на преподавателей лицея; напрасно она терзала их в любое время и по каждому поводу бесконечными телефонными звонками, письмами, бурными сценами — невообразимое произошло: однажды в воскресенье утром двое детей ушли от нее и исчезли из виду, испарились, а соответствующие учреждения, власти, люди, обязанные заставить уважать закон, справедливость, любовь к родителям, и не думают особенно возмущаться. Трудно поверить? Увы, это именно так. Полицейский комиссар, его заместитель или как его там, словом, чиновник полиции, что сидит за деревянным барьером, сколько бы его ни тормошили, ни умоляли, ни призывали действовать во имя закона, решения суда, цитату из которого вы ему показали,— да ведь это там написано: «*Оказывать поддержку, если требуется*»,— так вот этот чиновник осмелился заявить:

— Да, мадам, мы в курсе дела, мы об этом знаем...

Он не вскочил с места, не разослал своих агентов по пятам беглецов. Он лишь вежливо выразил сожаление, толковал о письме, в котором дети объясняли причину своего побега, как будто этому

можно найти объяснение или оправдание. Он сообщил, что общественный делегат из какого-то общественного комитета, кичившийся каким-то титулом, высказал свое мнение по этому вопросу. Он утверждал, что ничего больше не знает, что сам ждет, «как и вы, мадам», — а чего, спрашивается, он ждет? Говорил: «Постараюсь вас держать в курсе всего, что последует», а в данный момент, пока нет указаний, он может только принять заявление и зарегистрировать жалобу.

— Пожалуйста, если вы настаиваете, мадам, но на кого вы жалуетесь? Ведь вы мне сказали, что старшие дети сами ходили к отцу, но не могли там обнаружить убежавших.

На кого? Не воображает ли этот полицейский, что Луи сам во всем признается: «Конечно, господин комиссар, я держался в тени, но подсказал детям, что надо делать, куда написать, когда, в какое время... А потом — ау! Помог им исчезнуть». Этот комиссар вел себя в точности как и привратник: он был под сильным впечатлением пресловутого письма, конечно от начала до конца продиктованного. Он опять внимательно перечел его и сравнил почерк с письмом, адресованным Алине,— ясно, что они были написаны одним и тем же лицом. Затем дважды прочел письмо вслух и после каждой фразы все поглядывал на Алину.

— *«Дорогая мама, мы уходим из дома и будем просить судей передать нас на воспитание отцу. Ты, наверно, не удивишься: ведь мы давно уже добиваемся этого. Мы оба очень тебя любим, сожалеем о том, что приходится тебя огорчать, хотим с тобой регулярно видеться. Но жить с тобой вместе не будем, и ты знаешь почему...»*

Вот именно — почему? С каким удивлением смотрели на нее все эти люди! Они ждали ответа на вопрос и были поражены, когда Алина сказала:

— А я бы первая хотела узнать почему.

Люди исключительно странно ведут себя с ней: они и простодушны, и вместе с тем до того подозрительны, что с невероятным коварством извращают ее лучшие намерения. Ребенок всегда оказывается прав. Хотя отец старается внушить детям глупые иллюзии и это всем бросается в глаза, но попробуйте кого-нибудь убедить! А если вы пытались уберечь детей от подкопа, от злоупотребления доверием, этого вам не простят. Во всяком случае, как только раздался глас младенца, вам следует заткнуться. Что бы вы ни сказали, все обернется против вас. Не странно ли, к примеру, что все письма написаны только Розой, а под ее подписью скромно нацарапано: *Ги?* Алина уже обращала на это внимание комиссара, добавив, что так оно бывало обычно, именно Роза возглавляла интригу, подстрекала и вовлекала в нее младшего брата, который во всех спорах прятался за ее спиной... И вдруг! Подумайте только, их заинтересовало одно это слово.

— И что, вы часто спорили? А по какому поводу?

Вопрос застал ее врасплох. Она начала бормотать: «Ну я, право, не знаю... По каким-то пустякам, по всяким поводам, это совсем не имеет значения». И опять — нет, вы только подумайте! *По всяким поводам?* Да это просто неудачное выражение, зачем же ее запутывать еще больше? А разве бывают семьи, где вовсе не спорят? И где матери не приходится ежедневно выполнять свой долг, чтобы не допускать всяких глупых выдумок? Разве ее роль, трагическая роль брошенной жены, состоит лишь в том, чтобы со всем соглашаться? Но право, довольно жаловаться, ни к чему это! Казалось бы, что удивительного в том, что из всей Четверки именно старшие наиболее разумны и поддерживают ее, а вот младшие растерялись, поддались уговорам и взбунтовались. Но к вам подступают с обратной стороны:

— А может быть, вы старшим больше покровительствуете?

И вас просят подумать над этим, вам даже советуют забрать жалобу, зачем, мол, с этим особо торопиться, ведь нет еще доказательств, что дети были похищены.

— И кроме того, мадам, даже если бы и были доказательства, вы ведь существуете за счет средств, зарабатываемых мосье Давермелем, а если жалоба пойдет своим ходом?... Поможет ли вам и вашим детям, если их отец будет привлечен к суду, получит наказание? Ведь он потеряет работу, средства к жизни. Нам кажется, достаточно, если сейчас вы оставите просьбу о розыске детей и этим ограничитесь.

■

Вот почему Алина, которая так нуждалась в поддержке и была уверена, что получит и помощь и удовлетворение, ушла расстроенная и оскорбленная, в жалкой роли глубоко обманутой, глубоко разочарованной матери. Ушла, чтобы все-таки успеть купить провизию, ведь Агате и Леону нужно что-то есть. Она направилась к лавочникам, окидывавшим ее любопытными взглядами, ибо они уже получили от соседей самую свежую информацию.

И, возвращаясь домой, ощущала на себе эти взгляды; сверху, снизу, со стороны — взгляды жильцов, живущих над ней, и тех, которые всегда стучали ей в стенку и в потолок, когда ее дети допоздна плясали, или же шла слишком громкая перебранка, или Алина давала им нахлобучку, хотя все это было не более шумно, чем в их собственных семьях; и вот теперь все эти соседи начнут толковать: «А я-то думаю, что же это у них творится?» Так бывает всегда: разносу подвергается именно жертва! Ведь если без причины жену не покидают, тем более не покидают мать, но эти причины определять вовсе не обязательно, факт налицо, стало быть, зло кроется в ней. Именно ее родные, сурово и вполне заслуженно осуждая Розу, считали, однако, нужным сделать кисло-сладким тоном свои замечания.

— Замкнуть телефонный диск? Что за выдумка! — говорила Жинетта.— Ты просто гений по изобретению всяких мелких притеснений.

А какие вопли негодования вызвал рассказ Агаты — вот уж кому следовало бы молчать! — относительно этой истории с раковиной «Наутилус», последней раковиной из коллекции Розы, остававшейся в доме матери в Фонтенэ: в пылу спора Алина схватила ее, бросила на пол и со злостью раздавила каблуком. Что говорить — невоздержанный поступок! Но попробуйте себя сдержать, если вас душит ревность, если ваша нежность грубо попрана, если вы в состоянии крайнего раздражения и обычные доводы бессильны! А кто бы мог утверждать, что мать не любит Розу и Ги? Она предпочла бы двадцать раз мучиться родами, лишь бы не знать столь горького разочарования — дети, вышедшие из ее чрева, теперь захотели покинуть свою мать.

Еще одна утрата, причем самая тяжелая, да еще обостренная тревогой: ведь до сих пор неизвестно, где дети; так почему же Алина не встречает сочувствия ни в ком из своих близких, никто из них не беспокоится вместе с ней? Вот и сестры почти равнодушно ее уговаривают:

— Ну, что с тобой? Они где-нибудь близко.

Столь же спокойна и директриса лицея:

— Нет, мы их больше не видели. Но, откровенно говоря, мадам, мы ожидали, что нечто подобное может произойти.

Весьма вяло реагировали Агата и Леон, хотя в какой-то степени и представляли себе тяжесть семейного раскола, понимали, что отмена двух пособий на беглецов уменьшит материальные средства семьи (увы! эта забота ляжет прежде всего на хозяйку дома); но они отчасти были довольны: зато можно будет жить попросторней, особенно обрадовалась Агата, сразу удвоившая свою жилую площадь. Только одна Эмма проявила твердость духа, показав при этом невероятное терпение:

— Луи сошел с ума! На этот раз он слишком далеко зашел.

Такое же мнение создалось и у госпожи Гренд, особенно после того, как она поговорила с мэтром Гранса и почувствовала, что готовится новая акция.

— Надо притаиться. Когда противник разоблачит себя, мы на него обрушимся,— сказала она.

А пока что Роза и Ги обретались бог знает где, может быть, находились в опасности. Но раз их не нашли у отца, то надо полагать, что, благодаря его сообщничеству, они где-то пристроены. Сообщничество почти желанное, оно, конечно, притворно, если никто не мучится при мысли, что дети могут очутиться в беде, особенно Роза — ведь она еще подросток и может попасть в опасные руки. В воскресенье известий все еще не было. В понедельник тоже. Такое же положение во вторник с утра. Ни открытки, ни телефонного звонка, даже от посторонних. Единственное, что ободряло,— это молчание их отца, которому известно, что дети исчезли, однако он не звонит, не спрашивает, есть ли какие вести.

20 июня 1968

Без двух минут десять мэтр Гранса, оставив в коридоре дедушку Давермеля и Ги, заметно подросшего и выглядевшего взрослее в длинных брюках, подтолкнул вперед Розу и открыл обитую клеенкой дверь. Он не успел ни закрыть ее, ни даже вставить словечко.

— Без вас, мэтр, без вас! — сказал чей-то бас, повторив эти слова в двух разных интонациях: первый раз — весьма любезно, а второй — более категорично.

Адвокат вышел, немного вытянув шею, скрестив руки в широких обшлагах мантии, торжествующий, словно кюре, который только что отважно противопоставил свое мнение епископу.

— Председатель Латур меня сейчас предупредил,— прошептал Гранса.— «Я хочу, чтоб на меня ничто не воздействовало. Это означает — никаких родителей и никаких советчиков. Поговорю с детьми по очереди, сначала с девочкой потом с мальчиком». Вы меня поняли? Он даже не дал мне представить девочку.

— На Розу можно положиться: она в себе очень уверена,— сказал дедушка Давермель, откидывая пальцем за ухо проводок от слухового аппарата.

Ги стоял близко, так что старик не мог высказаться более откровенно. Выступать против матери Розе, наверное, нелегко. Настраивать ее на это — миссия очень неделикатная для деда. Заслонив собой мальчика, весь взлохмаченный, старый Давермель что-то беспокойно рассматривал в глубине коридора, хотя там уже не осталось почти ни одного человека в мантии; было заметно, что он собой недоволен и встревожен.

— Да перестаньте волноваться,— сказал ему кузен.— Даже если госпожа Гренд — новый адвокат Алины — тут случаем пройдет, то детей все равно не узнает — она ни разу их не видела. К тому же она понятия не имеет, что мне удалось добиться этой аудиенции, которая должна быть делом обычным, но пока является исключением.

Если бы госпожа Гренд знала об этом, то вела бы себя гораздо сдержанней.— Он посмотрел на часы и, стремясь отвлечь клиента разговором, продолжал: — Вызов в суд Алине принесли позавчера, а госпожа Гренд сегодня утром уже мне позвонила и была весьма нервно настроена. По ее словам, весь квартал намерен подписать петицию в пользу Алины, которая сама будет ходить из дома в дом, собирая подписи; кроме того, все дамы из клуба «Агарь» поддержат ее, они готовы растерзать похитителя. По мнению госпожи Гренд, мы должны сразу же отправить детей домой, к Алине, и тогда, может быть, нам окажут милость и заберут жалобу, которая заботами госпожи Гренд отослана прокурору.

— Ха! Без шуток! Если папа нас вернет домой, представляете, какой нам праздничек устроят! — сказал Ги.

— Стоит это повторить там за дверью, в кабинете! — тихо подсказал Гранса.— Не беспокойся, малыш, нас запугивают. Но председатель Латур посчитается с твоим выбором, ты сам рассудишь, как быть дальше!

Над головой мальчика скрестились два взгляда; Гранса подмигнул деду: надо, мол, поднять дух у мальчишки! Адвокату хотелось выиграть дело; но взгляд старого Давермеля был сдержанней — дедушку больше заботило, чтобы мальчик сохранил сыновнее почтение.

— Гм! — выдохнуло заинтересованное лицо, не столь легковерно воспринявшее эти слова. Но вот раскрылась обитая клеенкой дверь — из широкой трещины в ней выбивались волокна пакли,— и вышла Роза, мягко подталкиваемая чьей-то благожелательной рукой, тут же махнувшей в сторону Ги и позвавшей его в кабинет. И худышка, подстриженный под гребешок, с важностью туда прошествовал.

■

Между тем Роза — с нахмуренным лицом и тяжело дыша — пыталась увильнуть от расспросов.

— Ну, какое впечатление? Неплохое?

— Да!

— Что он у тебя спрашивал?

— Дед, ты не поверишь: он сразу же спросил, люблю ли я карамельки. А я по глупости взяла — и зря; зубы у меня склеились, и говорить было очень неудобно.

И Роза вдруг усердно принялась разглядывать спустившуюся на чулке петлю. Зубы у нее, видно, никак не расклеивались: беседа с председателем суда касалась только их двоих. Старый Давермель хорошо знал свою внучку и больше не настаивал. Гранса с удивлением заметил, что на Розе новое платье.

— Они уехали из дома, не захватив даже трусиков на смену,— сказал дедушка.— Бабушке пришлось им все покупать заново, пока я был занят добыванием всяких бумажек для нашего дела. К счастью, я уже в отставке! Луи не мог бы всем этим заняться, он работает.

— Это неплохо,— заметил Гранса.— Чем реже он будет сейчас показываться, тем лучше. Пусть считают, что он хороший отец, сбитый с толку своими детьми.

— Да, это именно так,— чистосердечно вырвалось у Розы.

— Конечно! — ответил Гранса без особой убежденности.

Адвокат улыбнулся. Правда это или только видимость ее — он будет защищать их, пустив в ход все свое красноречие.

Но похоже, это опасное дело окончится благополучно. Вот вышел Ги, толкнув плечом дверь, которая была в два раза выше его, и, будучи менее скрытным, чем сестра, хвастливо поднял кверху большой палец.

21 июня 1968

И снова Большой зал с двумя сводами, покоящимися на прямоугольных столбах,— огромный, холодный, сумрачный, похожий на церковь, весь заполненный снующими черными муравьями, они волокут свои папки, как настоящие муравьи перетаскивают яйца; непрерывное скрещение людей, встречи, ожидание, переговоры; люди заходят к судьям, торжествующие или понурые возвращаются от них. Алина вновь окунается в этот холодный мир, где Правосудие, изваянное из мрамора, бронзы и дуба, сбросило с себя одежды, предстало в образе грудастой, толстозадой дамы и пытается доказать, что это суровая сестра Истины. Но на сей раз Алина уже не так одинока, не так робка, запугана и неуверена в своих действиях. Она направляется прямо к скамье, находящейся у ног покойного мэтра Беррье, за ней следует целая свита из одних женщин: мать, приехавшая из Шазе, сестры Аннетта и Жинетта, дочь Агата, Эмма с дочкой Флорой, уже немного подросшей,— все они для этой цели прервали свои дела в конторе, школе или лицее. Шесть абсолютно преданных свидетельниц, собственноручные подробные заявления которых вложены в ранец Ги, использованный для этого без ведома владельца; все это лежит вместе с семнадцатью другими документами, спешно сфабрикованными, а затем отпечатанными Аннеттой на ронеотипе по стандартному образцу.

«Я, нижеподписавшаяся, свидетельствую, что хорошо знаю госпожу Алину Ребюсто. Нахожу постыдным поведение ее бывшего мужа Луи Давермеля, который сначала бросил ее с четырьмя детьми, а теперь пытается отобрать у нее двоих, исподтишка настраивая их против матери. Считаю позором так угнетать мать, которая может служить примером нежности, мужества и преданности своим детям».

Довольная образцом своей прозы, завизированной преподавательницей испанского языка госпожой Трембле, тоже разведенной, а также владельцами лавки скобяных товаров Голоном и его супругой, помощницей мэра госпожой Сентонж и президентшей Губло, и сознанием, что у нее есть союзники, Алина приободрилась и была убеждена, что вскоре предоставит им возможность полюбоваться поражением Луи; она была очень оживлена; две пилюли помогали ей держаться в форме; наконец, она дошла до монумента Беррье и шепнула своей свите, которая попутно проявляла ко всему туристско-познавательный интерес: «Это их главный патрон!» — а потом села рядом с одетой в траур матерью, с боязливым достоинством поглядывавшей направо и налево. Но вскоре Алина вскочила, произвела поверхностную разведку до самых дверей комнаты судей, где ее дело будет слушаться только в пять часов; она увидела ряд спин, а за ними вдалеке, перед возвышением, два-три лица, обращенных к невидимому обладателю слабого, тонкого голоска. Алина поворачивается, доходит до входа в гражданский суд, читает какое-то сообщение Федерации судебных служащих и сливается с толпой. Луи должен быть где-то неподалеку, конечно, он привел с собой детей, и ясно, что он их где-то спрятал в этом лабиринте на случай, если суд пригрозит ему арестом. Пусть же в последний раз пользуется, ибо отныне он будет видеть своих детей всего лишь один час в месяц и

обязательно в присутствии их матери; это все, что мэтр Гренд может ему сейчас предложить.

Алина глянула на скамью... Скорее! Там уже ждет мэтр Гренд, а вся ее свита рассеялась — ходят, смотрят. Мантия окутала госпожу Гренд почти целиком, скрыв ее до самой шеи; локоны, косметика, губная помада создают впечатление, что голова приставлена с других плеч. Госпожа Гренд вскакивает с места и обдает Алину холодным душем:

— Мне не терпелось увидеть вас. Мэтр Гранса, как обычно, сообщил мне об имеющихся у него материалах. Должна сказать откровенно: вопрос далеко не решен.

Бабушка Ребюсто обеспокоилась и подошла. «Моя мать!» — представила ее Алина, проверяя содержимое ранца, но уже настроенная против госпожи Гренд, вдруг проявившей слабость, тогда как накануне она была готова драться хоть со львом.

— Я привела вам подкрепление,— сказала Алина.

Ранец перешел в руки адвокатши, и ее тесно окружили голубые платья Эммы и Флоры, серый костюм Жинетты, зеленый Аннетты, линялые джинсы Агаты...

— Зачем столько людей! — сказала госпожа Гренд.— Разве я неясно объяснила? Процедура займет всего несколько минут, речь пойдет лишь о предварительных мерах, будет вынесено временное решение до обсуждения дела по существу. Даже присутствие сторон совсем не обязательно. И говорить вам не придется.

Свита напряглась и затихла среди шумного шарканья ног и гуденья голосов. Госпожа Гренд открыла ранец и перелистала бумажки, с таким трудом собранные Алиной.

— Родня, соседи, лавочники — все ясно! — прошептала она с легкой гримасой.— Тут и президентша. И еще преподавательница испанского! Куда бы ни шло, если бы Роза была ее ученицей. Но, к сожалению...

Кружок сжался плотнее, взгляды семи женщин устремились на восьмую, одетую в адвокатскую тогу, которая создавала между ними как бы двойной барьер.

— К сожалению,— продолжала госпожа Гренд,— у них есть пятнадцать писем от Розы и Ги со штемпелями на конвертах, написаны они в течение последних десяти месяцев и содержат одно и то же требование — переменить опеку. И еще семь свидетельств учителей такого же характера. Кроме того, послание председателя Комитета надзора, который с января встречается с вашими младшими детьми. Затем есть донесение представительницы Центра по наблюдению за психически неполноценными детьми, в котором говорится, что ей было поручено обследовать Ги в этом учреждении и что заключение дежурного психиатра могло смутить вас, Алина; она неодобрительно отозвалась еще о том, что вы дали врачам ложный адрес Луи, чтобы избежать передачи детей отцу.

Теперь взгляды свиты обратились на Алину.

— Ну и ну,— сказала Аннетта.— Вот в этом ты вся! Все портишь своими выходками.

— Не скрою от вас, что я нахожусь в затруднительном положении,— продолжала мэтр Гренд.— Единственный положительный аргумент, который можно из всего этого извлечь,— то, что тут не было предварительного умысла. Возможно, вы были не совсем в курсе дела, но, однако, вы не снабдили меня всеми сведениями, необходимыми для того, чтобы вынести суждение. Теперь, когда я ими располагаю, хоть я и рискую вас разочаровать, но мой вам совет — пожертвовать малым для спасения главного. Вести заседание будет

председатель Латур, и мне кажется, трудно доказать, что молодая девушка шестнадцати с половиной лет сама не знает, чего она хочет. А вот Ги только двенадцать, его еще могли обкрутить. На мой взгляд, надо расчленить эти случаи. Розу следует оставить в покое, у нее, судя по всему, вполне определившаяся, сильная индивидуальность, она будет причинять вам постоянные неприятности; единственный ваш шанс — вернуть Ги. У нас еще есть минут пять, чтобы заключить с противной стороной подобное соглашение.

— Но как я могу разделить их? — пролепетала Алина.

«Хватит представляться скорбящей мадонной!»—однажды в сердцах крикнул ей Луи. Она и вправду представлялась тогда. Но на этот раз Алина испытывала невыносимую муку и никакого притворства не было. Оказаться скомпрометированной в присутствии верных сторонниц, собравшихся посмотреть, как будут карать этого злодея,— уже само по себе тяжело. Но потерять одного из Четверки, чтобы не потерять двух, встать перед подобным выбором — это все равно что отсечь левую руку, чтобы сохранить правую. Все ее дамы, потрясенные, замерли от волнения.

— Я могу вас понять, Алина,— сказала мэтр Гренд.— Но судебный чиновник не рентгенолог, он не заглядывает в сердца людей. Приговор выносят, следуя фактам или по крайней мере их видимости.

— А вы уверены, что вас выслушают? — спросила Эмма, заметив, что никто не решается задать этот вопрос.

— Отнюдь нет,— ответила мэтр Гренд,— я пощупаю почву, хотя за это мне может грозить отстранение от дела. Мосье Давермеля ждет вызов в суд по нашей жалобе, а вот если я скажу ему, что в случае договоренности заберу ее обратно, может, он и соблазнится, захочет избежать риска, пусть даже самого незначительного.

— Незначительного? — воскликнула Аннетта.— Но ведь речь идет о похищении!

— Если судья не поддержит нас, то нашу жалобу признают неосновательной и сдадут в архив. Посмотрим...

Госпожа Гренд секунду выждала и, так как никто не решился одобрить ее или возразить, повернулась, прошла через зал, и ее строгий силуэт в длинной мантии, из-под которой виднелись изящные лакированные лодочки, исчез в глубине галереи Купцов.

— Она знает, где дети,— сказала Жинетта.

— Не по душе мне такой торг,— добавила бабушка Ребюсто.

— А я-то наняла ее, была уверена, что она куда решительней, чем этот адвокатишка Лере! — простонала Алина.

■

Консоли с пальмовыми листьями славят свою эпоху, как и потолок с золоченой лепниной; места, где она отвалилась, во времена республиканской бедности украсились лишь голыми электрическими лампочками. Слева — три высоких окна во двор. Справа — гипсовая Марианна, а чуть дальше — большие стенные часы, идущие на две минуты вперед по сравнению с часами Алины, накануне выверенными по первой телепрограмме. Осталось всего человек пять-шесть любопытных — они склонились над металлическими перилами, идущими вдоль деревянной балюстрады, которая отделяет стоячие места для посетителей от сидячих мест для чиновников — они, наподобие церковных каноников, восседают в жестких дубовых креслах. Клиенты и судейские крючки, задержавшиеся на разборе дел, тоже уже

разошлись, и весь клан Ребюсто расселся на двух скамьях около окон. В затененной же половине не было никого; Луи даже не соизволил появиться, и только лицемерный мэтр Гранса обхаживал то председателя, который перелистывал дело, то его помощницу — полную даму с шиньоном, занимавшуюся тем же, пока секретарь суда что-то бормотал почти про себя. Но вот примчалась мэтр Гренд в сопровождении кого-то из своих коллег; она без всяких обиняков сообщила о результатах переговоров:

— Мосье Давермель ни о чем и слышать не хочет. Он мне сказал: «Ги доверился мне, разве я могу его предать? Что же касается вашей жалобы, то эти претензии смехотворны: вот уже более двух лет Агата саботирует встречи со мной. Алина фантастическая нахалка. Я бы уже двадцать раз мог потащить ее в суд».

Все происходило быстрей быстрого. В стороне, примостившись на каком-то сооружении вроде кафедры, помощник прокурора — молодой человек, лишенный растительности, с большим кадыком — даже рта не раскрыл, даже ни разу не повернул головы, сохраняя величественную позу скучающего римлянина.

Госпожа Гренд, гибкость мышления которой значительно уступала гибкости стана, весьма живо обменивалась малопонятными замечаниями с мэтром Гранса, расположившимся внизу под возвышением, где сидел в кресле председатель, и нос адвоката, таким образом, приходился как раз на уровне сооружения, которое на судебном жаргоне прозвали прилавком. Есть ли подсудность? Подсудности нет? Почему возражает мэтр Гренд? Когда приступим к существу дела? Алину сковало чувство, что она здесь пришлая, чужеземка, не знающая ни местного наречия, ни местных обычаев, она ощутила, как все реальное тонет в словах и чернилах, ей было страшно, что она зависит от словесной битвы, в которой не может принять участия.

Но председательствующий взмахом руки кого-то оборвал, дал слово истцу, и мэтр Гранса на этот раз без всяких заметок и без обычных адвокатских приемов, даже не сойдя с места, в тоне непринужденной беседы приступил к краткому изложению дела:

— Что ж, господин председатель, перед нами обычный случай! Супруги разводятся, а детей, не спросив их мнения, поручили матери, конечно, даме весьма почтенной, но тут же поставившей себе целью сокрушить авторитет отца. Двое старших — мать им покровительствует,— несмотря на требования и жалобы отца, не ходят к нему, но мы не будем их осуждать. А младшие, более эмоциональные, возмущаются тем, что отца постоянно бранят и поносят, хотя он к ним заботлив, выполняет свои обязанности регулярно встречается с детьми, платит алименты, недавно увеличил их сумму. И вот эти дети страдают, у матери они на плохом счету, их вечно отчитывают за преданность отцу, они замыкаются в себе, успокаиваются, лишь когда приезжают к отцу, мечтают, чтобы эти встречи длились подольше, и в конце концов требуют, чтоб опеку над ними передали отцу. Это желание считают вполне обоснованным семь преподавателей, врач-психиатр, президент Комитета общественного надзора. Что еще можно сообщить в дополнение? Отец вторично женился, неплохо обеспечен, доходы его возрастают. Намерения младших детей вполне определились, в этих обстоятельствах они понятны, на детей не оказывается никакого давления. Вы это сами могли констатировать, господин председатель...

Гранса церемонно поклонился, сел и слегка улыбнулся. Председатель нагнулся к помощнику справа и сказал: «Да, я принимал де-

тей у себя в кабинете!» Мэтр Гренд, вернувшаяся было на полагающееся ей место, обернулась и растерянно посмотрела на него. Аудиенция, которую предоставили детям, сама по себе не является секретной, но поскольку она не занесена в протокол, то не может фигурировать в деле. Нет сомнений: козырной туз бит. Всякая болтовня по поводу того, что кто-то прибрал к рукам мальчика, теперь совершенно неуместна: ведь сам председатель убедился в обратном. Остается одно: громить отца, обрушиться на его недостойное поведение. Жаль, что одна из дочек сидит вместе с матерью тут, в суде; не надо было приводить ее, а как теперь заставить ее выйти? Мэтр Гренд встала, громко начала свою речь, излагая претензии в желчном, придирчивом тоне:

— Мы понимаем настоящую цену намерения этих детей уйти из дома, детей, посмевших притащить свою несчастную, угнетенную жизнью мать сюда, в суд, господин председатель! Мы знаем также, кто этого не хотел и кто так упорно добивается своей цели. Но я хочу поставить главный вопрос: если надо отобрать этих неблагодарных детей у их безупречной матери — а о ней даже мой коллега не пожелал дурно отозваться и имел на то основание,— то кому же, я вас спрашиваю, вы решитесь поручить их воспитание? Самому мосье Давермелю? Этому закоренелому бабнику, сотни раз обманывавшему свою жену, потребовавшему развода исключительно по своей инициативе, чтобы жениться на любовнице, которая, если вы будете поддерживать необдуманные требования Розы, и должна заменить детям родную мать, видимо, чтобы передать опыт своей молодости девочке-подростку? Надо же представить себе, что собирается предложить этот, не имеющий нравственных принципов, отец своим детям — богемную жизнь, характерную для среды художников...

■

Именно этот момент избрал беспринципный отец для своего появления: он вошел, вежливо кивая по пути, прошел на цыпочках, но туфли его все равно поскрипывали. А мэтр Гренд продолжала свою отповедь — такую длинную, такую злобную. Председатель слушал ее, барабаня пальцами по папке, немного наклонив голову, оглядывая всех и все примечая: преувеличенное возмущение на лице мэтра Гранса, откровенную усмешку Луи, смущение Агаты, открывшиеся от упоения рты у старухи Ребюсто и ее дочери, словно они вкушали мед. Наконец-то мэтр Гренд высказала свою полную уверенность в том, что суд не совершит серьезной ошибки и не заберет юных Давермелей у матери чтобы передать мачехе, и не лишит их хорошего примера, заменив дурным, а разумную материнскую требовательность — легкомысленным отношением к воспитанию. Затем она потребовала оставить в силе status quo [1] и еще раз сказала о некомпетентности. После этого она заметно успокоилась, а все присутствующие встряхнулись, начали шептаться, слышно стало, как заскрипела половица, защелкали замочки дамских сумочек, кто-то шаркнул по полу. Мэтр Гранса, которому по правилу уже не полагалось выступать, несколько наигранно обратился к своей коллеге, причем так громко, что было слышно во всем зале:

— Сожалею, дорогой друг, что за недостатком аргументов вы сочли возможным клеветать на отца в присутствии его дочери и продолжать лживые сплетни, которые Роза и Ги не хотят более слушать...

— Протестую! — завопила мэтр Гренд, немедленно вскочив.

[1] Существующее положение *(лат.)*.

Раздались три легких удара рукой по «прилавку».

— Я попрошу вас, мэтр! — сурово оборвал их председатель, не уточняя, к кому именно он обращается.

Заседатели склонились друг к другу и принялись тихо переговариваться, шелестела бумага. Палец дамы с шиньоном уперся в какой-то абзац: видимо, она не возражала, но что-то несколько раз пометила в тексте — документ, наверно, был подготовлен заранее или она сравнивала его с другим. В зале уже почти никого не осталось, у металлических перил одиноко задержался какой-то зевающий старик. Уходящий день отражался в шестидесяти окнах, время тянулось томительно, у двери, где маялся дежурный, уже затихал обычный в суде гул. Мэтр Гранса шептался с истцом, мэтр Гренд — с ответчицей. Минуты три они действовали поодиночке, терзаемые взаимным недоверием.

— *Мы: председатель суда, а также мэтр Гранса — адвокат Луи Давермеля и мэтр Гренд — адвокат Алины Ребюсто...*

Чтение судебного постановления началось без предупреждения. Все обратились в слух. Председательствующий читал очень торопливо и почти невнятно. Иногда он останавливался, чтобы что-то подправить в тексте, затем продолжал, все ускоряя и ускоряя темп. И вот чтение превратилось в сплошное жужжание, в котором местами повторялось: *принимая во внимание,* и каждая из сторон пыталась усмотреть в том или другом случае благоприятный для себя аргумент, а затем слова снова увязали, как в радиопомехах. Вдруг прозвучала фраза, намеренно громко произнесенная, чтобы привлечь внимание:

— О КОМПЕТЕНЦИИ. *Принимая во внимание, что органом, наиболее компетентным, является высшая судебная инстанция, мы тем не менее ввиду неотложности вопроса позволяем себе вынести решение...*

Первое поражение мэтра Гренд! И сразу следует второе:

— *Принимая во внимание, что Роза проявила достаточную рассудительность и обосновала свои намерения; принимая во внимание, что Ги нельзя разлучать с сестрой, чувства которой он разделяет, следует обоих доверить попечению их отца не в силу какого-либо неблаговидного поступка со стороны мадам Ребюсто, а по причине ее беспомощности как воспитателя...*

Несомненно, это смягчение в конце было сделано по настоянию дамы с шиньоном. Мэтр Гранса легонько толкнул локтем своего клиента. Клан Ребюсто уже походил на учеников Христа, оставшихся верными ему и после снятия с креста. Мэтр Гренд с обиженным видом собирала бумаги, заталкивала их в свой портфель. Помощник прокурора на кафедре делал то же самое. Только секретарь суда все еще поскрипывал пером. Традиционная формула завершала постановление:

— *Учитывая указанные мотивы, считаем себя вправе вынести следующее решение: с настоящего времени опека Розы и Ги доверяется их отцу Луи Давермелю; оговаривается, что мадам Ребюсто вправе посещать детей или брать их к себе ежемесячно во второе и четвертое воскресенье...*

Вот так обмен! Права, которые имел прежде Луи, теперь получила Алина, и наоборот. Документ также гласил, что *настоящее постановление утратит силу, если Луи Давермель не вступит в свои юридические права и не осуществит их на деле в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня.* Постановление заканчивалось витиеватой юридической казуистикой: *Подлежит исполнению, согласно букве постановления, невзирая на апелляцию и даже до регистрации, ввиду срочности...*

■

Те, кто сидел около окна, проиграли; те, кто находился рядом с часами, выиграли. Мантии повернулись и поплыли через маленькую дверь, расположенную за кафедрой. «Ах, какой стыд! Сколько же им заплатили?» — шипит Алина, а мэтр Гренд, увлекая ее, приговаривает:

— Так ведь это только предварительное решение, мы будем апеллировать.

Победитель прошел совсем близко; под убийственными взглядами побежденных он замедлил шаг.

— Да ну иди же! — воскликнул Гранса, потянув Луи за рукав.— Что бы ты сейчас ни сказал, только подольешь масла в огонь.

Пройдя еще несколько шагов, Гранса добавил:

— Кстати, не позабудь отправить мне чек.

Еще через тридцать шагов он стукнул себя по лбу:

— Только сейчас вспомнил. Четвертое воскресенье ведь послезавтра, двадцать третьего июля. Конечно, детям это малоприятно, но им необходимо пойти на свидание к матери. Проследи за этим! Если они не появятся у нее, то для судебной апелляции и решения вопроса в целом у Алины появится лишний козырь против нас.

— Значит, никогда это не кончится! — вырвалось у Луи.

■

22 июня 1968

Ее стесняло не то, что она сидела нагая на краю кровати наедине с нагим волосатым мужчиной — у него колючий подбородок, серые с металлическим отливом глаза. После любовных ласк бывает такое состояние благодати, когда тело как бы превращается в изваяние, нагота становится гораздо целомудреннее и пристойнее, чем нетерпеливость жестов при раздевании. Даже сама эта комната, отличающаяся строгой изысканностью — с ковром, с двойными занавесями, с не пропускающими звуков стенами, казалась Агате более невинной, чем номера в случайных гостиницах, где она бывала некогда с Марком, который так старался заполнить у портье листок только на себя; надо сказать, что он не давал ей повода сожалеть об этих мелких злоупотреблениях девичьим доверием,— между ними все происходило наскоро, впопыхах, быстро и опасливо, когда они бросались на диван в старом доме, на диван Ги, разумеется, в те минуты, когда никого не было дома. Ужасно то, что происходит сейчас, что рядом с ней Эдмон, то, в чем он ей признался. *В такой момент.*

— Если мама узнает, она просто с ума сойдет! — сказала Агата.

Ужасно то, что она, Агата, в сущности, повторяет опыт Одили. Причем с тем пылом, которым обычно без всяких усилий сопровождается первый опыт. Нет, тут ни с чем сравнивать не приходится; ведь до сих пор, чтобы выдержать родительские распри, чтобы укрыться от их ссор, надо было иметь хоть кусочек личной жизни. У Леона был стадион, у Розы — книги, у Агаты — мальчики. Но то, что происходит теперь, много серьезней.

— Да ну,— говорит Эдмон,— твоя мать сумеет тебя понять как надо. Ведь и она прошла через это.

— Тем более она сочтет это недопустимым,— говорит Агата.— В течение многих лет у нее в личной жизни большие неурядицы. А я собираюсь еще подбавить.

Широкая ладонь Эдмона — на пальце у него сверкает перстень

с квадратной печаткой — берет Агату за плечо, толкает ее навзничь, и восемьдесят килограммов обрушиваются на ее пятьдесят. Но на этот раз волосатый малый, знающий свою власть над ней, использовал свой вес лишь для того, чтобы удобнее слушать.

— Говорят, что я за мать заступаюсь,— шепчет ему Агата,— но я начинаю понимать и отца!

Эдмон приподнялся, оперся на локти, сжал ладонями ее маленькие груди.

— Все может еще наладиться,— говорит он.

Но ее странные глаза, не голубые, не фиолетовые, потемнели, рот полуоткрылся, обнажив мелкие, хищные зубки, и Агата воскликнула:

— Только ничего не налаживай! Нам и так хорошо.

Теперь потемнели серые глаза Эдмона. Сказать мужчине, что не хочешь выходить за него замуж, даже если он сам этого не слишком хочет, даже если он сам не может на это пойти,— значит его растревожить. Агата вывернулась, протянула длинную белую руку, подцепила лифчик и прошептала, застегиваясь:

— Я же не говорю, что не хочу с тобой жить. Но когда любовь скрепляют штампом на документе, я знаю, что это даст потом.

23 июня 1968

Роза и Ги в ожидании чувствовали себя неспокойно. Перед тем как отправиться голосовать, их отец сказал им твердо: «Будьте с мамой милы и любезны, мы должны теперь вести себя с ней так, как ей надо было раньше вести себя с нами». Но Роза, еще накануне переехавшая в Ножан, не удержалась и сказала: «Это совсем как в пинг-понге: когда стороны меняются местами, игра продолжается, а вот мячиком всегда служим мы». Она уже принарядилась и, посматривая на большую стрелку электрочасов, приближавшуюся к цифре IX, громко считала:

— ...семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль!

— Стоп! — крикнул Ги и нажал на кнопку переговорного устройства, так как раздались два звонка.

В трубке послышалось какое-то кислое кудахтанье, за которое их мать и получила свою кличку, а затем жесткая фраза, посланная в пространство тому, кто услышит:

— У вас осталось всего две минуты, отправляйте ко мне детей.

— Мигом, ребята! — крикнула сверху Одиль.— Там еще какая-то машина остановилась, и в ней кто-то сидит. Наверняка судебный исполнитель.

■

Был ли это судебный исполнитель или просто услужливый сосед, завербованный в качестве свидетеля, но он уже удрал не дождавшись. Встреча была ледяной, причем самое неприятное, что лед этот начал таять. Розу и Ги целовали по другую сторону садовой решетки, как сироток на кладбище: мать и бабушка молчали, только плакали. Детей усадили в машину. Мать внимательно следила за ними через зеркальце шофера, и только когда машина остановилась перед бензоколонкой, чтобы добрать двадцать литров бензина, Алина прошептала, поднимая ветровое стекло:

— Вот видите, вам все-таки надо встречаться со мной. Муж может бросить свою жену. Но ребенок не может бросить мать.

— Алина! — шепнула бабушка Ребюсто.— Ведь это совсем не по их вине.

Автомобиль проехал мимо школы, перед которой ярко цвели предвыборные плакаты, и остановился около магазина скобяных товаров, куда Алина зашла, чтобы купить железную стружку. Она вышла оттуда вместе с госпожой Голон, которая, остановившись на пороге, принялась разглядывать, кто же сидит в машине, пока Алина забегала в колбасную; хозяйка колбасной была занята, но все же, вытянув шею, тоже подошла к стеклянной витрине. И наконец, уже в самом доме, проходя мимо комнаты привратницы, Роза поняла, что мать посвятила в свои дела четыре или пять человек, имевших весьма расплывчатое представление о праве на встречи с детьми, в надежде, что они будут потом говорить: «Ну разве я не права была, мадам? Видите, ей уже вернули деток. Я сама их видела сегодня утром вместе с матерью».

— Вот вы и снова у нас, мадемуазель Роза! — сказала привратница.

— Только два раза в месяц,— ответила Роза,— так же, как прежде бывала у папы.

Алина, стараясь сдержаться, быстро прошла к лифту. По ее скупым жестам, по ее слезам Роза поняла, что мать даже в ярости продолжала любить своего бывшего мужа, связанного теперь другими узами,— в этом Роза не могла сомневаться. Она не сомневалась и в том, что мать продолжала любить свою дочь, хотя эта дочь не оказала ей предпочтения. Когда родители разводятся, разве дети виноваты, что они вынуждены участвовать в разводе? Разрываясь между двумя привязанностями, приходится огорчать одного, чтобы сохранить другого. Агата сделала свой выбор. Все равно ведь будешь виновата, так лучше уж следовать собственному выбору, надеясь, что в будущем тебе не придется стать перед подобной дилеммой. Когда они дошли до лестничной площадки, Роза, не совладав с собой, бросилась матери на шею, и Алина разрыдалась.

■

И тут же Алина стала прикидывать, строить планы.

Еще не все пропало. На чем же основывалось это хоть и предварительное, но такое скандальное решение? Якобы на желании самих детей, высказанном этому судье-женоненавистнику, которого во время апелляции заменит другой, вероятно, менее пристрастный и более внимательный к материалам дела. Достаточно одного доказательства, подрывающего этот якобы добровольно сделанный детьми выбор, к примеру, несколько строчек, где дети заявляли бы, что очень любят маму, очень любят папу и не могли отказать ему, когда он предложил им переписать письма, которые он составил. Один из родителей науськивает детей на другого — ну не война ли это? Надо будет еще решить эту проблему с комнатами. Старшие оказались союзниками себе на уме, настоящими эгоистами — нечего сказать, удружили они Алине, ведь теперь ей придется пренебречь своими интересами и удовольствоваться диваном в гостиной, а собственную комнату разделить на две каморки, благо два окна позволяют это сделать. Но и этого может оказаться мало: необходимо обласкать Ги, привязать к себе Розу. Алина всегда стремилась прежде всего угодить старшим, получше устроить их, хотя их присутствие в доме недолговечно, тогда как для матери предметом самых нежных забот должны быть именно младшие, которые долго еще будут от нее зависеть. Их и надо вновь привлечь к себе и суметь удержать...

Но как? Чем? У вас плохо с жильем. Вам всегда не хватает денег. Законы тоже не в вашу пользу. И хладнокровия у вас немного, а все потому, что нет счастья, самого обычного, самого необходимого, власти матери, вскормившей своих детей, а это такая сила, которую редко может победить постель.

Агаты дома не было: она провалила экзамен — еще одно огорчение! — и решила утешиться, отправившись праздновать первый университетский успех Леона; отмечалось это в доме у Соланж; она тоже сдала экзамен и была принята. Впрочем, они могли бы все это отпраздновать и у Алины, которая очень радовалась, что Леон избрал карьеру фармацевта, отвергнутую его отцом, видя в этом какую-то замаскированную обиду для Луи. Отсутствие старших давало больший простор младшим. По крайней мере, так казалось. Но Роза и Ги были не в своей тарелке. Они неприкаянно бродили по комнатам, как будто пришли в гости, уже совсем позабыв обо всех своих делах и забавах, без особой охоты к ним вернуться. Платьице Розы, костюм Ги делали их тут совсем чужими. Роза на минутку забежала к себе в комнату, заметила, что ее книги, безделушки, одежда — за исключением того, что присвоила себе Агата,— были в беспорядке сброшены в большую картонную коробку; девочка вернулась в гостиную, не выразив никакого протеста.

— Послушай, приласкай их, чем-нибудь позабавь, не оставляй одних! А я займусь остальным,— шепнула на ухо дочери растерянная бабушка Ребюсто.

Но Роза и Ги уселись у края стола, решив поиграть в слова. Алина присела к ним, дети молчали, и она включилась в игру, упорно ища почву для сближения хоть в какой-нибудь фразе.

— Ну вот, смотрите-ка: ВОЗВРАЩЕНИЕ — а ты не догадалась? — спросил Ги.

— Да нет, догадалась,— ответила Алина,— и если ты выбрал именно это слово, а не другое, поняла, что и ты думаешь о том же.

Намек был ясен, он сопровождался нежными словами, знаками внимания: «Ну, мои дорогие, что будем есть? Как насчет мяса с черносливом?» И так как Ги любил икру кефали, а Роза обожала кровяную колбасу, это странное меню было принято, заказано бабушке, которая тут же специально отправилась за покупками, несмотря на больные ноги. Роза и Ги начали понемногу смягчаться и с раскаянием поглядывали друг на друга, но сразу после кофе началось великое стенание: «Ну скажите откровенно, мои дорогие, разве вам так плохо дома, у мамы? Вы поняли, как огорчили меня? Неужели вы на самом деле решили уйти? У меня же никого нет, кроме вас, и зачем вам уходить к отцу, мешать его новой семье? Я столько лет о вас заботилась, а теперь потеряю вас обоих?» И начались подробнейшие излияния: когда она рожала Розу, пришлось накладывать щипцы; Ги, когда был малышом, любил соски только фирмы «Гигоз», у него был какой-то бесконечный коклюш, столько пришлось провести бессонных ночей, а ей, Алине, вынести несколько операций, она была совершенно изнурена своей большой семьей. «Но все доставляло мне радость, раз у меня были вы, а вот ваш папочка, не буду его осуждать, да вы сами об этом прекрасно знаете, куда-то бегал, весело проводил время. И наша прекрасная семья распалась. И нет уже у нас этого чудесного дома. И кончилась счастливая жизнь. Все это правда, но разве я в этом виновата? А ваше необдуманное бегство? Пять дней я жила в таком страхе! А этот чудовищный процесс, который вы сами затеяли и о котором уже сожалеете!»

Да, они сожалели. Но тяжело им было не то, что они отсюда уехали, а эти последствия, эта тоска, поток слез, который все сильнее обу-

ревал мать, захватил бабушку, и она тоже заплакала, и теперь они обе утопали в слезах. Роза однажды слышала, как отец ответил Одили, которая советовала ему откровенно поговорить с Алиной: «Это с нейто? Нет, я не смогу. Ты не знаешь всей силы дакриореи[1]». Роза поискала это слово в словаре и сочла отца жестоким. Говорят, кто легко проливает слезы, тот недолго страдает. Но все же *страдает*. И чтобы прекратить этот поток возможно скорей, чтобы не испытывать к себе отвращения, ибо вы — причина слез, вы готовы растаять, утешить, уступить, согласиться с чем угодно.

— Если бы тут был ваш отец, он понял бы, что убивает меня.

Алина закрыла лицо руками, начала икать, но сквозь пальцы все же поглядывала на Розу и Ги.

— Только вы могли бы убедить его...

Убедить — но в чем? Роза приметила в щелку меж указательным и средним пальцами блестящий взгляд, исподтишка на нее устремленный. Алина сочла, что дочь уже сдалась и настал подходящий момент.

— Впрочем, лучше написать несколько слов... Я уже об этом не раз думала.

На маленьком столике лежал карандаш и школьная тетрадка со спиральной проволочкой, в тетрадке проставляли очки, играли в слова. Глаза у Алины были еще красны от слез, но она настрочила что-то и протянула тетрадку Розе:

— Вот что я предлагаю... Вы перепишете это, и оба потом подпишетесь.

Ги, который стоял за спиной у сестры, уже успел прочитать написанное. Искоса посмотрел на мать. Но Роза ни на кого не смотрела, опустила голову и углубилась в чтение, поставив на стол локти, словно усердно изучала что-то, лицо ее оставалось непроницаемым. Это замкнутое лицо одержимая надеждой Алина не узнала. Бабушка Ребюсто с нескрываемым ужасом смотрела то на дочь, то на внучку.

— Дай мне минут пять,— медленно произнесла Роза.— Нам с Ги надо подумать.

Не спеша она направилась в свою прежнюю комнату, вошла туда очень спокойно, захватив с собой тетрадь, карандаш, потом позвала Ги, ничего не разъясняя ему, и закрыла дверь. Алина была удивлена, что ей не ответили сразу, но не осмелилась следовать за Розой.

■

А уже там, за дверью, Роза стала непримиримой.

— Ты, конечно, не станешь это подписывать? — взволновался Ги.

— А ты как думал! — ответила Роза со странной улыбкой, грустной и вместе с тем твердой.

Был лишь один выход, наиболее радикальный, но и самый неприятный; однако не разрешить этой проблемы сразу значило при каждой встрече снова сталкиваться со слезами, всевозможными уловками, с нажимом. Когда нормальной семьи нет, надо уметь вести себя с должной твердостью, делать так, как никогда бы не позволила себе, если бы отец и мать сами не были главной причиной этого ужасного раскола. Роза вырвала из тетради листок, сложила его вчетверо, потом в восемь раз и сунула глубоко в вырез платья,

[1] Дакриорея — обильное слезотечение.

за лифчик. Затем она вырвала другой, чистый, свернула его в трубку и при помощи зажигалки Агаты, любившей иногда покурить, подожгла бумажку.

Именно этот крохотный, осыпающийся факел увидела Алина, внезапно толкнувшая дверь: больше дожидаться ей было невмоготу. Наполовину сгоревшие бумажные хлопья взлетели в воздух. Роза отряхнула руки.

— Нет,— сказала она,— мы не можем подписаться под этим. Мы обо всем расскажем отцу. Будь логичной, мама, ведь ты же обвиняла папу в том, что он диктовал нам письма и заявления, а сейчас сама начала с этого.

Май 1969

9 мая 1969

Габриель пришел во время ужина, чтобы обязательно застать дома Луи, но тот еще не вернулся. Одиль подавала еду падчерице, затем пасынку, вливала кашку во влажный ротик Феликса, вскакивала, чтобы перевернуть омлет, и порой ухитрялась сама проглотить кусочек, но все еще не могла выйти из кухни, чтобы посидеть с Габриелем; она объяснила ему, что два дня из трех Луи занят портретами — ему позируют после окончания рабочего дня в фирме «Мобиляр», поэтому он часто освобождается очень поздно, часов в девять-десять вечера.

— Как я понимаю, он «гонится за монетой»,— сказал Габриель.

— А как быть иначе? — заметила Одиль.

Лицо у нее осунулось, глаза впали — явные следы переутомления, хотя она не признается даже себе самой, как тяжела ей такая перегрузка.

— А как быть иначе? — повторила она.— Нас ведь теперь пятеро, и мне нельзя уйти работать. Мадам Ребюсто вынуждает нас уже целый год непрерывно судиться с ней. Четыре процесса! Какую тьму денег нам пришлось оставить в суде, в три раза больше того, что мы тратим на летний отдых. Да еще алименты, ежегодные взносы за дом и прочее, мы уже не в состоянии сводить концы с концами; я не понимаю, как самой Алине не надоел весь этот цирк.

— Она уже истратила ту небольшую сумму, которая ей досталась при разделе имущества, а доход с этой суммы помогал ей оплачивать квартиру,— пояснил Габриель.— Бедняга исчерпала почти все свои средства.

— Ну, знаете, я ее пожалею, когда у меня будет время,— сказала Одиль.— Извините, пойду укладывать маленького.

■

Этот толстый шарик, с четырьмя лапками, весь в теплой шерсти, урчит, сбивает с себя все, чем он укрыт, уже слегка реагирует на щекотку, а крутит головой так, будто хочет просверлить дырку в подушке. «Киска моя, душенька, милушка, зверушка»,— шепчет Одиль, щедро расточая нежные словечки, которые ласкают воздух, как поцелуи кожу. За полтора года ее пальцы привыкли нежить ребенка и мужа, то того, то другого, и все это вполне согласуется, хотя одно другого не заменяет. Вот наступил чудесный миг: укладывание в колыбельку, погружение в сон — лежит себе там будто у нее в чреве.

Одиль задерживается в детской: «Знаешь, если б дети Алины были в твоем возрасте, я бы, пожалуй, лучше ее поняла. Но зачем же ей с такой яростью судиться с нами из-за своих недорослей!»

Феликс уже закрыл глазки. Теперь видны веки и длинные-длинные ресницы, трепещущие на его шарообразных щечках. Каждый вечер вместо колыбельной песенки этому маленькому соне можно исповедоваться, доверять все, что переживаешь за день. «Ты слышал? Она уже исчерпала все свои средства, эта самая дамочка. Скажешь, что тебе безразлично, что она тебе никто. Ошибаешься, мой дорогой. Если бы папочка внезапно скончался, то эта самая дама, которая тебе никто, тут же потребует свою часть из твоего наследства. Не очень-то приятно, а? Она намерена выжать из нас все, что можно».

Он уже спит, этот крохотный, посапывающий человечек, зарывшись носиком в плюшевого ягненка с застежкой «молнией». Прежде это был футляр для детского рожка с молоком, а потом стал самой любимой игрушкой. Одили все еще не хочется покидать детскую. Она погасила свет, оставила только едва светящийся ночник-цветок, притихла, но упорно о чем-то раздумывает. Похоже, что у Габриеля есть желание сделать какие-то выводы, надо бы ему хоть немного в этом помочь. Она колеблется. Это не так-то легко.

Состоялось решение: они выиграли. И благодаря этому выигрышу новая госпожа Давермель приобрела еще две кровати в своем доме, плюс еще две стирки, плюс — починку еще для двоих, плюс еще два прибора в столовой. У нее теперь появилось еще двое детей без всяких документов, без справок о здоровье, без метрик без запасной одежды, без книг, потому что госпожа Ребюсто отказалась наделить их всем необходимым и стремилась, чем удастся, затруднить, замедлить переселение детей, дабы подольше получать на них алименты; она, конечно, снова подала на апелляцию, и, естественно, Луи тоже обратился к судье. И вот еще один раз пришлось отсылать гонорар адвокату Гранса, а за ним и второй!

Феликс повернулся на другой бочок, Одиль его снова укрыла. Лишь бы потянуть подольше. Есть же люди, умеющие тянуть волынку. Госпожа Ребюсто имеет право взять детей на июль С Розой у нее не ладится, и мать пристроила ее на каникулы в какую-то славную семью в Англии, где она однажды уже жила, а после этого их дочка с Розой переписывалась. Платит за поездку, конечно, Луи. Потом госпожа Ребюсто занялась Ги, изолировала его, увезла в Порник, не разрешает писать отцу, скрывает от мальчика письма, которые ему шлют, изводит его своей предупредительностью, сладостями, катаньем на морском велосипеде, мобилизовала все свое окружение — бабушку, теток, Агату, Леона и даже их друзей и подружек. Осада совершенно неистовая, и этот коварный малыш, который не так уж глуп, конечно, воспользовался ситуацией, чтоб заполучить себе новый велосипед, надувную лодку, фотоаппарат; впрочем, его обязали после переезда к отцу оставить все эти чудеса в квартире матери.

Все делалось наперекор. Или почти все: три жалких открытки, написанные в минуты восторга по стандартному образцу, были отосланы: две — учителям (свидетельство учителя всегда пригодится в суде) и одна — дочке Эммы Вальду, маленькой Флоре: «Я так доволен, что поехал с мамой в Порник, она очень добра ко мне». Все эти письма, конечно, потом должны попасть в папку судебного дела. И конечно, в судебном досье соперничающей стороны тоже появится открытка — Ги отправил ее потихоньку, к тому же без марки, за что почта взяла плату с адресата: «Меня тут очень донимают.

А что, если я сбегу? Ты тогда не захочешь меня забрать к себе?» (Ну и ловкач! По совету отца он выучил наизусть эту строчку перед отъездом к матери, на случай если...)

Время идет. Наверно, пора спуститься вниз к Габриелю. Он неплохой парень, этот Габриель. Не захотел пойти в свидетели ни к Луи, ни к Алине. Напрасно он старался помешать Луи предъявить суду ту страничку из тетради, которую Роза привезла из Фонтенэ, целиком написанную рукой Алины,— ведь это было явное доказательство давления на дочь. Габриель сердито кричал: «Ты что, решил совсем рассорить мать с дочкой!» Конечно, он был прав. Но как остановить эту страшную машину, зубья которой уже вцепились буквально во всех! А время шло быстро. Восьмого августа Луи получил своих детей и отправил их в Комблу. Он был более дальновиден, чем госпожа Ребюсто, и заставил детей аккуратно писать матери и снимал фотокопию с каждого письма (отправляемого обязательно заказной почтой), чтобы Алина не могла сказать, будто она ничего не получала. Пятнадцатого числа Роза написала своей английской подружке, удивленная тем, что та к ней не приехала, как было уговорено, недельки на три в горы. Восемь дней спустя пришел короткий ответ: «Извини меня, приехать не смогу. Я уже писала тебе в Фонтенэ, чтобы поточней условиться о сроках. Но твоя мама обратилась прямо к моему отцу и отсоветовала ему посылать меня «в подобную среду, так как она сама глубоко огорчена, что в этом окружении живет ее собственная дочь».

Вот и еще один документик, годный для папки с судебным делом! В ту же папку после возвращения из Комблу попадут еще две экспертизы детского психиатра — они были на этот раз оплачены и выглядят весьма убедительно. Безумно встревоженная госпожа Ребюсто вновь пыталась договориться со своим прежним адвокатом мэтром Лере — сведения получены от Ги. Но тот отказался. Тогда Алина все же оставила мэтра Гренд, но дала ей на подмогу одного судейского краснобая — мэтра Флокосте. Тем не менее одиннадцатого сентября он завалил апелляцию; а чтобы выгородить себя, дал прочесть Алине то, что она сама писала в суд. Алина рассвирепела: «Не хочу больше видеть Розу!» Но это только на словах: выгнав Розу из дому во время первого свидания, Алина побежала в полицейский комиссариат с заявлением, что дочь уклоняется от встреч с матерью, обусловленных судебным решением. Впрочем, этого адвокат ожидал заранее (рыбак рыбака видит издалека). В следующий раз Розу отправили к матери в сопровождении судебного чиновника, тот не зашел в квартиру, а пристроился на лестнице и мог лично констатировать, как поносила свою дочку мамаша, полагая, что вся эта брань так и останется между ними; затем она снова выгнала Розу, а Ги оставила у себя.

Так еще одна бумажка была положена в новую папку судебного дела, которую Гранса добавил к двум предшествующим для нового рассмотрения. Еще одно рассмотрение, зачем? Так получается. Оба предварительных решения, одно, подтверждающее другое, столь же мало соответствовали окончательному решению, как почка соответствует листу или любовь — верности. Мэтр Флокосте, пользуясь обходным путем, добавил к главному требованию еще требование о повышении алиментов, расследовании доходов, ревизии всех счетов, блокировки любого денежного вознаграждения, полагающегося господину Давермелю. Прошли четыре долгих месяца; за это время Ги как челнок сновал то туда, то обратно между родителями: мать баловала его, но заставляла разведывать намерения отца в Ножане, отец же расспрашивал о том, какие козни готовит мать в Фон-

тенэ. Мэтр Гранса парировал требования противника жалобой со стороны Луи, что старшие дети саботируют встречи с отцом, что они стали буквально невидимками, и пока эта жалоба шествовала по судебным инстанциям, дело четырнадцатого марта докатилось до второй судебной инстанции. Какая была великолепная потасовка! Вереница свидетелей вызывала смех, ибо одни клялись, что говорят только правду, а другие сразу же опровергали ее и называли ложью. Ухищрения мэтра Флокосте имели меньший успех у дам, чем у судей, облаченных в мантии. «У Алины есть одно приятное свойство: она принимает за чистую монету словоизлияния в суде!» — изумлялся Гранса, выходя из зала. Решением судей — а оно было вынесено неделю спустя при закрытых дверях — Гранса остался недоволен: Алине опять отказали в праве опеки над младшими детьми, но она добилась повышения алиментов на пятнадцать процентов и тут же немедленно обратилась с апелляцией.

И все это тянулось и тянулось... Гранса решил *произвести разведку* — нельзя ли положить дело под сукно. Чем дольше будет тянуться процесс, тем менее склонны будут судьи пересматривать принятые решения и снова перебрасывать детей, уже обосновавшихся в отцовском доме и перешедших в другой лицей. Но хотя Алине удалось выцарапать все, что она могла, и теперь она судится явно без надежды на успех, она все же упорствует и орет на мальчишку, требуя, чтобы Ги занимался постоянными доносами: «Ну, как там справляется ваша новая нянька? По душе ей это занятие?» Или же совсем напрямик: «Ты им как следует объясни: буду воевать до конца. Они у меня подавятся своей новой лачугой!»

■

Безумие. Чистая бессмыслица. Вся семья Милобер в этом единодушна: «Наш зять слишком мало озабочен покоем в семье. Трудно строить свое будущее на таком прошлом». (Изречение отца.) Хозяева книжной лавки были правы. А как думает Луи, разве легко возиться с его детишками? Замечает ли он, что привычка во всем противоречить матери отнюдь не сделала их кроткими ангелочками,— теперь расплачиваться приходится мачехе! А Луи занят только своей живописью, отделывается какими-то нежными словечками и даже не замечает, сколько сложностей возникло в его доме: укоренившиеся привычки, желание настоять на своем, трения, постоянное раздражение; взять хотя бы эти недовольные гримасы, когда на стол подается отличное мясо с кровью,— оказывается, в семье Ребюсто такого терпеть не могли, любили пережаренное. Допустим, в каждом доме все делается на свой лад. С этим можно примириться. Но если в Фонтенэ главой дома считали только мать, надо ли, чтобы здесь, в Ножане, согласно этому принципу единственным авторитетом стал отец? Семья двуглава, зачем же лишать ее одной головы? Без конца бегать в суд, непрерывно защищаться, чтобы потом опять уступать,— все это осточертело до крайности! Одиль знавала одну беспутную девицу, которая при каждой неудаче убеждала себя, что помогла восстановить семью, из-за нее распавшуюся. Но Одиль знала и другую женщину, почти сожалевшую, что некий папаша пожертвовал из-за нее своим прежним обручальным кольцом, что нет конца этому веселому крючкотворству с ее предшественницей, что благодаря потомству этой предшественницы померкло счастье молодоженов, что она грезила о том счастливом времени, когда они смогут остаться втроем. Если Луи на это закрывает глаза, то, пожалуй, неплохо откровенно поговорить с Габриелем.

Одиль склонилась над кроваткой Феликса, вдохнула запах кислого молока, одеколона, детского крема, мягко поднялась со стула и исчезла в тени коридора. С лестницы она услышала два мужских голоса. Оказывается, Луи вернулся — она этого не знала — и что-то там обсуждал в присутствии весьма внимательно слушавших его Розы и Ги, который наверняка еще не закончил школьное сочинение. Нельзя так привыкнуть к плохому, чтобы даже не замечать, что все эти разговоры для чьих-то ушей неприемлемы. Когда Одиль, тихо скользя в своих мягких комнатных туфлях, появилась в дверях, Луи поставил на стол кружку с пеняющимся пивом.

— Конечно,— небрежно сказал он, словно речь шла о партии в биллиард.— Алина сдалась.

Он чувствовал себя по-домашнему в просторном свитере и, казалось, был доволен всем на свете. Нечего и сомневаться, что Алина, уступив противнику, все равно истерзает его упреками!

— На этот раз вам помогли Агата и Леон,— сказал Габриель.— Им уже опротивела одна домашняя лапша из-за всех этих судебных издержек и гонораров. Они заставили мать пойти на попятный. Конечно, при некоторых условиях...

— Какие еще условия? — спросила Одиль.— Как мне думается, мадам Ребюсто не в том положении, чтобы ставить какие-то условия.

— И я так думаю,— сказал Луи.— Алина понимает, что в иске ей бы отказали. Она из тех, кому требуется крепкий удар, чтоб научиться держать себя в узде.

Одиль, все еще продолжавшая стоять, наклонилась к Розе.

— Добрый вечер! — сказала она, целуя ее.— Здравствуй, Ги, тебе также пора идти к себе, наверно, еще много уроков осталось.

Габриелю явно понравился этот невысказанный укор, он тоже кивнул детям и, когда они удалились, продолжил разговор:

— А ты думаешь о расходах? Кто будет их оплачивать? Да все ты же, косвенным путем, через пособия. Тебе действительно хочется ожесточать Алину? В кого засядет вирус сутяжничества, того уж он не скоро отпустит. Апелляция, кассация, одно за другим — ты не перестаешь вытаскивать чековую книжку. А зачем, я тебя спрашиваю, ведь Алина согласна на переговоры, но ей хочется немного себя обелить.

— То есть? — спросила Одиль.

Луи неприязненно посмотрел на нее. Ей-то какое дело?

— Ты заберешь жалобу,— сказал Габриель.— Алина откажется от апелляции, и весь процесс будет сведен на нет. Затем вы старшим предоставите свободу, не будете их вынуждать к встречам, а следовательно, постоянно считать их виноватыми.

— А Розу, значит, можно винить,— сказал Луи.

— Подпишите соглашение, предусматривающее, что ваши дети по достижении восемнадцати лет от этого обязательства освобождаются и что в ожидании этого времени Алина уже сейчас освобождает Розу от посещений; но на Ги это не распространяется, так как он слишком юн, чтобы решить этот вопрос без воли родителей. У тебя, Луи, есть возможность ликвидировать главные пункты вашего спора — сделай это. Не исключаю, что потом могут быть и другие булавочные уколы. Но хотя бы спрячьте ножи.

— Я бы хотел сначала выяснить мнения адвокатов,— сказал Луи.

Одиль подошла к Габриелю, и было заметно, что она слушает его с явной симпатией.

— Сначала реши сам! — сказал друг.— Знаешь, есть врачи, вы-

ступающие против абортов, только чтобы не потерять гонорар за роды. Есть и адвокаты, намеренно подстрекающие своих клиентов. Может быть, это не относится ни к Гранса, ни к мэтру Гренд; один из них соглашается, считая, что так будет разумней, другая дает согласие, но вынужденно, так как иного выхода нет. Что касается вновь введенного мэтра Флокосте, то я его немного охладил сообщением, что у Алины больше нет ни сантима.

— Ты с ним общался? — спросил Луи.— Даже не предупредив меня об этом?

— Да, я взял это на свою ответственность, как бы ты ни возражал. Бывают случаи, когда надо оказывать друзьям услуги, даже учитывая их возможное недовольство.

Тишина. Луи раздраженно смотрит на Габриеля. А Одиль шепчет ему:

— Извините, что я раньше о вас плохо думала, Габриель.— И тут же поворачивается к нахмуренному супругу.— А ты извини, что я вмешиваюсь в то, что ты привык считать твоим делом, ибо оно касается твоей старой семьи. Самое неприятное, что твое прошлое отравляет настоящее. Я долго молчала, но теперь хочу со всей откровенностью это сказать: я потеряла терпение. Было время, когда я оправдывала тебя на все сто процентов. Ты оставил жену, пытался поладить с ней, чтобы хоть как-то смягчить удар. Но Алина без конца к тебе приставала, и ей удалось вовлечь тебя в судебные тяжбы, началась атака за атакой, и все это превратилось в состязание, кто кого превзойдет в подлости. Ты без конца бросал деньги на ветер, но не это было самым страшным. В таком удушливом воздухе задыхаются твои дети, и мой мальчик тоже будет задыхаться, когда начнет что-то соображать. Но я этого не хочу. Покончи с этим, Сиуль, прошу тебя, покончи.

Стало тихо. Одиль протянула руку, чтобы взять сковородку.

— Что теперь делать? — произнес оторопевший Луи.

— Я хочу повторить вам то, что вы только что мне сказали, Одиль! — шепнул Габриель.

Но Одиль уже разбивала яйца, чтобы накормить запоздавшего Луи, и молча стояла у плиты. Луи заметил, что она украдкой вытерла глаза.

— Моя жена решила вопрос,— сказал он сдавленным от волнения голосом.

17 мая 1969

Если вы слишком много внимания уделяете одному из детей, то другие от вас ускользают — но не бросайтесь за ними, иначе те, от кого вы только что отвернулись, этим воспользуются. Наверное, удел матерей — ничего не замечать, ни в чем не разбираться вовремя. В эту субботу, завернув за угол, Алина неожиданно сделала открытие. Перед мебельной витриной на ярко освещенном цветными неоновыми трубками оранжевом участке тротуара стояла Агата и указывала пальцем на полированный диван-кровать, искусно смонтированный вместе с телевизором и радиоприемником. И показывала она на него какому-то господину. На этот раз — что существенно,— мужчине, а не мальчишке. После Марка, который у них уже давно не появлялся, а если как следует вспомнить, то и вовсе перестал бывать, Алина встречала у себя в гостиной немало других юнцов, пожалуй, не меньше десятка. Такое количество не давало оснований для волнений, успокаивали также их повадки, развязные, непринужденные, как у молодых веселых зверят, которые потрутся ласково, а потом куда-то шмыгнут, превращая неминуемое в то, с чем

можно смириться заботливой матери, которая не желает допускать своих детей до слишком опасных опытов.

Но тут стоит высокий мужчина ростом не меньше ста восьмидесяти сантиметров, с могучим торсом, одетый в хорошо пригнанный пиджак с точно прилегающим к воротнику галстуком, в аккуратных брюках со складкой, падающих на отлично вычищенные туфли; у него квадратный подбородок, щеки кажутся голубоватыми от бритья, его волосатая рука охватила плечи девушки, все это такое уверенное, такое мужское. Вероятно, ему лет двадцать восемь — тридцать. И впервые Алина увидела свою Агату со стороны, такой, какой она была на самом деле или, вернее, какой она перестала быть. Волосы у нее уже не так растрепаны, шея менее хрупкая, высокая грудь словно корзинка с фруктами, чуть раздавшиеся бедра. И что-то необъяснимо новое в походке, подчеркивающее, что этому уделяется уже некоторое внимание,— все говорило матери о совсем иной Агате, которую она долго не замечала. Но кто же этот тип? Молодой учитель из лицея, который встретился со своей ученицей? Волокита, решивший поухаживать? Или старший брат кого-нибудь из ее приятелей? Во всех случаях непонятен их общий интерес к этой витрине. Напрасно Алина пыталась уговорить себя: «Какие тут могут быть подозрения — они стоят на глазах у всех, посреди улицы, да это же бессмысленно...» И все же что-то ее тревожило. Брошенная мужем женщина, оставшаяся в одиночестве мать всегда в ожидании несчастий, дальнейших потерь — о чем еще может она думать? Что же делать? Броситься к ним, притвориться: «Ах, это ты, Агата?» — или же процедить сквозь зубы: «С кем имею честь?» Нет, об этом нельзя и помыслить: Агата оскорбится. Но вот неизвестный убрал руку с плеч девушки, повернулся к ней лицом — похоже, намерен попрощаться.

Ах, каким же неприятным оказалось это прощание! Алина задрожала всем телом. Что за поцелуй, она слишком хорошо помнит такие. Ничего общего с тем, как целуются юнцы, которые резво обхватят, прижмут, сцепят руки-ноги по образцам кинофильмов, найдут для этого укрытие в подъезде или темной нише, где можно пустить в ход и лапы. Нет, тут был поцелуй, чреватый опасностью, легкое прикосновение, сдержанное напоминание об уже освоенных глубинах, мимолетное прикосновение к любимой, с которой предстоит скоро встретиться,— словом, печать любви, будь она мнимая или подлинная, но уже принявшая обличье постоянства. Алина слышит шепот: «Если б я знал, то не пошел бы». Мать не успевает осмыслить, в какой связи находится эта фраза со всем происходящим. Агата дважды оборачивается и все машет ему рукой, а потом переходит на ту сторону, где стоит мать. Но в тот момент, когда она покидает освещенный неоном участок тротуара, на ногах ее что-то блеснуло — какие великолепные сапоги! Последний крик моды, на такие Агата напрасно заглядывалась — выпросить их у матери не удалось; когда дочь проходила мимо Алины, быстро отступившей в подъезд ближнего дома, новая кожа на сапогах приятно поскрипывала.

■

Алина пришла домой первая. И тут же углубилась в копию протокола, подписанного сегодня днем у Гранса: «*Между нижеподписавшимися господином Луи Давермелем, проживающим в Ножане, с одной стороны, и госпожой Алиной Ребюсто, проживающей в Фонтенэ, с другой стороны, ссылающихся на то, что в начале...*» Далее следовало двадцать строк, излагающих историю великодушной

матери, которая после ряда процессов дала, как говорилось, убедить себя в интересах своих близких. «*Следуя вышеизложенному, обе стороны по взаимному согласию договорились о том, что...*» По взаимному согласию! Алине захотелось выругаться: какое восхитительное прилагательное, чтоб изложить все достойным образом. Отказ от жалобы в обмен на отказ от апелляции, пусть так! Но отказ от воспитания младших детей взамен свободы действий, предоставляемой старшим, и через две недели все это уже станет фактом — об этом обещании Алина уже горько сожалела: никогда она не сможет свыкнуться с этим. Леону через полтора месяца исполнится двадцать один год. Агате — да это просто смешно: что же ей надо добавить к той свободе, которой она уже так вольно пользуется, даже сказать трудно...

Кто-то открывал дверь, скрипнул ключ в замке. Вот она, дочка, в своих новых сапожках на каблучках.

— Ну и ну! — с восхищением молвила Алина.

— Не так уж плохи, а? — спросила Агата, вертя ножкой то туда, то сюда.

Она соизволила даже объяснить:

— Я выиграла и заплатила за них.

Напустить туману, ляпнуть что-нибудь наспех придуманное — это иногда помогает и даже кажется правдоподобным. Лотерея помогла дочке — что ж, Алине очень хотелось в это поверить, хотя у Агаты не хватило бы пальцев пересчитать своих ласковых дружков. Нежная девочка сидела рядом с мамой, терлась щекой о щеку, окутывала ее ароматом своих духов. Духи тоже удалось распознать скорей, чем того, кто их подарил.

— А, это «Воздух времени» [1],— сказала, принюхиваясь, Алина.— И духи тоже куплены на доходы от лотереи? Или же из кармана того господина, который только что поцеловал тебя на улице? Извини, но я шла мимо и видела.

Вряд ли мамаша Ребюсто принесла бы свои извинения двадцать пять лет тому назад, если бы подглядела на улице, как мадемуазель Ребюсто целуется. Но времена меняются. И матери тоже. Да и дочки тоже. Чего можно было ждать сейчас от Агаты? Что она покраснеет? Нет, это уже старомодно. Все еще ласково прижимаясь к матери, Агата улыбается. Но глаза цвета лаванды стали очень настороженными:

— Ты меня видела с Эдмоном?

— Мне он показался весьма солидным, — заметила Алина.

И покраснела она, мать. Сие прилагательное, некогда так высоко ценимое в семьях, неужели и оно изменило свой смысл?

— Конечно, он уже не мальчик! — сказала Агата с особой интонацией.

— Вот это меня и насторожило, — говорит мать.

Но Агата громко засмеялась («Благодарю тебя, боже мой, благодарю, даже если это кажется безнравственным!») и избавила мать от произнесения столь почтенного, но вместе с тем отвратительного слова. Она сама раздраженно выкрикнула:

— А чего же ты так боишься? Что я выскочу замуж? Вот еще, хватит нам твоих удач в супружеском счастье! Никакого желания нет! Любовь — да, не буду зарекаться, я такая, как все, но останусь себе хозяйкой, свободной!

Агата поднялась, а мать продолжала сидеть, восхищенная и негодующая. Ведь во времена ее юности такие выходки сочли бы горем,

[1] Дорогие духи фирмы «Нина Риччи».

вместо благословения они бы вызвали проклятья; но, ощутив внезапную радость, она все же не могла совсем отрешиться от тревоги: «Есть ли у меня право, желая добра дочери, сказать ей: лучше иметь любовника, чем мужа?» Агата шептала:

— Что касается Эдмона, то нужно тебе сказать, что...

Она колебалась и все еще посматривала на Алину, а та и не пыталась ее подбодрить. Бывают ситуации, когда из признания ничего не выходит, если оно наталкивается на молчание.

Агата уже несколько раз оборачивалась и пытливо смотрела на мать, но видела лишь ее затылок; тогда дочь ушла к себе в комнату, и тут Алина вдруг снова разволновалась. Иногда интуиция запаздывает. Может, Агата хотела сказать ей что-нибудь другое? Бывают любовники для развлечений. Бывают и по любви, и тогда они отбирают дочерей не хуже, чем мужья. Иначе где же предполагается ставить этот диван-кровать, днем — диван, ночью — кровать? Уж конечно, не в материнском доме.

20 мая 1969

16 часов

Есть тысячи мелких способов отомстить: было уже ясно, что Алина опоздает, и ей доставит удовольствие, что она вынудит Луи извиняться перед патроном, который весьма неохотно отпускает своих подчиненных в рабочие часы. Луи отложил на двадцать минут одну деловую встречу, и вот у него осталось только десять минут, а надо все сидеть и дожидаться на этом кривом стуле, в этой чадной комнате, которую так задымили старший секретарь суда, любитель самокруток из дешевого табака, и его помощник — любитель трубки; оба окопались за четырьмя плотно приставленными друг к другу пюпитрами, два из них были не заняты; но тесно составленные, они образовали самую настоящую крепость, отделявшую тех, кто излагал свои дела, от тех, кто облекал изложенное в надлежащую форму. Остальная обстановка была в том же духе, и хотя в зале стоял неизбежный бюст Марианны, а напротив нее — генерал де Голль (уже вышедший в отставку, но еще не получивший должной замены — его августейшая физиономия была засижена мухами), все так сильно смахивало на провинциальную контору — с полками, откуда вываливались переполненные папки, с дверьми, обитыми вылезшим из щелей войлоком, — что трое посетителей сначала почтительно осведомились, туда ли они попали, а уж потом начали выкладывать свои дела и различные относящиеся к ним бумажки. Инстанционный суд в районе чаще всего — только придаток полицейского комиссариата.

Но вот появилась и госпожа Ребюсто в сопровождении госпожи Вальду: обе приветствовали Луи поворотом головы и, встав в очередь четвертыми, начали вполголоса длинную беседу, невнятно бормоча бог весть что.

Они ведь пришли сюда выработать совместный документ-соглашение — как же можно себя так вести! Алина даже не спросила: «А как поживают дети?» Но может быть, и она думала так же: ведь Луи тоже не подошел к ней, не осмелился узнать про *двух старших*. Робость, смущение, боязнь показаться неуверенным в своих правах и требованиях, досадное присутствие третьих лиц, все еще неисчезнувшая привычка к враждебности... Многое таилось в этой скованности. Но Луи заставил себя подойти и прислушаться. Нет, дамы не о нем говорили, они обсуждали президентские выборы... Одна была за Поэра, другая — за Помпиду.

— Мосье и мадам Давермель,— позвал чиновник с трубкой.

Опять они выступают в качестве отца и матери, но ни Луи, ни

Алина, с застывшими, словно из обожженной глины, лицами, не внемлют судебному секретарю, упрощающему процедуру и залпом выпаливающему стандартный, заранее отпечатанный текст, остается лишь заполнить некоторые оставленные пустыми строчки перед тем, как поставят фиолетовую печать—на ней изображена богиня Правосудия, восседающая на пьедестале в пленуме, с головой, увенчанной семиконечной звездой. *Года одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого, двадцатого мая, в присутствии Клода Тришье, судьи по делам опеки...* Самого судьи сейчас тут не было, он находился в соседней комнате; там у него куча других забот, и он потом уже скрепит своей подписью эту, лежащую среди многих других, бумажку. *Перед инстанционным судом предстали...*

— Простите,— сказал помощник, заметив какую-то оплошность. — Я тут ошибся.

— Не имеет значения, — говорит Луи.

Чтение возобновилось. Гражданское состояние. Местожительство. *И вышеупомянутые истцы нам предъявили...* Алина и Луи, задыхаясь от табачного дыма, наконец-то согласно вздохнули. Неужели в последний раз они слушают бормотание секретаря суда? Можно было бы составить обширнейший сборник, по толщине равный большому словарю, из всех этих жалоб, ссылок, выступлений, заключений, решений, официальных уведомлений, свидетельских показаний, выводов, заявлений, экспертиз, приказов, незасвидетельствованных соглашений и прочих бумаг, которые они собрали почти за пять лет, хотя и Луи и Алина здесь для того, чтобы избежать еще одного решения суда и, возможно, еще одного обжалования. Слушая судейский жаргон, они имели возможность оценить все свои издержки и могли себя поздравить с тем, что вот, наконец, перед ними протокол, который поможет им перестать преследовать друг друга. Разве они здесь не для того, чтобы, выступая как бывшие законные супруги, все же сохранить родственные отношения, впервые прийти к чему-то вроде согласия и составить об этом надлежащий документ?

Секретарь все еще невнятно бормотал:

— *Принимая во внимание заявления, прошения, которые сему предшествуют, принимая во внимание предписания статьи 477-й Гражданского кодекса...*— Вдруг он увидел очередь ожидающих и прервал чтение:— Ладно, избавлю вас от остального.— Затем кинул взгляд на последнюю строчку, прочел ее и протянул им перо: — *Все, что составляет содержание этого протокола, нами прочтено, а затем подписано...* Здесь, мадам, прошу вас. Вот тут, мосье.

■

Под конец Эмма уселась на колченогий стул, невольно нажимая то на одну его ножку, то на другую, отчего поскрипывал паркет, в щели которого въелась пыль; она без особого удовольствия смотрела, как Давермели вышли из очереди, подписали протокол, обменявшись не только какими-то словами, но и рукопожатием. И все же ей показалось, что их короткий разговор вдруг обострился. Алина перестала привычно кудахтать, горько усмехнулась и поспешно вышла из зала, даже не сделав подруге знака следовать за ней. Метрах в двадцати она остановилась, чтобы Эмма могла ее догнать, и, посмотрев мимоходом на большую корзину с яблоками кальвиль в витрине фруктовой лавки, сказала:

— Ах, какая же я дурища! Глупа, как эти яблоки!

В ее словах не было злости, скорее — горькая насмешка над своими постоянными неудачами.

— Добиваюсь, чтобы старшие действовали по своему желанию,

хочу освободить их от необходимости видеться с отцом. И теперь они и вправду свободны и ничего никому не должны.

Остановившись, Алина машет рукой, зовет такси, но машина проезжает мимо; и она продолжает:

— Теперь они будут сами управлять своими делишками. Луи уже не обязан посылать их пособия мне. Он будет вручать деньги им самим, прямо в руки. И само собой разумеется, раз у него есть на то право, предложит им раз в месяц заходить к нему за чеком.

— Ну, — говорит Эмма, — об этом еще можно поспорить!

— Где же? — спрашивает Алина. — Опять в суде? Нет уж, большое спасибо. Я ухожу и едва ли скоро вернусь сюда. Впрочем, можно себе представить судью, который хорошо отнесся бы к сыну или к дочери, если бы они вдруг заявили: папочкины денежки я, мол, не прочь получать, но к чему мне сам папаша?! Видно, суждено мне вечно быть дурой!

20 мая 1969

17 часов 30 минут

Когда вы знаете, что перед вами мастерица длинных, душераздирающих сцен, что в споре она все с той же яростью будет отстаивать старые доводы, уже многократно вами отвергнутые, вам остается только одно — уклониться! Агата не пошла на лекции и, радуясь тому, что ни Леона, ни матери нет дома и придут они не раньше шести часов, решила принять ванну, чтобы почувствовать себя чистой, добродушной, размякнуть в тепле; зеркало не отражает ваших тревог, в нем можно увидеть только вашу внешность, но и это уже кое-что и способно дать удовлетворение.

Алина всегда внимательно следила за температурой воды, измеряла ее термометром, плавающим на поверхности, бросала добрую дозу ароматической соли, проверяла, хорошо ли действует кран-смеситель; она, мамаша, обожала присутствовать здесь, когда дети раздевались, начинали мыться, терла их рукавицей из конского волоса, особой щеткой для спины, набрасывала на них пушистое полотенце: «Я тебя вымою и вытру и восхищаться буду — маленькое мое чудо, статуэтка из Танагры, лучшее, что я сотворила в своей жизни!» Хотя уже требовалось быть поделикатней, мать продолжала милую ее сердцу процедуру и после шестнадцати лет, без тени смущения: разве скульптор бывает смущен, видя законченное им произведение? Но можно ли всю жизнь оставаться статуей? Какое странное сравнение пришло на ум Агате! Ведь и Эдмон тоже, как только у него в ванной начнут журчать краны, торопится потеребить русалку, вытащить из воды, всю еще в водяных струйках, обсушить в простынях или же сам тут же прыгнет в пенящуюся воду, чтобы, как он выражается, «предаться любви, точно утка». И правда, так занимаются любовью селезни на озере у Желтых ворот, бросаясь то на хлебные крошки, то на своих сереньких уточек. Вот почему некоторые девочки, уже вошедшие в курс дела, со вниманием следили за нырками. А их папаши, крепко держа дочек за руки, выглядели так, будто их забрызгали озерной грязью.

Агата уже вышла из ванны, а в трубе еще долго урчала уходящая вода. Потом она покопалась в своей заветной шкатулке, вытащила из нее тетрадку, на последней странице которой было записано: *19 мая 1969 года. Так хотелось бы жить и радоваться, но мешают вечные слезы, крики и мольбы о прощении. Мне нужно уйти отсюда, и не только из-за того, что со мной что-то случилось.* Агата разорвала тетрадь, покончив счеты с юностью, и маленькие бумажные лепестки зашуршали в трубе мусоропровода. Потом она отыскала один из трех

больших чемоданов, которые обычно брали с собой, отправляясь на летний отдых. Торопливо запихала то, что ей хотелось взять, остальное небрежно сбросила на пол, потом время от времени нагибалась, чтобы подобрать блузку или брюки, с которыми жаль расстаться. Если Эдмон смотрит на это так же, если он находится в таком же положении — тем хуже. Кто же это ей на днях говорил о Марке? Да, Эмма. Ее, очевидно, здесь подстрекнули, и она начала расспрашивать: «Слушай, а ты не жалеешь о нем? Такой красивый парнишка». Да, уж конечно. Красивый, любезный, вскакивает на девушку, как на свой мотоцикл. Может, действительно стоит пожалеть о Марке? Нет, вернее, о другом — пожалеть, что он был в моей жизни. Хотя это, пожалуй, к лучшему. Только на молоденьких девчонок может произвести впечатление такое признание: «Твой отец был моим первым и единственным». А потом узнают и еще кое-что: число, естественно, идет в счет, хотя тут не в лото играть; но главное — найти такого мужчину, который свел бы к нулю всех предыдущих.

Агата пытается закрыть крышку, нажимает коленом на битком набитый чемодан. Она долго поддерживала мать, и ей трудно найти слова, оправдывающие то, что она сейчас собирается сделать. Все объяснения бесполезны: даже Леон будет взволнован, хотя это нисколько на него не похоже, однако и Леон, как большой кот, верен своему дому и тем, кто обеспечивает ему жизненные удобства. Нет, пора удирать и поскорей, оставив эту маленькую записку, пришпиленную булавкой к покрывалу на кровати: «Не беспокойся. Я на некоторое время поеду с Эдмоном на юг. Напишу тебе». Верят в то, во что хотят верить: в недолгое бегство, в скорое возвращение. А если бегство длится дольше, находят этому причину; а когда привыкают, легче принять все остальное и не судить о том, что произошло, со своей колокольни.

Агата поднимает чемодан, тащит его к двери. Уже половина шестого. Мать может скоро вернуться.

■

И лифт несет свою службу. Нет, иначе поступить невозможно. Но что подло, то подло; причитания, которые Агате так хорошо известны, теперь станут вдвое горше, и на этот раз уже по ее вине. «Если ты ко мне переедешь, то я поверю в твою любовь»,— сказал ей Эдмон. «Раз она поехала, значит, меня совсем не любила»,— зарыдает мать, войдя в дом. Вас всегда любят в ущерб кому-то другому — этот урок Агата отлично усвоила. Сказать, кто бы восторжествовал, мать или Эдмон, если бы не случай, поторопивший решение, случай, когда уже нельзя выжидать, ей было бы трудно.

Вот и первый этаж. Агата с усилием волочит килограммов тридцать своего багажа, проходит коридор, делает шаг на улицу и тут же отступает. Она видит мать, возвращающуюся после подписания соглашения, дающего свободу действий ей и брату Леону, и именно это теперь помешает ей вернуть дочь, отныне свободную. Алина выходит из такси, и просто чудо, что, пока она расплачивается, у нее нет времени заметить Агату. Десять секунд, чтоб исчезнуть, иначе все пропало; и опять все начнется сначала: ее Агата возвращена, разнос, мольбы, ведь девочка вновь водворена на пятый этаж! Нет у нее другого выбора! Агата нажимает на дверную ручку, к счастью дверь еще не на запоре, и скрывается у привратницы. Та что-то шьет на машинке, но поворачивается к ней и роняет:

— И вы тоже, Агата!

По-видимому, думает, что старшая сестра тоже решила присое-

диниться к младшей! Во всяком случае, не издает ни звука, чтоб предупредить Алину, проходящую в этот момент по коридору и ничего не заметившую. Агата прячет голову в руках и глухо стонет.

— Вы можете вернуться,— говорит привратница.

Но дверные створки уже щелкают, дверь отворяется с мягким скрипом, он звучит как предостережение: пара слов в ответ, быстрый спуск вниз, все это и пяти минут не занимает. Агата бросается к тому же такси, которое только что привезло ее мать: шофер задержался, чтобы закурить сигарету.

Февраль 1970

6 февраля 1970

Оба в одинаковых черных комбинезонах, оба в красных свитерах, чтобы походить друг на друга и отделить новую семью от старой, они с усердием хлопочут в мастерской: сын — маленькая копия матери, он здесь совсем без пользы, но убежден в обратном и все время тыкает маленьким пальчиком в веревочные узелки. Наконец Одиль затягивает последний узел и подымается. Она уже упаковала тридцать картин — десять из них проданы, их купили любители (ставшие собственниками вдвойне, приобретя одновременно и картину, и свой портрет), девять картин принадлежат семье Давермель, в том числе портреты Розы, каких-то двух бородачей, а также Феликса, и есть еще одиннадцать самых разных: двух министров, депутатов-мэров из Восточного пригорода, согласившихся позировать своему избирателю; но — увы! — эти работы отнюдь не лучшие. Еще Дидро вопрошал: «Почему исторический живописец обычно бывает слабым портретистом?» Без сомнения, именно потому, что и в его эпоху, как и в нашу, у моделей всегда не хватало времени. Как бы то ни было, все эти прославленные личности находились тут, в мастерской, для подправки.

— Я лисую,— заявил Феликс, еще не научившийся отчетливо произносить букву «р», и потому его трудно понять.

— Да, да, мой козлик,— рассеянно откликнулась Одиль.

Она вела подсчеты. Понадобятся четыре ящика, материал для заделки щелей; три ящика можно поставить на крышу машины вместе с лыжами, а один сунуть в кабину, чтобы избежать споров между Розой и Ги о том, кому досталось хорошее место, а кому плохое; их мачехе, которую можно назвать поистине святой, придется выбрать себе что похуже да еще держать на коленях этот непрерывно движущийся снаряд с двумя ножками. Она приедет в Женеву совершенно измученной, и надо будет сразу развесить картины, потом, устав еще сильнее, спешить в Комблу, чтобы успеть хоть чуточку вздремнуть, ибо наутро надо снова торопиться в город на вернисаж. Стоит ли жаловаться? Ведь она сама предложила объединить эту выставку с их несколько затянувшимся до масленицы зимним отдыхом.

— А твой портрет ты не хочешь брать? — спросил Леон.— Ведь он, пожалуй, самый удачный.

■

Одиль попробовала умерить пыл Феликса, который с увлечением «лисовал» жирным карандашом прямо на стенке, затем повернулась. Она ведь совсем забыла о том, что здесь Леон; как всегда, он был молчалив, будто не человек в костюме, а немая вешалка; он по-

чти не дышал, не занимал в доме заметного места; трудно было предугадать, когда этот невидимка появится на вилле «Вдвоем», куда он наносил визит раз в месяц на два-три часа, а иногда в виде исключения задерживался на весь вечер; обычно Леон являлся в день выдачи чека, никогда о нем не спрашивал, а вежливо выжидал, затем клал в карман, учтиво благодарил, так же он благодарил и преподавателя, поставившего ему среднюю отметку за весьма умеренное усердие и не помешавшего сдать экзамены; таким образом он сумел заслужить продление отцовского пособия, полагающегося старшему сыну, если он продолжает учение, и, следовательно, вынужден успевать, чтобы этого пособия не лишиться. Он отозвался о портрете Одили сдержанно, но точно и был полностью прав; если бы не был убежден в своем мнении, то не стал бы его высказывать вообще.

— Да, этот один из удачных,— подтвердила Одиль.— Но я его оставляю себе. Не хочу продавать этот портрет и не хочу, чтоб его разглядывали посторонние.

— Тебе тогда было столько же, сколько мне сейчас? — притворно заинтересовался Леон.

Сказано лаконично, скрытно, но и определенно, в манере, характерной для Леона,— совсем не враждебной, а скорее несколько заостренной, идущей от уверенности, свойственной равнодушным людям. Пять лет незаконной связи и пять лет замужества — итого, десять лет сосуществования. Одили было сейчас за тридцать, и ей уже вовсе не хотелось, чтоб ее сравнивали с той, прежней. Пусть этот портрет остается здесь в мастерской как свидетельство ее «приданого», ее девичьей власти, наполовину замененной властью жены, о которой свидетельствовал уже этот маленький акробатик, упорно пытавшийся взобраться на запретную подножку мольберта.

— Фели! — крикнула Одиль, называя сына так, как он сам себя называл, отрубая трудное для него «икс».

Леон, стоящий рядом с мальчиком, конечно, мог бы подхватить его, чтобы тот не упал. Но на движения Леон был так же скуп, как и на слова, и он вовсе не сходил с ума от этого малыша, как его брат Ги; легко было догадаться, что первородство позволяло ему рассматривать Феликса как некий глупый придаток, полигамический излишек, рожденный узаконенной фавориткой, стало быть, по иерархии много ниже его самого. Одиль, не утешая Феликса, подняла его, гордясь тем, что он не заплакал, как изнеженный потомок Алины.

— Папа вроде бы стал выше котироваться,— сказал Леон.

Еще одно утверждение: котироваться — вовсе не значит иметь большое имя. Попытка выяснить, однако не в лоб, поскольку трудно прямо задать столь деликатный вопрос: сколько картин он теперь продает?

— Ему нужна была поддержка,— сказала Одиль.

Она совсем не собиралась говорить ему: вы правы, молодой человек! Ваш отец, конечно, не знаменитость, но он отличный специалист по интерьеру; к тому же умеет передавать сходство, то сходство, которого хотят и за которое платят люди с деньгами, позволяющими им пренебречь хорошей фотографией, но еще недостаточными, чтобы обращаться к большой знаменитости, готовой, кстати — они этого опасаются,— легко пожертвовать их физиономией в угоду своей палитре. Луи не стремится воспроизвести свою модель, подобно зеркалу, он достаточно уверен в себе, чтобы не потакать капризам заказчика и иметь собственные позиции в отношении модели. Нет, Одиль не собирается утверждать ни то, ни другое, истина где-то посредине.

— Есть какие-нибудь вести от Агаты? — тихо спросила Одиль.

Леон раздраженно фыркнул носом. Одиль не настаивала.

— А твоя мама как поживает?

— Так себе,— ответил Леон.

Но ему хватило присутствия духа и теплоты, чтобы выдавить хотя бы несколько фраз:

— За этот год она в тень превратилась. Ее почти не видишь, редко слышишь. Утром, когда я выхожу, она еще спит; а когда запаздываю вечером, она уже легла. Днем почти не бывает дома. Раньше совсем не ходила в церковь, а теперь торчит там подолгу. Или сидит в своем клубе. Она один раз сказала мне: дом пуст, не могу этого вынести.

Стремясь не терять времени, Одиль разбирала бумажные «кружева» — газетные вырезки, аккуратно подобранные для выставочной витринки, это обычно помогает!

— Твоя мать много пережила! — ответила она.

Во взгляде Леона мелькнуло уважение, и его вдруг словно прорвало:

— А девочки перехватывают через край! Агата пишет только раз в месяц. Отвечать ей надо в Париж, почтовое отделение тридцать восемь, до востребования. Роза не соизволила появиться хотя бы на Новый год.

— Но твоя мама ее выгнала: Роза ждет, чтобы ее позвали,— сказала Одиль.— В вашей семье все такие трудные!

— Кстати,— ответил Леон, глядя куда-то в сторону,— мама не согласна уступить вам половину каникул Ги. Она посадит его в поезд только в понедельник вечером.

Вот Леон и выполнил функцию посредника; такова была новая практика госпожи Ребюсто — польстить самолюбию сына, наделить авторитетом последнего верного ей отпрыска, который, наверно, для того и приехал сюда, но уже целый час сидел, скрывая свою новость.

— Что делать, тем хуже для Ги! — ответила Одиль.

Неудобство: зря потратились на проездной билет до Ножана. Преимущество: теперь в машине будет больше места. Что же касается всего прочего, то если госпожа Ребюсто никак не хочет «обменять» масленицу на троицу, а предпочитает терпеть угрюмую физиономию разозлившегося Ги у себя, пусть так, это ее дело. Можно только пожалеть ее. Но как не задуматься, удастся ли ей излечиться когда-нибудь от всех этих оплошностей, если после злобных нападок она впала в уныние. Ее мания — не доверять никому, скрывать то, что, по ее мнению, может повредить ее престижу,— непоколебима. Никто бы и не узнал о том, что Агаты нет в Фонтенэ, если бы там не было Ги, очень удивленного, что он нигде не видит старшей сестры. Было ясно, что это терзало Алину; но она тут же дала понять, будто заболела бабушка и *ей так плохо, что Агата решила отправиться поухаживать за старушкой.* Месяцем позже это бедное дитятко — жертва собственной чуткости—уже *находилось в особом пансионе для подготовки к экзаменам,* чтобы не провалиться на октябрьской сессии. А получив диплом, она тут же отбыла *на стажировку в одну английскую торговую фирму* и от лица своей матери потом заявит, что зарабатывает на жизнь сама и не нуждается в причитающихся ей алиментах. Через полгода Алина уже без всяких ссылок на свои прежние утверждения сочла необходимым *известить отца, что его дурной пример — увы! — принес плоды и Агата сожительствует с каким-то неизвестным человеком.* Надо, между прочим, упомянуть, что за все это время Леон ни разу не отрицал эти материнские басни и спокойно получал каждый месяц оба чека на пособия.

— Ты дождешься отца? — спросила Одиль, уже проверявшая список приглашенных.

— Если он вернется не поздно...— ответил Леон.

Леон не рассказывал историю Агаты, чтобы не огорчать свою мать. Но так как он был сыном обоих родителей, а потому не хотел обижать и отца, поддерживающего его материально, то решил оказать доверие своему крестному Габриелю, чтобы тот передал этот секрет сам. Но при непременном условии, что, ссылаясь на источники, Габриель предварительно возьмет с Луи самую строгую клятву, что он будет держать это про себя и никогда и ни перед кем не проговорится. И до того дошло, что спустя довольно долгое время Леон уже был уверен, что все полагают, будто он не знал о том, что другие узнали именно благодаря ему; среди домочадцев возникла забавная игра, в которой уведомленный уведомлял самого уведомителя, шепча ему на ухо: у меня есть новый источник сведений; *речь идет как будто о женатом человеке.* Но Леон проявлял осторожность, свойственную тем, кто родился под знаком Близнецов, и совсем не свойственную детям расколовшейся семьи,— ни разу не дал повода разоблачить себя, а чтоб почувствовать полное успокоение, попросил, наконец, Габриеля пойти к Алине и сказать ей: *«Я полагаю, что у Луи уже появились какие-то подозрения. Лучше его предупредить, пока он не станет упрекать тебя в скрытности».*

Вдруг Одиль резко подняла с пола Феликса, с увлечением давившего на тюбик сиены, из которого текли струйки, очень похожие на дождевых червячков, зарывающихся поутру во влажную почву.

— Я, пожалуй, могла бы отдать тебе чек,— сказала она, чтоб прервать удушливую атмосферу этой беседы один на один.

— Если можешь...— ответил Леон, обрадованный, что еще успеет присоединиться к своим дружкам на стадионе.

7 февраля 1970

Вот они и встретились, как было договорено, на застекленной террасе кафе около почты. Агата, как всегда, в линялых джинсах, Леон в сером костюме и в сером галстуке. Оба сидят и ожидают, в стаканчике сестры — джин, перед братом — апельсиновый сок. А вот и Роза в своем коричневом костюмчике, в строгой юбочке, на низких каблучках, бежит, торопится к ним.

— Привет! — говорит Леон.

Это он со всеми созвонился. Но по своей ли инициативе? Знал ли он и раньше адрес Агаты? Все эти вопросы бесполезны. Привычка к двусмысленным обстоятельствам имеет одно преимущество: ничему не удивляешься, знаешь, что лучше вести себя сдержанно.

— Ты хотел меня видеть? — спросила Роза.

— Нет, это я хотела,— ответила Агата.— По трем причинам. Договоримся, что все останется между нами.

— Само собой разумеется,— сдержанно, но и с некоторым удовлетворением заметила Роза.

Сдержанность объяснялась тем, что похождения Агаты заставляли ее мучиться сомнениями: может ли она осуждать сестру за те же самые поступки, которые она простила отцу? А удовлетворение возникло от того, что доверие старшей сестры ей льстило, питало ее интерес к тайнам и рождало некое братское сообщничество между ними тремя.

— Для начала,— сказала Агата,— я дам тебе, Роза, мой номер телефона, в срочном случае меня там можно найти. У Леона есть этот номер. Но так как послезавтра он уедет на двухмесячную прак-

тику и за это время может что-нибудь случиться, пусть у тебя будет этот номер: пусть ни отец, ни мать пока не знают, где я.

На столе появляется вчетверо сложенный листок, и Роза, не читая, кладет его в карман. Агата говорит дальше:

— Кроме того, я хотела бы объяснить вам, почему я внезапно уехала...

— Должна тебе признаться,— вставила Роза,— что я никак не могла это понять. Ты больше всех нас была привязана к маме. Она на все смотрела твоими глазами, ты — ее. И вдруг ты уезжаешь, исчезаешь, бросаешь ее насовсем...

— Как и ты,— вставил Леон.

— Не думай, что это было легко,— говорит Агата.— Но ты можешь представить себе меня с ребенком в Фонтенэ?

— Что? — не сразу поняла Роза.

— Какой бы шум подняла мама,— быстро проговорила Агата.— Она бы заставила меня сохранить малыша. Легко сказать — ребенок! Я была прижата к стене. Просто не понимаю, зачем надо непременно выходить замуж, если ты не хочешь иметь ребенка? А я не хочу детей, чтобы они не связывали меня по рукам и ногам, как это было с нашей мамой.

Леон опустил глаза. Роза тоже; она удивлена тем, что не чувствует в себе никакого возмущения, но ощущает потребность, так же как Агата, только в более невинной форме, оттолкнуть от себя пример матери.

— Не должны же мы,— сказала она,— постоянно оглядываться на родителей и не делать того, что делали они, только потому, что мы тоже можем потерпеть неудачу.

— Впрочем, ты могла бы вернуться *после этого*,— сказал Леон, избегая уточнений.

— Разлука нас делает другими,—сказала Агата.— Если ты жила в радости и любви, больше не хочется жить снова во мраке. Если тебе свободно и вольно дышалось, разве стерпишь опять всю эту грызню, нужду, распри, необходимость угождать то одной, то другому, участвовать в этом мерзком состязании между родным отцом и собственной матерью... Побудешь всего полгода вдали от семьи, и все, что было, уже кажется таким нелепым. Мне и сейчас маму жаль, но я хочу и себя пожалеть. Пусть это звучит эгоистично, что делать! Нас слишком долго этому учили. Оставаться с мамой, да еще в моем положении — нет! Был лишь один выход: порвать, и разом! А то бы она начала бегать ко мне и днем и вечером: Эдмон не стерпел бы. А я привязалась к нему, представьте себе...

Роза смотрела на сестру во все глаза, будто не видела ее лет двадцать. Неужели и ей придется так же перемениться с того дня, когда по принятому обычаю на нее наденут подвенечное платье? Пока что она его заслуживает. Роза ощутила отвращение и вместе с тем неясную надежду: суметь остаться собой, такой, какая она есть. Потом явилось ощущение горькой несправедливости: двое «папиных», двое «маминых», подобный раздел был еще в какой-то мере равнозначен; но сейчас и этого нет.

— А какова же третья причина? — проронила она.

Но Леон поспешил предупредить.

— Агата уже заскучала тут с нами,— сказал он немного дрожащим голосом.— Она, наверно, хотела повидать родителей, но для начала связалась с «Синдикатом».

— Мы уже не так хорошо понимаем друг друга,— сказала Агата, почти не улыбнувшись,— у нас остался только «СМИГ»!

Их взгляды скрестились. Десять лет тому назад «Синдикат» — это

был союз Четырех, а «СМИГом» в шутку назывались их карманные деньги; тогда Леон, генеральный секретарь, от имени всех четырех обращался к отцу: *Слушай, пап, «Синдикат» голосует за то, чтоб провести каникулы в Сабль д'Олон, и потому просит повысить «СМИГ», то есть «гарантированный минимум заработной платы», на двадцать франков».*

— Мы очень виноваты, а я особенно,— призналась Агата.— Мы потеряли единство в семье, по-разному относимся к папе и маме. Мы им этим никакой услуги не оказали. Ведь семья — это не только они, но и мы также. Если бы дети были все заодно...

— В то время мы не все понимали,— ответил Леон.

— А что делать сейчас? — спросила Роза.

Ее обуревали сомнения, увы! — уже привычные. Быть всем заодно — хорошо! Но какой смысл в этом единстве перед фактом развода? Вспомнить хотя бы, что сказала Соланж, подружка Леона, испуганная свидетельница одной ссоры: *«О нет, я не хочу вмешиваться в такие истории».* В этой фразе был такой ужас. Будто семьей Давермель овладела постыдная болезнь. Неизвестный им Эдмон подсказывал Агате: *«Ты, дорогая, решила повидаться со своими, это совершенно естественно. Но уж лучше со всеми вместе, и к чертям былые дрязги!»*

— Мы могли бы,— сказала Агата,— видеться раз в месяц на какой-нибудь нейтральной территории, скажем, в ресторане. А потом бы начали приглашать туда родителей, сначала по отдельности, а затем и вдвоем.

— А они захотят? — спросила Роза.

— Нам ничего не стоит попробовать, — ответил Леон.— Во всяком случае, мы должны сами проявить инициативу, чтобы потерь было меньше.

9 февраля 1970

Иногда это походит на театральное представление, иногда — на какое-то большое собрание. В тот вечер двадцать пять юмористок решили осмеять все что возможно, чтоб подбодрить себя, но это им не удалось. Были приняты еще три новых «сестры» с печальной участью; одна из них, Арманда, брошена с пятью детьми, осталась без работы, без всякой надежды на помощь бывшего мужа, безработного по собственному желанию, да к тому же еще и пьяницы,— все эти обстоятельства заставили наиболее чувствительных дам из клуба прослезиться; но их сменили более рассудительные, разделившиеся на две группы: разъяренных и мужественных; первые мечтали только о судебных тяжбах, другие рассчитывали исключительно на собственные силы. Дружелюбные сплетни в таких случаях превращаются в настоящие дебаты, которыми руководят Агнесса и Эдме — дамы неодинаковой чувствительности, согласно их профессиям, но умеющие уловить момент, когда споры, вместо того чтоб сплачивать аудиторию, начинают разделять ее.

Каждая жаловалась на что-нибудь свое. Каждая опиралась на личный опыт и бросала свою горсть соли в общее варево из черного хлеба повседневности и каких-то несвязных мыслей. Проклятия, разглагольствования, рассуждения, бурная и тихая критика, клевета, пережевывание одного и того же — целый поток, из которого можно было выбраться, потеряв голос, но зато временно успокоиться. Было слышно, как громко кричала студентка Амалия, недавно снова сыгравшая свадьбу (Слава богу! Те, кто обретают свой дом, как правило, исчезают из клуба).

— Наилучший способ вылечиться от неудачной любви — это завести другого мужчину!

— Скажи пожалуйста, а! Тебе ведь всего двадцать! — протестовала бакалейщица Мария.

Реплика Ирмы, преподавательницы английского, была изложена в другой форме, предназначенной интеллектуалам:

— Любовь похожа на Ахиллово копье!

Смешки затихли, почти никто не понял ее мысль. Зато запрос Эрвелины о повышении ей алиментов вызвал мгновенную реакцию:

— Она имеет право на треть!

— Вовсе нет! Он снова женился, у него теперь еще один ребенок; будет удивительно, если ей удастся получить хоть четверть.

— Значит, если он сделает себе еще восемь деток, то Эрвелина сдохнет!

Вмешательство президентши. Она сожалеет, *что «сестры» с такой злобой обсуждают этот вопрос.* Она, конечно, может их понять, но ей хотелось бы, чтобы они больше заботились о своей независимости. Госпожа Гренд разом выложила все припасенные ею козыри:

— Надо добиваться. Немолодой возраст, много детей, профессии нет, увы! Все это явления довольно распространенные. Пособие — это, в сущности говоря, зарплата; это жалованье, которое должно полагаться всякой домохозяйке за ее огромную и — безобразие! — совершенно бесплатную работу; если этим пользуется муж — куда ни шло, а уж что касается бывшего мужа, то он просто должен платить за труд. Это обязано сделать само государство, если бывший супруг неплатежеспособен.

Аплодисменты. Проблема номер один, она всегда дает полный сбор.

— Даже если б я и не нуждалась в его помощи, все равно хочу, чтоб с него взыскивали,— злобно бросает Беатриса.

— Ну, уж это распутство! Кто это будет кланяться заднице после порки! — рубит болтушка Габриель, которую не раз призывали к порядку за грубость речи.

Но те, кто настаивает на взыскании алиментов в наказание за развод, берут верх над сторонницами независимости и презрения к помощи. Пятью минутами позже, возбужденные историей Тахар, которая оставила себе дочку, а сына недавно уступила бывшему мужу, клубные дамы превращаются в кудахтающих наседок; на этот раз к ним присоединяется почти две трети неуступчивого меньшинства, несмотря на происки ниспровергательниц, которые задают коварный вопрос: почему женщины постоянно приносят себя в жертву детям, почему не попытаться сбыть все потомство бывшим мужьям, пусть эти беглые папаши увязнут в грязных пеленках.

— Пока вы еще целы, пересадите им еще и бюст, может, у них молочко заведется! — взорвалась старейшина клуба.

Спор затихал. «Не беспокойся за этих мерзавцев! У жалостливых толстух они все найдут»,— не выдержала и вмешалась в разговор Габриель. Инстинкты слишком развязались, и надо было положить конец неистовству разбушевавшихся баб, так, как делали это законники Феме [1], поэтому Агнесса вскарабкалась на стул и перешла к повестке дня; она подвела итог тому, что удалось осуществить за последнее время, сообщила о финансах ассоциации, кстати говоря, весьма худосочных, но тем не менее достаточных, чтоб немедленно помочь Арманде. Голосовали поднятием рук. Единогласно. Затем выступила Ольга по поводу статьи в журнале «Семья, год 1970», ратующей за свободу развода. Снова бурные отклики. Сошлись лишь

[1] Феме — тайный трибунал в средневековой Германии, члены которого были связаны общей клятвой.

в том, чтобы потребовать изменений в этой нелепой, разорительной, не имеющей конца бракоразводной процедуре и посоветовать супружеским парам разбирать свои распри в Палате по семейным делам. Но религиозные ханжи полностью отвергли развод по обоюдному согласию, а злопамятные требовали сохранить принцип выявления виновного.

— Главное, чтобы все было по совести! — сказала Ирма.

— Очень это поможет, если все потеряно! — сказала Алина, удивившись тому, что слышит свой голос.

— Во всяком случае, от потерпевших нечего ожидать разумных выводов! — сказала президентша.

И вот она вновь взбудоражила женщин проектом Национального фонда, может быть имеющего связь с органами социального обеспечения, может быть финансируемого за счет процентов, которые следует брать — вопреки распространителям всяких слухов — с алиментов, уплачиваемых платежеспособными мужчинами, и этими процентами оплачивать семьи, оставленные теми, кто по той или иной причине не может этого делать. Снова и снова о деньгах. Вот это-то и спасет от голода пять или шесть присутствующих тут женщин. Госпожа Гренд считает нужным иметь особую страховку на случай развода, обязательно подписанную в мэрии, которая будет одновременно с брачным свидетельством зарегистрирована в полиции.

Хор перестраивался. Голосуют за петицию с просьбой поддержать все требования. И Алина охотно поднимает руку.

■

Все это для нее имеет интерес чисто ретроспективный. Она перенесла развод таким, каким он был, теперь уже ничего не изменишь; в принципе она выиграла процесс, но вместе с тем утратила самое существенное, а в дальнейших столкновениях потеряла и все остальное. При женитьбе начало бывает нежным, но важно то, во что это выльется дальше. При разводе спорят о формальностях, и важно то, что последует за этим. С тех пор как Алина активней занялась делами клуба, она уже повидала немало таких, которые подтверждали свое право на любовь *разводом, полагая, что он принесет им много выгод,* но быстро обнаружили, что *развод им дорого обходится!* Невинность женщины мужчина рассматривает как невинность ягненка, единственная добродетель которого — то, что он съедобен. Остается потрепанная жизнью бабенка, так как молодость уже прошла. Четыре или пять из тех, кто еще сохранил какую-то видимость свежести, может, и выплывут наверх, выберутся. А всем остальным останутся только иллюзии, что они чем-то помогли другим, а свой случай в жизни упустили, и они смогут утешаться лишь воздаянием мести своему общему врагу.

Внезапно погасло электричество, и на экране, который Агнесса развернула вдоль стены, появились толстые эвансвиллские матроны — американский вариант клуба «Агарь» — навеселе, на какой-то пирушке на берегах Огайо. Под мягкий рокот проекционного аппарата Алина вздремнула. Берега Огайо мало-помалу перешли в берега Сены. Просто наваждение. Неразрешимый, постоянно терзающий ее вопрос: *Париж, 38, улица Клода Бернара,* но почему? Почему Агата выбрала именно эту почту для писем до востребования? Потому ли, что это близко, или же, наоборот,—потому что далеко от места, где она скрывается? Как странно, что Алина ни разу не встретила там Агату, шедшую за письмами, хотя уже целых полгода подолгу бродила в этих местах. А чего бы Алина достигла, если б ей все же удалось повстречать свою дочь? Нежность — это привычка: тот, кто привык к фаль-

шивой нежности, может утратить подлинную. Алина снова задремала, опустив голову на грудь, но вдруг встрепенулась. Эвансвиллские сестры уже приступили к Декларации Прав разведенных жен. Агата — дочь своего отца, но она девушка, а когда девушки надоедают, их бросают. По первому разу это, возможно, не катастрофа. Он женат? Надо заставить его развестись. Конечно, в том случае, если сама Агата захочет выйти за него замуж. Если она сможет этого добиться, что тоже весьма сомнительно, ибо, согласно последним сведениям, Эдмон солидно обосновался в жизни, он владелец магазина кожаных изделий, Агата устроилась при нем кассиршей. К несчастью, он как будто бы не имеет никакой возможности развестись, жена его уже пять лет находится в сумасшедшем доме, по закону она неуязвима. Впрочем, зачем настаивать? Агата ведь дочь своего отца. Она сама должна понять, что долго так длиться не может. Ничто долго не длится. Агата ни слова об этом не пишет, но мать все чувствует. *Все хорошо, целую тебя*—это слишком коротко, чтобы походить на правду. Слишком коротко в сравнении с теми восемью письмами за этот месяц, на которые она не отвечала ни согласием, ни отказом, несмотря на настойчивое предложение: *«Если захочешь, возвращайся, когда тебе будет угодно. Особенно если с тобой что-либо произойдет, не считай это препятствием»*. Может быть, и ребенок, ну что ж, будет расти среди женщин. Ведь девушка с ребенком уже не так тянется к своему возлюбленному и может остаться дома навсегда.

— Ну что, поспала? — шепчет ей Эмма.

Алина подняла голову. Дамы начали расходиться и мелкими подразделениями пошли к лифту. Сдержанность Эммы в этот вечер может послужить образцом, она и рта не раскрыла. Видно, она тоже как-то увяла, и ее обычная ярость сменилась ворчаньем по мелким поводам. Эмма тоже неутомимо вербует себе учениц и настойчиво, но без шума учит ту или иную, как надо запутать какого-нибудь провинившегося подлеца. Зал опустел. Алина встает, вынимает из сумочки сложенную вчетверо бумагу, идет к президентше, протягивает ей, и та быстро пробегает глазами.

— Отлично! — шепчет она.— Вы разыскали этого типа. Кристина может теперь добиться, чтоб на эти средства наложили арест.

Алина тихо внимает ее словам, на лице у нее упрямое выражение, взгляд — твердый.

— Да, это стало почти правилом,— продолжает Агнесса,— и вы можете послужить самым ярким примером. Для других улаживаешь все лучше, чем для себя самой. А могли бы вы встретиться с Жюльеттой на этой неделе и немного ее ободрить?

Ироническая улыбка появилась у нее на губах.

— Знаю, знаю, вы в этой роли не слишком сильны. Но я очень прошу вас, видите ли, Жюльетта совсем пала духом, и успокоить ее трудней, чем разозлить.

— Завтра вечером зайду к ней,— ответила Алина.

■

Алина поторопилась уйти. Высадила Эмму на углу около здания школы, где у подруги была служебная квартира, и поехала дальше. Проехалась вокруг леса, вернулась, набрала бензин и отправилась к своему старому дому. Обычно она запрещает себе такое паломничество, потому что всегда возвращается очень расстроенной. Но в этот вечер желание пересилило запрет. Впрочем, и торопиться некуда, Леона дома нет, он ушел вместе с Соланж. Леон тратит половину пособия, которую оставляет себе на карманные расходы. Полови-

на — это немало, но так получилось. Иной раз преданность Леона своей матери, своим занятиям, своему стадиону, комнате, привычному порядку жизни, своей подружке можно подвергнуть сомнению. Но бывало и другое — он приносил Алине красивую розу в изящном футляре из хрустящей прозрачной бумаги (это происходило обычно в воскресенье днем, и розу он покупал всегда у одной и той же цветочницы); Леон давал и другие поводы считать, что молодому человеку не следует жениться до тридцати лет и что он достаточно разумен, чтобы понять это; но так или иначе, через два года он закончит изучать свою фармакологию, а ведь ему дается отсрочка не только в армии, его давно ждут и в другом месте...

Старенький «ситроен» затормозил, разыскал себе местечко перед домом, как лошадь, помнящая свою конюшню. Медленно заглох мотор. На фоне ярко освещенного окна гостиной позади туи, уже выросшей на добрый метр и отчетливо рисующейся, двигались чьи-то туманные тени, смягченные прозрачными занавесями; это были неизвестные Алине люди, недавно купившие дом, и никогда ей не привыкнуть к тому, что они в нем хозяева. Она облизнула пересохшие губы. Соседи остались старые. И псы их так же надоедают своим лаем. Тусклые уличные фонари тоже на прежних местах, кругом — привычная темнота, которая между пятью и семью часами вечера становится особенно густой, и молодые парочки, возвращающиеся из кино, останавливаются в затемненных местах, где поцелуи и объятия менее заметны.

В шесть часов вечера Алина усадила Ги в скорый поезд. Теперь он уже перестал брюзжать и злиться. Когда же Ги, наконец, поймет, что эта маленькая жертва — всего два-три дня — может доставить столько радости его матери? Кто из четырех остался ей верен? О Розе и говорить нечего. Леон может просто притвориться и этим ограничиться. Агата, которая прежде была готова в лепешку расшибиться... Агата! Рука Алины схватилась за сердце, словно в него вонзилась длинная игла. Глаза наполнились слезами. *Позвони же мне, дорогая! Хотя бы позвони, чтоб я голос твой услышала.* В каждом письме мать умоляла об этом Агату, но дочь все не звонила.

— Но почему же? — вырвался у нее вопль. Она дала газ.

Старенькая машина рывком подскочила, скрипнуло ведущее колесо, дрогнули световые конусы фонарей, дома побежали назад, в ночь, в ее прошлое. Алина забыла включить подфарники и не заметила, что приборный щиток остался темным, пересекла улицу Гамбетта и внезапно скорчилась от толчка, оглохнув от протяжного скрежета ломающегося железа.

11 февраля 1970

Самолет распиливал небо узкой белой полоской, холодный лазурный купол отбрасывал тень на снег, изборожденный синеватыми дорожками на склонах — они казались совсем синими под отяжелевшими ветвями сосен. Драгоценный Феликс сидел верхом на спине трогательно смешного Луи. Он подгонял отца, размахивая в разные стороны палочкой, чтобы направить его к детской площадке. Одиль все еще не решалась доверить своего принца заботам воспитательниц из детского сада; сейчас она шла следом за ними и с сожалением посматривала на трудные горные спуски, к которым ее влекла «бронзовая серна» — приз, полученный, когда ей было пятнадцать лет. Она крикнула:

— В следующий раз, Сиуль, я прикреплю этот приз к планке!

И громко рассмеялась: отец и сын неуклюже скатились вниз, помогли друг другу подняться, почиститься и, потряхивая своими вы-

сокими вязаными шапочками, нежно улыбаясь, поглядывали один на другого сквозь круглые, как глаза совы, темные очки.

Уже давно Одиль не дышала так вольно — короткий, но самый настоящий отдых. Погода чудная. Ничего не надо делать по дому. Ее мама, оставив дома отца, занятого своим магазином, приехала и занималась хозяйством, освободив от него сына с невесткой и дочку с зятем.

— А где же все остальные? — спросил Луи.

— Раймон и Армель, наверное, еще в Кревкере,— сказала Одиль.

— Нет, я говорю о детях,— уточнил Луи.

— Роза в лыжной школе. А вот Ги...

Она неопределенно развела руками. С Розой было все в полном порядке, она внимательно относилась к советам своего тренера, повторяла его движения корпусом, осваивая повороты. Ги пока совсем еще новичок в лыжном спорте, но, упорно желая догнать своего благоприобретенного кузена Жака, нередко скатывался прямо на заднице с этих тропинок от пенька к пеньку; но в общем-то и с ним тоже все было в порядке. Только почему же такой постоянно обиженный вид? Слова, невольно вырвавшиеся сейчас у Луи, удивили его самого: *все остальные*, хотя нередко так говорилось и раньше, но до сих пор это не вызывало особых раздумий. *Все остальные* — в этом было некое отстранение. Нужно будет внимательней следить за тем, как говоришь.

— Да не терзайся,— сказала ему Одиль.— Конечно, триумфа нет, но ведь нет и провала.

...Нет провала? О, да! Но хитрость хитростью, а ее намерение вызвало у него нежную улыбку. Посмотрев на Луи и плохо поняв выражение его лица, Одиль начала подозревать, что он все еще переживает тот сдержанный прием, который оказали его выставке женевские критики. Не так уж это важно: шесть заказов помогут вернуть затраченные средства; зато здесь светит такое славное солнышко, пять градусов ниже нуля, едва заметный парок вылетает у Одили при дыхании, глаза у нее блестят. Бог ты мой, как хорошо они чувствовали себя прежде втроем, куда лучше, чем теперь, когда их уже пятеро. Но один из троих мог бы ощущать полную радость лишь при условии, что он будет одним из пятерых. Только об этом нельзя говорить вслух. Единственный плод новой семьи всегда будет добавком к старой. Луи крепко обхватил Феликса. Любишь ведь всех своих детей. Но эта любовь крепче, если жива любовь к жене.

— Уже половина двенадцатого,— предупредила Одиль.

Они скользнули к краю дороги, чтобы сбросить лыжи и сесть в вагончик, который за пять минут домчит их до площади, где то тут, то там все еще заметны серые, твердые пятна земли, слегка покрытые недавним снежком. Но вот Луи, снова посадив сына верхом на плечи (несносный Феликс все время держит его за волосы, как за поводок), начинает подыматься вверх старой дорогой, ведущей в Межёв; позади какой-то банды юнцов, подтягивающихся к Дому студентов, он замечает свою собственную тещу, которая торопится к ним с телеграммой в руках. В десяти шагах от них она громко возвещает:

— Очень скверные новости оттуда, из Фонтенэ!

— Ну, конечно, она готова все нам испортить! — говорит, не удержавшись, Одиль.

Но когда телеграмма попадает в ее руки, Одиль краснеет от смущения.

— Это серьезно, Луи,— говорит она.— Сейчас же в поезд. Надо отвезти к ней детей.

Луи уже торопливо уходит, еще более смущенный, чем она, оро-

бевший, напуганный тем, что он только что узнал. *С мамой тяжелый несчастный случай* — что таилось в этой фразе Леона? Может, Алина умирает? Значит, конец пособиям, переговорам, нападкам? Значит, двадцать лет, которые тот, бывший Луи провел с той, бывшей женой будут стерты из памяти, он избавится от мучительных воспоминаний и ему одному придется управляться со своими детьми? Должен ли он идти за гробом своей бывшей жены или можно ограничиться венком? Но какую на нем сделать надпись?

Уже у двери коттеджа Луи чувствует, как у него спирает дыхание, и, осторожно поставив Феликса на землю, он берет его за ручку, чтобы ощутить тепло невинного прикосновения.

12 февраля 1970

Он не осмелился подняться наверх; он даже не решался послать цветы, но в конце концов все же послал, однако воздержался купить розы, как делал это лет десять тому назад, отказался, впрочем, от гвоздик, лилий и маргариток, которые могли бы вызвать горькие реплики, а взял несколько экзотических растений, которые не числятся в списке цветов-символов. Любое внимание со стороны бывшего мужа воспринимается как намерение, и потому, чтобы отвезти детей к матери и как-то смягчить внезапное появление Розы *(Она пришла, значит, мои дела очень плохи)*, Луи постарался избежать встречи с дедушкой и бабушкой; но он столкнулся с неизбежным Габриелем, незанятым от двенадцати до часу, когда было меньше всего риска повстречаться с кем-нибудь из членов семьи Ребюсто.

Внешне Луи выглядел весьма спокойным, так как умел себя сдерживать, но внутренне он был очень взволнован. «Такое отличное яблоко, но с червячком внутри»,— говаривал в таких случаях в его яблочном крае покойный управляющий. Луи беспокойно сновал, как челнок, то туда, то обратно; двенадцать шагов вперед, двенадцать—назад, между филодендроном на первом окне и кустиком каучуконоса на четвертом, ни на мгновенье не присев в одно из удобных кресел «клуб», расставленных в холле на мозаичном полу. Стеклянные автоматические двери беспрерывно распахивались перед посетителями, которые тут же расходились, следуя указательным стрелкам: «*Хирургия*» и «*Родильное отделение*»; трое мужчин из каждых пяти шли повидать своих жен, которые во всех клиниках наряду с мужьями пользуются услугами первого отделения, но сохраняют монополию во втором. Алина здесь уже седьмой раз; четыре раза она была на правой стороне, три раза приезжала на левую, в «Хирургию». Но в этот, последний, раз она прибыла уже под своим девичьим именем, и это, кажется, удивило старых медицинских сестер. С тех давних лет в памяти остались большие события, волнующие мгновенья, трудно стать безразличным к стенам, которые несут на себе невидимые начертания, где как бы запечатлено твое имя: «*Здесь родилось четверо детей Давермель. Здесь...*»

Но сейчас уже и вопроса не было о каком-нибудь ином начертании; Габриель сходил с лестницы, и по всей его осанке нельзя было заметить, что он печален и сокрушен.

— Ну что, очень плохо? — спросил Луи, остановившись около филодендрона.

— Врач не вдавалась в подробности,— ответил Габриель.— Множественные переломы: в обеих ногах, в руках, в четырех ребрах. Сейчас Алина вся в гипсе, в повязках. Но я не очень долго тревожился. Она сразу принялась мне шептать: «*Я ничего не могла с собой поделать. Пусть Луи меня извинит. Ведь это принесло бы ему такую эконо-*

мию». Затем добавила: «*Он бы смог теперь обвенчаться в церкви*». Но самое удивительное, что Алина даже не так перепугана той опасностью, которой она подверглась, сколько той, которая угрожала бы ей, если бы эта история произошла с тобой.

— Вся она в этом! — сказал Луи, утомленно упав в кресло.

— Ее хватило,— возобновил свой рассказ Габриель,— чтобы расписать это самым тщательным образом: «*Предположи, что его бы убило... Ко мне вернулись бы дети, но на какие средства мы стали бы жить? Только треть его дома оплачена, жена его имеет право на половину наследства, маленький сын — на десятую долю...*» Затем Алина представила себе, что было бы, если бы вследствие подобной катастрофы ты пережил Одиль. И дважды даже спросила меня: «*Как ты думаешь, он бы вернулся ко мне?*» И добавила: «*Наверно, я так глупа, что согласилась бы на это!*»

Луи отвернулся от Габриеля, тот мрачно продолжал:

— Понимаешь ли ты, что со времени вашего развода Алина порой подходит к грани безумия? Невроз покинутых — такой ведь существует. И даже столь сильный шок ничего не изменил.

— Перед детьми,— сказал Луи,— все же можно было бы быть...

Он не нашел определения. Попробовал занять свой ум, наблюдая посетителей, проходящих на цыпочках от двери к лифтам; такие подчеркнуто тихие шаги бывают у тех, кто посещает больницы, и еще у тех, кто ходит в церковь.

— Детей я оставил на улице,— сказал Габриель.— Предупредил, чтоб вошли, только когда я их позову.

— Это не вызовет трудностей.... для Розы? — спросил Луи, немного запнувшись.

— Никаких,— ответил Габриель.— Алина даже прошептала: «*Я считаю все это просто удачей. Конечно, я не могла и предполагать, что такой трюк мне поможет свидеться с девочками. А то бы я проделала это раньше. Агата уже заходила ко мне вчера вечером после звонка от Розы*».

— Как? — удивился Луи. — Но ведь Роза еще была вместе со мной в Комблу.

— Если я правильно разобрался,— сказал Габриель,— Розе известен номер телефона, по которому можно в срочных случаях вызвать Агату. Это она предупредила сестру, а также и Леона, ведь он был в Бове на практике.

Габриель догадался, почему Луи оторопел. Сидя на ручке того же кресла, он наблюдал за своим другом чуть снисходительно, но с долей иронии, как это было ему свойственно. В сущности говоря, вдовец Габриель завидовал этому разведенному мужу, еще не разобравшемуся, как ему вести себя со своими близкими, запутавшемуся в их конфликтах, но уверенному, что он никогда не останется в одиночестве.

— Какая же скрытная! — проворчал Луи.

Он нашел нормальным и даже достойным, что Роза, узнав о катастрофе, разволновалась, побледнела и с отчаянием повторяла: «Нельзя было не ходить к маме столько времени». Он понял также, почему она не могла есть за завтраком, так же как и Ги. Он допускал, что она чувствовала себя виноватой и поэтому так косо поглядывала на своего отца. Но он не мог, однако, понять, зачем она с такой поспешностью помчалась в деревню, заявив, что ей якобы необходимо отменить свое участие в молодежной встрече.

Уж эта ложь была ни к чему, да и все эти секреты тоже.

— Ну что ты так расстраиваешься,— сказал ему Габриель.— Когда родители постоянно действуют в одиночку и то один, то другой

повторяют: *Не говори отцу! Смотри, не проговорись маме!* — нечего удивляться потом, почему дети стали скрытными. Раз твои ребята договорились между собой, что в тяжелых обстоятельствах они будут действовать во взаимном согласии, мне это кажется весьма похвальным. Розе ни к чему было с тобой всем делиться, ведь она уже свой выбор сделала — решила жить с отцом. В этом твое преимущество перед Алиной. Однако мать все же существует, вот почему Роза, не желая обидеть тебя, сочла нужным кое о чем промолчать...

Луи разозлился. Этого любителя поучений прерывать бесполезно, и он все продолжает свои наставления да еще утверждает, что роковое стечение обстоятельств тоже перешло через край. что сама Четверка это хорошо поняла, что несчастье могло помочь их матери вернуть себе хотя бы часть своих семейных потерь, что есть в этом своя справедливость, что такова мудрость жизни и что Алина, естественно, не станет сразу ангелом после всего пережитого, но было бы лучше избежать... Все это были доводы разумные, но произнесенные невыносимо наставническим тоном, и у того, кто сам уже во всем этом убедился, они могли вызвать только раздражение. Наконец-то Габриель встал с кресла, подтянул брюки:

— Я пойду позову детей. Медсестра разрешила им свидеться с матерью минут на десять, и я считал бы необходимым оставить их наедине с Алиной.

■

Когда Габриель вернулся, Луи опять беспокойно ходил по комнате от одного цветочного горшка к другому. Он заметил, что у Розы заплаканное лицо, и, не поняв, уязвлен он этим или нет, сразу подхватил дочку под руку.

— Если будешь звонить сестре,— сказал Луи,— передай ей, что я тоже не прочь ее повидать, но не собираюсь ради этого себя калечить.

Ноябрь 1972

18 ноября 1972

Алина, прихрамывая, подходит к высокому трюмо, у которого в одном углу была трещина. Как она ни пыталась храбриться, изрекая, что легче справиться со сломанными костями, чем со сломанной судьбой, что боль физическая предпочтительней, чем душевная, но боли в суставах и злоба так крепко сплелись в ней, что и сердечные переживания, и передвижение оказались одинаково мучительными. Украшенное красной розой (искусственной, ибо живые розы и особенно воспоминания, которые они вызывают в душе,— увы! — так недолговечны), ее черное шелковое платье (шелк тоже искусственный, как и роза) поможет выразить все это. Платье, ниспадающее до полу, в хорошо драпирующихся складках, просторное, прямое; в нем все ее беды кажутся еще более тяжкими — истощение плоти и отсутствие денег, радостей и надежд; платье подчеркивает все, что в ней есть жесткого и непреклонного, голова ее схожа с головой матери Гракхов — Корнелии, и эти отливающие серым локоны живо напоминают тем, кто любит красить шевелюру, молодиться, носить яркие галстуки, что пятьдесят уже не за горами. Я безропотно покорилась, мосье: я (как вы говорите) смирилась; я сейчас беспомощна и полностью завишу от вас. Но и вы зависите от меня, ибо вам придется кормить меня до самого конца; а вот такой день, как сегодня, о котором вы наверняка

никогда не вспоминаете, я готова в этом поклясться, мы могли бы праздновать не вместе, ведь вы всего только отец детей от первого брака. Пригласительный билет видели, а? *«По случаю свадьбы их детей госпожа Колонж и госпожа Ребюсто будут принимать гостей 18 ноября с трех часов дня в залах гостиницы «Сплендид»...* Конечно, вам, мосье, придется кое-что платить по счету. Но приглашающая держава — я, мать жениха. И вдруг Алина крикнула:

— Ты когда-нибудь прекратишь мне чулки драть?

Кот номер один, серый, самый пушистый, самый мурлыка, самый подвижный, отцепился от ее шуршащей юбки и помчался по комнате, чтобы заняться бахромой от ковра, а потом воспользоваться полуоткрытой дверью, убежать и где-то там бродяжничать. Он напоминал Агату. Алина прошла несколько шагов, чтобы погладить *кота номер два,* черного, ко всему безучастного, весьма загадочного и более близкого по чертам характера к Леону, а по пути глянула на стенные часы — стрелка уже перешла половину.

— Что же он там делает? — спросила она вслух.

Она стала смотреть на фотографии Леона; еще младенца, затем малыша, мальчишку, школьника, подростка, старшеклассника, студента, стажера, и под конец того, которым он вот-вот станет — помощника фармацевта, уже примерившего форму кандидата службы здравоохранения; посматривала на эти девять фотографий, в ряд прикрепленных четырьмя кнопками к стене, а под ними в порядке старшинства была помещена серия снимков Агаты, затем — серия Розы, а потом уже Ги; у каждого из них в раннем детстве черты почти неопределенные, чем-то напоминающие родителей; с ростом сходство определялось, и мало-помалу резче выступало что-то свое, почти не связанное ни с Луи, ни с Алиной.

— Как вы торопитесь жить,— сказала мать.

И в этот раз обратила свой взгляд влево, на другой привычный ей образ, существовавший до ее детей, до нее самой, прежде ее родителей и не так давно занявший видное место в ее доме: это была фигура Христа, грубо вырезанная ножом в яблоневом дереве, Христа скрючившегося, истерзанного пытками, вжавшегося в свой крест и жадно вдыхающего впалым открытым ртом — увы! — не ладан, а острых запах, оставленный кошками, смешавшийся с приторным ароматом дешевых духов их хозяйки. Он, Христос, без сомнения, знал, что эта хозяйка отнюдь не набожна и что сам он в опале за то, что он допустил с той поры, как перестал висеть над кроватью своего покойного верного слуги господина Ребюсто. Но он знал также, что страдание объединяет и что здесь, у этой разведенной против своей воли жены, которой не удалось снова выйти замуж, которая не нарушает закон, он служит подтверждением того, что должно было быть; он служит ей самозащитой.

Мяучит кошка, наверное, она голодна, ну, уж вечером ее в честь праздника до отвала накормят фаршем. Так-то, кот, мы сейчас отправимся! Сегодня вечером мы увидим всю Четверку. Но будет ли следующая суббота такой уж праздничной? Леон тоже зайдет всего на час или два посидеть в этой комнате. Вся компания будет приторно любезна, Агата, Роза, Ги окружат мать, сядут на ручки кресла, будут с опаской поглядывать на дверь, будто я могу встать и запереть ее на ключ. Но ведь мне нельзя жаловаться. Они вернулись ко мне. Этот добрый апостол Габриель, как он пытался меня уговаривать: *«Больше ничего не требуй от других, жди, пока тебе предложат!»* Он даже не понимал, насколько был прав. Ничего не требовать от других, только то, что они сами, улыбаясь, предлагают, только их счастье в награду. И не будет среди них никого, кто имел бы мужество обременить себя

еле волочащей ноги матерью и решиться провести с ней две недели каникул.

Уже без двадцати минут. Алина не садится из боязни измять платье. До гостиницы «Сплендид» всего лишь пять минут езды. Но надо бы явиться первой, найти себе заметное место, недалеко от входной двери, проявить необходимую учтивость, пожимать всем входящим руки. Этого требует последняя попытка согласия, мучительная и неслыханно тяжелая. Алина опять прихрамывает по комнате, не сводя взгляда с отцовского распятия, к которому прикреплена веточка розмарина, освященного в Шазе. О господи, что за претензии у Луи, это и представить себе немыслимо; он намерен присутствовать на свадьбе вместе с этой девкой и их ублюдком, можно ли тут не возражать? Я ее знать не желаю, боже ты мой, не хочу видеть ее; давать ей повод поверить или заставлять верить других, да еще публично, будто я признаю ее из-за того, что закон утвердил, что она может занять мое место, хотя Вы, господь мой, против развода. Вы ведь видели их обоих в церкви и как они вызывающе себя вели и притащили с собой своего узаконенного малютку, родившегося, однако, в гражданском браке, а стало быть, в Ваших глазах — незаконнорожденного. Я сказала: нет. Я должна была сделать так. Именно я — его настоящая жена. И Вы согласитесь со мной.

Уже без десяти минут. Может, надо такси вызвать? Алина набрасывает пальто. Пожалуй, лучше спуститься и ожидать Леона в коридоре. Это сэкономит время. Не может быть, чтоб Леон забыл обо мне, но не исключено, что таким образом он хочет выразить свое недовольство. Кто бы мог в это поверить? Леон такой терпеливый, он вежливо выслушает, что ему говоришь, но прервет тоже вежливо и все сделает по-своему. Письмо, в котором он известил, дышит холодком: *Извини, но чтоб избежать возможных ссор и инцидентов, мы вместе с Соланж решили повенчаться в узком кругу. Это уже сделано. Через неделю устраиваем небольшой прием для семьи и близких друзей. Я предлагаю тебе прийти к нам от трех до пяти. Одиль зайдет не раньше чем от пяти до шести. Ты должна понять, что я не мог огорчить отца отказом после того, как он снял нам квартирку и сказал, что до моей демобилизации он будет выдавать Соланж следуемое мне пособие. Не создавай нам больше осложнений. Мне и так было очень трудно успокоить родителей Соланж..*

Алина взялась за дверную ручку. Стало быть, вести себя с достоинством значит «осложнять» и верх берут отцовские деньги? А что побудило Леона просить о помощи, почему такая поспешная свадьба? Леон так сдержан, что никому не удалось бы выведать, была ли Соланж его любовницей, настаивал ли он на этом.

Алина угрюмо толкает дверь, и вдруг лицо ее проясняется. Леон уже тут, внизу, он пришел вовремя, позвонил, вдохнул возникший сквознячок, но промолчал о том, что в доме пахнет кошками; вот он снял свое кепи с зеленой бархатной ленточкой и поцеловал мать, ощутившую его шершавую щеку.

— Ну, ты,— сказала Алина,— в точности как твой отец. Щетинка растет так быстро, что после полудня уже надо заново бриться.

— Пошли! — поторопил ее Леон, удивленный этой ссылкой на отца.

■

Внимательный сын, он все время предупредительно открывал перед матерью двери — лифта, двери из подъезда, дверцу автомобиля и, наконец, толкнул вращающийся тамбур в гостинице «Сплендид»;

каждый раз он уступал Алине дорогу, пропускал вперед, поддерживал под руку. Однако все это на него так мало похоже. Чего он побаивается? Скандала? Или только вопросов, которые она может задать? Откуда, например, этот серый «фиат», кто заплатил за эту машину? Хотя Леон сегодня кажется другим, в этой своей брачной униформе, но он, как и всегда, лаконичен. «Подарок родителей» — этими двумя словами он и ограничился. Что касается подарков, он знает, что мать его ничем не может порадовать: у нее нет ни гроша, и если бы Луи проявил деликатность и предложил Алине для этой цели какую-нибудь небольшую сумму, то Леону все равно пришлось бы благодарить отца.

— У тебя все в порядке? — спросил сын.

Алина оперлась своей сведенной рукой на крепкие круглые бицепсы этого «сбитого» ею парня, она чувствует его силу, он ее заботливо поддерживает, замедляет шаг, хочет выглядеть незаменимым, когда они будут входить в зал. Она ведь быстро идти не может, она почти калека; и каждый это поймет, не правда ли? У нее такое незавидное положение, что ее надо жалеть, а не осуждать за скверный характер; вот она, моя несчастная мать, непоколебимая, внушающая уважение. И какой-то фрак склонился в поклоне, затем еще один, а третий, вздернув подбородок над белым галстуком, проводил мадам в зал, где собралось уже много гостей. Что-то госпожи Колонж не видно у входа, она где-то среди приглашенных, которые уступают дорогу новой гостье — Алине. А вот в центре комнаты стоят несколько кресел, без сомнения, они предназначены увечным и старикам. Соланж в розовом платье, таком пышном, что, если бы что-то и было, все равно не заметишь, уже спешит к Алине.

— Садитесь, мама, прошу вас.

Невестка целует ее и пристраивается слева возле кресла Алины, так как справа стоит ее молодой муж. В легкой дымке — виной этому сигареты — перед Алиной движутся и другие длинные платья: голубые, цвета соломы, зеленые, жемчужно-серые, парча, отливающая золотом, вперемежку с полосатыми брюками и темными мужскими костюмами. Вот Агата, она поцеловала мать, она пришла сюда одна, шепчет: «Здравствуй, дорогая мама!» — и проходит дальше. Поцелуй Розы. Вот Ги — он так вытянулся! Затем Аннетта, Жинетта, Анри Фиу. Племянники. Габриель. Эмма. Флора.

— Как обидно, что не могла приехать бабушка Ребюсто,— говорит чей-то голос.— Она ведь в постели, у нее опоясывающий лишай.

Отработанные, как в балете, движения, и мало-помалу вся семья собирается у кресла Алины; к ней уже подходят один за другим и остальные гости, на этот раз без всяких поцелуев, но каждый говорит ей что-то приятное и протягивает руку — с маникюром или без оного. А Соланж, которая, видимо, и была подлинным организатором приема (или же выполняла миссию, порученную матерью, которая проходит мимо улыбающаяся, немного поблекшая и, похоже, своим примером призывает Алину к такой же сдержанности),— Соланж представляла Алине присутствующих: это семья Колонж, дед, его Алина до сих пор ни разу не встречала, тетушка, двое дядей — они близнецы, двоюродная сестра, сводная сестра, дочка деда от первого брака; нет, он не разводился, он овдовел. Кто-то сказал однажды в клубе «Агарь»: «Вдовство иной раз кончается тем же, однако экс-супруга об этом никогда не узнает!» Вот еще члены семьи Колонж, затем пошли уже Бельвенеки — двоюродные братья со стороны матери, сохранившие традиции Бретани даже в характере костюма. И наконец, вот они трое — конечно, необходимые, хотя и стремятся быть незаметными; надо поздороваться и с ними — эти трое когда-то были ее свекром,

свекровью и мужем,— они так любезны, невольно думается: правда ли, что прекратилось это родство.

— Нет, нет, не вставайте, Алина! — говорит ей свекровь, осторожно похлопывая своими потными ладонями сухую протянутую ей руку Алины.

— Счастлив убедиться, что вы совсем оправились,— говорит свекор, не глядя на нее, и его седая как лунь голова склоняется перед седеющими локонами Алины, они кивают друг другу в память о многих прошедших годах.

— Ну вот, один уже пристроен! — вздыхает Луи, благоухая незнакомым одеколоном.

Благодаря краске для волос фирмы «Ореаль» Луи выглядит лет на десять моложе в сравнении с дамой, которой с виду лет на десять больше, чем на самом деле, и надо задуматься, дает ли в этом случае 10+10=20. Пристроен! Пристроен... Неудачное словцо! Искусство играть в дамки в том и состоит, чтобы пристроиться в одной из клеток, но не дать захватить себя. Кто же была та экстравагантная дама, одна из редких, довольных жизнью женщин, которая все повторяла в клубе «Агарь»: *Брак — это в сущности тот же развод, но с новыми перспективами, которые перед вами открываются, не так ли?* Только после этого развода еще надо суметь остаться здоровой, и Леон, сын своей матери, мог бы быть ей более преданным. Алина уделяет несколько слов Луи, который останавливается около нее, но не знает, что сказать.

— Вы хорошо сделали,— говорит она,— что не пригласили сюда ни судей, ни адвокатов.

Но так как Луи больше всего боится какого-то подвоха и смотрит на нее с беспокойством, она добавляет:

— Кстати, знаешь, сегодня стукнуло четверть века, как раз четверть. Если бы не этот антракт, то нам пришлось бы отмечать серебряную свадьбу.

Алина только взглянула в лицо собеседника, и у нее сразу поднялось настроение; Леон поспешно перебивает мать и спрашивает из-за ее спины:

— Не возражаешь, мама, мы хотим все собраться, чтобы на память сфотографироваться?

Они уже пристроились вокруг нее, и фотограф приготовился, показывает жестом, чтобы встали поближе друг к другу, чтобы сдвинули кресла на переднем плане, в которых торжественно восседают предки. Луи остается стоять, но несколько отстраняется. Вот оно, восстановленное семейство,—все в сборе; все, как было, словно ничего не произошло. Если бы этому поверить, если бы встать, если бы чудом окрепли ноги, если бы можно было благословить всех и провозгласить: *Это совсем не вымысел, все тут чистая правда: теперь мы будем все вместе.* Но фотография будет отпечатана большим форматом, чтобы вставить в рамку, и форматом открыток для альбома и останется всего лишь фотографией, предназначенной проиллюстрировать важную для этого дня мысль: *Мы вовсе не дети распавшейся семьи.* Фотография, которая потом будет предъявлена как доказательство. *Все, что произошло, в счет не идет, все это было не так ужасно, ведь со временем многое улеглось.* Хотят сами себя успокоить, выставить напоказ согласие, стараются изо всех сил. Вспышка, одна, вторая, третья, четвертая освещают все эти хорошо причесанные головы на разных уровнях — сидя, стоя, со взглядом, обращенным в будущее, но с еще не ушедшим окончательно прошлым в душе. Чуткому уху и шепота достаточно. Кто-то говорит:

— Сегодня последнее испытание и конец всем этим историям.

Слово за кем-то из людей ответственных. Говорят:

— Держать аптеку можно с двадцати пяти лет. И кроме того, требуются деньжата, чтоб купить ее.

— Если остальные не слишком обременят, я тебе смогу помочь.

И дальше: насчет остальных, которые не должны быть слишком обременительными. Говорят:

— Да ну, бабушка, у вас только свадьбы на уме, а мы...

Вот и ответ на традиционный вопрос, уже дважды поставленный. Говорят:

— Сначала надо приобрести специальность! Для девушки — это свобода.

Пример заслуживает внимания. Домашним наседкам не по душе пенье петуха. Они долго будут к этому с подозрением относиться. А вот возьмите Леона, у него ничегошеньки нет, женился он, подтвердив в брачном контракте, что имущество супругов остается раздельным, но как знать, ведь может случиться, что аптеку запишут на его имя! Тем временем собравшиеся вокруг Алины расходятся, делятся на группки. Уже ничто не напоминает о недавнем единстве вокруг кресла: все перемешались, одни противостоят другим. Родство сильнее единства, оно снова восстанавливается: Алина находится как бы в центре клевера с четырьмя листиками — Давермель, Ребюсто, Колонж, Бельвенек,— четыре листика не всегда приносят счастье, хоть и служат символом счастливой семьи. Каждый, однако, старается, как может, позаботиться о той, что сидит в кресле. Госпожа Колонж замечает, что таков — увы!— закон жизни: дети покидают нас; и глядя на юношу в военном мундире, уводящем куда-то розовое платье, она не признается, что сие множественное число для нее все еще выражается, как прежде, в единственном. Госпожа Давермель, которая пока еще не успела продумать, как ей обращаться к Алине: *Алина, мадам,* или *моя дорогая,* сменяет госпожу Колонж и запевает ту же песню, забыв, что после ухода сына из дома у нее остался еще муж — тот, кто делил с ней первые дни супружеской жизни и разделит последние дни. Тот, кто обратил в привычку то, с чего начал. На смену является сестра Жинетта, сопровождаемая с фланга сестрой Аннеттой; Жинетта спрашивает, почему бы сестре Аннетте, которая живет одна, их матери — бабушке Ребюсто, которая тоже теперь одна, и сестре Алине, находящейся в том же положении, не соединиться всем вместе в этой квартире, тесной для пятерых, но слишком просторной для одной Алины и вполне подходящей для троих; к тому же почему бы не соединить и их небольшие финансовые ресурсы... Но ее мудрый замысел встречен недовольными минами: квартира может время от времени привлекать которого-нибудь из потомков, а здоровая Аннетта без всякого восторга относится к идее стать сестрой милосердия для подобного трио, где рядом со вдовой-матерью и покинутой мужем сестрой она окажется в роли брошенной для ровного счета — словом, еще одним вариантом одинокой женщины.

Они отошли, подошел Луи. За ним Роза, Ги, Леон, Агата окружили черное платье с красной розой, опять утрированно любезные, но такие далекие от того, что они делают, думают, говорят, о чем умалчивают! Кажется, будто они разыгрывают чужими, не свойственными им голосами финальный эпизод какого-то фильма, в котором актеров-детей заменили взрослые, но в них невозможно признать тех, кто был прежде юн. И тем не менее главное, что мы сейчас вшестером! Нас шестеро! Какие тяжкие, но сладостные мгновения!..

— Дорогие мои,— говорит Алина,— у меня очень болит голова. Не поехать ли домой?

— А что, уже пять? — говорит Луи не моргнув.

■

В ответ на встревоженные улыбки следует предупреждающий взгляд отца. Начинаются прощальные поцелуи. Да, уже пять — часы безжалостны. Вот из четырех листиков клевера осталось всего лишь три; сестры Ребюсто оставляют где придется свои рюмки и, дожевывая пирожные, направляются к двери. За ними — шествие Давермелей, наспех произносимые напоследок слова: «Берегите себя, Алина», «Позвоню вечерком», «Завтра заеду» — и так до самого коридора, где Габриель берет Алину под руку, а Эмма властно поддерживает ее с другой стороны. Ей кивают, дружески подмигивают, машут руками и оказывают всякие прочие мелкие знаки внимания, принятые при прощании. Алина торопливо увлекает за собой своих спутников, а длинные платья и тонкие каблучки возвращаются обратно в зал.

Но пройдя несколько шагов, Алина останавливается. Внизу вращается входная дверь и пропускает маленькие бархатные штанишки ярко-синего цвета, а в них — веселый мальчуган лет четырех; потом вплывает платье из того же бархата, которое обтягивает его мать, шею ее украшают бусы из ляпис-лазури. Встреча неминуема. Видно, принятая предосторожность где-то подвела. Мальчик дважды прокатывается во вращающейся двери.

— Фели! — одергивает его Одиль.

Она взяла сына за руку, проскользнула мимо Алины, сделав вид, что занята мальчиком.

— Она все еще хороша собой! — сказала Алина, отступившись от прежних утверждений, и обернулась, чтобы лучше их рассмотреть.

Единственное злое словечко вырвалось у нее — это «все еще». Алина увидела, как те, кто был в зале, двинулись навстречу Одили — не порывисто, но достаточно заметно. Конечно, они не станут фотографироваться с ней. Они не окажут ей подчеркнутого уважения. Но Четверка и их отец уже обступили малыша, а дедушка, бабушка и сводная сестра умильно ему улыбаются; и его мать расплылась в улыбке, склонилась над ним, вздрагивает от радости и небрежным жестом отбрасывает назад черную волну волос, падающих ей на лоб. Она была одна, потом их стало двое — вот и положено начало семьи. Трое, четверо, пятеро, видите, как растет новая семья.

— Пошли, — умоляет Габриель Алину. — Я хочу тебя проводить.

Началось все как праздник, но грустный конец наступил. В странах Востока, когда берет верх любимая жена, старшая из жен все же остается жить во дворце. Да что вы, к чему это! Здесь старшая жена должна уйти в отставку. Алина дает увести себя в машину. Она медленно идет, прихрамывая, сопровождаемая своими ангелами-хранителями: миролюбивым — это Габриель, и воинственным — это Эмма, хотя оба они влачат по жизни поломанные крылья. А сзади семенит Флора. Аннетта и Жинетта ожидают сестру на тротуаре, предлагают ей свою помощь. Нет, это уж слишком! Чрезмерно! У дверей стоит такси, его вызвал Анри Фиу, который сам намеревался на нем уехать. Но Алина внезапно вырывается, припадая на своих искривленных ногах, и, лихорадочным рывком открыв дверцу машины, захлопывает ее за собой.

— Оставьте ее в покое! — говорит Габриель. — Разве вы не видите, что ей надо побыть одной?

Одной, именно так. Подальше от этого сочувствия, которое только обостряет ее переживания, надо побыть в одиночестве — это будет разумно. Одноногий калека отлично знает, на какой ноге ему нельзя танцевать! Шофер медленно отъезжает и, когда она называет адрес,

начинает ворчать: к чему брать машину, когда это тут, рядом. Что за чушь! Ведь иным этот путь кажется таким длинным! Конец брачным узам. Оборваны одна за другой и те, что связывали их в разводе. И ей остается лишь длинная вереница дней и долгих ночей, они кажутся еще бесконечнее, когда в жизни наступает такой перелом.

«...Тебе платят пособие, ты никого не содержишь, дела тебя не обременяют, можешь читать, путешествовать, ходить в кино, в свой клуб — ты ведь свободна! А у той, другой, теперь кроме своего еще двое твоих детей, она пригвождена к дому», — говорила недавно Жинетта, желая приободрить сестру. Каково! Меня освободили — освободили как квартиру, — о чем тут толковать? Что же касается пригвожденных, моя дорогая сестрица, то много ли ты знала таких, кого собственные дети пригвоздили бы к кресту?

Такси подошло к дому. Там, наверху, Алину уже ожидают кошки с узкими, как щелки, глазами: подняв хвосты, они пойдут вслед за хозяйкой, когда она заковыляет на балкон, чтобы обозреть улицу, или когда примостится у телефона, чтобы услышать человеческие голоса. Все будет полно ожидания, слабых надежд и случайных радостей, боль станет затихать, как убиваемый в зубе нерв. Теперь настанет главная пора: немощи, невыносимого покоя, который сменится уже покоем вечным. Алина, друг мой, брак — всегда неудача, потому что кто-то из двоих должен умереть. Развод — это такой же конец, только более скорый. Друг мой, Алина, придет день, когда от всего этого ничего уже не останется; и твои правнуки даже не будут знать, от какой женщины ведут они свой род, — заметят лишь, что на их генеалогическом древе есть раздвоенная ветвь. Но до всего этого еще далеко, а пока без борьбы и без страстей, без радостей и без целей тебе остается тихо доживать свой век и медленно-медленно угасать.

Тригэр, 1974

Послесловие

Роман современного французского писателя Эрве Базена «Анатомия одного развода», названный так в русском варианте с согласия автора, а в подлиннике именуемый «Мадам Экс», явление во многих отношениях незаурядное, хотя бы уже по одному тому, что оно совершенно определенно утверждает в современной западной литературе, склонной к декадансу, путь реалистического романа.

Считается, что основная, если не единственная, тема Базена — это извечная проблема семейных отношений.

А вот что говорит об этом сам Базен в одном из своих интервью: «Многие считают меня специалистом по «семейным трудностям». Можно спорить, так ли это, поскольку, к примеру, мой роман «Головой об стену» или «Встань и иди» не имеют никакого отношения к «семейным трудностям». Но такое толкование вполне понятно, если учесть, что, начиная с «Гадюки в кулаке» и кончая «Супружеской жизнью», я действительно много занимаюсь проблемами семьи».

Теперь к роману на семейную тему прибавился роман «Анатомия одного развода», до сих пор еще неизвестный советским читателям.

«Анатомия одного развода», несомненно, делает Базена одним из самых сильных исследователей семейной проблемы современного буржуазного общества.

В девятнадцатом веке было в обычае пользоваться в художественной литературе термином «физиология»: физиология определенного класса, определенной семьи, города, страны и т. д. Базен продолжил этот обычай, идущий со времен Золя, а быть может, из еще более далекого времени. Но Базену показалось слово «физиология» недостаточным. Он пошел дальше своих предшественников, здесь мы имеем дело с «анатомией», ибо романист, видимо, считает, что в особо тяжелых случаях социального заболевания вместо традиционного пера или же шариковой ручки следует применять скальпель хирурга.

И он прав.

Подчас хирургическое вмешательство — единственный способ спасти больного, в особенности когда речь идет не о жизни какого-нибудь одного человека, а целого человеческого клана или, если хотите, класса. В данном случае класса «мелкой буржуазии», как неоднократно определял сам Базен ту социальную среду, в которой он оперирует скальпелем своего, не знающего пощады, пера художника-реалиста.

Впрочем, я бы скорее назвал Базена не реалистом, а натуралистом, вернее, «натуралистом социальным» или даже просто материалистом, что еще точнее. Впрочем, так оно и есть на самом деле: оперируя в сфере, ограниченной рамками одной супружеской пары, вступившей на путь расторжения своего брака, Базен, в сущности, обнажает социальную структуру всего общества, к которому принадлежит сам.

Сюжет романа прост: разводятся супруги, долго прожившие вместе, имеющие уже четверых детей и вступившие некогда в брак по взаимной любви. И вдруг — развод! Повод — измена мужа. Банальный адюльтер, впрочем, не вполне банальный, так как неверный муж настолько увлечен, что решил жениться на своей любовнице, забыть все прошлое и начать новую жизнь, что в обычных адюльтерах случается не столь часто.

Он разлюбил мать своих четырех детей и готов на все для того, чтобы иметь возможность создать новую семью с новой, желанной, любимой и молодой женщиной.

Ну, что же. Начинается ничем не примечательный, весьма обычный, даже несколько скучноватый в силу своей банальности бракоразводный процесс из числа тех французских бракоразводных процессов, которые в большинстве случаев кончаются тем, что государственная власть в лице своего судебного аппарата разводит мужа и жену, которой возвращает ее девичью фамилию, но, конечно, не может вернуть девичьей юности и невинности. Казалось бы, о чем тут писать, а тем более объемистый роман.

Однако это не так.

Судебное решение о разводе, имеющее силу закона, отнюдь не исчерпывает сюжета. Роман не кончается, а, напротив, только еще начинается: возникает длинный ряд острых послесудебных ситуаций, вытекающих одна из другой в ходе исполнения судебного решения. В силу бюрократической инерции и несовершенства закона судебное решение дает повод к возникновению мучительно длинной цепи дополнительных и зачастую почти непреодолимых трудностей, сложностей, тупиков, связанных с разделом имущества, продажей дома, проблемой детей — как с ними поступить? — алиментами, различными судебными кассациями и новыми процессами, ведущими не только к трепке нервов, но и к крупным, даже подчас непосильным материальным затратам на адвокатов и так далее, и так далее, не говоря уже о том, что вся эта запутанная юридическая волокита в духе Диккенса болезненно ранит души тяжущихся сторон, а также тягостно отражается на брошенных отцом детях, которых суд, разумеется, присудил матери, однако при этом постановил два дня в месяц в обязательном порядке проводить с отцом.

Можно себе представить всю трудность этого обязательного положения, регламентированного математически точными календарными сроками: второе и четвертое воскресенье каждого месяца и две недели летних каникул. Вот уж, что называется, настоящий идиотизм, так как нарушение этого судебного решения одной из сторон дает другой право возбудить новый процесс, связанный с увеличением или уменьшением процента алиментов.

А то, что дети — живые существа, во внимание не принимается... ими швыряются как шарами. Короче говоря, все вертится вокруг денег. Во всем решающую роль играют деньги. Деньги, деньги, деньги, только деньги.

Кошмар!

Разворачивая с неуклонной логической и хронологической последовательностью свой сюжет, Базен по ходу действия — неизменно отмечая его повороты календарными отметками (такого-то числа, такого-то месяца и года), что придает роману особую документальную достоверность,— как бы за ниточку вытаскивает на свет божий целую галерею возникающих один за другим персонажей, имеющих непосредственное отношение к содержанию романа, не говоря уже о портретах главных действующих лиц — «ее», «его» и «разлучницы», написанных с блеском, которому могут позавидовать самые лучшие из современных беллетристов; в романе появляются и все люди, сопутствующие аналитическому исследованию, предпринятому писателем. Тут и разного типа адвокаты, судьи, судебные клерки, чиновники, родственники «ее», родственники «его» и «разлучницы», агенты по продаже имущества, рассыльные, полицейские, торговцы, соседи-сплетники, знакомые соседей, вовсе незнакомые любители вмешиваться в чужие дела и т. д. и т. п., причем главное внимание писателя сосредоточено — хотя и очень незаметно — на четверке брошенных отцом детей, из которых у каждого свой особый, индивидуальный характер и которые все вместе вовлечены в тягостные перипетии развода своих родителей.

Стиль Базена—четкий, точный, строгий, лишенный сентиментальности, скорее стиль судебного документа, чем романа, однако зачастую украшенный чисто разговорными, даже уличными оборотами речи, что делает его особенно живым и естественным: ни одного портрета, ни одной сцены, ни одного слова, не имеющего отношения к опера-

ции, которой занят писатель. Каждое слово двигает действие, как в хорошей пьесе. Однако попутно со строгой объективностью повествования вдруг, как бы невзначай, возникают подробности, мелкие, но точные наблюдения, счастливо найденные эпитеты.

Мы убеждаемся, что Базен обладает редким качеством — умеет гармонически сочетать в художественной ткани своего произведения элементы «повествовательного» с «изобразительным». Он повествует изображая и изображает повествуя, что является самым драгоценным свойством литературного мастерства. Обе эти стороны — изобразительное и повествовательное — строго уравновешены.

Завидное золотое равновесие!

Благодаря этому свойству таланта Базена, дочитав роман до конца, вы вдруг замечаете, что перед вами только что было развернуто широкое живописное полотно, где каким-то магическим образом жанровые сцены сочетаются с пейзажем, портреты с натюрмортами, интерьеры квартир и судебных помещений с дождевыми каплями, повисшими на спицах раскрытых зонтиков, а все это вместе является зримой, почти стереоскопической, осязаемой, густо населенной картиной современного французского города, его мелкобуржуазного общества.

Да вы и сами убедитесь в этом, прочитав роман. Я, например, начал его читать без особой охоты, но вдруг на третьей же странице увлекся и проглотил его буквально залпом, хотя сам принадлежу к совсем другой литературной школе, чем Базен, стараясь в своих вещах избегать хронологичности, и предпочитаю связи формально-логической связь ассоциативную, люблю развернутые метафоры, фигуры умолчания и поступки своих персонажей пытаюсь, что называется, «взять изнутри», пропустив через себя.

Узкая специализация писателя в какой-нибудь одной области (например, военной, медицинской, педагогической, детской) кажется мне весьма опасной для искусства. Писатель должен быть по возможности более широк и вовлекать в сферу своего внимания человеческую жизнь во всех ее личных и социальных аспектах. Тем не менее проза Базена, зачастую имеющая узкое направление, мне очень нравится, быть может, потому, что это проза человека одержимого.

«Одержимая проза».

Подобно Вольтеру, одержимому неистребимой ненавистью к католической церкви и к феодальному строю, его отдаленный литературный потомок, Эрве Базен, одержим ненавистью к несовершенству современных буржуазных государственных институтов и угнетающей косности мелкобуржуазного общества, разделенного на глухо враждующие между собою семейные кланы, превращающие прекрасное чувство любви мужчины и женщины в унылую супружескую повинность — постоянный источник адюльтера — и в повод для порабощения одной человеческой личности другой.

Базен в корне своем глубоко пессимистичен. Его героиня убивает, он бескомпромиссен в непризнании социальной структуры своего общества. В этом непризнании есть даже что-то толстовское. При всей самобытности базеновского стиля, сквозь социальную направленность Золя, сквозь ярость великого Бальзака, сквозь магическую стереоскопичность гонкуровского реализма я замечаю ядовитую, убивающую улыбку Вольтера. Несомненно, Базен в чем-то вольтерьянец.

В романах Базена нечего искать счастливого конца или, в крайнем случае, выхода из создавшегося положения. Его герои почти всегда оказываются в тупике. Перед ними — непреодолимая стена. Быть может, это происходит потому, что в общественной среде, которую изображает или, вернее, оперирует Базен существует застарелый предрассудок, заключающийся в том, что люди придают слишком большое значение акту физической близости между мужчиной и женщиной, считая только это высшим наслаждением, высшим блаженством человека. Ведь такого рода любовь есть вечный двигатель жизни. В чем-то это, конечно, справедливо Но не следует при этом забывать, что существует в мире другая, высшая форма любви — любовь духовная; дружба между супругами, симпатия, взаимопонимание, уважение, терпимость друг к другу — именно та любовь, о которой неустанно повторял Лев Толстой, противопоставляя ее любви половой и считая ее выходом из трудного жизненного положения. В особенности это ощущается в повести «Семейное счастье».

У Базена такого рода духовная любовь совсем не принимается в расчет, в чем он является последователем мировоззрения Мопассана.

Базен пишет в своем романе «Супружеская жизнь» следующее:

«Пороки супругов могут послужить основанием, чтобы с общего согласия признать брак недействительным. И все же самый главный порок брачной жизни — само время, убивающее основы супружества...»

Это справедливо лишь в том случае, если придается слишком большое значение такому, в сущности, пустяку, как время, а также при отсутствии понятия о высшей форме любви: духовной, над которой время не властно.

Как стилист Базен широко пользуется, как я уже здесь заметил, хронологией. Хронология у него — равноправный элемент языка. У него каждый эпизод романа имеет свою календарную дату, что делает писателя на сегодняшний день вполне современ-

ным, даже злободневным, но в будущем неизбежно превратит его роман в несколько старомодный.

Впрочем, ведь и Диккенса мы воспринимаем сегодня несколько старомодным, что не мешает ему быть великим и вечным. Однако Базен умеет кое-где применять и более современные приемы: строфичность прозы, когда писатель оставляет между отдельными особо эмоциональными абзацами пробелы, некие пустоты, что так заметно в печатном тексте. Эти типографские пробелы как бы приближают прозу к стихам, что очень украшает жесткий, сугубо прозаический язык Базена, делая его мягче, пластичнее и даже — я бы рискнул сказать — современнее: так, например, в одной лишь страничке романа «Супружеская жизнь» я насчитал четыре таких типографских пробела, придающих грубоватой прозе прелесть верлибра.

Порой Базен прибегает к формам почти фельетонно-газетным. Иногда это закономерно, но иногда разбивает впечатление стилевого единства, так, например, в «Анатомии одного развода» слишком фельетонно дано описание клуба брошенных жен «Агарь». Читателя эти страницы, конечно, позабавят, но я бы лично свел их к минимуму, ограничился бы только намеком. Ведь надо же дать пищу и читательскому воображению. В романе нельзя все без исключения разжевывать, нельзя писать без особой необходимости слишком густо. Нужен воздух.

Впрочем, довольно. Я, кажется, слишком затянул свое послесловие. Пусть остальное домыслит за меня читатель.

В заключение надо заметить, что крупнейший современный прозаик-реалист Эрве Базен пользуется громадной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. У нас тоже. Базен по справедливости является президентом знаменитой Гонкуровской академии в Париже, быть может, самой мощной, непоколебимой цитадели хорошего литературного вкуса, а также великого французского реализма, уходящего корнями в глубину истории французской национальной культуры.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

22 декабря 1976 г.
Переделкино

◆

Литературное наследие

Из лирической поэзии Китая (VII-XIII вв.)

■

Перевод с китайского и вступление М. БАСМАНОВА

Древняя китайская поэзия, первые записи которой были сделаны три тысячи лет тому назад, отличается разнообразием жанров. Одним из наиболее распространенных жанров был в течение многих веков — вплоть до нового времени — лирический жанр цы, близкий по своей природе европейскому роману.

Цы ведут свое происхождение от народной песни, да и создавались они на мелодию той или другой популярной песни, наследуя размер, число строк и иероглифов в каждой строке, характер рифмовки и другие ее особенности. Исполнялись цы под аккомпанемент музыкальных инструментов актерами, девушками из «веселых домов», а то и просто в застольной компании любителями поэзии. Позднее, когда нотные записи были утрачены, цы декламировались как обычные стихотворения.

Задушевность, музыкальность, живой, образный язык в значительной мере способствовали быстрому распространению цы. Их популярность, безусловно, определялась и унаследованными от песенного творчества демократическими традициями. Думы и чувства простых людей — крестьян, рыбаков, ремесленников — нашли свое отражение в стихотворениях этого жанра. Многие цы повествуют о тяжкой доле женщин феодального общества, выражают протест против социального неравенства.

Имена авторов ранних цы, за редким исключением, остались неизвестными. В Танском Китае (618—907) в жанре цы стали пробовать свою кисть прославленные поэты Ли Бо, Бо Цзюй-и, Лю Юй-си, Вэнь Тин-юнь и др., а в эпоху Пяти династий и Десяти царств (907—960) уже появились отдельные сборники цы. Расширялась их тематика, совершенствовалась форма. Значительный вклад в развитие этого жанра сделал мастер лирической миниатюры поэт Ли Юй.

Наивысшего расцвета цы достигли в Сунскую эпоху (X—XIII), основательно потеснив все другие поэтические жанры. В эту пору жили и творили «известный песенник», первый в Китае поэт-профессионал Лю Юн, зачинатель преисполненной гражданского пафоса так называемой «мужественной поэзии» Су Ши (Су Дун-по), сладкозвучная И Ань (Ли Цин-чжао), великие поэты-патриоты Синь Ци-цзи и Лу Ю и другие мастера цы.

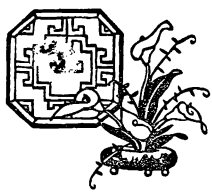
Неизвестные авторы

(VII — VIII вв.)

■ ■ ■

Я вас прошу,
Не трогайте меня,
Мне ваши приставанья душу ранят...
Так иву
У Цзюйцзянского пруда [1]
Тот сломит, тот помнет,
И никогда
Никто о ней
И вспоминать не станет!

(Мелодия «И Цзяннань»)



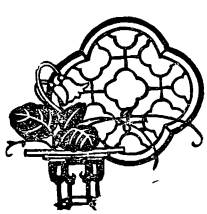
■ ■ ■

Жемчужины слез
Окропили атласное платье.
Юноша знатный
Злом за добро мое платит.

Видно, не зря
Сестрица увещевала:
«Слишком доверчивой
Девушке быть не пристало...»

Но лишь о нем
Думы мои девичьи.
Как непростительно
Это его безразличье.

(Мелодия «Паоцюлэ»)



[1] Цзюйцзян — пруд на юго-восточной окраине Чанъани, столицы Танской империи: ныне — г. Сиань. Здесь, по обычаю, провожающие должны были сломить ветку ивы и вручить ее отъезжающему в знак памяти.

ВАН ЦЗЯНЬ

(750—835)

■ ■ ■

Ива ты ива,
Ива ты ива,
На отмели у причала
Под блекнущими лучами!

Лодка уходит
В безбрежный простор
Прочь от родной земли.
Расстался с любимой
Торговый гость,
Сердце его болит.

Сердце болит,
Сердце болит...
Фазан, потеряв подругу,
Стонет в ночной дали.

(Мелодия «Дяосяолин»)

ВЭЙ ИН-У

(736—830?)

■ ■ ■

Хуский [1] скакун,
Хуский скакун
Мчит, отдаляя горы
И ту, с кем встречусь не скоро.

А под копытами —
Снег да песок.
Лишь эхо ржанью в ответ.
На запад гляжу,
Гляжу на восток,
Где тает дороги след.

Тает след,
Тает след...
Степь и слева и справа,
Солнца последний свет.

(Мелодия «Дяосяолин»)

[1] Ху — общее название народностей на северной границе Китая.

ЛЮ ЮЙ-СИ

(772—842)

■ ■ ■

Весна ушла,
С лоянцами [1] простясь,
Ей рукавом
По ветру машет ива.
Сверкнет
На листьях орхидей роса —
И кажется,
Что все они в слезах...
И грустно на душе,
И сиротливо.

(Мелодия «И Цзяннань»)

БО ЦЗЮЙ-И

(772—846)

■ ■ ■

Так хороша,
Так хороша Цзяннань! [2]
Там каждый уголок
Давно знаком мне.
С восходом над рекой
Как в пламени сады,
Синее лань-травы
Весною цвет воды...
Как о Цзяннани
Я могу не помнить!

(Мелодия «И Цзяннань»)

ВЭНЬ ТИН-ЮНЬ

(812—870)

■ ■ ■

Я причесалась
И спешу скорей
Окинуть взглядом
С башни даль речную.
Там всюду лодки,
Только нет одной...
Косой луч солнца
Гаснет над волной,
И отмель погрузилась
В тьму ночную.

(Мелодия «И Цзяннань»)

---

[1] Лоянцы — жители Лояна, одной из древних столиц Китая.
[2] Территория Китая к югу от реки Янцзы.

ВЭЙ ЧЖУАН

(836—910)

■ ■ ■

Инея блеск. А может,
Это луны мерцанье.
Где-то за горизонтом
Крик гусей различаю.
Под вышитым одеялом
Согрелась. И нет желанья
Встать и снова заняться
Погасшими за ночь свечами.
Вокруг
Тишина воцарилась,
Лишь слышно
Листвы трепетанье...
И только засну, как снова
Тебя я во сне встречаю.

(Мелодия «Тяньсяньцзы»)

ЛИ ЮЙ

(937—978)

■ ■ ■

Шумит за шторой дождь не умолкая,
И вот опять весны как не бывало!
В час пятой стражи[1] холод проникает,
Не греет шелковое одеяло.

Скитальцу сон — одно и утешенье,
Чтобы забыть про беды и лишенья[2].

Не надо на перила опираться,
Взор устремлять на горы и на реки,
Нетрудно было с ними расставаться,
А встретиться заказано навеки!

Цветы опали. Их река умчала.
Все свой конец имеет изначала.

(Мелодия «Лантаоша»)

---

[1] «В час пятой стражи...» В старом Китае вечернее и ночное время подразделялось на пять отрезков (страж) по два часа каждый. Первая стража начиналась в 7 часов вечера, последняя (пятая) — заканчивалась в 5 часов утра.

[2] Поэт Ли Юй, последний правитель Южной Тан, оказавшись в плену, глубоко скорбит по утраченной родине.

ЛЮ ЮН

(1034—?)

■ ■ ■

Виды Юго-Востока
Неповторимо прекрасны,
Огромны и многолюдны
На землях Цзянъу-города.
С давних времен не меркнет
Добрая слава Цзяньтана [1],
Где богатство и роскошь,
Где процветанье всегда.

Ивы в прозрачной дымке,
Арки мостов ажурных,
Ветер, вздымая шторы,
Проносится по садам.
В этом домов скопленье,
Маленьких и огромных,
Жизнь сотен и сотен тысяч
Я наблюдал.

В пышноветвистых деревьях
Тонет песчаная дамба,
Движутся к берегу с ревом
Волн белопенных стада.
До самого горизонта
Тянутся рвы и каналы,
Куда ни посмотришь — всюду
В солнечных бликах вода.

Что ни двор — изобилье
Разных шелковых тканей,
Жемчуг какой захочешь
Купишь в торговых рядах.
В роскоши и богатстве
Здесь состязается каждый,
Хочешь, пируй на славу —
Какая в этом беда!

Цепью озер прозрачных
Город перепоясан,
А над озерами мреет
Гор голубая гряда,
Здесь гуйхуа всю осень
Нежно благоухает,
Лотосы здесь алеют,
Так и манят сюда!

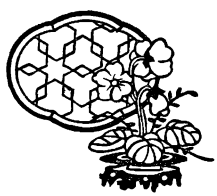
---

[1] Цзяньтан — так назывался в Танскую и Сунскую эпохи г. Ханчжоу, расположенный на р. Цзяньтан, прорезанный системой каналов и окруженный цепью озер Сиху. Воспет многими поэтами Китая. В одной из китайских пословиц сказано: «На небе — рай, на земле — Ханчжоу». Как повествует предание, чжуржэньский император государства Цзинь, прочитав стихотворение, воспылал желанием скорее захватить Цзяньтан.

С рассвета до самой ночи
Музыка не стихает,
Песни поют, веселятся
Плывущие на судах.
Лотосы обрывая,
Девушки шутят, смеются,
И рыбаки с прибауткой
Забрасывают невода.

Всадники показались —
Стяги над головами,
В такт барабану и флейте
Быстрая их езда.
Стихи, захмелев, слагаю,
Облаком сизым любуюсь...
Будет время — все это
На полотне воссоздам
И, во дворец вернувшись,
На обозренье отдам.

(Мелодия «Ванхайчао»)



СУ ШИ

(1036—1101)

■ ■ ■

Лес расступился. Горы просветлели.
В тени бамбука прячется ограда.
Трава от зноя у пруда поникла.
Все заглушая, верещат цикады.

Маячит птица в белом оперенье,
То налетит, то скроется куда-то.
Водою отраженный алый лотос
И воздух, напоенный ароматом.

За древнею стеною,
За деревней,
Поодаль
От ее дворов и хижин,
Бреду один, на посох опираясь,
И солнце опускается все ниже.

Вчерашней ночью, где-то в третью стражу,
Пролился дождик — лучшего не надо!
И выдался в моей нелегкой жизни
Хороший день живительной прохлады.

(Мелодия «Чжэгутянь»)

ХУАН ТИН-ЦЗЯНЬ

(1045—1105)

■ ■ ■

Куда же весна исчезла?
Нет ни следа, ни вести,
Коль встретите, не спугните,
Скорее ко мне верните —
И будем мы снова вместе.

Исчезла весна бесследно,
Куда — кто знает про это!
Осталось иволгу только
Спросить. Но она умолкла.
И в розах исчезла где-то.

(Мелодия «Цинпинюэ»)

ЛИ ЧЖИ-И

(1080—?)

■ ■ ■

Я на Янцзы живу, в ее верховье,
А вы в низовье той реки живете.
Мы друг о друге
Думаем с любовью,
Но встречи нам
Судьба не уготовит,
Хоть из Янцзы, как я,
Вы ту же воду пьете.

Когда поток иссякнет бесконечный,
Когда придет конец моей печали?..
Хочу, чтоб вечно
Вы со мною были
И на меня
Обиду не таили
Из-за того,
Что я по Вас скучаю.

(Мелодия «Бусуаньцзы»)

ЧЖУ ДУНЬ-ЧЖУ

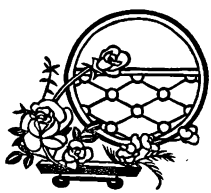
(1149—?)

■ ■ ■

Легкий рыбацкий челн
С коротким к нему веслом.
Вечер на зелень вод
Стелет туман голубой.
Гуси и чайки летят
С заставы своим путем.
Небу они и реке
Осень несут с собой.

Бьется, сверкая в садке,
Рыба одна к одной,
Хватит ее как раз,
Чтобы вина купить.
Поднят парус. И челн
С ветром попутным домой
Мчится — попробуй его
Кто-то остановить!

(Мелодия «Хаошицзинь»)



Лу Ю

(1125—1210)

■ ■ ■

Славлю мэйхуа [1]

Где ветхий мостик за двором почтовым,
Ты расцвела в глухом уединенье.
Вот снова вечер
В зареве багровом,
Одна ты
Со своей печалью снова,
Да шум дождя,
Да ветра дуновенье.

Зачем тебе с весенними цветами
За первенство докучливые споры!
Терзаясь завистью,
Пускай их спорят сами,

[1] Дикорастущая слива, цветет ранней весной. В китайском искусстве — символ чистоты, стойкости и благородства.

Не все ль равно —
Все скоро прахом станут...
Лишь запах нежный
Не исчезнет скоро!

(Мелодия «Бусуаньцзы»)

СИНЬ ЦИ-ЦЗИ

(1140—1207)

■ ■ ■

Начертал на стене в Цзаокоу, что в провинции Цзянси.

У подножия Юйгутая
И чиста и прозрачна река.
Сколько путниками, кто знает,
В нее пролито слез за века?

Там на северо-востоке
На Чанъань[1] затерялся след.
Цепи тянутся гор высоких,
И горам этим счета нет.

Только горы — что за преграда!
Все, я верю, придет в свой срок.
Одолел же эти громады
И пробил себе путь поток...

Опускается у причала
Вечер, в сердце рождая печаль,
И кукушка закуковала,
Оглашая горную даль.

(Мелодия «Пусамань»)

[1] Древняя столица Китая Танской эпохи, которая была захвачена чжуржэнями. Поэт, активный участник освободительной борьбы, уносится мыслью к эпохе величия и процветания Китая.

Критика

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

Н. ФЕДОРЕНКО

В РУСЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

(Ташкентская встреча молодых писателей стран Азии и Африки)

Литературное творчество и взаимосвязи художников слова по своей природе, по глубокой своей сущности — явление гуманистическое, интернациональное. Здесь бессильны вражда, насилие, кровопролитие. Интерес и уважительность к культурам других народов, естественное стремление понять духовный мир стран Востока и Запада есть верный принцип людей, свободных от расовых и национальных предубеждений.

Высокого значения исполнена встреча молодых писателей стран Азии и Африки, состоявшаяся минувшей осенью в прославленном своим гостеприимством Ташкенте. Сюда съехались посланцы двух континентов, являющих собой родину древнейших цивилизаций. Их книги составляют целую гамму индивидуальных манер и стилей — вместе с тем перед молодыми афро-азиатскими литераторами то и дело встают сходные проблемы, обсудить которые им и предоставила возможность Ташкентская встреча.

...Не по-осеннему теплые дни выдались на узбекской земле. Стояла золотая пора. Время сбора щедрых плодов. Царила горячая страда. В разгаре — битва за большой хлопок. Громадами высились горы «белого золота». Собраны уже миллионы тонн.

Всюду зрима была общенародная вовлеченность в гигантскую эту работу. Но Ташкент верен своей традиции. Широко распахнул он свои двери и сердечно встретил зарубежных писателей из шестидесяти семи стран мира. Недаром узбекское народное речение гласит: «Когда в дом приходит добрый гость — в дом приходит счастье».

У городов, особенно сложившихся, как и у людей, свой облик, биография, своя судьба. И у Ташкента тоже — города столь же древнего, сколь и вечно обновляющегося, всегда юного. В далекую старину слава о нем доходила до античной Греции, манила к себе паломников, привлекала внимание воинственного Александра Македонского...

Велика историческая миссия Ташкента и в нынешнее время. Когда в 1966 году возник военный конфликт между Пакистаном и Индией, главы правительств этих стран встретились в столице Узбекистана и подписали «Ташкентскую декларацию» — о мире на Индийском субконтиненте. Тогда и родился символ: «Ташкент — город мира».

В трагический час для города, разрушенного землетрясением, народы Советского Союза, соединив братские усилия, восстановили его, утвердив гордое превосходство человека над стихией. Тогда возник новый образ: «Ташкент — город дружбы».

Сегодня этот город воспет в поэзии Гафура Гуляма и Зульфии, в прозе Хамида Гуляма, в творчестве многих других авторов.

«Драма и подвиг Ташкента» — так называется книга о Ташкенте в дни землетрясения, созданная писателями наших республик. Естественно, что за судьбой человека в проникновенных строках советских художников слова прозревается судьба человечества.

Не впервые Ташкент принимал посланцев из близких и далеких стран. Для многих писателей город этот памятен первой конференцией писателей Азии и Африки, заложившей основу организационной и творческой консолидации прогрессивных литераторов двух великих континентов земли.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Здесь уместно обратиться к истории. Еще в 1956 году в Дели были заложены основы писательского движения стран Азии и Африки: там по инициативе индийских литераторов проходила первая встреча писателей стран Азии. И тогда же по предложению советской делегации было решено провести у нас в стране первую конференцию писателей двух континентов.

Она состоялась в Ташкенте в 1958 году. В ней приняло участие свыше двухсот литераторов из тридцати семи стран обоих континентов, а также двадцать два гостя из тринадцати стран Европы и Америки. Положительным итогом работы первой конференции писателей стран Азии и Африки была единодушно принятая декларация, намечавшая прогрессивную, антиколониальную и антиимпериалистическую программу движения. Для последовательного осуществления этой программы, для координации деятельности литераторов разных стран было создано Постоянное бюро.

Именно тогда, с трибуны представительного писательского форума, прозвучал призыв ко всем прогрессивным литераторам — отдать свои силы борьбе за правду, свободу, демократию. Это был призыв к созданию литературы, способной помочь народам в их справедливых чаяниях. С тех пор имя Ташкента олицетворяло солидарность и глубокую дружескую приязнь не только для литераторов Азии и Африки. К этому городу неизменно возрастало внимание писателей всего мира, всех тех, для кого дороги идеи демократии, интернационализма, единства в борьбе.

Местом проведения второй конференции писателей стран Азии и Африки стала в 1962 году столица Египта Каир. И там же, в июне 1966 года, на сессии Постоянного бюро Генеральным секретарем бюро был избран Юсуф ас-Сибаи, Генеральный секретарь Организации солидарности стран Азии и Африки.

Писательское движение стран Азии и Африки живо откликалось на самые острые, больные проблемы современности. Не случайно важной вехой в развитии этого движения явилось в 1966 году бакинское расширенное заседание Советского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки в поддержку справедливой борьбы вьетнамского народа. Это была встреча советских писателей, на которую в качестве гостей были приглашены многие литераторы, приехавшие из двадцати девяти стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Третья конференция писателей стран Азии и Африки состоялась в 1967 году в Бейруте. Это была широкая творческая ассамблея, в которой участвовали сто пятьдесят делегатов и гостей из сорока восьми стран Азии и Африки,— известные писатели, критики, руководители литературных организаций. Было принято решение о создании Ассоциации писателей стран Азии и Африки. В круг проблем, обсуждавшихся на конференции, входили вопросы о роли литературы в отражении национально-освободительной борьбы, о необходимости противостоять влиянию империализма на национальную культуру, об организационном укреплении афро-азиатского литературного движения. Конференция проходила под знаком героической борьбы вьетнамского народа против американской империалистической агрессии.

Дальнейшее развитие движения писателей Азии и Африки во многом стимулировали конкретные практические решения по вопросам перевода и издания литературы, выпуска литературно-общественного журнала, организации многосторонних творческих дискуссий, учреждения литературных премий, выработки устава Ассоциации. Своего рода организационным центром, объединившим вокруг себя прогрессивные писательские силы, стал литературный журнал «Лотос», выходящий ежеквартально с 1968 года на арабском, английском и французском языках (его первоначальное название — «Афро-азиатские литературы»). Надо сказать, что премии журнала «Лотос», учрежденные за выдающиеся явления в литературах стран Азии и Африки, во многом способствовали росту престижа движения. К настоящему времени этой награды удостоены двадцать четыре видных художника слова.

Следующим этапом афро-азиатского писательского движения была конференция, состоявшаяся в 1970 году в Дели. Сюда приехали посланцы тридцати трех стран Азии и Африки, представители Всемирного Совета Мира. Всего в работе конференции участвовало около трехсот пятидесяти человек.

Как и прежде, в центре внимания были вопросы борьбы с империализмом, участия писателей в строительстве национальной культуры. Выступавшие отмечали влияние ленинских идей, высоко оценивали роль Советского Союза в антиимпериалистической борьбе, подчеркивали, что советская литература, советские художники слова вносят огромный вклад в движение афро-азиатских писателей. Делийская конференция стала событием большой важности в литературной жизни афро-азиатского мира, получив множество откликов как на страницах демократической, так и буржуазной печати. Она явилась еще одним свидетельством того, что афро-азиатское писательское движение плодотворно развивается, объединяя вокруг себя все новые литературные силы.

Это с особой наглядностью доказала пятая конференция писателей Азии и Африки, проходившая в 1975 году в Алма-Ате. Двести пятнадцать видных литераторов, общественных деятелей из семидесяти стран приняли участие в этом крупном международном форуме.

Особенности работы конференции во многом определил тот факт, что проходила она в обстановке смягчения международной напряженности, под знаком новых

побед миролюбивых сил, которые были достигнуты в результате активного проведения в жизнь Программы Мира, принятой XXIV съездом КПСС. В свою очередь и конференция содействовала укреплению солидарности писателей Азии и Африки в их борьбе за национальную независимость и социальный прогресс, за мир и демократию. С воодушевлением встретили участники конференции приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, в котором была дана высокая оценка деятельности Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Значение конференции, ее международный авторитет были отмечены и поддержаны в приветствиях от глав государств и правительств ряда социалистических стран, стран Азии и Африки.

Алма-атинская конференция афро-азиатских писателей ознаменовала качественно новый этап в деятельности Ассоциации. Теперь встала задача углубленного изучения литературных процессов, которые происходят в странах двух континентов.

В Алма-Ате были осуществлены некоторые организационные изменения: заместителями Генерального секретаря были избраны Алекс Ла Гума (ЮАР) и Субхас Мукерджи (Индия), был расширен состав Постоянного бюро (теперь в него входит семнадцать стран-членов) и Исполкома Ассоциации (тридцать семь стран-членов).

Взятое в Алма-Ате направление успешно поддерживали последующие международные литературные встречи. После пятой конференции состоялся ряд симпозиумов, затрагивавших интересы разных кругов литераторов. Здесь следует упомянуть симпозиум поэтов Азии и Африки в Ереване (1973), встречу редакторов афро-азиатских литературных журналов в Бейруте (1974), симпозиум на тему «Литература подрастающего поколения» в Маниле (1975). Наконец, в марте 1976 года в Багдаде состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Ассоциации, на котором было принято решение провести осенью 1976 года в Ташкенте встречу молодых писателей стран Азии и Африки.

«ИСКРА БОРЬБЫ ГОРИТ НЕ УГАСАЯ»

Эта встреча состоялась в Ташкенте с 27 сентября по 4 октября прошлого года. Сюда съехались представители новых, растущих поколений, писатели стран, которые в большинстве своем добились раскрепощения, сбросив иго колониализма.

Среди участников — широко известные прозаики и поэты: Субхас Мукерджи (Индия), Мамаду Траоре Диоп (Сенегал), Нгуен Киен (СРВ), Гауссу Диавара (Мали), Дебеш Рой (Индия), Дан Изевбайе (Нигерия), Ама Ата Айду (Гана), Боавентура да Сильва Кардозу (Ангола), Элдер Таварес (Гвинея-Бисау), Фикре Толосса (Эфиопия), Ибрагим аль-Куни (Ливия), Сами Мехди (Ирак), Тауфик Файяд (Палестина), Аримитцу Кэн (Япония) и многие другие, всех не перечесть.

Советские писатели были представлены Р. Рождественским, Р. Казаковой, О. Сулейменовым, Э. Вахидовым, И. Эльчиным, Р. Мустафиным, Е. Сидоровым, Г. Сафиевой, А. Кымытваль, Б. Бедюровым, А. Лихановым, К. Темирбулатовой, А. Дементьевым и другими. Во встрече приняли участие ветераны афро-азиатского писательского движения: К. Яшен, Ч. Айтматов, А. Алимжанов, Д. Жалсараев, Зульфия, М. Ибрагимов, Д. Кугультинов, М. Каноат и другие.

Можно сказать, что встреча в Ташкенте явилась первой конференцией первого поколения свободы. Свободы, что обретена как результат завоеванной борющимися народами независимости, как результат избавления от векового колониального угнетения. Поэтому такой горячий отклик нашли слова Камиля Яшена, произнесенные на торжественном открытии встречи:

«Творческая интеллигенция Азии и Африки, писатели и поэты, представляющие древние и молодые литературы двух континентов, играли огромную роль в антиколониальной борьбе за национальное освобождение. В Алжире и во Вьетнаме, в Лаосе и в Анголе они воплощали в поступок слова поэта, к штыку приравнивали перо, сражаясь и проливая кровь как подлинные солдаты свободы. И теперь, когда рушатся последние бастионы колониализма, когда перед освободившимися странами Азии и Африки стоят большие задачи, когда идет упорная борьба за строительство нового, писатели, поэты, творческая интеллигенция занимают авангардные позиции в этом нелегком процессе...

Ассоциация писателей Азии и Африки много сделала для объединения на общее благо передовых писателей наших стран, для укрепления их дружеских связей с писательскими силами других стран, выступающими за демократическую культуру, за социальный прогресс, за мир и безопасность народов. Писатели и поэты — хранители вечного огня устремлений человека к добру и красоте — острее других ощущают важность преемственности, необходимость связи времени и связи поколений тонкой, но такой прочной нитью человеческой памяти, овеществленной в песне, в притче, в книге.

...Уже многого удалось достигнуть в этом направлении — свидетельство тому и документы, подписанные год назад в Хельсинки, и документы совсем недавно проходившей в Коломбо Конференции неприсоединившихся стран. В последние месяцы во многих странах мира осуществляется широкая и успешная кампания по сбору подписей под новым Стокгольмским воззванием в защиту мира и мирного труда народов.

И все же сегодняшнее небо омрачено

войнами, напряженностью, расовым гнетом. По-прежнему оккупированы израильскими агрессорами арабские земли, льется кровь в Ливане, где империализм подогревает политические и религиозные распри; бурлит Южная Африка. Народы ЮАР и Родезии не желают больше терпеть политический и экономический гнет белого меньшинства. Сегодня мы все видим, какие отчаянные усилия прилагают империалисты Запада, чтобы как-то оттянуть крах этих режимов. Но это недальновидная политика, она способна лишь породить новые жертвы в исторической борьбе, исход которой предрешен. Писатели, властители душ, самой природой своего дела обязаны призывать людей помнить об угрозе, все еще нависающей над миром, призывать к борьбе против сил империализма и мировой реакции, призывать к сохранению для человечества его будущего».

И как бы в подхват главным мыслям из выступления Яшена прозвучали на встрече слова из послания Генерального секретаря Постоянного бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки Юсуфа ас-Сибаи:

«Как разительна и как прекрасна разница между двумя ташкентскими встречами! Тогда, в первый раз, большинство стран Азии и Африки страдало от угнетения и эксплуатации, от иностранного колониального засилья. Сегодня, когда смотришь на карту двух континентов, преисполняешься огромной радостью от того, что наша былая молодость не прошла даром. Мы провели ее в плодотворной борьбе, мы имеем право ею гордиться. Сегодня все цвета расцвели на смуглом континенте. Искра борьбы горит не угасая, возвещая зарю освобождения на остальной земле Африки и Азии...

Новое поколение пришло в жизнь, когда исчезли гнет и тирания, оставив после себя следы культурного и духовного порабощения. Оно пришло в жизнь после достижения независимости. Это период строительства, социальных преобразований, искоренения остатков колониализма. Новое поколение по-своему смотрит на мир и по-своему отражает его. Оно идет по пути новаторства в соответствии со своими собственными взглядами на окружающий быстро меняющийся мир. Владея словом и другими средствами художественного выражения, талантливые молодые писатели стремятся изобразить жизнь человека во всем ее многообразии и полноте.

Мы убеждены, что новое поколение писателей Азии и Африки будет трудиться на благо своих народов, во имя светлых идеалов свободы, справедливости, прогресса и мира».

Для литераторов культура начинается не с отрицания и разрушения, но с утверждения и созидания. Утверждения демократической, гуманистической по своей природе и сущности культуры, способной созидать общество без войн и порабощения. Молодые писатели единодушно заявили, что место прогрессивной литературы, в основе которой заложено величие человеческого духа и сила разума, должно быть в авангарде народов, выступающих за мир, свободу и социальное раскрепощение.

Не случайно одной из важнейших тем Ташкентской встречи была проблема борьбы против колониализма и его последствий. Это одновременно и проблема борьбы против неоколониализма, пытающегося остановить наступление революционных сил, сохранить в завуалированном виде позиции колониализма, помешать молодым национальным государствам Азии и Африки развиваться по пути подлинной независимости, сдержать стремление народов этих стран к развитию по социалистическому пути. И можно сказать, что, несмотря на происки неоколониалистов, глубокая идеологическая пропасть разделяет их устремления и устремления освободившихся народов.

Участники встречи вновь и вновь подчеркивали, что литература только тогда и только при том условии оправдывает свое существование, когда силою своего воздействия отстаивает интересы борющегося народа. Эту мысль выразил тунисский литератор Салах Хебайли:

«Мы осуждаем тех, кто действует с позиции силы и агрессии, решительно поддерживаем антиколониальную борьбу народов, в первую очередь борьбу народа Палестины, которую он ведет уже десятки лет против израильских агрессоров, представляющих интересы мирового империализма».

О том же говорил алжирский писатель Мулуд Ашур:

«Молодые литераторы Алжира прошли суровую школу. Они помнят ту жестокую борьбу, которая велась более века против колониализма и которая стоила около полутора миллионов человеческих жизней. Молодые алжирские писатели солидарны со всеми людьми в мире, борющимися против империализма, сионизма, расизма».

Необходимость единства, солидарности в борьбе подчеркнул поэт Гуассу Диавара из Мали:

«Сегодня империализм, несмотря на свои происки, не способен остановить движение народов. Мы должны решительно осудить расовую дискриминацию и проявления расизма в странах Южной Африки, фашистские диктатуры в некоторых странах Латинской Америки. Нам необходимо единство в борьбе».

ВСЛУШИВАЯСЬ В ГОЛОСА МОЛОДЫХ

Итак, они собрались вместе, чтобы обсудить проблемы, поставленные перед ними самой жизнью. И потому глубокий смысл заключен в том, как была сформулирована

центральная тема встречи: «Место молодого писателя в строительстве национальной культуры».

Только через осознание своего, национального, литература может прийти и приходит к общему, интернациональному. Разве в этом не обнаруживается стремление упредить человека от опасности душевного очерствения, помочь ему усвоить и обогатить духовный багаж, накопленный предшествующими поколениями писателей отечественных и зарубежных?

Участники Ташкентской встречи решительно высказались за то, чтобы современная культура в странах Азии и Африки развивалась на основе национальных традиций, на основе всего лучшего, что было создано народами в прошлом, и в непрестанных поисках новых форм творчества, которые отражают новую реальность с ее глубочайшими социальными переменами. В этом смысле Ташкентская встреча также явилась яркой перекличкой поколений, внушительной демонстрацией преемственности, исторической преемственности. Были сообща обсуждены наиболее актуальные проблемы строительства национальных культур в развивающихся странах Азии и Африки: становление младописьменных литератур, отношение к наследию прошлого, научно-технический прогресс и развитие национальных литератур, «массовая литература» и литература для масс, взаимодействие литератур Востока и Запада, молодежь и литература, интернационализм в литературе. Значительное внимание было уделено роли литературы в укреплении сотрудничества между народами, содружества литератур в формировании нравственного климата планеты.

Вслушаемся же в голоса молодых, которые прозвучали с ташкентской трибуны:

«То, что наша встреча концентрирует внимание на проблемах строительства национальной культуры, имеет большой смысл, потому что борьба в культурной области тесно связана с политической и экономической борьбой, остро проходящей во всех афро-азиатских странах.

Однако созидать подлинно национальную культуру можно только в условиях подлинной национальной независимости. Завоевав национальную независимость, народ нашей страны, пробудившийся к национальному самосознанию, получил возможность для самовыражения. Его культурное наследие и традиции были возрождены и вновь обрели жизненную силу».

(Нгуен Киен, Социалистическая Республика Вьетнам)

«Колонизаторы много сделали, чтобы привить нам презрение к самим себе, к нашим духовным богатствам, к нашей культуре. Наши писатели борются сейчас против деморализации душ. Это огромная работа по реконструкции, по формированию новой личности, и это первый этап нашего революционного движения вперед».

(Мосегабио Нзанзу Мадагемадгино, Заир)

«У нас имеется славное прошлое, прошлое африканского народа, которое долгие годы подвергалось уничтожению, прошлое народа, чье культурное наследие замалчивалось. Наши писатели, в частности молодые, сталкиваются с невероятными трудностями, но они продолжают искать и работать».

(Ама Ата Айду, Гана)

«Долг писателя — помогать бороться против колониализма, за подъем своей культуры, за сохранение своей богатой цивилизации. Поэтому в нашей стране мы направляем все усилия на восстановление ценностей, таящихся в национальных традициях. Образование, кино, театр, средства массовой информации — все должно быть поставлено на службу народа. Колониализм пытался задушить национальную культуру; добившись независимости, мы приступили к строительству новой культуры».

(Джиги Камара, Гвинея)

«Мы все в долгу перед национальной культурой, о которой мы не должны забывать, создавая произведения на французском, испанском или английском языках. Нам необходимо делать все для того, чтобы африканские языки как можно скорее заняли то место, которое они заслужили в своих национальных культурах».

(Нжо Муэлле Эбенезер, Камерун)

Многие молодые писатели, выступавшие на Ташкентской встрече, были полны решимости добиваться осуществления демократических реформ, особенно в области культуры; они понимали, что строительство новой культуры неразрывно связано с социальным раскрепощением личности, с проблемой формирования нового сознания, с воспитанием нового человека.

«Литература — необходимый элемент в формировании нового сознания. Строительство социализма никогда не может быть успешным без просвещения, культуры, без распространения передовых идей. Литература у нас поддерживает и пропагандирует все начинания, которые мы проводим в интересах развития нашего общества».

(Зо Махарава Рацифандриаманана, Мадагаскар)

«Когда речь идет о создании национальной культуры, то здесь прежде всего надо говорить о борьбе за формирование духа, психологии, морали, мироощущения, мировоззрения. Национальная культура народа Того очень богата фольклором. Это — выражение традиционного духа, который не всегда соответствует нашему веку научно-технического прогресса. Но без традиции не существует подлинно национальной культуры. Новая национальная культура

будет плодом усилий членов нового общества с новым мировоззрением...»

(Догбе Коффи, Того)

«Мы считаем, что именно философия марксизма способствует превращению культуры, предназначенной для избранных, в культуру для народных масс, культуру для всех. Мы стремимся создать именно такую культуру и видим в ней действенное орудие общественного прогресса».

(Ахмад Месбахи, Марокко)

«На литературном фронте, на фронте искусства мы руководствуемся указанием Ленина о том, что литература и искусство должны служить пролетариату в его борьбе. По словам Маяковского, революционный поэт отдает «всю свою звонкую силу» атакующему классу. Настоящая литература не может не быть революционной, не может не звать к решительной и полной перестройке общества. Наша новая культура и искусство смотрят в будущее, которое создается методическим и упорным трудом уже сегодня. Мы должны не только защищать прогрессивные идеи, наш долг — создать передовую, революционную, оптимистическую литературу, зовущую к лучшему, счастливому обществу».

(Айя Хамид, Народная Республика Бенин)

Эти мысли глубоко оправданы. Ответственность художника, его роль в обществе — для многих выступавших на встрече это были не пустые слова. Они вытекали из всего их жизненного опыта. Не потому ли столь решительно и страстно высказывались они на эту тему?

«Молодой писатель в каждом обществе обязан быть совестью нации. Его роль — помочь народу в продвижении вперед, а потому он должен поднимать актуальные темы, играть роль часов, которые никогда не отстают. Молодой писатель должен быть правдивым и честным, чтобы заслужить уважение своих современников... Развитие национальной культуры — это вопрос «быть или не быть». Без настоящей национальной культуры любая нация обречена на гибель».

(Баба Джигида, Сьерра Леоне)

«Писатели и художники не имеют права воздвигать для себя башню из слоновой кости, они должны отражать в своем творчестве нужды и чаяния народа, чувствовать ответственность за объективный ход развития литературы и искусства. Художник не может походить на шелкопряда, свивающего кокон только для себя».

(Мухаммед Акрам Осман, Афганистан)

«В Южной Африке поэзия выполняет свою политико-социальную функцию. В течение десятилетий голос свободы заглушали стены тюрем. Развитие поэзии идет в ногу с новым освободительным движением. Поэзия как род литературы является наиболее подходящей для провозглашения целей борьбы нашего народа. Стихи — простой, но очень эффективный способ общения: будучи написанными на листке бумаги или сохранены в памяти человека, они могут дойти до тысяч сердец».

(Кеорапетсе Кгоцитсиле, ЮАР)

Закладка фундамента завтрашней культуры народов Азии и Африки — огромная задача, выпавшая на долю молодого поколения писателей. Идет ли речь о младописьменных литературах Африки или же об огромных литературных традициях индийцев, арабов — в любом случае существует настоятельная необходимость выведения их на орбиту современности. Молодым писателям этих стран предстоит тщательный отбор всего жизнеспособного и динамичного из собственной традиции, равно как всего лучшего из мировой культуры для сопряжения в единое целое.

Задача создания новой национальной культуры приобретает еще бóльшую сложность в условиях научно-технической революции, которая проходит с головокружительной скоростью, и молодым писателям часто не удается должным образом оценить свои позиции.

Один из самых болезненных вопросов: следует ли писать так, чтобы твои произведения были доступны возможно более широкому кругу сегодняшних читателей, или же нужно подтягивать читателя до уровня современной мысли, сознательно идя на то, что сегодня тебя далеко не все смогут понять.

Эти и многие другие вопросы обсуждались на творческих дискуссиях, проходивших в атмосфере взаимного стремления к тому, чтобы лучше узнать друг друга во имя общих высоких целей. И, вслушиваясь в проникновенные голоса молодых литераторов, прозвучавшие с трибуны ташкентского форума, мы, представители старшего поколения, понимали: эстафета в надежных руках, усилия ветеранов афро-азиатского движения писателей принесли свои плоды. Не случайно малийский поэт Гауссу Диавара назвал встречу «передачей факела» молодым от старшего поколения литераторов.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

В настоящее время приток в литературу свежих сил, молодых писателей, особенно интенсивен. В национальных литературах стран Азии и Африки все явственнее и громче раздаются голоса поэтов и прозаиков, которые соединяют свою судьбу с интересами борющихся народов, играя активную роль в создании новой национальной культуры. Процесс этот, однако, сложен и противоречив. Перед творческой интеллигенцией афро-азиатских стран возникает немало проблем, которые ей еще предстоит решить.

И здесь несомненную ценность для писателей Азии и Африки являет собой опыт советской литературы, многонационального и многоязычного искусства слова. «Страна

Советов,— сказал Эжен Нгома из Конго,— всему миру показывает замечательный пример бережного отношения к национальной культуре, подлинной заботы о ее развитии. Этот пример очень ценен для развивающихся африканских государств».

Особенно большое значение приобретает в этой связи недавнее постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», в котором определяются содержание и характер работы по воспитанию молодой литературной смены, открывающей новые широкие возможности для творческой деятельности. Постановление это обращено не просто к нынешней актуальности, к сегодняшней задаче, но и к фундаментальной проблеме, к самой природе современного искусства. Недаром Роберт Рождественский подчеркнул в своем выступлении:

«Писательская молодость — это не предисловие к будущей книге. Это сама книга. Ее первые страницы. Может быть — самые лучшие. Поэтому важно с самого начала отвечать за каждую строку, за каждую букву».

И о чем бы ни говорили выступавшие на встрече молодые писатели двух континентов, в их выступлениях явственно прочитывалась мысль об актуальности, преемственности, необходимости нерасторжимой связи времен и связи поколений. Прекрасно и поэтично сказал об этом Нгуен Киен из Вьетнама:

«В нашей литературе — несколько поколений писателей. Среди разных поколений нет противоречий, есть лишь общее требование — стремиться к непрестанному развитию и совершенствованию. Молодость души и жажда нового в искусстве не знают возрастных различий. Молодые писатели нашей страны — это новые ветви на вечно живом древе литературы».

Проблемы, стоящие перед афро-азиатскими странами, во многом сходны, несмотря на большие расстояния, разделяющие их. Поэтому и высказывались на встрече мысли о необходимости объединить голоса литераторов разных стран и разных поколений, сделать все возможное для выработки общих позиций по проблемам культуры, активнее вовлекая в движение афроазиатской писательской Ассоциации молодых литераторов. Было высказано предложение о создании секции молодых литераторов в рамках Ассоциации и о проведении в Сомали второй встречи молодых.

«МИР — В РУКАХ НАРОДОВ, КОТОРЫМ И МЫ СЛУЖИМ»

Ташкентскую встречу определял дух солидарности и интернационализма, стремление к взаимному обмену культурными ценностями народов Запада и Востока. Характерно, что во встрече в качестве наблюдателей приняли участие видные писатели из европейских социалистических стран, Северной и Южной Америки, Западной Европы. Их выступления были в ключе основной проблематики встречи, подхватывали ее главные темы. Призыв к миру, к борьбе за него прозвучали в словах известного итальянского поэта и общественного деятеля Эдоардо Сангвинетти: «Сегодня, после совещания в Хельсинки, дышится легче. Лучшей гарантией дальнейшей разрядки международной напряженности является сила честных людей земли, стремящихся к миру. Мир — в руках народов, которым и мы служим своим умом и талантом».

Мысль о мире звучала не только во время творческих дискуссий, не только в личных беседах писателей, позволивших им лучше узнать друг друга как в профессиональном, так и в человеческом отношении. К мысли о мире то и дело возвращались ораторы на трибунах многочисленных митингов, которые состоялись в разных концах узбекской столицы. Они проходили под знаком интернационализма и явились конкретным его проявлением.

«Возьмите, словно охапку мечей, сердце мое, готовое к борьбе»,— эти строки из стихотворения Пабло Неруды, одного из последних стихотворений поэта, прозвучали на митинге в поддержку борьбы народов Латинской Америки против неофашизма. Сменялись ораторы на трибуне: русская поэтесса Римма Казакова, поэт из Чили Омар Лара, узбекский композитор Д. Сайдаминова, якут А. Михайлов, кубинец Хиордано Родригес. Нгуен Киен из Вьетнама... Движимые чувством интернационализма, все они выражали свою солидарность с мужественными борцами, сражающимися за национальную свободу народов стран Латинской Америки.

«Мы поддерживаем стремление этих стран,— сказал на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев,— к упрочению политической самостоятельности и экономической независимости и приветствуем увеличение их роли в международной жизни...»

На митинге солидарности с народами Ближнего Востока, борющимися против израильской агрессии, были произнесены теплые слова в адрес Советского Союза, протягивающего в трудный час руку помощи сражающимся народам.

«Опыт и международная поддержка советского народа,—говорил Восенгкхам Вонгдара из Лаоса,— чрезвычайно много значат для всех стран, борющихся за свободу и суверенность. Именно об этом убедительно свидетельствует история Лаоса, который в неустанной битве обрел независимость, история Вьетнама, Анголы, других стран, где империализм постигло жестокое поражение. Не может быть сомнения, что победят и народы Ближнего Востока, поддерживаемые людьми доброй воли на всех континентах».

Ярко и взволнованно выступили на митинге известный казахский поэт Олжас

Сулейменов, Элдер Таварес (Гвинея-Бисау), Джоогийн Цэдэв (Монголия), советский писатель Альберт Лиханов, Гульчехра Бекбулатова, работница Гулистанской фабрики.

Горечи и надежды исполнены были слова палестинского писателя Тауфика Файяда:

«Такой же могла быть и земля моей родины. Но сегодня нет страны, куда я мог бы вас пригласить. Два миллиона палестинцев скитаются по соседним странам. Тяжкая это участь. Отрадно, однако, что народ наш не одинок в своей борьбе. Мы постоянно чувствуем руку дружеской помощи Советского Союза, других социалистических стран. И это вселяет в нас уверенность, что палестинский народ вновь обретет свою родину».

Первая встреча молодых писателей Азии и Африки, открывшая новую страницу в движении литераторов этих континентов, проходила в столице Советского Узбекистана, на земле победившего социализма, о значении которого для трудящихся всего мира так емко сказал индийский писатель Дебеш Рой: «Социализм означает другой свет в глазах и другую улыбку на губах... Здесь мы видим социалистическую перспективу истории».

Участники встречи смогли совершить поездки по Узбекистану, познакомиться с жизнью советских людей. За годы советской власти Узбекистан превратился в богатую, промышленно развитую республику. Были созданы отрасли современной промышленности — электротехническая, текстильная, сельскохозяйственное машиностроение.

Глубокое впечатление оставило у гостей посещение Голодной степи. Хрупкая белоснежная коробочка хлопчатника стала ныне воплощением богатства, могущества и гордости этой земли. Между тем еще совсем недавно узбеки говорили о ней, что «здесь птица пролетит — крылья опалит, человек пройдет — ноги сожжет!». Никогда не перестанет дивиться человек тому, как хлопкоробы нынешнего дня превратили Голодную степь в процветающий край. В современниках наших зарубежные писатели явственно ощутили легендарность трудового подвига нескольких поколений советских людей.

Наши гости увидели древнейшие памятники культуры, сохранившиеся на территории Узбекистана и относящиеся к III—II тысячелетиям до н. э., уникальные архитектурные сооружения, созданные в Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисябзе в XV—XVI веках.

И зазвучали на площади у Регистана — в сердце древнего Самарканда — многоязычные стихи и песни. Вдохновенные свои строки читали сами авторы — поэты из Индии и Анголы, Лаоса и Туниса, Японии и Сомали, Вьетнама и Мали.

«Посещение Самарканда,— сказал сирийский поэт Бондар Абдель Хамид,— радостно для меня вдвойне. Мне посчастливилось увидеть и памятники, вошедшие в число мировых чудес, и, что особенно отрадно, проявление заботы, которой они окружены в вашей стране».

И действительно, культурная политика нашей страны, особенно широкий расцвет издательского дела не могли не вызвать интереса гостей.

В последние два десятилетия свыше тысячи наиболее выдающихся произведений писателей Азии и Африки изданы на русском и других языках народов СССР. К нынешней Ташкентской встрече вышел в свет сборник «Рукопожатие», в который включены рассказы и стихотворения многих афро-азиатских писателей, в том числе участников данной ассамблеи. У таких книг важная миссия: они помогают взаимопониманию, способствуют смягчению международной напряженности.

ИЗ «ОБРАЩЕНИЯ» К ПИСАТЕЛЯМ МИРА

«Мы обсудили проблемы, связанные со строительством национальных культур в наших странах, и единодушно пришли к заключению о том, что важнейшей предпосылкой развития культуры является обеспечение мира и безопасности народов. Эта предпосылка особенно важна для народов Азии и Африки — и тем более для молодого поколения,— которым приходится восстанавливать урон, нанесенный их духовной жизни колониализмом. Преодолевая последствия колониального угнетения и борясь против агрессивной политики империализма и неоколониализма во всех областях, в том числе и в области культуры, мы стремимся к упрочению демократической, гуманистической культуры, которая помогла бы созданию более справедливого мира — мира без войн и угнетения.

Мы убеждены, что борьба за национальное освобождение и независимость, борьба против международной напряженности и гонки вооружений неразделимы, и место прогрессивной литературы, утверждающей величие человеческого духа и силу человеческого разума,— в авангарде этой борьбы.

Мы убеждены, что современная культура и искусство Азии и Африки, развиваясь на основе национальных традиций, на основе всего лучшего, что было создано мировой литературой, будут успешно отображать глубочайшие социальные перемены. Эти перемены — следствие борьбы развивающихся стран за национальное освобождение и социальный прогресс. Перед молодыми писателями Азии и Африки стоит очень важная задача — отражать эти изменения в своих произведениях, бороться за развитие национальных языков, которые являются основой любой истинно национальной литературы. Борьба за развитие языков и литератур наших двух континентов очень тесно связана с борьбой за уничтожение неграмотности. Мы, молодые писатели, обещаем присоединиться к этой борьбе и создать новую читательскую аудиторию для нашей литературы.

Мы убеждены, что взаимообмен между культурами служит сближению народов и обогащению их культур и, наоборот, любой культурный изоляционизм и любая доктрина превосходства одной нации над другой неизбежно ведут к застою и наносят ущерб духовному здоровью человечества.

Мы выступаем за интернационализм, за активный гуманизм, за тесное сотрудничество прогрессивных писателей и деятелей культуры мира, борющихся против социальной несправедливости, за восстановление попранного человеческого достоинства...

Мы убеждены, что литературы Азии и Африки могут и должны более активно участвовать в строительстве новой жизни, формировании мировоззрения миллионов людей.

Мы считаем своим долгом создавать правдивые, высокохудожественные произведения о жизни наших народов, об их борьбе за мир, свободу и социальный прогресс...

Мы считаем, что политика разрядки международной напряженности способствует созданию благоприятной атмосферы для нашего созидательного творческого труда».

Творческий диалог молодых литераторов, состоявшийся осенью прошлого года в Ташкенте, вызывает глубокое удовлетворение. Зрелые мастера недаром вверили своим преемникам тайны искусства слова. Слова, которое зовет к утверждению истины, добра и справедливости на земле. Так совершается пересечение временных и пространственных измерений. Сближение пройденного и нового путей по высшему смыслу человеческого существования и развития.

М. САЛГАНИК

ПУТЬ В ИНДИЮ

Размышления о молодой индийской поэзии

Анализируя нынешнее положение дел в индийской литературе, известный прозаик Бхишам Сахни писал: «В последние годы изменились настроения в писательской среде. Покончено со скепсисом и цинизмом, довлевшими над писателями и заставлявшими их избегать острых общественных проблем, все больше уходить в себя, замыкаться в собственной раковине, считая, что все мы в тупике, что уже ничто не может спасти человечество и что писателю остается только роль пророка обреченности. Теперь... в писательской среде появилась неуспокоенность, отчетливо ощущается необходимость смотреть в глаза реальности и проблемам нашего народа. Возникла потребность встретиться, совместно обсудить положение дел и прийти к единому пониманию современной действительности».

В 1975 году состоялся Учредительный съезд Национальной федерации прогрессивных писателей, президентом ее был избран бенгальский поэт Бишну Де, а генеральным секретарем — Бхишам Сахни. На Учредительном съезде был принят манифест, где, в частности, говорилось: «На мировой арене разыгрывается эпическая драма, равная по масштабам революции... Наше искусство и литература, навечно связанные с судьбой народа, не просто описывают и отражают напряженность современности и борьбу прогресса против реакции, но рассчитывают играть позитивную и динамическую роль в титаническом противоборстве полярных общественных сил.

...Мы считаем себя наследниками всечеловеческой культуры, того лучшего, что создавалось всеми народами на протяжении веков. Мы выступаем за сохранение и развитие нашей самобытной литературы и искусства, которые, наполнившись новым смыслом и содержанием социальной действительности сегодняшнего дня, способны обрести новую силу».

■

Проблемы, решения которых ищет сейчас молодая индийская литература и о которых пойдет речь в этих заметках, порождены двухсотлетней колониальной зависимостью Индии от Англии, двумя веками взаимодействия цивилизаций Востока и Запада, азиатской и европейской культур. Западная цивилизация доминировала в этом процессе. Но приобщение к европейской мысли — через колониальную систему просвещения — обращало индийцев в «маленьких коричневых англичан», отторгало их от собственной культурной традиции, а зачастую и от родного языка.

О трагической раздвоенности и обособленности нескольких поколений индийской интеллигенции и сказал однажды известный ирландский поэт Уильям Батлер Йитс: «Мы научили вас видеть сны на плохом английском...»

Радиус действия иноземной культуры в Индии был ограничен пределами городов — остальная страна продолжала жить тысячелетней традицией. В городах же происходил синтез культур Востока и Запада, возникала некая гибридная субкультура, рождалось индивидуальное сознание, отличное от общинного сознания деревни и национальной традиции.

Этот процесс был неоднозначен — как неоднозначно его воздействие на Индию

сегодняшнего дня; он разворачивался в условиях английского владычества: естественное сопряжение двух культур было невозможно, и расстояние между народом и англизированной интеллигенцией превращалось подчас чуть ли не в их противостояние.

Вместе с тем соприкосновение с демократической мыслью Европы, в особенности с передовой европейской литературой, стимулировало быстрый рост в Индии радикальных настроений. Тагор не случайно подчеркивал, что «идеалы, нашедшие выражение в европейской литературе, решительно вырвали индийский разум из вековых тенет».

Европейское влияние способствовало не только становлению современных жанров в индийской литературе, но и выработке принципиально нового взгляда на функцию литературы.

Назначением классической индийской литературы было не отражение действительности в узнаваемых художественных образах, а создание идеала как объекта для устремлений. Известный литературовед д-р Маядхарна Мансинха писал: «Герои нашей традиционной литературы были не образами, а символами... Их создатели не ставили целью достоверно отобразить действительность — они предлагали обществу высокие образцы для подражания».

Становление новых литературных жанров, прежде всего романа, сближение литературы с жизнью происходили одновременно с распространением радикально-демократических воззрений в среде индийской интеллигенции и, собственно говоря, были явлениями одного порядка. Новые веяния заставили интеллигенцию с особой остротой ощутить трагизм раздвоенности между Востоком и Западом и начать поиск пути в Индию, пути сближения с народом. Можно без преувеличения сказать, что этот поиск стал основной проблемой индийской литературы XX века.

Но как тернист и долог оказался путь!

Индийский писатель, воспринявший литературу и искусство Европы, передовую европейскую мысль настолько, что они вошли в его духовный мир, одержимый желанием донести эти новые идеи до народа, обнаруживает, как непонятны они людям, воспитанным в иной традиции. Он обращается к самобытной национальной традиции — и убеждается, что она не соответствует его ви́дению мира, измененному контактом с иными системами культурных ценностей. Он готов быть «почтовой лошадью просвещения», но не в силах покрыть расстояние между мирами, которые он — порождение двух культур — объединяет в себе.

Широчайшее национально-освободительное движение объединило на некоторое время писателя и народ. Национальное самосознание — такое напряженно-острое в годы борьбы против британского господства — увлекало творческую интеллигенцию в русло индийской культуры, понуждало заново открывать родину и доказывать и миру и себе непреходящую ценность творений индийского гения.

Утверждение величия Индии и жизнеспособности ее духа стало политической позицией, формой борьбы против чужеземного угнетения. Политической позицией, способом выразить патриотические и демократические идеалы было и обращение к народной тематике.

Человек из народа властно входил в индийскую литературу, занимая центральное место в творчестве лучших писателей. Они стремились дать портрет его души, показать ему его силу, восстановить его достоинство. Они хотели стать голосом народа, но, воспитанные на ином культурном этносе, порой оказывались способны наблюдать лишь внешние проявления жизни простых людей. А человек из народа, по словам поэта Притиша Нанди, «даже не знает, что мы говорим от его имени и обращаемся к нему же».

■

С тех пор как Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом трехцветное знамя независимой Индии, прошло тридцать лет — срок немалый в нашу эпоху акселерации всех общественных процессов. Десятилетия коренной перестройки жизни Индии, после двух веков колониальной зависимости, совпали во времени с самым колоссальным в истории человека общественно-политическим и техническим переустройством мира.

В литературу пришло поколение ровесников свободы — молодых индийцев, знающих о колониальном рабстве лишь из учебников истории.

Огромны и многообразны проблемы, поставленные историей перед индийской молодежью. Сложны и многообразны задачи, стоящие перед литературой этого поколения — перед теми, кто призван дать его автопортрет. Правда, и сами они еще не свободны от отчужденности, первопричина которой — в культурной политике времен колониализма. Однако молодые литераторы — в новых условиях и перед лицом новых проблем — продолжают поиск пути в народ. Именно к представителям их поколения в первую очередь обращены слова Индиры Ганди из ее выступления перед индийскими писателями:

«Литература не формирует моральные принципы, но создает атмосферу нравственности, укрепляет чувство морали, способствует выработке отношения к жизни.

...Не перед правительством несут ответственность писатели, но перед собственной совестью, перед мнением народа о них, перед обществом в целом — и поэтому не могут не отстаивать свободу, справедливость, человечность и красоту в жизни. В далеком прошлом Индия говорила: веди от кажущегося к истинному, от тьмы к свету, от тлена к бессмертию...»

Тектонические сдвиги тридцати лет свободы изменили Индию, перемешав в ней ультрасовременность с первобытностью, за-

ставив страну жить одновременно в нескольких эпохах, укладах, по разным нравственным нормам, непрестанное противоборство которых создает все новые проблемы. Решение их невозможно без участия литературы.

Индийский писатель отдает себе отчет в том, сколь важна его роль в это сложное время и как трудно вместе с тем ее выполнить. Об этом писал Шрикант Варма — один из значительнейших индийских поэтов нового поколения, чье творчество все больше привлекает к себе внимание в последние десятилетия: «Беда современного индийского писателя не в том, что он любит Индию или ненавидит Индию. Он не понимает Индию».

А Индия — многомиллионная и многоязыкая — пока еще не понимает писателя. Неграмотная, она тысячелетиями жила, запоминая на слух тысячи и тысячи двустиший-шлок — шедевров своей поэзии,— поэтому едва ли можно считать ее необразованной. Сегодня весь Индостан поет песни на стихи Тагора — но его романы и сегодня читает почти одна интеллигенция: ведь их надо читать... Неграмотность продолжает оставаться массовой, у тех же, кто умеет читать, отсутствует навык к чтению. К тому же быстрое распространение современных аудиовизуальных средств информации никак не способствует росту популярности книги, а значит, и установлению обратной связи писателя с народом.

Усложнившаяся действительность требует от литературы больше чем знания фактов — анализа процессов. И новое поколение заговорило о необходимости литературы «беспощадного реализма».

Молодые индийские литераторы считают, что литература середины века не сумела стать инструментом исследования народной жизни, ибо пыталась поднять жизненный пласт, едва знакомый художнику; однако ее бесспорная заслуга в том, что она поставила в центр своего внимания простого человека и утверждала, говоря словами известного писателя С. Х. Ватсайяна: «Заурядность не противоречит неповторимости. Человек заурядный, но он единственный в своем роде».

Правда, реалистическое отображение повседневной жизни подобного героя нередко подменялось ее романтизацией — либо украшающей, либо упрощающей его внутренний мир. Не случайно молодой писатель В. С. Прамар озаглавил одну из своих статей «Романтический взгляд на нищету». «В Индии,— пишет он,— есть нищета двух родов: реальная, физическая нищета миллионов, находящихся на грани голодной смерти, и описание нищеты, какой она видится индийскому писателю — романтически настроенному жителю больших городов».

Новое поколение писателей идет к познанию жизни страны через поиск подлинной достоверности, через обращение к тематике городской жизни, к хорошо знакомому им быту среднего класса, студенчества и сельской интеллигенции. Деревне, как таковой, крестьянской теме в их творчестве отводится скорее роль фона, иной раз эта тема облекается в форму беллетризованной социологии.

Молодые писатели, разумеется, чувствуют, что вне поля их зрения остается жизнь деревни — как раз тот пласт действительности, который определяет собой национальный характер страны; что городская литература продолжает существовать обособленно и воздействие на народ оказывает не столько она, сколько растущая как на дрожжах «масс-культура». Зачастую у литературной молодежи — у поэтов с особой остротой — возникает чувство бессилия, вины, сомнения в нужности литературы вообще. Такие настроения усугубляются растерянностью при виде того, как индустриальное развитие Индии, рост больших городов, ускоряющийся ритм жизни разрушают привычные связи между людьми, заменяя их холодноватыми функциональными отношениями. Средства массовой информации рисуют образ технократической западной современности как модель будущего Индии, а молодой творческой интеллигенции оно видится воплощением научно-фантастического кошмара: кнопочная цивилизация, где стандартное человечество безостановочно потребляет стандартные товары.

В смятении мечется молодой поэт между незнакомым миром прошлого и неведомым миром будущего; вот как об этом пишет Викал Кумар:

> Все зыбко. Нет ни в чем уверенности:
> ни в моем теле и в его возможностях,
> ни в моей вере, ни в моих желаниях,
> ни в истине. И даже в том, что жить —
> естественно[1].

Темп жизни не дает осознать происходящее; разрыв между явлением и превращением его в историю почти неуловим, а явлений и событий все больше, потому что все протяженней делается линия индийского горизонта. Перемены затрагивают даже время и пространство — и Дилип Читре пишет:

> Как там насчет «масс-медиа», официант?
> Сегодняшняя газета
> назавтра
> уже становится традицией.

Лихорадочное мелькание событий вызывает лихорадочную реакцию. Не в силах осмыслить происходящее, одни провозглашают тотальное отрицание, другие уходят в себя. Иные, требуя «литературы действия», целиком подменяют литературу действием— и лишь немногим, пожалуй, удается найти себя и свое место в строительстве новой жизни.

В 1963 году группа бенгальских поэтов опубликовала «Голодный манифест». В нем говорилось: «...атрофировались привычные формы личной и общественной морали... Будущее стало гипотезой. Дело не в том, хо-

[1] Здесь и далее подстрочные переводы стихов принадлежат автору статьи (*прим. ред.*).

рошо ли будет или плохо, а в том, есть ли вообще будущее. Смерть приобрела небывалую до сих пор для индийцев финальность. Идет революция в человеческой душе, и это существеннее любого политического движения. Погибли идеалы».

Поэтические революции происходят все чаще и все незаметней для тех, кто не участвует в ниспровержении предшествующих ниспровергателей. «Антипоэты». «Отверженные». «Непридуманная поэзия». «Голые» — эти отказались даже от своих имен. «Разрушители». И совсем недавно—«Запретные». Как правило, поэтические манифесты гораздо интереснее практики. Талантливые поэты остаются в литературе, остальные, так сказать, бунтуют дальше.

При всей внешней пестроте эстетических и идеологических программ поэтического бунта их молодые авторы едины в тотальном отрицании индийской традиции — хотя, по словам одного из критиков, они с таким же успехом могли бы отрицать собственную наследственность. Отрицается и религия, и рационалистическое мышление, ибо и вера, и знание, по их мнению, слишком опосредуют реальность и мешают прямому, интуитивному, стихийному контакту с жизнью как она есть. Но отчуждения не преодолеть — жизненная ткань рвется от прикосновения:

Все обращается уродством, ложью —
будто кто-то мажет смолой знакомые лица
и динамитом взрывает деревья и дома.
(Джагдиш Чатурведи)

И поиск достоверности порой уводит многих молодых поэтов в предельный индивидуализм: из хаоса макромира, где они чувствуют себя одинокими и лишними,— в микромирок своего «я», в собственные эмоции, в обиды на жизнь, обманувшую их надежды, в горькие мысли об абсолютности человеческого одиночества. И в острую жалость к себе, как у Шриканта Вармы:

В этот раз я не слал телеграмм
об уходе.
Ни приход мой,
ни мой уход
не имеют никакого смысла.

Поэт, который, направляясь к людям, хотел открыть свою страну, открывает лишь собственную замкнутость, он в ужасе от того, что утратил не только связь с людьми, но и дар сострадания:

Все обессмыслилось.
Погибшие от наводнения. Голодные.
Автобус, который опрокинулся в кювет.
Коррупция. Кровосмешение.
Пожертвования.
Чудовищнейшие из преступлений
не трогают меня.
(Винай Кумар)

Строки из другого стихотворения Виная Кумара как бы фокусируют господствующее настроение части молодых поэтов:

Прости меня, Эпоха,
но я тебе пока не нужен.

Но если сегодня не нужна — и непонятна — поэзия, если она не может соединить поэта с массами в борьбе против неравенства, голода, коррупции, безработицы, тогда — долой поэзию! Когда миллионы людей умирают голодной смертью, поэт не смеет дожидаться, пока стихи воздействуют на мир и наполнят желудки манной небесной, а сердца благодатью. Долой несправедливый порядок вещей — он отнял слово и у поэта, и у народа,— хватит слов, нужны поступки!

Так или примерно так рассуждают самые нетерпеливые—и самые незрелые среди литературной молодежи,— рвущиеся к настоящим, а не литературным баррикадам. Джаясударшана уверен:

Жизнь, вложенная в слово,
убила поэта —
он не сумел освободиться
от собственных творений!

Не надо думать, будто запальчивые призывы попадали только на журнальные страницы; находились горячие головы, полные чистых побуждений, невольно оказавшиеся пешками в руках политиканов — эти последние пытались использовать трудное положение Индии и неудовлетворенность ее молодежи, чтобы совершить антидемократический переворот. Результат известен — летом 1975 года правительство Индии было вынуждено ввести в стране чрезвычайное положение и запретить и ультраправые и ультралевые группировки.

«Поэзия действия» — самоубийственный процесс сплющивания сложной поэтической структуры до линейной одномерности лозунга — оказалась в таком же тупике, что и поэзия некоммуникабельного индивидуализма. Создатели ее постепенно начинают сомневаться в том, что разрушительство — поэтическое или политическое—способно привести к социальному переустройству.

Хочется привести целиком стихи Р. Ш. Пушпы из сборника «Повстанческая поэзия», стихи, ходившие среди молодежи во время студенческих волнений в Бихаре в 1974 году:

Я стал стучаться в двери.
Целый месяц искал — кто купит
мое желание работать?
Сегодня я пришел с работы
с деньгами — на них нечего купить:
пустые магазины.
Мама, в какие джунгли
ты привела меня?
Мама, сейчас я понял,
что все не так...
Мама, как все темно вокруг,
и неужели только пожаром
можно рассеять тьму...

Пока творческая интеллигенция Индии, веря и не веря, отвергая и приемля, ищет путей к народу, мучительно и напряженно ищет формы сопряжения нового и старого, локального и глобального, чтобы создать новую культуру и нравственные нормы,— тем временем начинают приходить в соприкосновение с современностью и самые глубинные слои индийского народа.

Совсем недавно произошло событие, возвещающее подлинную революцию в индийской литературе — группа молодежи из касты «неприкасаемых» организовала журнал под выразительным названием «Бунт» и заговорила о жизни самых низов народа. Выход на свет неприкасаемых, появление про-

изведений, написанных людьми, так низко стоящими в кастовой иерархии, что, как традиционно считается, даже их тень, падая на человека, оскверняет его,— убедительное доказательство необратимости социальных перемен в Индии.

«Далит» — значит задавленный. «Далит» называют себя неприкасаемые, выброшенные из жизни, и не просто выброшенные, но и лишенные права на сочувствие, потому что, по представлениям индусов, неприкасаемыми рождаются в наказание за грехи, совершенные в прошлом существовании. Тысячелетиями произрастали они рядом с жизнью, и только сейчас безмолвные тени обрели голоса.

В их стихах нет жалости к себе, нет любования собственным бунтарством — только стремление взорвать сохранившийся до наших дней дикий анахронизм кастовой системы. Вот стихотворение Умаканта Рандхира:

На плечах моих тяжесть
окровавленной воющей боли.
Я живу в переулках, тупиках,
на задворках,
в хибарах без света.
Зажигаю огни.
Огонь за огнем.
Я толкаюсь в закрытые двери,
я стучу, я зову.
За дверями — нейтралитет
в прочных четырехстенных могилах.
Мне
не отвечают,
не открывают,
не отдают
свое мягкое, нежное мясо
на съеденье огню.
Я плюю на закрытые двери:
запирайтесь покрепче,
подонки,
потомки
крови моей — красной, горячей.

Поэзия неприкасаемых вызвала огромный интерес литературной Индии — и не своими художественными достоинствами, хотя многое в ней бесспорно талантливо. Гораздо важнее, по словам бомбейского писателя П. Л. Дешпанде, что литература начинает наконец вырываться в народ и перестает быть слепком с психологии зажиточного меньшинства. «Нет сомнения,— продолжает он,— что идет процесс, который заставит писателя посмотреть в лицо реальности, какой бы трудной она ни была, заставит его отказаться от изобретения собственных миров, уход в которые был проявлением безответственного эскапизма».

Процесс этот, действительно, только начался, но налицо и другие процессы: пусть медленно, но увеличивается число читателей, меняется их социальный состав. Растет политическое сознание масс, обновляется духовная жизнь страны.

Огромный творческий потенциал великого народа, неисчислимые богатства, донесенные до нас индийским искусством из далекого прошлого, и решимость передовых художников Индии преодолеть трудности созидания новой культуры — все это залог ее прекрасного будущего.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР

НАДЕЖДА И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Имя Фридриха Хитцера, западногерманского писателя и журналиста, в течение многих лет возглавляющего прогрессивный литературный журнал «Кюрбискерн», известно советскому читателю. Его статьи неоднократно печатались в СССР, в том числе и на страницах «Иностранной литературы». Посещая нашу страну, Фридрих Хитцер неизменно бывал гостем редакции.

Эссе, написанное специально для нашего журнала, содержит размышления о некоторых новых явлениях в литературе ФРГ, продолжающих и развивающих лучшие традиции немецкой антифашистской литературы. Писатели, о книгах которых ведет речь автор, за исключением, пожалуй, Мартина Вальзера, одного из крупнейших западногерманских прозаиков,— представители молодого поколения, лишь недавно вступившего в литературу. Некоторые из них уже добились признания у себя на родине и даже за рубежом — например, пьесы Франца Ксавера Крёца получили в ФРГ самую широкую зрительскую аудиторию,— другим это еще только предстоит. Объединяет их всех, как отмечает автор статьи, критическое отношение к существующим в своей стране капиталистическим условиям, стремление изменить жизнь человека к лучшему. Об этом, о трудностях и проблемах, стоящих перед молодой прогрессивной литературой Федеративной Республики, предлагаемые читателю заметки Фридриха Хитцера.

В чужой стране особенно понимаешь — ты неотделим от родины. Литература немецкой антифашистской эмиграции с необычайной ясностью и болью показывает это. И на чужбине такие авторы, как Бертольт Брехт, Анна Зегерс, Иоганнес Р. Бехер, Оскар Мария Граф, Эрнст Толлер, Генрих, Томас и Клаус Манны, Бодо

Узе, Лион Фейхтвангер и многие другие, проникновенно и реалистично писали о людях, городах и деревнях, о природе нашей страны, писали неизмеримо более жизненно, чем вся банда бумагомарак, твердивших о «крови и почве». Именно потому, что преступление геноцида совершалось от имени народа и отечества, все немецкие антифашисты — и эмигранты, и участники внутреннего Сопротивления — должны были постоянно подвергать самой жестокой проверке на прочность свое отношение к собственному народу и родине, заново переживая и осмысляя все, связанное с ними.

Вот строки, в которых Анна Зегерс рассказала о возвращении в Германию: «Мы постоянно думали о своей родине, мы думали о ней во время бегства и в убогих ночлежках, мы думали о ней на кораблях, совершавших опасные рейсы военного времени, и в городах, подвергавшихся бомбежке, мы думали о ней среди развалин, мы вспоминали ее в книгах, написанных нами, и читая книги, написанные другими. Силой воображения мы постоянно воскрешали все столь дорогое для нас. Мы тосковали по нашему языку, а он стал жестким и сухим. На чужбине мы подбирали слово к слову, чтобы не забыть звучания нашего языка. Он облегчал нашу тоску по далекому дому, и тоска стала болью за дом, в который мы вернулись. В наших воспоминаниях родина была цветущей, а в действительности она оказалась теперь суровой и серой». Возможно ли было преодолеть ту опустошенность и безнадежность, которыми улицы встречали возвратившихся? Анна Зегерс описывает, как она была потрясена, когда к ней пришел первый гость. Это был Вильгельм Пик. Она вспоминает о боях на улицах Берлина. Но не о последнем бессмысленном сопротивлении собственному освобождению, а о гордых и упорных боях спартаковцев. Они представлялись ей тлеющими угольками, искрами классового сознания. Для Анны Зегерс было достаточно проблеска надежды, чтобы не утратить веру в будущее. Ее роман «Седьмой крест» — один из прекрасных примеров, человеческих и литературных, того, как можно было, думая тогда о родине, не впадать в отчаяние.

Говорят, замысел романа «Прощание» возник у Иоганнеса Р. Бехера, когда он смотрел фашистскую кинохронику. Ее кадры свидетельствовали, сколь велик казался энтузиазм молодежи из гитлерюгенда. И в этом энтузиазме при всех демагогических преувеличениях, не чувствовалось наигрыша, почти не угадывалось приказа. Одним из мотивов романа Бехера стали размышления автора о собственном жизненном пути. Не могло ли так случиться, спрашивал он себя, что под влиянием родителей, учителей, навязанных ему убеждений он стал бы таким же восторженным членом гитлерюгенда? Почему же Бехер не пошел по этому пути? Что привело его в ряды противников фашизма и милитаризма, на сторону революционного рабочего движения? И может ли роман помочь другим людям осознать свои ошибки?

Для кого я пишу? Что хотят читать мои соотечественники? Могу ли я добиться отзвука в их душах своими произведениями? Эти вопросы не новы. Как задавали их себе в свое время писатели-антифашисты, так задаются ими сегодня и те, кто продолжает и развивает их традиции. Но не новость и то, что произведения прогрессивных писателей Запада, которые стремятся писать прежде всего для трудящихся, мало читаются теми, для кого они предназначены. Во времена Веймарской республики рабочее движение располагало газетами с большими тиражами, иллюстрированными журналами, имело самостоятельную издательскую программу, руководило объединениями читателей. Тем не менее Бехер в статье, написанной в 1931 году, констатировал: «Общий оборот всей книготорговли за 1930 год достиг 600 млн. марок, не считая газет и журналов. Пролетарские же издательства имели оборот 6 млн., то есть один процент от общего оборота. Тираж книг Куртс-Малер [1] достиг 22 млн. экземпляров». Чем определяются сегодня у нас в стране трудности распространения прогрессивных литературных произведений? Неужели читатели не хотят услышать правду о себе и об условиях своей жизни? Неужели они предпочитают, чтоб их отвлекали от правды? Почему демагоги, подобные Штраусу, имеют нередко у нас в провинции успех больший, чем немцы, которые выступают, пишут, действуют в интересах демократии и прогресса? Очевидно, прежде всего потому, что для последних закрыт доступ к средствам массовой информации. И именно их мысли изо дня в день искажаются, а широкие слои общества просто-напросто вводятся в заблуждение. Но не меньшие трудности прогрессивные авторы испытывают и в тех случаях, когда им удается выступить перед массовой аудиторией.

«Нация из экс-нацистов и их приспешников опять занимается своим любимым спортом — травлей коммунистов, социалистов, гуманистов, левых, инакомыслящих». Весной 1976 года эти строки известного писателя Альфреда Андерша [2] вызвали реакцию, напомнившую времена гитлеровского фашизма. Стихотворение, из которого они процитированы, «Параграф 3/3» не столько рисует уже существующее состояние, сколько определенные настроения и ситуацию, которая может возникнуть. Андерш не имеет в виду всю нацию. Ведь преследуемые тоже немцы! Значит ли это стихотворение, что Андерш отдает понятие «нация» и все, что с ним связано, правым? Никоим образом! Его поэ-

[1] Куртс-Малер Гедвиг (1867—1950) — автор многочисленных низкопробных романов, поставщица мещанского чтива. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Имеется в виду стихотворение, в котором разоблачается преследование лиц, придерживающихся прогрессивных взглядов в ФРГ. Подробнее о нем см. в статье В. Иерусалимского, опубликованной в «ИЛ» № 10, 1976 год.

тический вызов — предостережение. Предостережение от всякого рода заблуждений, в том числе и заблуждений, связанных с понятием «нация».

Можно сказать, что творчество Франца Ксавера Крёца от таких заблуждении свободно. Писать побудило его пережитое, сострадание к тем, кому трудно добиться человеческих условий существования и кто не может осознать, почему так тяжело живется. Пьесы Крёца нельзя упрекнуть в том, что их автор полон иллюзий в отношении людей из народа. До тех пор, пока у них нет ориентиров, пока они не организованы, их жизнь идет по роковым образом предначертанному пути.

Но какими бы беспомощными, немыми и тупыми ни казались внешне персонажи Крёца, их суть, их желания оказываются другими. Автор выводит их на сцену со свободной уверенностью в своих силах. Эта уверенность определяется не только его одаренностью в области стиля, его умением употреблять распространенные обороты народного языка, не только эмоциональной окраской речи, близкой всем южным немцам, которые говорят на баварском диалекте, даже не той естественностью, которая определяет действия персонажей в их собственной среде и в их собственном краю, нет, его свободная уверенность основывается на реалистическом понимании самой сути человеческих образов. Это проявляется и в тех случаях, когда он, что заметно на примере его последних произведений, показывает персонажей в перспективе их развития.

В конце пьесы «Гнездо», в тот самый момент, когда Курту, главному герою, не удается самоубийство, у него возникает проблеск надежды, надежды на помощь профсоюза. Для Курта это огромный шаг вперед. Подобный шаг, думается мне, был бы невозможен, если бы сам автор не проделал политического развития в рядах ГКП Тем не менее мне кажется, что и персонажи более ранних произведений Крёца, которые не обладают таким чувством перспективы, все же заставляют зрителя задуматься, каким человечным может стать будущее. Ситуации, изображаемые Крёцем, нередко безысходны, они свидетельствуют, насколько гнетут людей условия, существующие в нашей стране. Образы, созданные Крёцем, раздвинули пределы нашей литературы, охватив широкий социальный и личный опыт. Крёц изображает «маленького человека» (его не следует отождествлять с мелким буржуа) в определенных жизненных условиях, и хотя у Крёца нет иллюзий насчет своего героя, автор стремится оставить зрителя не в безнадежности, но дать ему надежду.

Новые тенденции проявились в последнее время и в молодой западногерманской прозе. Герои романов, авторы которых называют программой своего творчества реализм, не поют народных песен. Они скептически относятся к пословицам и стихам в народной манере. У них трудные отношения с родителями и с большей частью старшего поколения. Истоки родины они ищут в другом. Таковы журналист в романе Герда Фукса «Берингер и долгий гнев», студент из «Жаркого лета» Уве Тимма, художник-график в книге Роланда Ланга «Суп из акулы», рабочий в романе «Хлеб с напильником» Кристиана Гайслера.

Со средним и старшим поколением литераторов нашей страны их роднит горечь, порождаемая окружающим миром: они не принимают прошлого, как не принимают оправдывающих его речей. Это сближает молодое поколение с Альфредом Андершем, Вольфгангом Кёппеном, Мартином Вальзером, Зигфридом Ленцем, ранним Гюнтером Грассом. В их творчестве можно найти параллели с книгами прозаиков, о которых у нас в подобной связи давно не вспоминают. Я имею в виду Ганса-Эриха Носсака, Фрица фон Унру, Гюнтера Вайзенборна, Ганса Генни Яна, Арно Шмидта в определенный период его творчества.

Но в отличие от старших молодые не ограничиваются установлением диагноза, не останавливаются на альтернативе без решения. Они ищут выхода. И они больше не хотят действовать в одиночку. Они ищут союзников. И находят их. Это их соотечественники, живущие не где-то вообще, а в местах, которые они хорошо знают, и теперь, открывая заново, видят в новом для себя свете.

Если не считать рабочего Алерса в романах Кристиана Гайслера «Холодные времена» и «Хлеб с напильником», чье будущее еще не определилось, то студент Краузе, журналист Берингер, художник-график Ронге ясно видят выход. Все они более или менее определенно говорят, что ориентируются на коммунистов, и это соответствует реальной действительности. Они совершили выбор в тот период существования Федеративной Республики, когда в ней наметились новые политические и организационные фронты, начали действовать новые молодые силы.

Большая часть этого поколения достаточно много времени потратила на яростные дискуссии, на ожесточенные упреки по адресу существующей системы, на неумелые действия. Теперь они переросли прежние наивные представления о соотношении сил в обществе. Рабочих, учеников с предприятий, студентов и школьников, служащих и интеллигентов не удовлетворяют навязываемые им оценки существующих социальных условий. Они достигли новой общественной позиции, исходя из которой такие персонажи, как Алерсы, Краузе, Берингеры и Ронге, хотят добиться в собственной стране более достойных человека условий существования. Эти литературные герои стоят на стороне рабочего класса и его организаций. Таковы — в эстетическом и социальном плане — новые качества этой прозы.

Герои этих книг сознательно выбирают общественную позицию, они осмысляют и оце-

нивают собственное происхождение, которое до сих пор их мало занимало. Их опыт можно живо представить себе и в социальном и в индивидуальном аспекте, их выбор определился прежде всего теми процессами, что происходили в их сознании.

Журналист Беринге из романа Герда Фукса понимает: прежде чем принять окончательное решение, он должен еще раз повидать своих стариков. Но и теперь он не выдерживает дома долго. На обратном пути из родного городка в Гамбург он мысленно восстанавливает прошлое, вспоминает, как был счастлив с девушкой из своего квартала, среди его обитателей — рабочих, с которыми его отец-прокурист не желал иметь ничего общего. Он сочувствует и жалеет постаревшего отца, но уже ничего не может ему объяснить. Их мирное расставание — необходимая предпосылка, чтобы начать новый путь.

Беринге знает: воспоминания помогают ему определить новые ориентиры и лучше разобраться в собственном прошлом. В нем зарождается желание начать борьбу за лучшее будущее своей родины — то, о чем он раньше не мог и помыслить. Подобно Беринге, Филипп Ронге и Ульрих Краузе, делая выбор, тоже связывают его с воспоминаниями о прошлом, с выводами из своего опыта, который они прежде, под воздействием воспитания, оценивали иначе или старались вообще вытеснить из сознания.

В каждой из этих биографий проглядывает кусочек той надежды, на которую опиралась Анна Зегерс, создавая «Седьмой крест». Для того чтобы эти молодые герои определили свою социальную и национальную сущность, обрели веру в самих себя, они должны были узнать и о существовании немцев, подобных героям этого романа, о борцах-антифашистах, которыми они имеют право гордиться и чье существование от них — и это очень характерно — долго скрывали.

Теперь можно сказать с уверенностью: эти молодые люди совершили свой выбор сознательно. И истоки этой сознательности — в политической позиции авторов, определяющей политическую позицию их героев. Багаж их таков, что им еще предстоит вдоволь помучиться со множеством противоречий, предусмотреть которые заранее невозможно. У них есть опыт, есть понимание закономерностей окружающей действительности. Но обладают ли они, кроме того, еще терпимостью и терпением? Это ведь тоже нужно, чтобы понять людей из народа, людей, которые правильно думают, но неправильно поступают. И тех, которые правильно поступают, но неправильно думают.

В поэзии сегодня средством приблизиться к жизни народа, средством ее «демократизации» является для многих авторов местный диалект. Гюнтер Хербургер пишет изысканные стихи на литературном немецком языке. Читая их, представляешь себе совсем другого автора, вовсе не похожего на того, чьи стихи, написанные уже в народной манере, с элементами диалекта, находят широкий отклик там, где понимают швабское наречие. Писатель так определил возможности произведений, созданных на диалекте: «Тот, кто в социальном отношении находится внизу, гораздо смелее выражает себя на диалекте, чем на литературном языке, предполагающем образование».

Если диалект помогает писателю постичь народ во всей его многогранности, что и в самом деле заметно в лучших произведениях, то, с другой стороны, стремясь к демократизации исключительно таким путем, легко можно впасть в провинциализм. Песни Гейне, написанные на прекрасном литературном языке, вовсе не предполагают высокообразованного читателя. То же можно сказать и о Мёрике и Гервеге.

Центральная проблема в лирике, как, впрочем, и в прозе и драматургии,— не лингвистическая проблема. Это отнюдь не проблема существующих в немецком языке барьеров между диалектными наречиями и литературным языком. Основная проблема литературы — это широта и глубина опыта, широта и глубина конфликтов данной социальной и национальной действительности во всем их своеобразии. Уже не раз говорилось и писалось, что именно реализм создает необходимую поэтику и открывает самые широкие возможности для этого.

Если авторы названных выше «романов воспитания» пока что не очень часто обращаются к образам людей из народа, упрекать их в этом не следует. Напротив — наряду с особенностями восприятия, — это следствие тех объективных и субъективных границ, в которые поставлены их герои. Требовать от писателей, чтобы они выводили других персонажей и по-иному о них рассказывали,— значит не считаться с тем, что писатели не могут перепрыгнуть через собственную тень, подобно тому как их герои не могут по собственному произволу выбрать окружающую среду.

Вот почему не следует противопоставлять этому «ограниченному» миру ту историческую полноту, из которой Август Кюн черпает материал для рассказов о жизни мюнхенского рабочего района Вестэнд в своей книге «Время восставать». Или жизненность, что присуща героям баллад Франца Йозефа Дегенхардта, широту социального опыта романов Макса фон дер Грюна или правдивые свидетельства произведений, созданных в «Рабочих литературных мастерских». Что касается главных проблем нашего времени, то такие посвященные им произведения, как «Винтершпельт» Альфреда Андерша или «Эстетика сопротивления» Петера Вайса, способствуют дальнейшему развитию нашей реалистической прозы. В обоих произведениях подкупает проникновенность и бесстрашие авторов в воплощении интернациональных и национальных конфликтов. Я подразумеваю под этим и эстетические нормы реализма, и само стремление писателя воспроизвести действительность в многообразии ее взаимозависимостей.

Писатели-реалисты не могут произвольно выискивать в действительности героев или

отказываться от них в соответствии со своими умозрительными представлениями. Мартин Вальзер высказывал подобное мнение не только во многих дискуссиях, но и подтверждал своим творчеством. Язык его прозы и его драматургии становится особенно понятен, если видишь в его произведениях изображение конфликтов, присущих его собственной стране и отражаемых в развитии. Национальное в этом произведении неотделимо от местного, регионального. Мартин Вальзер создал своего рода энциклопедию осмысленных художником личных и общественных противоречий в Федеративной Республике. Его герои, такие, как Ансельм Кристляйн (трилогия «Половина игры», «Единорог» и «Крушение»), Йозеф Галлистль («Болезнь Галлистля») и в последнее время Франц Горн («По ту сторону любви»), надеются, что смогут в условиях капиталистического общества создать, по крайней мере для себя самих, жизнь, более достойную человека. Они соблюдают все правила игры, и тем не менее их жизни разрушаются, подтачиваются изнутри, уничтожается сама основа их существования. Кристляйн перепробовал все возможности, которые открывались перед ним в этих условиях. Он был представителем торговой фирмы, писателем, служащим. Убедившись, что для него нет выхода, он покинул родину и погиб. Галлистль, переболев смертельно опасной формой индивидуализма, пробился к новой надежде. Ему помогают новые друзья, люди, названные поименно. Это коммунисты. Он пытается сблизиться с ними, едет в своей машине туда же, куда они. Читателю ясно, что он уедет недалеко по дороге, полной выбоин. Галлистль еще слишком занят самим собой. Сможет ли он по-настоящему оценить своих новых друзей? Не грезит ли он о мире, свободном от конфликтов? Не останется ли он поэтому подверженным той самой болезни, от которой стремится избавиться?

В книге «По ту сторону любви» писатель снова возвращается к этой теме. Франц Горн оказался в безвыходном положении. Оно — результат дилеммы, стоящей перед людьми, которые мечтают о новой перспективе для себя и для своей страны и которые не в состоянии эту перспективу реализовать. Галлистль был еще полон надежд на лучшее. Гибель же Горна предопределена.

Безнадежность, которую ощущает Горн, это не только его личный вывод из собственного существования. Он хорошо знает судьбы окружающих. В противоположность К. из романа Кафки[1] Горн несет в себе социальный протест. И он думает и существует не в таком абстрактном пространстве, как герой Кафки. Горн — человек здешний.

Определение «здешний» часто употребляет Мартин Вальзер в своих произведениях и речах. Кажется, что он ищет точнейший синоним к слову «своеобразный» и, чтобы выразить это «своеобразие», не поддающееся словесному обозначению, хочет определить нечто, повсеместно присутствующее и все же незаметное.

[1] Имеется в виду Йозеф К., главное действующее лицо в романе Ф. Кафки «Процесс».

Языковую виртуозность Вальзера часто по недоразумению принимали за формализм. На самом же деле она — точнейшая и предельно разработанная техника, применяемая им для того, чтобы выразить свой опыт не только логически, чтобы изобразить развитие не только как нечто запрограммированное, но и воплотить в сложнейших душевных движениях, в душевных срывах, в признаках человеческого самоотчуждения. И разве это отступление от реализма, если образ Франца Горна заключает в себе не больше перспективы, чем ее дает социальная действительность Федеративной Республики? Почему же здесь так много людей, позволяющих связать себя с господствующими порядками? Почему они покоряются своей судьбе, почему мирятся с бесчеловечностью, ложью и обманом, со всем тем, что уродует их физически и духовно, почему мирятся со все возрастающей неспособностью к любви и счастью? Почему лишь немногие восстают против этого?

Разве Мартин Вальзер на примере Кристляйна не разыграл всевозможные варианты и не рассказал, что происходит с таким человеком, как Горн, у которого нет больше сил, чтобы вырваться из враждебных человеку условий существования? Франц Горн — это не возвращение к тому, что уже было сказано. Его опыт свидетельствует, как, подобно лабиринту, запутаны и опасны пути, если по ним шагает человек, стремящийся к выходу, но не знающий, как дойти до него.

Кульминация в истории Горна — попытка к самоубийству. «Она — акт в жизни человека, вовлеченного в заранее предначертанный и необратимый процесс самоотчуждения. Процесс утраты собственной личности, в конце которого возникает как заключительный акт самоубийство, равносильное предумышленному убийству» (Герд Фукс). Своему К. Кафка по крайней мере позволил покончить самоубийством. Для Горна и самоубийство не является выходом.

В книге «По ту сторону любви» Мартин Вальзер, однако, изобразил не только страдающего, пережившего тяжелый душевный кризис Горна, здесь выведены и ловко лавирующие прислужники господствующей системы. Не случайно Райх-Раницкий и Кайзер[1] столь раздраженно реагировали на разоблачение в этом романе того общественного порядка, которому они служат. Они почувствовали, что эта книга ловит их на месте преступления как исполнительных чиновников господствующей системы.

Свидетельствует ли окончательный опыт, накопленный Горном, что это общество больно безнадежно и не поддается исцелению? Действительно ли эта страна не имеет будущего? Отвечает ли такое утверждение той картине, которую создают герои Герда Фукса, Уве Тимма, Роланда Ланга, Кристиана

[1] Западногерманские литературные критики, известные своими консервативными взглядами.

Гайслера — те, кто, каждый на свой лад, находит выход из духовной, социальной и политической изоляции? Если принять во внимание состояние большей части западногерманского общества, то Франс Горн—типичнее и в большей степени отражает существующее положение, чем, например, Беринтер. Но разве он потому более реалистичен, чем персонажи, преисполненные веры в будущее своей страны? По моему мнению, разные литературные герои не исключают друг друга: они отражают важные стороны действительности во всей противоречивости. В них звучит надежда и предостережение, они воплощают в себе перспективы и тупики. Для Беринтера окружающая действительность столь же невыносима, сколь и для Горна. Он начинает активно действовать, желая изменить этот мир и зная, как его можно изменить. Горн тоже хотел бы, чтобы этот мир стал другим. Но он не может сделать из этого последовательных выводов и не делает их. Люди, подобные Беринтеру и его товарищам-коммунистам, безусловно, могли бы разбудить в Горне способности, о которых он сам не подозревает, ибо никогда не связывал свой собственный опыт с опытом истории. Его судьба имеет не только местное значение. Коммунист — председатель профсоюза Гейнц Мур представляет собой в известном смысле единственную альтернативу для Горна. Заостряя формулировку, можно сказать, что существование Гейнца Мура означает для Горна возможность выбора между уходом из жизни или другой жизненной перспективой. Во всяком случае, автор заставляет читателя задуматься над всем, что связано с этим выбором.

...Это было на митинге солидарности с Вьетнамом, когда правительство США довело эскалацию бомбардировок до самого порога атомной войны. Вьетнамец, который привез из джунглей Южного Вьетнама в Лейпциг документальный фильм о борьбе своей родины, сказал мне: «У вас, в ФРГ, вам особенно трудно». Я хорошо запомнил его слова: «Вы живете на неосвобожденной земле. Ваша родина еще не принадлежит народу».

Перевод с немецкого Э. Л.

◆

Б. ГИЛЕНСОН

«Я ТОЖЕ — АМЕРИКА»

К 75-летию со дня рождения Ленгстона Хьюза

Как находит поэтов слава? Порой самым непредвиденным образом Так случилось с Ленгстоном Хьюзом в бытность его мойщиком посуды в одном из нью-йоркских отелей. Однажды среди посетителей оказался поэт Вэчел Линдсей: он должен был читать свои стихи в концертном зале. Хьюз хотел его послушать, но «цветных» в зал не допускали. Тогда он положил на стол Линдсея несколько своих стихотворений, переписанных от руки Стихи понравились. Линдсей тут же продекламировал их вместе со своими. А потом опубликовал в газете сопроводив заметкой о талантливом поэте-негре, вынужденном работать в ресторане.

Так начался путь Хьюза к славе. Вскоре вышел первый сборник его стихов «Грустные блюзы» (1926) — зазвучал оригинальный, сильный поэтический голос.

С той поры прошло полвека. Сегодня Ленгстон Хьюз (1902—1967), которому в феврале 1977 года исполнилось бы семьдесят пять лет, — признанный классик. В числе немногих черных авторов он допущен на страницы академических антологий.

Уже после смерти Хьюза началось серьезное изучение его творчества. Первую монографию о нем опубликовал в 1967 году поэт и критик Джеймс Эманьюэл. Вышел специальный номер прогрессивного журнала «Фридомуэйз», посвященный памяти Хьюза: статьи, воспоминания о нем, стихи, обращенные к ушедшему поэту.

Хьюз был художник плодовитый, универсальный: поэт и романист, драматург и новеллист, критик и переводчик, собиратель фольклора и составитель антологий, автор книг для детей и популярных работ по истории и культуре американских негров, либреттист и журналист. И все же с наибольшей полнотой самобытность таланта Хьюза проявлялась в стихах.

Нет нужды говорить о главных вехах его долгого пути: о них уже немало писала критика, в том числе и советская Важнее, на наш взгляд, отрешившись от «хрестоматийного глянца», увидеть в Хьюзе не просто фигуру, занимающую прочное место в истории американской литературы, а художника — живого, современного Вспомнить о том поучительном в его художественном опыте, что обращено к актуальным проблемам негритянской литературы США, к тем спорам и дискуссиям, которые ведут сегодня его собратья по перу.

«КТО ЖЕ МЫ ТАКИЕ?»

Интерес к Ленгстону Хьюзу особенно понятен на фоне того «черного бума», который стал ныне своеобразной приметой

культурной жизни в США[1]. Не ослабевает поток «блэк стадиз» — исследований, посвященных самым различным аспектам истории американских негров, их творческому вкладу.

Налицо не только стремительный количественный рост «блэк стадиз», но и новый подход к материалу. Поколеблены многие предвзятые представления о негритянской литературе США, которые десятилетиями насаждала академическая критика Критики, зараженные белым национализмом, «выводили» американскую литературу из англосаксонской традиции, практически не учитывая вклад в нее негров, индейцев, чиканос. Считалось, что черные авторы, будучи «ангажированными», не могут создать произведения, интересные с эстетической точки зрения. Негритянская литература если и рассматривалась, то вообще, словно творцы ее однородны, лишены каких-либо социально-классовых различий. Долгие годы ведущие американские издательства, за редкими исключениями, игнорировали литераторов-негров, искусственно отгораживая их от широкой читающей публики и обрекая на пребывание в некоем «литературном гетто». Об этом не раз с горечью писал Ленгстон Хьюз.

Нельзя, конечно, забывать и о том, что на развитии негритянской литературы и искусства в течение длительного времени сказывались самым отрицательным образом как угнетенное положение негров, так и те «имиджи» — стереотипы и шаблоны,— которые прочно укоренились в культурной сфере, будучи продуктами расистской идеологии. То исподволь, то открыто в сознание негров внедряли своеобразный «комплекс неполноценности».

И хотя антирасистский пафос, осуждение дискриминации с ее бесчеловечностью всегда одушевляли прогрессивную литературу США, жизнь черных американцев представлялась большинству писателей поистине землей неведомой. Исследуя этот вопрос, критик Сеймур Гросс в сборнике статей «Образы негров в американской литературе» (1966) констатировал: «Американская литература (за такими похвальными исключениями, как Мелвилл, Твен, Кейбл и особенно Фолкнер) замыкала художественный образ негра в жесткие рамки таких категорий, как: довольный раб, грубый ниггер, комический негр, трагический мулат, экзотический примитив. Подобные стереотипы, приятные или, напротив, унизительные, отмеченные печатью преувеличения или искажения, вольно или невольно служат оправданием расового беззакония».

Как не вспомнить здесь проницательного и остроумного американского писателя Синклера Льюиса, который в романе «Кингсблад, потомок королей» (1947), каталогизируя разные оттенки прописных истин американского расистского кредо, завершал свой перечень грустной сентенцией: «Если писатель изображает негра, который говорит и действует как нормальный американец, значит, этот писатель либо неосведомленный северянин, либо изменник, замысливший уничтожить цивилизацию».

Прав был Стерлинг Браун, известный поэт и историк негритянской культуры, писавший: «Негр сталкивался с величайшей несправедливостью в американской литературе — так же как и в самой американской действительности».

Обретение негритянской литературой США зрелости — здесь роль Ленгстона Хьюза особенно значительна — было связано с настойчивыми поисками подлинной самобытности, с нелегким противодействием давлению шаблонов и предрассудков. Особую рельефность приобрел сложный процесс интеллектуальной эмансипации черной литературы.

Деятели негритянской культуры не желают более быть просителями со шляпой в руке. Они упорно стремятся «понять себя», свои особенности, определить свои культурные и исторические корни. Эти вопросы, пусть по-разному решаемые, волнуют сегодня таких крупных, несхожих художников, как Джеймс Болдуин и Джон Килленз, Лерой Джонс и Ральф Эллисон. Предлагая разные пути и средства, они ратуют за расовое равноправие, подчеркивая: негр — не «белый человек, носящий черную маску», он должен осознать свою сущность именно как темнокожий американец. В интересной, хотя и не лишенной националистских акцентов, книге «Бремя черного человека» (1965) Килленз, обращаясь к белым американцам, писал: «...мы боремся не за расовое единообразие, а за расовое равенство, против предрассудков и дискриминации».

В этой борьбе приходится сталкиваться и с новыми антинегритянскими шаблонами: средства массовой информации, в частности телевидение и кино, спекулируя на черной тематике, изобрели стереотипы «суперниггеров» — «черных сверхчеловеков», гангстеров, «героев» негритянского дна. Вот почему столь актуально звучит призыв Килленза «дениггеризировать» литературу и искусство.

Каков же он, подлинный мир черного человека? «...Американские негры отчаянно ищут самих себя, — пишет Ральф Эллисон. — Ищут ответа на вопрос: «Кто же мы такие?» Развивая свою мысль, Эллисон пишет об особом положении негра как личности, веками угнетаемой, а потому лишенной своего «я», своей индивидуальности, превратившейся, по его же меткому выражению, в «перемещенное лицо американской демократии». Еще Уильям Дюбуа отмечал, что негр обладает как бы «двойным сознанием» и выступает словно в двух ипостасях: с одной стороны, он американец, с другой — темнокожий, то есть

[1] См. статью Б. Гиленсона «Черный бум. Искусство и стереотипы» в «Иностранной литературе» № 9, 1976. *(Здесь и далее — прим. ред.).*

человек, пребывающий во враждебном ему мире.

Американским писателям, в том числе и писателям-неграм, удалось художественно запечатлеть важнейшие грани проблемы. В их книгах с большой силой звучат мотивы одиночества и «безымянности», их населяют нередко гротескные фигуры людей — «теней», «масок», для которых мир — «тюрьма». Эллисон дал своему роману крылатый заголовок «Человек-невидимка» (1952); многозначительны и названия публицистических книг Болдуина: «Никто не знает моего имени» (1961) и «Имени его не будет на площади» (1972).

И еще одна отличительная особенность негритянской трагедии уловлена современной литературой: в судьбе темнокожего американца в концентрированном виде воплощены те противоречия и конфликты, которые раздирают сегодняшнюю Америку, а может быть, и весь капиталистический мир.

Об этом писали и Роберт Пенн Уоррен, считавший, что негр в США — «прообраз человеческой судьбы вообще», и, конечно же, Ричард Райт, увидевший в нем некоего «гротескного всечеловека», обреченного на страдания В книге «Белый человек слушай!» (1957) Райт предложил следующую формулу, не лишенную, правда, экзистенциалистского налета: «Жизнь негров — это существование. поднятое до высот подлинного пафоса и страдания, драматизма и трагедии. История негров в Америке — судьба самой Америки, написанная кровью... Негр — метафора, выражающая сущность Америки».

Конечно, ныне острота выступлений негров по сравнению с 60-ми годами несколько ослабла. Своей борьбой темнокожие американцы добились определенных успехов, в частности принятия законов против явных форм дискриминации и сегрегации. Однако сама негритянская проблема во всей ее сложности отнюдь не снята с повестки дня. Вместе с тем в 70-е годы на первый план, наряду с экономическими и политическими требованиями, выдвинулись вопросы духовной эмансипации негров

Следует подчеркнуть, что сегодняшние жаркие споры о негритянском характере, о путях его художественного воплощения, имеют давнюю историю. Вспыхивали они в 40-е и в 30-е годы, но начало их, пожалуй, можно отнести к 20-м годам — к тому времени, когда выступил Ленгстон Хьюз. Он горячо отозвался на эти дискуссии — и как критик, и как публицист, а главное, как художник — своим творчеством. Его открытия не только важны, но и глубоко поучительны.

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО МЫ ПРЕКРАСНЫ»

В американской критике стало общим местом проводить параллели между двумя этапами в развитии негритянской литературы США: так называемым гарлемским, или негритянским, ренессансом 20-х годов и вторым негритянским ренессансом — так порой определяют ее подъем в 60—70-х годах. Действительно, точек соприкосновения, общих мотивов немало прежде всего в художественном выражении мироощущения черного человека.

В десятилетие, последовавшее за первой мировой войной, Америка также пережила некое подобие «черного бума». Духовный голод, вызванный ущербностью буржуазной культуры, обусловил особую тягу ко всему необычному, экзотическому Настал «век джаза», вся страна упивалась новыми кумирами — Луисом Армстронгом и Дюком Эллингтоном. Негритянское искусство входило в моду, ему покровительствовали, о нем писали.

В начале 20-х годов заявила о себе целая плеяда талантливых молодых поэтов, критиков, эссеистов. Это были соратники Хьюза — Клод Маккей, Джин Тумер, Стерлинг Браун, Каунти Каллен. Их лучшие произведения позднее вошли в антологию Алена Лока «Новый негр» (1925), ставшую самым ярким художественным документом негритянского ренессанса Ленгстон Хьюз представлял в этом далеко не однородном явлении демократическую, прогрессивную тенденцию

В 1926 году Хьюз напечатал статью «Негритянский художник и вершина расы», которой суждено было сделаться своего рода литературно-эстетическим манифестом. «Мы, молодые негритянские художники... хотим выразить наше негритянское «я» без страха и стыда, — писал он. — Если белым это нравится, мы рады. Если нет, для нас это не имеет значения Мы знаем, что мы прекрасны.. » Само выдвижение этого тезиса отразило важный этап в нелегком процессе становления самосознания американских негров. Пожалуй, здесь — исток тех долгих идейно-эстетических поисков, которые позднее, в 60-е годы, привели к рождению лозунга: «Черное — это прекрасно».

Уже в первых поэтических сборниках «Грустные блюзы» (1926) и «Хорошие вещи в закладе» (1927) Хьюз, как и другие поэты негритянского ренессанса, бросал вызов расхожим стереотипам, всем разновидностям «дядей Томов», которые столь упорно насаждала в Америке так называемая «традиция плантации». В своих выступлениях тех лет Хьюз призвал отказаться от сентиментально-филантропического подхода к негритянской проблеме во имя объективного исследования, взглянуть на негра не со стороны, а изобразить его изнутри, проникнуть в его внутренний мир.

Стремясь «художественно запечатлеть образ жизни негров в Америке», Хьюз открыл новую, дотоле неизведанную сферу. В его стихах не было привычного «хлопкового» Юга, он стал поэтом-урбанистом, «бардом Гарлема», избрав своим лириче-

---

ским героем представителя негритянских городских низов. «Черная столица» сделалась для Хьюза средоточием тех жизненных, социальных, нравственных проблем, которые волновали его собратьев. И он был не только их поэтическим голосом, выразителем их настроений и чаяний, но и учителем. Поэт много ездил по стране, читал лекции, стихи, которые потом звучали в негритянских школах и церквах.

Хьюз поэтически воссоздал разные лики Гарлема. В ранних стихах он порой отдавал дань негритянской экзотике, модному джазу, ночной жизни кабаре. В дальнейшем главной темой его поэзии становится гарлемская повседневность. Здесь, в Гарлеме, встретил он героев своих стихов: «судомоек, горничных, лифтеров, кухарок, оркестрантов, официантов, нянек, портовых грузчиков, безработных, игроков, бродячих актеров, музыкантов из цирка». Без ложной романтизации писал поэт о труде простых людей.

Сравним образ «коричневой девушки» у Каунти Каллена, фигуру, во многом книжную, условную, с «черной девчонкой» Хьюза, веселой, разбитной, полной жизни, — и станет ясна особенность хьюзовского отношения к действительности. Критикам-эстетам, которые именовали поэта «обитателем сточных канав» и «низкопробным певцом Гарлема», он отвечал: «Мои стихи грубы. Но такова жизнь Я пишу об уличных женщинах и пьяницах. Но они человечны. Соломон, Гомер, Шекспир и Уитмен не стеснялись говорить о них».

Стихи Хьюза разнообразны по эмоциональной окраске, в них сочетаются и радужные, и комические, и горькие тона Его лирический герой предстает в самых разных — то драматичных, то обыденных — ситуациях. Создавая его, Хьюз оспаривал стереотип негра, «беззаботного сына природы». В рекламной улыбке негра поэт видел маску, скрывающую острый трагизм существования, форму самозащиты от социальной несправедливости.

Юмор Хьюза — особый, нередко пронизанный горечью. Основа его блюзов — контрасты, в них, по словам самого поэта, «иронический смех смешан со слезами» А первый автобиографический роман Хьюз назвал «Смех сквозь слезы» (1930) Позднее он выпустил сборник новелл «Смеяться, чтобы не заплакать» (1952)

Мотив этой «двойной маски» звучит, например, в стихотворении «Шут»:

В одной руке —
Трагедия.
В другой руке —
Комедия.
Две маски моей души
. . . . . .
Слезы мои оборачиваются смехом.
Смех — болью моей.

(Перевод В. Бетаки)

В таком шутовстве действительно немало грусти.

Герой Хьюза воплощается во множестве эпизодических лиц. Но писатель стремится к художественному синтезу, ищет образ, который главенствовал бы над всеми его созданиями. Им стал Джесси Симпл, персонаж нескольких сотен газетных колонок (позднее собранных в четыре книги), первая из которых появилась в 1943 году на страницах «Чикаго дифендер»

Доброе десятилетие вел Симпл свои диалоги с писателем. Типичный гарлемец, неподражаемый философ, «простак» (вспомним его дальнего литературного предтечу Симплициссимуса), он как художественный образ обладает подлинной народностью и эпичностью. В нем запечатлены общие особенности хьюзовского подхода к человеческому характеру. И если Ричард Райт (Биггер Томас в «Сыне Америки»), Ральф Эллисон (протагонист в «Человеке-невидимке»), Джеймс Болдуин (Руфус Скотт в «Другой стране») акцентируют в своих героях гротескность, чудаковатость, в сущности, отклонение от нормы (что в конце концов совпадает с распространенным в США представлением о неграх как о «необычных» людях), то Хьюз избегает сгущения красок.

Его Джесси Симпл — не «сверхупрощенный клоун» и не ангел, лишенный сложности (именно на эти две крайности в произведениях некоторых литераторов-негров указывал в свое время Ральф Эллисон), он подан без ложной идеализации — отнюдь не безупречный семьянин, любитель выпить и поразвлечься, наделенный в то же время народным здравым смыслом. Жизненные наблюдения его необычайно точны, остры и порой афористичны критические оценки темных сторон американского образа жизни.

Может быть, именно Симпл принес Хьюзу самую большую творческую радость. Многие тысячи читателей его газетных колонок не просто полюбили Джесси Симпла. Они стали воспринимать его как живое лицо, отказываясь видеть в нем лишь литературный персонаж. С их точки зрения, Ленгстон Хьюз знал этого человека и лишь добросовестно фиксировал его суждения...

«НАМ НУЖНЫ ГЕРОИ»

Однако представить Ленгстона Хьюза лишь талантливым бытописателем жизни негритянских низов — значило бы обеднить его художественный мир. В его наследии видное место занимает и героическая, интернациональная тема. Именно она намеренно затушевывается буржуазными критиками, которые пытаются закрепить за Хьюзом образ весьма умеренного писателя, некоего культуртрегера, холодноватого литературного мэтра. Стихи Хьюза, пронизанные бунтарским, революционным духом, «изымаются» из его официального канона как некая малозначительная страница биографии

А между тем речь идет о существеннейшем аспекте творчества поэта. Об этом напомнил вышедший посмертно сборник

Ленгстона Хьюза «Доброе утро, революция. Несобранные произведения социального протеста» (1972). Он пролил новый свет на утаенную сторону его обширного наследия. В сборник вошли многочисленные произведения Хьюза — стихи, статьи, рассказы, которые при жизни писателя публиковались в основном в левых малотиражных изданиях. Они не включались в его избранные сочинения, почти не исполнялись со сцены, особенно во времена «холодной войны» и маккартизма. Автор предисловия к сборнику Сондерс Реддинг (его называют «старейшиной негритянской критики») приводит факты, о которых умалчивают многие исследователи творчества Хьюза: выдающийся поэт подвергался травле, его произведения были изъяты из библиотек зарубежных американских культурных центров. На публичные выступления Хьюза приносились плакаты с надписями «предатель», «красный», «прокоммунист»...

В сборнике особенно ярко представлено творчество Ленгстона Хьюза периода «красных тридцатых», когда поэт активно участвовал в рабочем движении страны. Но, как подчеркивает редактор сборника Фейт Берри, «социальные и политические идеи, которые Хьюз отстаивал в 30-е годы, можно проследить уже в его ранней поэзии... Проявляются они и в его позднем творчестве, то есть во времена, когда стало затруднительно высказывать подобные мысли открыто». Нельзя не согласиться с Сондерсом Реддингом: сборник помогает восстановить «подлинный характер гения Хьюза, который маститые, но недостаточно сведущие критики и историки литературы игнорировали, затемняли или намеренно искажали.. Хьюз был революционным писателем и поэтом».

Тогда, в пору «красных тридцатых» в литературу пришел, по выражению критика Джеймса Янга, автора монографии «Черные писатели тридцатых годов» (1973), «новый негр» — пролетарий, испольщик Юга, труженик, взятый из самой глубинки. Не «ниггер», завоевывающий благосклонность белого, а человек, способный отстаивать свое достоинство. Таков Берт Норвуд, герой знаменитой новеллы Хьюза «Мулат», а затем и одноименной пьесы, ставшей вехой в развитии негритянского театра.

В речи на Первом конгрессе Лиги американских писателей (1935) Ленгстон Хьюз призывал собратьев по перу «перейти на сторону рабочего класса», открыть «белым массам те качества негритянского народа которые выходят за рамки способностей смеяться, петь и сочинять музыку». Позднее в статье «Нам нужны герои» (1941) он писал: «Нам нужны герои Нам нужны люди, которые будут одобрять и воодушевлять молодежь, показывать ей пример, побуждать быть честной, сильной, умной и бесстрашной».

Задача эта не была, разумеется, полностью решена прогрессивной американской литературой 30-х годов и самим Ленгстоном Хьюзом. Перед писателями стояли трудные, новые художественные проблемы: в ранних образцах пролетарской литературы заметны болезни роста, схематизм, известная упрощенность в изображении внутреннего мира героев Есть налет декларативности и в некоторых политических стихах и пьесах Хьюза 30-х годов, что лишний раз свидетельствует о сложности эстетического освоения нового материала Но само развитие героической, интернациональной темы в его творчестве в эти годы глубоко знаменательно.

«Нам нужны герои» — эти слова Хьюза кажутся обращенными к современным прогрессивным художникам слова. Ведь сегодня особенно ощутима необходимость создать образ, воплощающий лучшие героические черты негритянского народа, таких его представителей, как Уильям Дюбуа, Генри Уинстон, Анджела Девис.

Именно в 30-е годы Ленгстон Хьюз, по словам историка Вудсона Картера, стал «солдатом, сражающимся за человеческие права». Первым среди негритянских литераторов он восславил единство пролетариев независимо от цвета кожи:

Гневно.
Неукротимо
Раздался призыв:
Восстаньте!
Черному белый
Навеки брат.

(Перевод В. Васильева)

Духом «красного десятилетия» проникнут и сборник «Доброе утро, революция», прежде всего два его раздела: «Меморандум небелым народам» и «Богатые и бедные». В них включено немало стихов, исполненных антикапиталистического пафоса («Одно и то же», «Шахты Иоганнесбурга», «Черные рабочие» и др.). Они свидетельствуют об интернационалистских взглядах поэта, солидарного со всеми, кто страдает и борется в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Острие хьюзовской иронии обращено против всех, кто пытался отвлечь массы от борьбы в самые мрачные периоды депрессии — церковников с их елейными проповедями («Прощай, Христос»), тех негритянских лидеров, подвизавшихся в учебных заведениях, которые стремились воспитывать молодежь в духе покорности и угодничества перед белыми (очерки «Предатели из колледжей»).

Есть в сборнике и испанский раздел: пробыв около полугода в сражающейся Испании, Хьюз печатался в газете интербригадовцев «Волонтер свободы». Его волновала судьба людей, одураченных Франко, превращенных в пушечное мясо (статьи «Франко и марокканцы», «Негры в Испании»), он не уставал восхищаться героизмом осажденной столицы («Смеющийся Мадрид»), мужеством испанского народа («Воздушный рейд. Барселона», «Лунная ночь в Валенсии»).

Б. ГИЛЕНСОН
«Я ТОЖЕ — АМЕРИКА»

Широко представлена в сборнике советская тема. Верный друг Советского Союза, Хьюз побывал у нас в 1932—1933 годах, и эта поездка произвела неизгладимое впечатление на молодого литератора: он увидел общество, искоренившее все формы национального неравенства и нетерпимости (очерки «Москва и я», «Поездка на юг России»). Хьюз и позднее продолжал с симпатией следить за успехами нашей страны: уже после войны он публикует в газете «Чикаго дифендер» цикл статей об СССР («Советский Союз», «Советский Союз и цветные народы», «Советский Союз и женщины»). Теплые чувства к стране социализма выразились в его обращении к советским читателям, предпосланном «Избранным стихам», вышедшим в Москве в 1964 году.

Прогрессивная пресса США единодушно приветствовала появление сборника «Доброе утро, революция» как значительное литературное событие Критик Уильям Патерсон подчеркивал в газете американских коммунистов «Дейли уорлд», что «поэзия протеста вдохновит молодых поэтов, одушевленных идеей любви к эксплуатируемым и угнетенным». В той же газете критик Самнер Джоунс назвал сборник «песнью борьбы и надежды, социалистической революции и освобождения негров».

«Я ТОЖЕ — АМЕРИКА»

Чем же поучителен эстетический опыт Хьюза ныне, когда вокруг проблемы художественной самобытности негритянской литературы идут бурные неутихающие дискуссии между сторонниками «сепаратистского» и «интеграционистского» подхода к ней?

Для сепаратистов — среди них наиболее активен Лерой Джонс — мир расколот на две половины, непримиримо враждебные,— черную и белую. Лерой Джонс не скупится, например, на самые сильные выражения по адресу того что он вслед за Т. Манном именует «западной сифилизацией», которую безоговорочно отождествляет с национальным угнетением, шовинизмом и загниванием. Сепаратисты исповедуют особую «черную идеологию», ратуют за создание «черного искусства», рассчитанного только на цветную аудиторию и опирающегося на особую «черную эстетику».

Иной взгляд на проблему демонстрируют те, кого в США называют интеграционистами, или ассимиляторами,— Болдуин, Эллисон, Хенсберри Призывая к диалогу, ко взаимопониманию между черными и белыми, они выступали и выступают за усвоение всего того ценного, что было накоплено мировым искусством. Для них «этническое» начало в литературе не исключает элемента универсальности.

Своим творчеством Хьюз словно вторгается в эти споры, напоминая о том, что настоящую общечеловеческую значимость обретает лишь тот художник, который способен на подлинно высокое эстетическое выражение коренных чаяний народа. Хьюз был глубоко чужд этнической замкнутости и узости. Он не уставал повторять: «Я прежде всего писатель, а потом уже негр». Два могучих источника питали его творчество: образы и формы негритянского фольклора и традиции американской поэзии Уитмена и Сэндберга.

Для Хьюза фольклор, увлечение которым началось как раз в пору негритянского ренессанса, не элемент, искусственно привносимый в стихи. Он органичен для поэта, для его тематики, отмеченной глубоким демократизмом. Отсюда, например, интерес Хьюза к спиричуэлс — негритянской народной песне, близкой к церковному гимну. Рожденный в эпоху рабства, спиричуэлс нередко заключал в себе революционный смысл, хотя и выраженный аллегорически — с помощью библейского сюжета или образа.

Но, пожалуй, самый большой успех выпал на долю хьюзовских переработок блюзов — народных лирических песен, родившихся на берегах Миссисипи и исполнявшихся в сопровождении банджо или гитары. Блюзы приобрели общеамериканскую, а затем и мировую известность как музыкальные произведения. Хьюз же сделал блюз фактом литературы, закрепил его в качестве новой стихотворной формы.

В отличие от спиричуэлс, несколько аморфных, блюзы — лирические стихи определенной структуры, состоящие из строф-шестистиший, в которых вторая и четвертая, а иногда первая и третья строки повторяются, а четвертая и шестая — обычно рифмуются.

Так строится его «Жалобный блюз», да и многие другие:

Когда я жил дома, мне
Золотом солнце светило,
Когда я жил дома мне
Золотом солнце светило,
С тех пор как на Север приехал я,
Стал мне весь мир постылым.

(Перевод И. Комаровой)

Хьюз широко использовал в блюзах негритянский народный диалект, избегая, однако, той стилизации, нередко слащавой, которая свойственна, например, Полу Лоренсу Данбару, одному из основоположников негритянской поэзии США. Сохранял поэт и другие особенности фольклорного блюза: повествование от первого лица, минорную интонацию, скрашенную улыбкой, немного грустным юмором.

Источником вдохновения был для Хьюза и негритянский джаз. Разнообразя традиционные размеры, поэт членил стихи на разновеликие музыкальные такты, стремясь придать поэтическому слову богатейшие джазовые ритмы. Таково его раннее стихотворение «Джазония» и многие стихи из поздних сборников «Монтаж несбывшейся мечты» (1951) и «Спроси мою маму» (1961). Поэт смело прибегал и к новым музыкаль-

ным ритмам «би-бопа» и «буги-вуги». Он был убежден, что джазовая музыка по-своему передает «сердцебиение» современного человека, и гордился тем, что джаз оказал влияние на новейшее искусство и литературу не только в Америке, но также и в Европе.

Ленгстон Хьюз — один из самых талантливых наследников уитменовской традиции в американской поэзии. Его стихотворение «Старый Уолт» — признание в любви к автору «Листьев травы». В предисловии к избранным стихам Уитмена, выпущенным в 1946 году прогрессивным издательством «Интернэшнл паблишерс», Хьюз писал, что «добрый седой поэт» дорог ему как противник рабства, истребительных войн, гуманист и поборник человеческого братства.

С наибольшей силой уитменовский размах, уитменовская мощная ораторская интонация ощутимы в поэме Хьюза «Да будет Америка снова Америкой» (1938). Уитмен обладал редкой способностью как бы перевоплощаться в своих героев, отождествлять себя с ними — будь то беглый раб, загнанный собаками, или бедная вдова, не спящая по ночам, или пожарник, гибнущий в охваченном пламенем доме («Песня о себе»). Хьюза отличает то же качество:

Я — негр со шрамами от хозяйских плетей.
Я — краснокожий, что изгнан с земли своей.
Я — иммигрант, мне надежду найти хотя бы...
. . . . . .
Я — фермер, невольник своей же земли.
Я — рабочий, машинам преданный
. . . . . .
Я просто народ, нищий и голодный.

(Перевод В. Бетаки)

Но уитменианство Хьюза вырастает на новой исторической основе. Если гуманизм Уитмена и его любовь к Америке несколько отвлеченны, надклассовы, то Хьюз — поэт с отчетливо выраженным социальным зрением, для него Америка — это страна, расколотая классовым антагонизмом. Ему ясно, что достижение подлинной справедливости возможно лишь в рамках иного, социалистического миропорядка. Это убеждение звучит и в стихотворении Хьюза «Хочу увидеть мир», своеобразно перекликающемся со знаменитым уитменовским «Приснился мне город». Для Хьюза будущее за обществом, где торжествует равенство всех людей и «сгинет дух войны».

Может быть, именно «уитменовская закалка», тот заряд социального оптимизма, который Хьюз получил в пору «красных тридцатых», помогли ему уберечься от модных мотивов отчаяния, нагнетания картин хаоса, нарочитой «брутальности», которые, к сожалению, обнаруживаешь во многих произведениях негритянской литературы США.

Лирический герой Хьюза — как бы скверно ему ни приходилось — остается неисправимым мечтателем. «Если мечта умирает, то жизнь подобна птице с переломанными крыльями»,— не устает повторять он. Мотив мечты — один из самых распространенных и активных в поэтическом мире Хьюза и звучит в разных тональностях в десятках стихов Хьюза («Мечта», «Исполнение мечты», «Несбывшееся», «Когда становишься старше», «Доброе утро» и другие). Один из сборников его стихов так и назван: «Монтаж несбывшейся мечты». В «Эпилоге», венчающем его первый сборник, слуга богатых господ мечтает сесть рядом с их гостями как равный:

Увидят они:
Я красивый, я сильный.
Им станет стыдно:
Я тоже — Америка.

(Перевод М. Середенко)

Среди тех, кого в пору юности Хьюз считал путеводной «звездой»,— Карл Сэндберг. Поэт был близок Хьюзу народностью, демократизмом, утверждением достоинства людей труда. Сэндберг привлекал Хьюза и как неустанный собиратель фольклора, вносивший в поэзию его элементы, и как художник-урбанист.

Усваивая негритянский фольклор, развивая и обогащая уитменовско-сэндберговскую традицию, Ленгстон Хьюз создает новый, оригинальный сплав — свою особую поэтику. Он любит строку короткую, гибкую, звучную, интонацию негромкую, тяготеет к стихам-миниатюрам к зарисовкам конкретных лиц и жизненных эпизодов. Свободный стих чередуется у него с рифмованным, наряду со спиричуэлс и блюзами он использует и другие формы: песни, баллады, стихи, построенные как диалоги («Разговор о телефонном счете», «Разговор с переписчиком»).

Определяя свою художественную манеру, Хьюз как-то назвал ее «невозмутимой, спокойной». Это дало основание некоторым критикам видеть в нем «головного», рассудочного поэта. Но Хьюза отличало не бесстрастие, не олимпийское равнодушие многоопытного «мэтра», а скорее сдержанность в проявлении эмоций, внутреннее достоинство. Читая произведения иных молодых негритянских авторов, поражаешься тому, что настроения протеста они стремятся зачастую выразить, прибегая к нарочитой взвинченности тона, грубому жаргону, коллекционируя непристойности и картины насилия Сдержанность Хьюза — следствие широкого взгляда на действительность, умения наблюдать жизнь своего народа, которой он стремился найти максимально богатое и, что особенно важно, объективное эстетическое выражение.

■

Буржуазные критики, стремящиеся ныне причислить Хьюза к официальному литера-

Б. ГИЛЕНСОН
«Я ТОЖЕ — АМЕРИКА»

турному «истэблишменту», пускают в ход версию о некоем умиротворении, которое якобы пережил поэт в конце жизни. В действительности же он завершил свой путь на высокой ноте: в 50—60-х годах принимал активное участие в борьбе за гражданские права, а последний сборник «Пантера и хлыст» (1967) [1], вышедший уже посмертно, пронизан антивоенным, антирасистским пафосом.

Не потому ли творчество Хьюза получило столь сильный международный резонанс? Его стихи были переведены на десятки языков. В годы второй мировой войны они подпольно издавались в оккупированной Европе. Для многих поэтов Черной Африки он стал признанным учителем. Не будет преувеличением сказать, что в нашей стране Хьюз обрел вторую родину. И сам поэт неизменно ощущал себя в рядах прогрессивных художников мира переводил нашего Маяковского, кубинца Гильена, чилийку Габриэлу Мистраль, гаитянина Жака Румена.

...Несколько лет назад американский поэт-коммунист Уолтер Лоуэнфелс, недавно скончавшийся, издал антологию «Современные поэты», составленную в основном из произведений 60-х годов. Антология открывалась «Прологом», в который была включена поэма Хьюза «Да будет Америка снова Америкой». Созданная в пору «красных тридцатых», она не только олицетворяла «связь времен», но и давала историческую перспективу всей антологии:

Да будет Америка снова Америкой,
Да будет той, о которой мечтали когда-то
Первые поселенцы Восточного берега:
Землей обетованной и богатой
(Но она не была для меня Америкой).

(Перевод В. Бетаки)

Так Хьюз передал эстафету новому поколению поэтов США, призывая их идти в искусстве дорогой правды, быть поборниками социальной справедливости.

[1] Подборку стихов из этого сборника см. в «Иностранной литературе» № 4 за 1970 г.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ

Пятнадцать видных румынских прозаиков, драматургов, поэтов и восемь известных критиков и литературоведов участвовали в проведенном редакцией еженедельника «Ромыния литерарэ» широком обсуждении роли конфликта в литературе социалистической Румынии. Одновременно и на страницах «Лучафэрул», «Театрул» и других изданий появились статьи, посвященные той же проблеме. Конечно, это не случайное совпадение. Заинтересованное участие самих писателей в дискуссии подтвердило правильность исходных позиций ее инициатора, редакции «Ромыния литерарэ», подчеркнувшей во вводной заметке, что

> «среди компонентов литературного произведения конфликт играет — особенно в эпическом творчестве и драматургии — важнейшую роль в утверждении реалистических, подлинно жизненных позиций; вне зависимости от форм проявления, отличающихся, естественно, большим разнообразием, литературный конфликт остается в конечном итоге отражением социальных противоречий и коллизий».

После острых споров со сторонниками теории бесконфликтности румынские писатели вот уже более полутора десятка лет широко используют богатые возможности конфликта как отражения противоборства между характерами, либо между характерами и обстоятельствами, либо внутри характера, конфликта открытого либо скрытого, источника и стимула действия, определяющего развитие фабулы и движение сюжета произведения. Практика литературного развития показала, как подчеркивали участники обсуждения, сколь неисчерпаемы возможности конфликта, формы его конкретного воплощения. Вместе с тем она наглядно выявила всю опасность увлечения абстрактными, искусственными конструкциями, оторванными от жизни и действительности.

Особую актуальность эти вопросы приобрели после состоявшегося в июне прошлого года Конгресса по проблемам политического воспитания и социалистической культуры и опубликования в сентябре «Программы мер по осуществлению решений XI съезда РКП и Конгресса по проблемам политического воспитания и социалистической культуры в идеологической, политической и культурно-воспитательной областях». В документах конгресса и в «Программе мер» содержится призыв ко всем творческим работникам «активно бороться за искусство и литературу, пронизанные социалистическими идеалами народа, отражающие его жизнь и героический труд, за литературу и искусство, твердо стоящие на позициях марксизма-ленинизма».

Большинство выступлений участников дискуссии было направлено на то, чтобы рассмотреть по существу место, значение, формы реализации конфликта в социалистической литературе Румынии в свете этих высоких задач. Тон задала статья прозаика Платона Пардэу «Связь с действительностью». Автор ряда романов о новой Румынии, о работе партийных активистов, Пардэу стремился показать в своей статье, что социализм накладывает свой неповторимый отпечаток на конфликты, коллизии литературных произведений, но отнюдь не аннулирует их. Более того, с полным на то основанием писатель утверждает:

> «Я считаю, что социализм предлагает литературе куда более сложные конфликты, чем все предыдущие формации, именно благодаря своим специфическим условиям, своей задаче преобразования общества, людей... Литература, считаю-

щая долгом чести участие в широком, направляемом единой идеологией, фронте борьбы за общественное обновление, рассматривает эти проблемы и сдвиги как свои собственные проблемы и сдвиги. Из действительности конфликты «перекочевывают» в литературу. Их решение с благотворных позиций нашей идеологии становится и целью писателя... Отсюда размах, достоверность изображения, отсюда органическая потребность нашей сегодняшней реалистической литературы в подлинных, жизненно верных, волнующих конфликтах».

К подобным же выводам приходит в своей обширной статье «Драматический конфликт и отношение драматургии к новому обществу» Т. Мэнеску, автор популярных пьес, трактующих проблемы социалистического образа жизни. Он отмечает, что многие драматурги все еще игнорируют жизнь различных социальных слоев и групп, предпочитая

«лирический взрыв, оторванный от конкретной действительности, самовыражение творческой личности, уход в изолированную индивидуальную психологию... в то время как фундаментальной темой современной румынской драматургии остается борьба между созиданием и инерцией, между творчеством и пассивностью, между истинной ценностью и ложью... несоответствие между существующим порядком вещей и необходимым порядком вещей, влияющее на судьбы и психологию людей».

Другие участники дискуссии с убежденностью говорили о том, что конфликт получает выражение как в показе борьбы с социальным злом, с застывшими формами жизни, так и в изображении противоречий внутреннего мира современного человека, его сомнений, поисков, раздумий, вызванных столкновением с отрицательными сторонами сегодняшней действительности. Подчеркивая многообразие форм реализации конфликта, обусловленное градацией форм жизни, идущих от внешнего к внутреннему, от конкретного к абстрактному (от драм общественной жизни: отношений человек — природа, человек — человек к внутренним конфликтам: чувство — разум, идеал — действительность, свобода — необходимость и т. д.), писатели, критики постоянно напоминали, что художественный конфликт, будучи общественно обусловленным, ценен прежде всего своим индивидуальным, неповторимым смыслом, своеобразием отражения человеческих связей. Критик М. Гафица заметил в этой связи, что

«многообразие и неповторимость литературных конфликтов остаются законом. Однако в то время как многообразные формы конфликта можно свести к определенному числу типов, неповторимость остается постоянным условием, свидетельством оригинальности художника, результатом его связей с вечно меняющейся действительностью».

При этом совершенно естественно прозвучала мысль об органической связи художественного конфликта с реалистическим искусством.

«Борьба за подлинный конфликт в литературе есть борьба за реализм,— заявил критик П. Марча.— Причем отсутствие конфликта не следует обязательно связывать, как делают порой специалисты, только с традиционалистским идиллизмом. В современной модернистской прозе имеются направления, отрицающие необходимость конфликта между героями или идеями, в крайнем случае воплощающие лишь подобия таких конфликтов. Сторонники онириэма, «нового романа» или антиромана, выдвигая на первый план капризы сна, флюиды памяти, эксперимент ради эксперимента, а не людские драмы, оказываются, в сущности, в одном ряду с традиционалистами...»

К подобным же выводам приходит и Ромул Мунтяну, директор издательства «Универс», признанный в Румынии знаток западноевропейской прозы и критики. Из многочисленных примеров, приведенных в его статье, явствует, что концепции «гибели конфликта», предлагаемые представителями «нового романа», лишены всякого основания. Сами произведения этих теоретиков с достаточной убедительностью показывают, что, стремясь уйти от конкретных проблем современного мира, авторы просто придумывают новые, менее очевидные формы коллизий, новые виды интриги. «Абсурдизация» конфликта в иных произведениях буржуазной литературы есть на самом деле «симптом мира, живущего под знаком абсурда».

Своевременно прозвучало в этой связи — в статье прозаика К. Леу — предупреждение об опасности переноса в румынскую литературу форм, свойственных литературам стран с иной социальной структурой.

«Речь идет о тех романах, авторы которых всячески стремятся ввести в нашу литературу новейшие структуры и потому полностью заимствуют сюжетные линии, конфликтные узлы из произведений, отражающих иную социальную действительность... В результате истины, утверждаемые в художественном произведении, не соответствуют его структуре, развертыванию действия в нем...»

К. Леу делает очень важный вывод: обусловленная конфликтом череда событий, архитектоника романа являются для писателей средствами выражения, а не внешней привлекательной оболочкой, пригодной лишь для того, чтобы сделать более интересными психологический анализ, смысловую нагрузку произведения.

Конфликт, как известно, оказывает решающее воздействие на кристаллизацию характера действующих лиц произведения, на их взаимоотношения, связи, противоборство. Об этом много говорилось в ходе дискуссии. Именно проблема героя вызвала наиболее острый полемический обмен суждениями. Романист В. Дуда пытался обосновать право на жизнь характерного для многих книг последнего десятилетия героя — честного человека, поборника правды, способного в иные моменты даже на героические поступки и жертвы, но чаще всего проявляющего нерешительность в своих действиях, готовность отступить именно тогда, когда борьба достигает наивысшего накала. Со своей стороны, критик П. Марча в статье «О нравственной цельности героя» попытался объяснить, почему главные герои многих книг последних лет — люди раздвоенные, сомневающиеся, морально неустойчивые, почему цельные характеры отодвинуты в этих произведениях на задний план. В его интерпретации цельные натуры представляются художникам

> «лишенными внутренних конфликтов, их бескомпромиссность, нравственная цельность кажутся проявлением однообразия, отсутствия драматических переживаний, психологической глубины... Вот почему предпочитают героев, подобных Паулу Акиму (новый роман Ал. Ивасюка «Прозрение»), натуры сложные, терзаемые противоречиями, которые создают столь необходимую для чтения атмосферу напряженности. Но давайте вдумаемся: нет ли тут писательского предрассудка, а то и неспособности проникнуть в глубины благородной души? Ведь подобные натуры отнюдь не однообразны, скучны, плоски, напротив, именно в их цельности, единстве заложена высочайшая сложность...»

Подобной же точки зрения придерживается и молодой критик В. Бугарю: по его мнению, подлинные литературные произведения художественно воплощают взгляд на мир, отражающий позиции основных классов, чье историческое развитие имеет особое значение для судеб народа, нации. Поэтому критик особенно высоко оценивает работы М. Садовяну, З. Станку, Т. Поповича, Д. Р. Попеску, других писателей, создавших впечатляющие образы румынских крестьян, а также Н. Цика, К. Кирицэ, Пл. Пардэу, Ал.Симиона, авторов романов о рабочем классе. Правда, при этом В. Бугарю отмечает, что большой роман о румынском рабочем классе остается пока мечтой. Как показал эстетик И. Паскади, причина этого кроется в том, что писатели еще не научились распознавать те специфические конфликты, которые свойственны процессу индустриализации, создания могучего рабочего класса, перековки многотысячных масс крестьян, вливающихся в ряды строителей новой индустриальной Румынии.

Расширяя круг обсуждаемых вопросов, многие участники дискуссии касались значения литературного конфликта как средства раскрытия внутренней динамики характеров. Этот аспект выдвинулся на передний план особенно в последние годы, когда началось построение развитого социалистического общества, когда внимание писателей сосредоточилось на глубинных процессах формирования нового сознания, нравственного самоусовершенствования. Подчеркивая, что на этом пути у румынских художников немало положительных достижений, критик Н. Балотэ противопоставил поиски румынских художников концепциям творцов «нового романа» о «психологическом кризисе современного человека», о «распаде внутреннего мира персонажа», о необходимости «депсихологизации» литературы. Книги лучших румынских писателей свидетельствуют о другом: речь идет об отказе от устаревших, наивных приемов психоанализа, о «поисках новой психологической метафорики», о «превращении произведения в общественный суд совести». Этот суд совести охватывает, по словам критика, с одной стороны, обновительные процессы, происходящие в общественно-исторической области, а следовательно, и в общественном сознании, а с другой — переоценку задач и роли самой литературы, а следовательно, сознания самих ее творцов. Оба эти аспекта органически взаимосвязаны, а их взаимоотношения обуславливают природу психологического конфликта в современной литературе социалистической Румынии.

Конечно, диапазон обсуждения был куда шире той картины, которую можно нарисовать в коротком обзоре. Хочется особенно подчеркнуть ту заинтересованность, с которой обсуждают ныне румынские писатели важнейшие проблемы мастерства. Нельзя не видеть в этом залога будущих успехов румынской литературы.

> «Мы можем утверждать,— писал прозаик Б. Неделович, автор ценимых читателем психологических романов,— что, если будут расширены возможности конфликта как средства раскрытия социальных и политических аспектов нашей жизни, как средства глубинного проникновения в самые реальные драмы человеческой души, если актуальные проблемы нашей жизни будут воплощены с помощью персонажей, сталкивающихся в открытых конфликтах, если мы откажемся от некой дозы «удобной осторожности», будут созданы произведения искусства, которые навсегда останутся в сокровищнице нашего народа. Примеры есть, остается следовать им».

М. ФРИДМАН

КОМИКС В НОВОЙ РОЛИ

Французское издательство «Ларусс» совместно с третьей программой телевидения проводит, если пользоваться их выражением, «историческую операцию» — издание комиксов, охватывающих всю историю Франции. На их основе в дальнейшем предполагается подготовить серию телевизионных выпусков, рассчитанных на массовую аудиторию.

Событие это примечательно прежде всего тем, что впервые в скандальной карьере комикса этому «самому развлекательному» жанру «массовой культуры» отводится серьезная, прямо-таки академическая роль — систематизировать и освежить для миллионов французов историю их собственной страны.

Первая книжка комикса, посвященная возникновению французского государства, уже вышла из печати и довольно быстро раскупается. «Ларусс» и телевидение усиленно ее рекламируют, заявляя о «совершенно новом видении истории». Левая же печать высказывает в связи с выходом комикса очень серьезную озабоченность, подчеркивая, что это очередная попытка определенных политических кругов интерпретировать историю в неблаговидных политических целях. Вот что пишут в «Юманите» Моника и Пьер Левек:

«Эта «новая» трактовка недалеко ушла от школьного учебника: «Две тысячи лет тому назад наша страна называлась Галлией, а ее жители галлами»,— и далее следует весь набор сюжетов, где действуют исключительные личности, историей движет война, а войной — непостоянство галлов. И ничего об экономике, социальном неравенстве, о власти, которую держат в руках имущие классы».

Это об общей концепции истории в комиксе. Но и частные ее моменты тоже не поражают оригинальностью. Взять хотя бы галла. Каково расхожее о нем представление? Галл, конечно же, легкомыслен, болтлив, любит поесть, услаждая себя без меры винами. А в комиксе? Левеки пишут, и их мнение разделит любой непредубежденный читатель, хотя бы просмотревший новую историю в картинках:

«Тип галла не блещет оригинальностью. Это веселый, импульсивный воин, положившийся на волю богов, большой любитель поесть и выпить. У него длинные волосы, борода, мощная мускулатура. Ему свойственны все этнические признаки отсталого населения примитивной Галлии, являющейся к нам словно с лубочных картинок».

Римляне же, естественно, полная противоположность галлам:

«Благородные воины, дисциплинированные и хладнокровные, владеющие передовой военной техникой. У них благоустроенные города с красивыми памятниками. В школах их дети изучают латынь — официальный, объединяющий нацию язык. Одним словом, римляне — носители цивилизации».

Обращаем внимание читателя на то, как ровно выкрашены галл и римлянин. Это типы людей, которые должны олицетворять: один — стихию и бездумность, другой — порядок и культуру. Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, что первого поджидают беды и поражения, второго — победы и процветание. Как видим, в трактовке героев комикс остался верен себе. И хотя рисунки в книге выполнены профессионально безупречно и играют всеми цветами радуги, герои по старинке оказались только черными и белыми — получается история, раскрашенная в два цвета. Галлы существуют, римляне живут и правят. Конечно, дело не обходится без конфликтов. Иногда дает себя знать мятежный галльский дух и пламя восстания охватывает непокорную римскую провинцию. Римляне, естественно, железной рукой наводят в ней порядок. Примечательно, что на сцены подавления восстаний приходится львиная доля комикса. Рисунки броские, динамичные. Прямо дух захватывает. Не развлекать же, в самом деле, скучными сценами крестьянской жизни: за сохой плетется изнуренный хлебопашец, он возвращается в дом, за полупустым столом дюжина голодных детей — последнее отобрали римские сборщики налогов?! И меняет пахарь соху на косу и рядом с такими же, как он, ограбленными и бесправными пускает красного петуха по римским постам и домам богачей. Нет, нет, это слишком прозаично, «старо» и не соответствует «новому» подходу к истории, на который претендует «Ларусс». Возникает вопрос: может быть, претензия на новизну — всего лишь коммерческая уловка для извлечения максимальной прибыли? Если бы речь шла об очередной рисованной развлекательной пустышке, на это следовал бы утвердительный ответ. Но в данном случае дело обстоит гораздо сложнее. Моника и Пьер Левек, в частности, отмечают:

«Тенденциозное изложение истории — исторические передержки, намеки и умалчивания — ставит целью навязать читателю определенную концепцию прошлого, которая бы подкрепляла вывод о том, что всякое «национальное» решение проблем устарело, чревато беспорядками, разрушениями, в конечном счете — обре-

чено на поражение. Как говорили приближенные галльского императора Элиана: «Кому нужна победа, после которой остается пустыня!»

Вот уж воистину — история пишется для современности! Предполагал ли Элиан, что когда-нибудь поработает в пользу «Большой Европы».

Познакомившись с комиксом, непросвещенный человек может прийти к выводу: «Да. Не могла Галлия развиваться в одиночку, да еще под своим знаменем. И выход для нее был в союзе с римлянами, в верности римскому порядку. Воцарился этот порядок — и с энтузиазмом заработали, на рисунках, рабочие, восстанавливая разрушенные города, зацвела в Галлии жизнь. Не страшны ей стали два главных врага: внутренний — отряды бачауров, разбойников из разоренных крестьян, и внешний — дикие орды с Востока». (Ох, эта актуальная история!) Из текстовок комикса нам становится известно, что в тот период особенно велика и ответственна была роль вождя нации. Он один имел ясное представление о подлинных интересах народа. Народ же о своих интересах представление имел весьма смутное. В своем лице вождь цементировал волю нации, когда от внутренних беспорядков и ударов с Востока империя могла дать трещину и развалиться. Опять этот пресловутый Восток! Рука художника привычно вывела бесконечную заснеженную степь, бесцеремонные обитатели которой силой оружия пытаются диктовать свою волю свободолюбивым галлам. Где здесь кончается история и начинается политиканство? Французские журналисты пишут:

> «Попытаемся определить то, что «Ларусс» называет «маленькой революцией». Комиксы на исторические темы выпускались и ранее. Данную же серию отличает ее двуплановость, угадывающийся за рисунком и строкой скрытый смысл, аналогия между «священным прошлым» и «современностью».

Надо сказать, что жанр выбран «Ларуссом» не случайно. В последние годы комикс, за счет своей простоты и доступности, все шире используется в буржуазной «массовой культуре» как средство манипулирования сознанием людей. И в данном случае: краткость текста максимально сопряжена с простым и ясным рисунком, который выглядит особенно правдоподобно из-за присутствия в нем конкретных деталей быта. Рисунки снабжены текстовками — это своеобразный голос историка, определяющего место сюжета во времени и дающего ему оценку. Герои на рисунках, как правило, «говорящие»: прямая речь передает их личное отношение к текущим событиям. Происходит двойное обращение к читателю (плюс еще зрительный ряд), в котором кроются немалые возможности для эффективного эмоционально-психологического воздействия на человека, пробуждения в нем широкой гаммы ассоциаций.

Для привлечения читателей история Франции в картинках насыщена всякого рода коммерческими уловками: комикс осовременен не только в плане политическом, но и «эстетическом». Чего стоят, например, полногрудые галльские женщины — естественно, будущая добыча римских воинов,— которые в сомнительных юбчонках, что называется «топлесс», пришли спасать детей под стены Алезии.

Подобные «исторические детали», которыми буквально пересыпан комикс, окончательно стирают в нем все историческое. Науку перерабатывают в сладкую хмельную водичку, чтобы не без корысти потчевать ею наивных детей и наивных взрослых.

В. ПЕРЕХВАТОВ

«АРАБСКИЕ ГОРИЗОНТЫ»

Более года в Багдаде издается ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал «Афак арабийа» («Арабские горизонты»). За это время он приобрел известность не только в Ираке, но и других странах арабского мира. Интерес к журналу продиктован и характером помещаемых материалов по вопросам идеологии, эстетики, культуры, и разнообразием иллюстраций, их высоким полиграфическим исполнением. Идейная платформа «Афак арабийа» как неофициального органа правящей в стране Партии арабского социалистического возрождения (БААС) изложена в одном из материалов первого номера. В нем указывается, что развитие культуры

> «тесно связано с нуждами арабской «нахды» (подъем, возрождение). Перспективы «нахды», связь этой эпохи с жизнью арабского народа, с многовековым историческим развитием арабского общества — вот факторы, определяющие процессы формирования современной арабской культуры, которая служит потребностям подъема арабской нации... воплощает в себе национальные чаяния арабов, способствуя в то же время установлению и упрочению живого контакта, соединяющего арабский народ с другими народами, с будущим мира во всей его совокупности».

И далее, относительно задач, стоящих перед арабской литературой, говорится, что она

«призвана средствами художественного выражения служить арабскому единству и арабскому социализму, делу освобождения арабов, то есть быть рупором борьбы за освобождение Палестины, быть близкой к истокам жизни, к рабочему классу, реагировать на вдохновенный зов времени и вести борьбу против империализма, отсталости и невежества. Литература должна играть серьезную роль в воспитании подрастающего поколения».

Как видим, основные программные положения по вопросам культуры, приведенные здесь, указывают на то, что в партии БААС придают большое значение вопросам культурного строительства, рассматривают литературу и искусство как важный фактор идеологической борьбы.

Почти в каждом номере журнал публикует подборки поэтических произведений. Наряду с маститыми авторами появляются имена, до недавнего времени известные только критикам-профессионалам. Мы можем познакомиться с поэтами разных арабских стран: Нагибом Суруром, Мухаммедом Шелашем, Салахом ас-Саббуром, Махмудом Шабиби и др. Тематика стихов — самая различная, но преобладают произведения о судьбе человека, о судьбе араба в современном мире.

Привлекают к себе внимание публикации журнала, посвященные богатейшему наследию арабской культуры. Тема эта стала особенно злободневна сегодня, когда возникла настоятельная потребность в осмыслении исторических корней современной арабской культуры. Журнал пишет:

«Для настоящего времени это проблема номер один по степени ее воздействия на развитие современной арабской духовной жизни... Поражение в июньской войне 1967 г. было своеобразным толчком, после которого арабы в очередной раз обратились к своему национальному наследию».

Исходя из насущных потребностей современного общества, авторы ряда статей ставят перед собой задачу не только оценить роль и место арабского культурного наследия, но и возродить интерес к шедеврам, составившим славу народа, история которого восходит к глубокой древности.

В журнале можно найти материалы о современной прозе и поэзии. Обращают на себя внимание статья Маджида Саммараи о творчестве известного иракского поэта и политического деятеля Шазеля Таки, интервью сирийского прозаика Абдессаляма Уджейли, в котором идет речь о современной сирийской новелле, о творчестве литераторов — представителей различных литературных школ и направлений.

В частности, Абдессалям Уджейли замечает:

«Я немало путешествовал, познакомился со многими странами, практиковал как врач, занимался политической деятельностью, наконец, принимал участие в боях с врагами моей родины. Все это и служит мне отправной точкой, надежным источником при создании прозаических произведений. Вместе с тем я знаю многих новеллистов, которые творят, не отходя от письменного стола, фантазируют, придумывают ситуации, с которыми им никогда в жизни не приходилось сталкиваться. Я же описываю только то, что пережил, прочувствовал. Именно в этом и состоит моя творческая индивидуальность».

Поднимает журнал и вопрос о кризисе современной арабской культуры.

«Специфичность этого кризиса,— отмечается в одной из статей,— обусловлена, с одной стороны, разрывом с богатым наследием прошлого, а с другой — отсутствием соответствующих взаимоотношений между культурой и современной жизнью, между культурой и теми насущными проблемами, которыми живет арабский мир».

И далее:

«Кризис культуры — это кризис самой арабской интеллигенции, кризис «арабских интеллектуалов». Выход из этого кризиса для арабской интеллигенции можно найти только на путях борьбы, на путях подлинного служения интересам трудящихся арабских стран, прежде всего интересам рабочего класса».

К сожалению, эти теоретические положения не подкрепляются анализом художественной практики, что, кстати, характерно для многих материалов теоретического характера.

В литературно-критическом разделе журнала постоянно публикуются новеллы как иракских, так и других арабских авторов.

«Афак арабийа» регулярно знакомит своих читателей с хроникой культурной жизни за рубежом. Из номера в номер появляются и рецензии на исследования иракских и

зарубежных востоковедов. В частности, во втором номере журнала подробно излагается содержание книги советского историка Л. Н. Котлова «Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке». Этому труду журнал дает высокую оценку:

> «Подчеркнем большую научную ценность работы Котлова, которая по праву может считаться глубоким историческим исследованием, воссоздающим объективную картину национально-освободительного движения арабских народов».

Можно встретить и аннотации на новые произведения иностранных авторов, и беседы за «круглым столом» с видными зарубежными прозаиками и поэтами.

Немалый интерес представляет интервью известного египетского писателя Нагиба Махфуза (его произведения неоднократно издавались в Советском Союзе), опубликованное в шестом номере журнала. Его романы «Любовь под дождем» и «Карнак» вызвали ожесточенные споры и продолжительные дискуссии среди литературной общественности арабских стран. Нагиб Махфуз высказывает свою точку зрения по проблемам, представляющим не только литературный, но общественный и политический интерес. В частности, он замечает:

> «Разве мы можем забыть тех, кто помог нам провести грандиозные преобразования во всех областях экономики? Разве мы можем забыть тех, кто был на нашей стороне в дни войны и тяжелых испытаний?»

Эти слова человека, заметная роль которого в духовной жизни арабского мира давно стала общепризнанной, полезно напомнить тем, кто ныне стремится бросить тень на советско-арабскую дружбу.

Культурная жизнь современного Ирака ознаменовалась возрождением старых видов искусств и рождением на арабской почве новых жанров, ранее арабскому миру неизвестных. И «Афак арабийа» знакомит читателей с достижениями современной иракской графики, арабского танца и музыки. Как показывают публикуемые исследования о танце и музыке, эти виды искусства, сделавшие немалый вклад в сокровищницу арабской культуры, долго оставались мало изученными.

Вот кратко круг проблем, волнующих редакцию журнала «Афак арабийа» — органа, играющего значительную роль в культурной жизни Ирака, где под руководством Прогрессивного национально-патриотического фронта решаются важные задачи социального и культурного развития страны.

В. ШАГАЛЬ

◆

Публицистика

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО

АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

Сокращенный перевод с испанского В. ВОЛКОВА и В. ЧИРКОВА

Часы бьют из прошлого

Когда я спросил Каллэна, командира отряда наемников, англичанина, родившегося на Кипре (его настоящее имя Костас Георгиу), что бы он сделал, если бы МПЛА[1] предложило ему 300 фунтов в неделю, он отреагировал мгновенно, как реагирует опытный шофер на внезапную смену сигнала светофора:

— Перешел бы на сторону МПЛА.

Я спросил о том же другого англичанина — Колина Клиффорда Эванса, и он тоже ни секунды не колебался, ответив вопросом на вопрос:

— Кто же откажется от бóльших денег?

У американца Дэниела Герхарта я поинтересовался, готов ли он за двойную плату покинуть ФНЛА[2] и перейти на сторону противника. Он простодушно воскликнул:

— Конечно, сэр!

Аргентинец Густаво Марсело Грильо заявил напрямик, что он убивал за деньги и если бы ему лучше платили, то убивал бы с еще большим удовольствием.

Остальные отвечали примерно так же.

Все они — наемники.

Поэт Николас Гильен, в чьих стихах, как и в его крови, смешались Куба и Африка, так сказал о солдате, который служил эксплуататору:

Голубь раненый летел
надо мной;
кровь блестела, как заря,
на крыле.
Горько видеть палача;
хуже то:
убивают палачи,
чтобы есть.
А на хлебе
стынет женская слеза.
И соленый привкус крови,
черт возьми,
так и портит всю еду
палача.

(Перевод В. Журавлева)

Когда те, что находятся на самом верху социальной лестницы, вечно ненасытные, алчные, обнаружили, что с их стола ускользает блюдо под названием «Ангола» и от этого может оскудеть все их некогда богатое «африканское меню», когда героические Народные вооруженные силы освобождения Анголы (ФАПЛА) стали громить их местных лакеев и сообщников — тогда-то и прибегли они к помощи белых наемников.

Они хотели задушить в колыбели Народную Республику Анголу и бросили против ее темнокожего, в массе своей, народа темнокожих наемников во главе с лидерами ФНЛА и УНИТА[1] Холденом и Савимби,

[1] Народное движение за освобождение Анголы, которое после многолетней вооруженной борьбы против португальских колонизаторов провозгласило независимость страны 11 ноября 1975 года.

[2] Национальный фронт освобождения Анголы — раскольническая проимпериалистическая группировка, находящаяся на содержании у Центрального разведывательного управления США.

[1] Национальный союз за полную независимость Анголы — проимпериалистическая группировка, тесно связанная с расистским режимом ЮАР.

призвали себе на подмогу испытанное орудие колонизаторов — трайбализм[1], пустили в ход регулярные войска южноафриканских расистов.

Когда стало очевидно, что они не смогут выиграть эту войну, они предприняли отчаянные попытки выиграть время.

Если оттянуть военный разгром, рассчитывали они, быть может, представится другая возможность — например, создание «коалиционного правительства», в котором побежденные перемешались бы с победителями, предатели — с патриотами, контрреволюционеры — с революционерами.

Тогда, возможно, удалось бы предотвратить полную победу ангольского народа в антиимпериалистической борьбе или сделать ее менее внушительной.

Так на хронометрах генералов Пентагона, функционеров Белого дома, заправил ЦРУ, магнатов Лондона, монополистов и реакционеров с весьма прочным «положением» пробил час Каллэна.

Проследим этот час минута за минутой. От того момента, когда наемникам сделали заманчивые предложения и обманом развеяли их страхи, до того, когда в независимой и суверенной Анголе им пришлось держать ответ перед специальным трибуналом и перед видными представителями международной общественности.

Это история тринадцати наемников, захваченных в феврале 1976 года Народными вооруженными силами освобождения Анголы (ФАПЛА), а также их сообщников, отправившихся на тот свет либо пустившихся в бега после неудачной попытки сокрушить революцию. В основу этой истории легли рассказы самих наемников.

«Час Каллэна» пробил не впервые на этой земле. Наемники уже появлялись в других уголках Африки, оставляя позади себя бездыханные тела борцов за свободу.

Требуется «живой товар»

Джон Дерек Баркер из Бирмингема, Великобритания, рассказал, что все началось в баре. Он уже изрядно выпил, когда к нему подошел субъект, которого он никогда прежде не видел и больше с ним не встречался. Незнакомец предложил ему стаканчик.

— Я удивился, но не стал отказываться. Мои сбережения были на исходе... всего несколько фунтов. Я болтался один, денег не было даже на самую дешевую женщину.

Неизвестный спросил, не хотел ли бы он получать ни много ни мало — 250 долларов в неделю.

— Я решил, что он шутит, и сказал то, что говорят в таких случаях: «Кого надо убить?» Я тоже шутил, конечно.

— Да так, кое-кого... В Анголе.

Убедившись, что все это не какая-нибудь пьяная шутка, Джон Дерек Баркер тут же согласился. Господин чем-то внушал ему доверие.

На следующий день, приняв бодрящий душ и надев свой лучший костюм, поскольку предстояла «встреча с высоким чином», он направился в гостиницу «Тауэр» на тихой окраине Лондона. Не без труда отыскав отель, он расположился в номере 334 на третьем этаже, ключ от которого ему дал незнакомец.

Баркер рассказал этому господину, что с 1961 года он служил в парашютно-десантных войсках королевских военно-воздушных сил на Кипре, в Кении и Западной Германии и два года назад демобилизовался после одного скандала. Баркер решил, что и на этот раз ему придется прыгать.

— Нет, мне известно, что требуются люди только в пехоту. Сущая ерунда.

Ему вручили безупречно оформленный паспорт (он захватил с собой несколько фотокарточек) и удостоверение с инициалами SAS[1]. Документы вручал пожилой коренастый мужчина в полосатом пуловере, с явной офицерской выправкой, не выпускавший трубку изо рта. Он объяснил, что и паспорт, и удостоверение надо беречь как зеницу ока, и боже упаси, если они попадут в руки врага. О «враге» он высказался так: «этим дикарям все равно крышка» и «надо им всыпать как следует».

Когда допрашивали Баркера, внимание двух товарищей из ФАПЛА, составлявших протокол, привлекли его слова о встрече с Холденом Роберто, состоявшейся 22 января, вскоре после прибытия в столицу Заира. Хотя оба они, а затем и я расспрашивали Баркера об этой встрече, ничего существенного разузнать не удалось.

— Так, завтрак... Похоже, что президент Холден хотел произвести впечатление на двух американских журналистов — Робина Райта и... как его... не помню фамилию, и еще на одну женщину. Меня-то больше всего интересовало отличное виски, да к тому же со льдом.

Журналисты, по словам Баркера, задавали много вопросов, а на него не обращали внимания. И прекрасно, солдату лучше помалкивать, если хочет выслужиться. Он помнит только, что, когда вместе с пятью другими наемниками они вылетели в Сан-Салвадор, оба журналиста были с ними. Больше он их не видел.

---

[1] Межплеменная рознь, сохраняющаяся как пережиток в некоторых государствах Африки. Разжигаемый империалистическими кругами трайбализм препятствует национальной консолидации и сплочению прогрессивных сил в борьбе против неоколониализма.

[1] Special Advanced Service — Британская консультативная служба безопасности.

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

Если его завербовали именно таким образом и он был в этой истории последней спицей в колеснице, то как объяснить, что Холден пригласил его на завтрак, да еще с участием двух журналистов? Баркер клялся, что все было именно так, как он говорил.

Еще один Джон, по фамилии Нэнмок, оказался таким же скромником. Свои показания он давал монотонным, едва слышным голосом. Заслуживает внимания лишь мысль, внушенная ему Каллэном, будто «кубинцы пленных не берут, а уж ФАПЛА тем более», и его слова о том, что в подземелье церкви неподалеку от «Сент-Джордж клаб» он встретился с «неким Бэнксом» и что там было еще 200 человек.

Он почти дословно помнит объявление в «Файнэншл таймс», которое привело его в Анголу:

«Требуются отставные военные. Работа за границей в качестве военного инструктора, хороший заработок. Возраст от 24 до 47 лет. Звонить: Лидо, 70-23-54, 60-55-41 с 10 до 17 часов».

— Да, примерно так, если мне не изменяет память.

Память у него действительно была хорошая. Единственной ошибкой было то, что вместо 47 лет в объявлении указывалось 45, да еще он поменял местами цифры в номере телефона: назвал 70-23-54 вместо 70-54-23, как было позже установлено по газете.

Но от этой блестящей памяти не осталось и следа, когда его спросили, кто мог стоять за «неким Бэнксом», а также о том, как обращались наемники с местными жителями Анголы.

Нэнмок смотрел невидящими глазами, уставившись в одну точку; казалось, его парализовал страх.

Третьего Джона, по фамилии Лоулор, тоже привлекло объявление в газете. Спустя два дня после того, как Лоулор прочитал его, он позвонил по указанному телефону и получил приказ явиться к Джону Бэнксу, который ему представился одним из директоров САС.

Лоулор — высокий юноша с веснушчатым лицом, двадцати трех лет, чрезвычайно нервный, служил в морской пехоте на Кипре и Мальте в течение пяти лет.

— Я работал одно время в мастерской, но работа была слишком изнуряющей... Мне так и не удалось ее освоить. Мне больше пришлась по душе работа охранника специальной машины по перевозке ценностей, но и там я долго не задержался.

Что касается политики, то ему совершенно нет дела до нее, как до английской, так и ангольской.

Следующий наемный убийца—из США— также не сообщил ничего, кроме общих сведений, и он не мог сказать о том, как очутился в Анголе.

Гэри Мартин Аккен был завербован во время «операции», которую проводили по всему западному побережью два американских бэнкса: Дэвид Буфкин и Джеймс Скотт. Первый из них не представлял никакой организации, второй же состоял в «Корпорации солдат удачи», таинственной благотворительной организации, отделения которой словно по мановению волшебной палочки возникли сразу в нескольких городах США.

Существовала некоторая разница и в подборе «живого товара», который интересовал вербовщиков. Буфкин, например, был менее требователен. Он готов был взять любого солдата-ветерана, будь то парашютист или морской пехотинец, независимо от его военного стажа и опыта. А чаще всего он готов был брать людей, вообще не имеющих никакого опыта. Таких, как Гэри Мартин Аккен. Мистер Скотт, наоборот, отличался разборчивостью. Его кандидаты должны были обладать следующими качествами:

1. быть ветеранами вьетнамской войны,
2. уметь водить танк или вертолет, стрелять из пулемета.

Скотт, без всякого сомнения, действовал не по собственной инициативе. И все же он меньше всего напоминал обыкновенного посредника.

Гэри Мартин вначале пытался примкнуть к отряду Скотта, но, потерпев неудачу, оказался под начальством Буфкина. Так или иначе, оба шефа были связаны с ФНЛА, то есть с северным фронтом Анголы. Для южного фронта, который возглавлял лидер УНИТА Савимби, столь же интенсивно набирали бойцов из различных «центров». Аккен вспоминал набор, который производил с большой шумихой ветеран войны во Вьетнаме, негр Лэри Митчел. Этот путь также оказался закрыт для Гэри Мартина.

По требованию своего хозяина, расиста, выступавшего с позиций сторонников негритюда, Митчел принимал только негров, причем предпочтение отдавалось контрреволюционерам—эмигрантам с Кубы. Организация Митчела называлась «Афро-американская техническая помощь Анголе». До сих пор не известно, сколько солдат было послано этой организацией в Анголу.

Аккен, проживающий постоянно по адресу: г. Сакраменто, Корк Серкл, 2342, утверждал, что Буфкин предлагал 1200 долларов в месяц, а 25 ноября он публично оповестил о сборе, поместив объявление в местной калифорнийской газете.

Вскоре бывший морской пехотинец отправился по маршруту: Калифорния — Нью-Йорк — Париж — Киншаса. В Нью-Йорке к ним присоединился аргентинец Грильо, который должен был стать руководителем их группы, и еще пятеро солдат-ветеранов.

Гэри Мартин Аккен после войны во Вьетнаме служил в Японии и на Филиппинах. Те пять с половиной месяцев, которые он провел во Вьетнаме, научили его многому, но особенно близко он познакомился с действием наркотиков.

Сдержанный, молчаливый, отказавшийся даже от сигареты, хотя все знают его как заядлого курильщика, он также не захотел отвечать на вопросы, касающиеся его взглядов, причин заставивших снова заняться войной, убивать в стране, которую, как он сам признался, с трудом отыскал на карте,

воевать с народом, не имеющим никакого отношения ни к нему, ни к его родине.

Он не скрывал своего презрения, даже оказывался на редкость словоохотливым, когда речь заходила о солдатах Холдена, которых он, Аккен, учил минировать территорию, используя противотанковые мины китайского производства.

— Их было около четырехсот человек, и когда они слышали разрыв даже наших мин, то с криком «ФАПЛА!» бежали со всех ног. Я просил своего шефа пожаловаться на них генералу Гарсиа из командования ФНЛА, но шеф дрожал от страха не меньше африканцев.

Напротив, Мэлком Макинтайр, шотландец по национальности, уроженец Перта, Эссекс, постоянно болтал о себе, стремясь убедить меня, что он был всего лишь санитаром. Карточка, которую ему дал заполнить Каллэн, может служить доказательством. Он объяснял, что в Лондоне, в гостинице «Парк корт», в номере 312, он тоже заполнял карточку, в которой указывал, что будет санитаром.

О войне он не сказал ничего.

О наемниках — тоже.

Не было сказано ни слова и о Холдене Роберто.

Попав в плен, он отшучивался:

— Приехал работать санитаром, а оказалось, что здесь даже нет госпиталя.

Когда один из офицеров ФАПЛА сказал ему, что его же коллеги видели, как Мэлком Макинтайр бросал гранаты, он опустил голову и заплакал.

Машина убийства

Встреча с Густаво Марсело Грильо состоялась в военном госпитале Луанды. В палате кроме него лежали еще трое раненых пленных из ФНЛА.

На одном конце кровати была видна нога в гипсе, на другом — реденькая бородка и усы, которые Грильо постоянно причесывал зубной щеткой. Он сразу же согласился на беседу. Казалось, ему даже понравилась эта идея.

Он ответил на многие вопросы, а некоторые задавал себе сам, чтобы дать уже готовые ответы.

Он рассказал, что родился в Буэнос-Айресе и еще в молодости эмигрировал в Соединенные Штаты вместе с сестрой и матерью, которая во второй раз вышла замуж — за иностранца, немца по национальности.

Я его не перебивал, давая возможность высказаться. Пусть расскажет о своей жизни как умеет. Кроме записи беседы я располагал еще многословным письмом, написанным по-испански, в абсолютной вражде с синтаксисом, так что некоторые абзацы просто трудно было понять. Видимо, сказалось влияние английского языка, а также очень низкий культурный уровень, который, впрочем, отличал всех тринадцать наемников. Пришлось подредактировать некоторые места в исповеди Грильо:

«Густаво Марсело Грильо, родился 2 августа 1949 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. В настоящее время мне 26 лет. Рост — 5 футов 10 дюймов. Вес — 195 фунтов.

Вообще я ни в чем не виноват. Но в данный момент — военнопленный в Республике Анголе.

...Когда мне исполнилось семнадцать лет, я вступил в «Юнайтед Стейтс марин корпс» [1] и прослужил там четыре года. Мы проходили подготовку на острове Перрис в Южной Каролине. Шел 1967 год, во Вьетнаме было настоящее пекло. Мне сократили обязательный срок обучения и послали в Северную Каролину для освоения военной тактики. Потом — Калифорния, где я осваивал методы ведения партизанской войны в джунглях. Наш лагерь назывался Кэмп-Пэнелтон. Оттуда, после короткой остановки на Окинаве, меня перебросили во вьетнамский город Дананг. Там меня определили в усиленную группу морских пехотинцев первого взвода пятой роты второго батальона первой дивизии. Вскоре нас перебросили в Намкуа, в сорока милях к юго-западу от Дананга. У наших там была база. Сначала я был рядовым, потом командиром отделения, взвода и, наконец, сержантом, под началом у меня было тридцать пять солдат. Мы постоянно находились на передовой. Преследование врага, дневные патрульные рейды, ночные засады — вот чем мы занимались. Мы не задерживались на одном месте. Дорога, дорога, дорога... Это была очень грязная и тяжелая война. Обе стороны потеряли много человеческих жизней. Начав в 1967 году, я продолжал воевать в 68-м и 69-м. Дважды перенес малярию, один раз был легко ранен в левое колено.

Если мы узнавали, например, что жители какой-нибудь деревни поддерживают противника, мы перевозили их в Дананг. Опустевшая деревня уничтожалась, враг вынужден был либо оставаться на том же месте и сражаться с нами, либо уходить, потому что у них не было ни еды, ни одежды, ни медикаментов... В таких условиях им трудно было выжить, у них ведь не было такого снабжения, как у наших войск. Я участвовал по крайней мере в десяти крупных операциях в Республике Вьетнам. Возвратившись в 1970 году домой с рекомендательными письмами и медалями, но без каких-либо навыков к нормальной гражданской жизни, я растерялся. Найти работу, не имея специальности механика или техника, было трудно.

[1] Корпус морской пехоты.

Я начал работать на стройке, но заработка на жизнь не хватало. Вскоре я попал в компанию «рэкетиров» [1]. Цель была одна — добыть побольше денег. Делишки, которыми мы занимались, были слишком грязными. Один из наших, попав в полицию, не выдержал, рассказал обо всем, и я угодил на полтора года в тюрьму за вооруженный грабеж. В тюрьме прошел другую школу, школу, где рождаются преступники. Там можно научиться всему, только вряд ли чему-нибудь хорошему. Мне удалось устроиться привратником у здания тюрьмы. Это был лучший вариант из тюремных вакансий. Я имел один доллар в день, то есть тридцать долларов в месяц. У меня были хорошие связи как в тюрьме, так и за ее пределами. Одним словом, эти полтора года были не такими уж и трудными. В 1972 году, выйдя из тюрьмы, я оказался в прежнем положении, только найти работу было еще труднее. Я устроился в итальянский ресторанчик, который назывался «Эспозито», мыть тарелки и кастрюли. Иногда работал по 12—15 часов в сутки. Через некоторое время я подался в другой ресторан, чтобы научиться готовить. Он назывался «VIP».

В «VIPe» я научился готовить. Потом перешел в ресторан получше. Там я дослужился до администратора. Все рестораны, где я работал, были связаны с «рэкетирами». Я все время вращался в этой среде. Бросив работу за плитой, я с головой погрузился в бизнес, чтобы обеспечить себе более или менее сносное существование. Чем только мне не приходилось заниматься! Например, я выдавал себя за официанта, строительного рабочего, а то и боксера, фактически же нигде не работал, но числился в списках какой-либо компании. Когда полиция или власти меня задерживали, то я говорил, что работаю в такой-то компании. Проверив это, они действительно удостоверялись в том, что я числюсь в списках той компании, которую называл.

Один «рэкетир», которого я знал, порекомендовал меня своему приятелю, специализирующемуся на азартных играх и спорте. Его звали Роберто. Это прекрасный, золотой человек. Я был у него телохранителем, шофером, сборщиком денег, платил деньги другим «рэкетирам», следил за лотерейными выигрышами. Вставать приходилось рано утром, ложиться спать поздно ночью. Он снял мне квартиру за 325 долларов в месяц, дал новую машину, оплачивал все мои расходы, включая адвокатов. Роберто — профессиональный «рэкетир» в области азартных игр и спорта. Всю жизнь он только этим и занимался. Сейчас его должны посадить в тюрьму на два-три года. Месяцев через восемнадцать он выйдет и начнет свою обычную жизнь.

Как-то днем, когда я сидел дома, мне позвонили и сказали, что на телевидении можно узнать номер телефона людей, занимающихся вербовкой наемников. Тогда я позвонил на 7-й канал, взял номер телефона, который принадлежал человеку по имени Дэви Буфкин из Калифорнии. Позвонив туда, я сказал, что интересуюсь такой работой. Он объяснил мне, что я должен послать ему по почте 35 долларов вместе с краткими сведениями о моих занятиях в прошлом. Сделав это, я ждал неделю, а потом позвонил туда снова, осведомившись о новостях. Он мне ответил, что нового пока ничего нет. Поговорили несколько минут о моих занятиях. Три или четыре дня спустя он мне позвонил уже из другого штата, из Миссури, сказав, что только что приехал из Южной Америки и у него не хватает денег на то, чтобы вернуться в Калифорнию. Он спросил, не могу ли я выручить его деньгами. Я ему ответил, что я не знаю его настолько хорошо, чтобы одалживать деньги, и вообще не доверяю никому, особенно болтунам и проходимцам. Я ему сказал также, что, если он собирается надуть меня, то я не пожалею всех денег, какие у меня есть, для того чтобы разыскать его и набить ему морду, тогда, мол, он сразу поймет, с кем имеет дело. Следующая неделя ушла на то, чтобы купить военное обмундирование, билет на самолет и уладить все свои дела. Пришел день, когда мы встретились в Нью-Йорке, чтобы отправиться в Киншасу. Начались сложности с авиакомпаниями, так как у нас не было виз Киншасы. Кажется, это была «Пан-Американ». В тот день мы так и не улетели. Сбратились в «Эр Франс»... В конце концов Буфкин вместе еще с одним типом, которого звали Отис, улетели из Нью-Йорка в Париж, из Парижа — в Бельгию, а оттуда — в Киншасу. Я же не мог выехать, так как у меня не было американского паспорта. Прошла еще неделя. Они мне прислали телеграмму через мать Отиса, в которой сообщили, что прибыли в Киншасу. Потом сеньор Буфкин снова вернулся в Нью-Йорк. Я с ним встретился. В разговоре он сказал, что Холден Роберто дал ему две тысячи долларов только на то, чтобы привезти меня одного, потому что ему нужны были люди именно моего сорта. Наконец-то, черт побери, мы достигли цели! Генерал Гарсиа, помощник Холдена Роберто, позвонил в «Пан-Американ» и сказал им, что у меня есть виза Киншасы. Так я вылетел из Нью-Йорка.

С самого начала я знал, и это было вполне логично, что за всем этим стоит ЦРУ.

Дэви Буфкин. Его работа состоит в том, чтобы вербовать наемников в другие страны, подбирать специалистов: летчиков, инженеров и т. д., покупать для них снаряжение. Он замешан во многих делах.

Беседы с Буфкином.

Он мне рассказал о двух контрактах: в Мексике и Калифорнии. В Мексике речь шла о подпольном синдикате, занимающемся торговлей наркотиками Калифорнийцы хотят установить с ними связь и заняться обменом. Американцы предлагают от полумиллиона до миллиона долларов.

Другой разговор: он мне сказал, что

[1] Вооруженные пистолетами бандиты, которые вымогают деньги с помощью угроз и насилия *(прим. автора)*.

предстоит операция по взрыву одного русского судна. Если меня это заинтересует, то мы поговорим об этом в будущем. Об этом — все. Еще одна беседа: мы говорили о возможности обосновать лагерь наемников в Нью-Йорке и обсудили методы вербовки людей.

Компания «Эр Франс» потеряла мой багаж с обмундированием. Когда мы приехали в Киншасу, нас было семеро: Буфкин, Лобо, Аркен, Джордж, Дэниел, Боб, Густаво и еще один, ожидавший нас уже в Киншасе,— Отис, он приехал раньше. Из аэропорта мы взяли такси и поехали прямо в штаб-квартиру ФНЛА, так как в аэропорту нас никто не встретил. Кроме всего прочего мы вынуждены были дать на лапу служащим аэропорта, чтобы избежать таможенного досмотра. Когда мы приехали в штаб-квартиру ФНЛА, нам сообщили, что ситуация здесь изменилась. Нам рассказали об одном из руководителей наемников — его звали Колленс [1],— который убил четырнадцать солдат, своих же подчиненных. Явно у него было не все в порядке с головой, и он убивал без всякой причины. Сейчас он на фронте и ранен в обе ноги. Он убил также двоюродного брата Холдена Роберто. В Киншасе суд заочно приговорил его к расстрелу. Английские солдаты нам рассказали, как с ними здесь обращались, как их надули и ограбили, как несправедливо с ними обошлись. В тот вечер мы пошли все вместе ужинать в ресторан «Паласио».

Когда мы уже кончили есть, увидели, что одного из наших нет за столиком, не было его нигде и в ресторане. Этого типа звали Боб, он был высокого роста и грузноват. Мы так и не смогли его найти и пошли устраиваться на ночь в гостиницу. На следующий день мы узнали, что сеньор Боб наложил в штаны, когда услышал те истории, которые нам рассказывали, и побежал в американское посольство умолять, чтобы его вернули в Соединенные Штаты.

В отеле случилось еще одно происшествие. Я уже спал в своем номере, когда Отис, Лобо, Армер, Джордж и Дэниел вошли в мою комнату, разбудили меня и начали жаловаться на то, какую свинью нам подложил Буфкин. Было ясно, что Буфкин нас надул и обобрал Тогда мы взяли за бока его и еще одного английского вербовщика, которого звали Ник, и поговорили с глазу на глаз. Мы заявили, что больше не нуждаемся в их посредничестве. Обязанности старосты мы возложили на Лобо. Позже, в Сан-Салвадоре, мы устроили суд над сеньором Буфкином за то, что он крал оружие из резиденции Холдена Роберто, что у него имелись фотографии и сведения об алмазных копях, информация и секретные планы организации кражи алмазов; а также за то, что он шантажировал людей. Сеньор Буфкин затем официально был обвинен в краже оружия из дворца Холдена Роберто, но отделался всего лишь штрафом в 200 долларов.

Мы пробыли в гостинице еще два с половиной дня, а затем поехали в резиденцию Холдена Роберто получать обмундирование и оружие. В тот же вечер все на грузовиках отправились в Сан-Салвадор. В дороге провели всю ночь и утро. Помню, как ночью остановились в одной деревушке, чтобы прихватить грузовик с китайской пушкой и боеприпасами. Холден Роберто ехал позади грузовиков на своей машине. Приехав в Сан-Салвадор, мы застали там страшную неразбериху. Не хватало продовольствия, не было ни врача, ни медикаментов. Солдаты не знали, с какой стороны подойти к артиллерийским орудиям. К тому оружию, которое было в наличии, недоставало боеприпасов. И, наоборот, были снаряды для тех видов оружия, которых у нас не хватало. Половина всех грузовиков и джипов были неисправны.

Меня назначили командовать группой американцев и отделением, в котором числились одиннадцать английских солдат. Под мое начало были переданы также 360 ангольских солдат, которых надо было обеспечить боеприпасами и научить тактике ведения партизанской войны. Два дня подряд я работал не покладая рук. На третий день меня спросили, не хочу ли я съездить в Куимбу на разведку. Я согласился. Мне сказали, что в Куимбе находятся войска ФНЛА и что никаких осложнений не предвидится. Я снарядил два джипа с пятью белыми солдатами и пятьюшестью ангольцами, и мы выехали из Сан-Салвадора. В пути у одного из джипов заглох мотор. Нам пришлось бросить машину. Но до Куимбы мы так и не доехали, потому что попали в засаду на шоссе. Началась стрельба. Я выпрыгнул из джипа на дорогу. Пока пересекал шоссе, был ранен в левую ногу. Начал отстреливаться из винтовки, но она отказала. У меня с собой был еще ручной пулемет. Я спрятался в высокой траве, выпустил несколько очередей. Потом все куда-то провалилось, я перестал что-либо ощущать. Очнувшись, я понял одно: остальные солдаты погибли или схвачены. Да, вряд ли стоило умирать за ту тысячу долларов, которые лежали у меня в кармане. Лучшим выходом в создавшейся ситуации был плен. Я решил сдаться. Когда меня вытащили на дорогу, я попросил разрешения предупредить остальных, чтобы больше не стреляли. Я крикнул два или три раза, но никто не отозвался. Все были либо мертвы, либо сдались в плен. Меня положили в грузовик и отправили в госпиталь Куимбы.

После осмотра нас доставили в военный госпиталь Луанды, где мы попали в руки хирургов.

Из всего этого я сделал вполне логичный вывод: единственно, кто помогает ФНЛА,— это ЦРУ. Стодолларовые банкноты, которые мне вручили, поступили прямиком из ЦРУ. Я не думаю, чтобы Холден Роберто печатал деньги в своем доме.

---

[1] Каллэн (*прим. автора*).

Снаряжение, которое пришло на третий день в Сан-Салвадор, тоже было послано ЦРУ: винтовки М-79, гранаты, бутылки с горючей смесью, радиопередатчики типа «Прик-25». Агентами ЦРУ была заполнена и гостиница в Киншасе. Нас предупредили, чтобы мы остерегались там встреч с журналистами и агентами ЦРУ. Холден Роберто все еще продолжал вербовать наемников из США. Я знал, что ФНЛА не победит, что дело даже не в том, кто победит и кто проиграет Мне совершенно наплевать на ФНЛА. Я приехал сюда, в Анголу, не потому, что имею что-либо против коммунизма или кубинских и ангольских войск. Я вообще не такой человек, который против кого-либо. Я приехал сюда только из-за денег, не из-за чего больше.

Что представляют собой наемники? Это очень разный народ. Некоторые просто находятся в бегах. Это — преступники, которые скрываются от полиции и властей. Другим осточертела жизнь, они просто устали жить. Третьи — обыкновенные авантюристы. Но так или иначе, все они похожи одним: становятся наемниками ради денег. Вот что я вам скажу: было бы чудесно, если бы никто в мире не нуждался в деньгах, чтобы все могли обходиться без этих паскудных бумажек.

Густаво М. Грильо».

Так выглядит эта обстоятельная исповедь, написанная Грильо. Беседуя с ним, я хотел узнать больше о той темной личности, с которой была тесно связана его карьера наемника; о том, кто занимался вербовкой людей для войны в чужой стране.

Первое, что Грильо рассказал о Дэвиде Буфкине, это то, что тот, вероятно, был «кое с кем» связан. Именно этим Грильо объяснял, почему он всюду возил с собой «общее досье».

— В нем он держал документы на 500—600 человек, не знаю точно сколько. Это сведения о людях, которые за столько-то долларов готовы убить кого угодно. Они действительно ничего не умеют, кроме одного — убивать. И им никогда не приходится сидеть сложа руки. Досье это — единственное в своем роде: ни у кого нет ни списка стольких имен, ни такой замечательной систематизации сведений. Там указано все, начиная с оружия, которым ты умеешь пользоваться, и кончая фактами из твоей личной жизни, какова твоя «специализация», например: взбираться на плоские крыши, шпионить, задушить кого-нибудь в лифте, полном народу, приемом «индейский ключ» — надавить пальцем на солнечное сплетение и ударить по горлу, чтобы никто ничего не понял и все подумали, что у человека инфаркт...

Грильо с явным удовольствием рассуждал о Буфкине, ведь это был, как мы потом поняли по его тираде, его любимый герой.

— Дэви — это господин Никто. Это голова. Именно он и вербует, внимательно изучает кандидатов и почти никогда не ошибается. Единственный, о ком Буфкин ничего не знает, это Лобо. Видите ли, другие могут делать то же самое, но зачинателем, поймите это, самым первым, кто привез американцев в Анголу, был Буфкин. Он взял их фамилии из своего досье. Знаете, почему мы с ним встретились лишь спустя три недели? Вы хотите узнать? Он действительно уезжал, думаю, что в Бразилию, но дело не в этом, а в том, что в то время меня изучал Лобо. Когда я пришел к нему на квартиру, мое имя уже значилось в его списке, но, естественно, в графе «возможных кандидатов», так как еще не было моего согласия.

Почему Грильо рассказывал все это?

Он продолжал говорить с такой же прямотой:

— Первых семерых американцев привез Буфкин. Он сам их доставил в Киншасу из Нью-Йорка, сделав, вероятно, пересадку в Брюсселе. Эти семеро уже были там, когда прибыл я со второй группой.

К удивлению моему и офицеров ФАПЛА, Грильо без всяких предварительных вопросов доверил нам «один секрет»: Дэви Буфкин был «уволен» именно им. Ему принадлежала эта инициатива.

— Мы его не убивали. В этом не было необходимости. Да надо уметь и пожалеть. Он вручил нам свой чемодан, в котором держал досье. Это был красный чемодан с двойным дном. Им занялся Лобо.

Несмотря на его словоохотливость, какой так недоставало остальным, было очевидно, что он все-таки не торопится раскрывать свои карты.

Как человек, замечавший все детали, Грильо заверил, что Лобо, несмотря на то что он «хиппи», все же не растяпа и никогда не оставляет ни одной копии своих документов. Буфкин явно проиграл игру. И Лобо сослужил ему плохую службу, что, конечно, и входило в его планы, было его давнишней мечтой.

Смогут ли лишить Лобо добычи, которую он отобрал у Буфкина?

— Лобо не дурак. И постарается вовремя отделаться от чемодана, который Буфкин, естественно, мечтает вернуть себе.

Почесывая зубной щеткой усы чаще обычного, изобразив ту улыбку, которую он держит в запасе для своих «клиентов», Грильо попросил, чтобы его показания не отвергали с порога. Он еще может предложить свои услуги. Пока есть спрос на наемников, он готов убивать кого угодно, сражаться с кем угодно и столько, сколько потребуется.

Латиноамериканский и африканский варианты...

Если вы хотите знать, страна, в которой до конца развенчали как обыкновенных «мафиози», так и политических наемников, точнее их местные разновидности,— Куба. Для того чтобы навсегда покончить с первыми, потребовалась революция рабочих

и крестьян. Преступность, гангстеризм, вылазки вооруженных банд — все это несли с собой те, кто стремился насадить «american way of life» [1] с благословения господствующих классов. Вторых — политических наемников — вышестовали в Майами с целью разгромить революцию. Правда, дальше узкой полоски берега им продвинуться не удалось [2].

Буржуазные правительства и стоящие за ними всемогущие компании скорее потворствовали, чем просто мирились с возникновением организаций типа «семейств», занимающихся индивидуальным террором. Одна из причин этого — разочарование мелкой буржуазии в результате поражения революции, направленной против тирании Мачадо (1933 год).

Нувориши, объявлявшие себя наследниками революционных идеалов, но находившиеся на службе у старой знати, которая уступила им государственный аппарат ради сохранения ключевых позиций в экономике, способствовали росту гангстеризма. Они ставили перед собой цель внести замешательство в ряды студенческого движения, парализовать действия молодежи с ее энергией и отвагой Они хотели заполучить хорошо обученную, мобильную и безжалостную силу, чтобы нанести удар по коммунистам, воспрепятствовать сплочению профсоюзного движения. Словом, им нужны были кадры для физического уничтожения тех, кто шел в авангарде борьбы против империализма и олигархии. Им было необходимо также орудие борьбы с соперничающими группами при дележе остатков от нового балтасарова пира.

Гангстеры сеяли ненависть и смерть. Пистолетные выстрелы и пулеметные очереди гремели из несущихся с огромной скоростью роскошных автомобилей, которые затем спокойно находили приют за заборами фешенебельных особняков. Полицейские машины мчались за автомобилями гангстеров, то и дело затевавших междоусобные схватки, исполняя приказы воротил, распоряжавшихся судьбой и самой жизнью своих бесправных подчиненных.

Славный штурм казарм Монкада знаменовал начало конца наемников-мафиози.

В тот поворотный 1953 год с убийц были сорваны маски и они были вынуждены открыто встать на сторону тирании. На примере «Тигров Масферрера» [3] можно видеть, как революция, возглавленная Фиделем, ликвидировала этот «бизнес» эксплуататоров.

Последние гангстеры, которых помнит Куба, сложили голову или трусливо сдались в плен на песчаном пляже Плайя-Хирон во время вылазки контрреволюционеров, которых Соединенные Штаты взрастили, воспитали и послали в страну, одержавшую победу.

Сегодня в Латинской Америке — об этом не могли мечтать даже сицилийские «мафиози» — убийства оплачиваются реакционными силами и посольствами Соединенных Штатов.

Террористическая группировка «Мано» превратилась в Гватемале в «эскадрон смерти»: 22 года назад этой стране силой были навязаны фашистские порядки. При этом были использованы отряды наемников. Диктатор Кастильо Армас был ставленником «Юнайтед фрут компани» и Фостера Даллеса. На открытом с той поры специальном кладбище нашли свой последний приют 20 тысяч жертв побоища.

Банды правых орудуют в Аргентине, Бразилии, Сальвадоре, Никарагуа, Уругвае.

С давних пор «тонтон-макуты» стали символом тирании в Гаити, этой молодой, но уже успевшей постареть империи, которая не может удержать власть без лжи и подкупа.

В Чили, как в свое время в Италии и Германии, главари ультраправых банд открыли дорогу «обыкновенному фашизму».

Во многих странах, и не только в Латинской Америке, профессия убийцы ради денег превратилась в обыденность, которая, подобно лакмусовой бумажке, помогает выявить истинную сущность буржуазных теорий.

Однако той ареной, где наемничество предстало во всей красе, явилась Африка. На этом континенте, по сей день остающемся предметом вожделения империалистов, опутанном сетями неоколониализма, родился новый тип слуги старого хозяина, слуги, гримирующего себя под поборника цивилизации, образец которой он видит в так называемом «обществе потребления».

Для примера можно было бы назвать много имен, но ограничимся одним — Савимби. 13 марта 1966 года была создана его группировка УНИТА, главная тактика которой — действия прямо противоположные декларациям.

Возможно, ни в одной другой стране мира не было написано такого количества лозунгов на улицах, на каждом доме, на каждой стене. И повсюду имя Савимби и инициалы УНИТА соседствовали со словами «независимость», «свобода», «справедливость», «союз рабочих и крестьян», «процветание», «революция», «социализм».

Но что мы читаем в копии докладной, датированной декабрем 1974 года, написанной шефом секретной португальской полиции в Анголе и попавшей мне в руки вскоре после освобождения Уамбо (Нового Лиссабона) войсками ФАПЛА,— докладной, адресованной руководству в Лиссабоне?

---

[1] Американский образ жизни *(англ.)*.

[2] Имеются в виду события 17—19 апреля 1961 года, когда близ населенного пункта Плайя-Хирон революционные вооруженные силы Кубы разгромили вторгшихся кубинских контрреволюционеров.

[3] Банда гангстеров на службе у Батисты. Совершила множество убийств, которые затем пыталась оправдать в своем печатном органе. Масферрер бежал в США сразу после революции, где вскоре стал жертвой взрыва бомбы, подложенной одной из соперничающих банд *(прим. автора)*.

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

В этом документе мы читаем, что УНИТА представляет для Юга то же самое, что и ФНЛА — для Севера: силу, помогающую Португалии бороться с главным врагом — МПЛА.

Шеф ПИДЕ [1], который знал Савимби еще юношей, когда тот был одним из его местных агентов, подтверждает этот вывод статистикой. С каждым месяцем сокращались вылазки УНИТА против португальцев и учащались — против МПЛА.

Когда Савимби помирился с Холденом [2], чтобы действовать сообща против только что родившейся Народной Республики Анголы, и когда Киссинджер признал, что и УНИТА, и ФНЛА являются «союзниками Запада», вся демагогия Савимби и Холдена предстала в истинном свете.

Тысячи трупов ангольских патриотов, убитых бандитами Савимби во имя трайбализма, южноафриканскими интервентами — во имя расизма, трупы, обнаруженные в городах и деревнях, не унесли правду с собой в могилу. Они вопиют о злодеяниях прислужников империализма.

Практика использования туземных наемников, как это было в Анголе, известна с давних времен.

В Соединенных Штатах, Англии, Франции, Бельгии, Португалии, Федеративной Республике Германии многие влиятельные, но недальновидные деятели полагали, что достаточно, чтобы некий Холден Роберто и некий Жонас Савимби завербовали нужное количество предателей из местного населения, и тогда замена португальского колониализма системой неоколониализма будет лишь делом техники

Они не теряли ни дня после того, как 25 апреля 1974 г. фашистский режим в Лиссабоне пал, подточенный сопротивлением народов трех африканских колоний, восставших прогрессивных военных и португальского народа. Неоколонизаторы сразу же решили разгромить единственную силу, которая на деле боролась против фашистской Португалии и противилась какому бы то ни было соглашению с неоколониализмом,— Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), возглавляемое Агостиньо Нето.

Дабы укрепить самое уязвимое место войск, сражавшихся против патриотов,— идеологию, и были подобраны эти привлекательные названия: Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА): для них были состряпаны демагогические программы. Не заставили себя ждать и доказательства «р-р-революционности» со стороны Пекина.

Так неужели здесь, как и на Кубе, «туземные» наемники не оправдают надежд неоколонизаторов?

И в то же время — удастся ли вновь овладеть Африкой, как это прежде не раз удавалось джеймсам бондам?

Во что обходятся иллюзии

В определенном отношении интересен случай Дэниела Фрэнсиса Герхарта, которого все называли Дэнни. Он сообщил, что числится в запасе национальной гвардии США. Герхарт оказался единственным из тринадцати наемников, который не объявил себя «аполитичным». Об этом мне говорили допрашивавшие его офицеры ФАПЛА, да я и сам смог в этом удостовериться.

— Я приехал, как и остальные, заработать немного денег. А заодно... х-мм... Не хотелось бы обидеть вас... заодно бороться с коммунизмом.

Дэнни Герхарт — из Вашингтона, ему 34 года; занимается парашютным спортом.

В отличие от Грильо, Герхарт говорит очень тихим голосом, почти шепотом, и его светлые волосы кукурузного оттенка резко контрастируют с черными и блестящими волосами аргентинца. У обоих за плечами Вьетнам.

— Та война оказалась для меня намного легче этой. Торчать здесь — далеко не то же самое, что, например, быть телохранителем VIP [1]. Я охранял командующего армией генерала Уэстморленда, шефа Пентагона Макнамару... всех шишек, которые приезжали туда, где я служил в шестьдесят пятом и почти весь шестьдесят шестой год. Приходилось, правда, и рисковать, потому что вьетнамцы ведь тоже фанатики, но все же не такие...

Герхарт поясняет, что дела его, однако, шли отнюдь не блестяще. Он всегда полагал, что те связи, которые он завел, рукопожатия «сильных мира сего» при расставании, его личное дело, «чистое как душа ребенка», гарантируют ему благополучие и хорошо оплачиваемую работу по возвращении домой.

— Ничего подобного. Я остался в запасе национальной гвардии, и единственная работа, которую мне удалось получить,— это место механика по холодильным установкам в одном из агентств федерального правительства (вполне возможно — этого не

---

[1] Секретная полиция Португалии, агенты которой жестоко расправлялись с противниками фашистского режима.

[2] «Нью-Йорк таймс» от 20 декабря 1975 года на основании признаний высших чиновников государственного департамента и ЦРУ писала: «Начиная с 1961 года Холден Роберто, руководитель ФНЛА, являлся агентом ЦРУ: за это он получал 10 000 долларов в год и обязан был поставлять нужную информацию. В январе 1975 года «Комитет 40» дал Холдену 300 000 долларов для того, чтобы тот сумел разгромить МПЛА. Несколько месяцев спустя крупные суммы были переправлены через Замбию и Заир руководителю УНИТА Савимби». *(Прим. автора).*

[1] Very important person — очень важное лицо *(англ.)*.

сказал Герхарт,— в одной из организаций, которая служит ширмой ЦРУ). Я должен был присматривать за кафе в нескольких центрах среднего образования и некоторых университетах.

«Нэшнл институт хелп» — место довольно спокойное, но единственная работа, которая там оплачивается сносно,— административная; из-за отсутствия подготовки Дэнни Герхарт никогда бы не смог взлететь так высоко.

— Я столкнулся с проблемой. С проблемой, которую считал серьезной. Если вычесть налог, то я получал 492 доллара в месяц. Это 5904 доллара в год. Не знаю, бывали ли вы в моей стране, но представители среднего класса, чтобы считать себя полноценными людьми, должны иметь доход по меньшей мере в 20 тысяч.

Представляю, как он с завистью смотрит на дом соседа, намного больший, чем у него; с болью думает что тот наверняка меняет автомобиль каждый год. Он долго не может заснуть, увидев как жена отбрасывает журнал мод, полистав его без всякой цели, так как ей он никогда не пригодится...

— В тот день,— рассказывал Герхарт,— когда я узнал от другого «бывшего вьетнамца», что за хорошую плату вербуют людей для Анголы, я не колебался. Поддержала меня и жена. Она даже сразу придумала «легенду» для детей.

Чтобы не терять времени, он решил не дожидаться, пока ему пришлют билет, обещанный по телефону (потом его могла сбыть с рук жена через своего брата, служащего одного из туристских агентств), и запродал в газеты несколько статей, чтобы оплатить дорогу до Нью-Йорка. Шурин был неплохой малый, но в долг не давал.

В тот же день, 7 января, когда Дэнни Герхарт въехал в мотель «Скай» в Нью-Йорке, он получил сумму в 1000 долларов, как ему обещали. Он был счастлив по-настоящему, когда ему дали подписать самый крупный контракт в его жизни: 2000 в месяц. Целых две тысячи, без всяких налогов!

— С 24 тысячами в год ты уже можешь считать, что принадлежишь к среднему классу. Во всяком случае, тот, кто имеет больше, не осмелится на тебя прикрикнуть.

Когда же иллюзии рассеялись?

По словам Герхарта — как только он прибыл в Киншасу (через Париж).

— Меня заверили, что я сразу попаду в настоящую армию, но ничего подобного! А ведь у меня есть военный опыт...

Разочарование сменилось возмущением, стоило ему ступить на землю Анголы.

— Во-первых, меня тысячу раз убеждали, что МПЛА не располагает ни армией, ни современным оружием. Во-вторых, что у нас будут и госпитали, и вертолеты для эвакуации раненых,— словом все, что нужно на войне. А первую инъекцию я получил лишь от этих сеньоров! — И Дэнни Герхарт показал на двух офицеров ФАПЛА.

Свидетельские показания Герхарта довольно красноречивы. Однако для того, чтобы увидеть наемника «изнутри», имеет смысл привести письмо одного из них, который выступал в этой роли уже во второй раз. И в последний. После смерти в кармане его маскировочного комбинезона нашли письмо жене. Вот что говорится в этом послании Питера Стюарта Макферсона:

«Дорогая Лиз!

Как ты можешь догадаться по моему местонахождению, я снова сражаюсь вместе с наемниками; наверное ты знаешь об этом из передач по телевидению. Ты, конечно, не будешь отвечать, хотя я и хотел бы, чтобы ты все-таки написала. Если все будет хорошо, то я вернусь с большими деньгами. Надеюсь, ты позволишь мне повидаться с детьми.

Мы захватили несколько городов, но бои идут ужасные. Сейчас нас осталось очень мало, и никто из нас не строит больших планов на будущее.

Контракт я заключил на шесть месяцев, но продлиться это может и больше и меньше. Скорее всего меньше, потому что эти африканцы которые сражаются рядом с нами, не имеют ни малейшего представления о том, что такое быть солдатом: когда они видят танк бросают оружие и бегут. Они вовсе не подготовлены для боев. Вкалываешь по 14 часов в сутки, пытаясь обучить их. Это адская работа — общаться с ними, ведь никто из них не знает английского.

А как поживаешь ты? Как там Дон и Анджела? Я не могу послать тебе денег, потому что, как я тебе написал в последний раз, мое жалованье переводят в швейцарский банк.

Если ты позволишь, я сделаю для тебя все, что захочешь, когда вернусь в Англию. Ты пока еще не понимаешь, что такое развод. Веришь или нет, а я много думаю о тебе; может быть, это от сознания вины — не знаю..

Здесь чертовски жарко — в Африке сейчас лето. Время писать письма у меня в общем-то есть. Но сейчас я очень устал, поэтому кончаю. Береги себя и поцелуй за меня Дона и Анджелу. С любовью

Питер».

Когда в кустах нашли труп этого наемника, его окружили местные жители, которые припомнили немало злодеяний, хладнокровно совершенных Питером Стюартом Макферсоном, ни капли не похожим на чуткого, предупредительного автора письма, адресованного жене.

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

«Здесь один закон — пуля!»

Колин Клиффорд Эванс во всем обвиняет своего отца. Он рассказывает, что именно отец прочел в газете «Сан» объявление; именно он приставал к нему, доказывая, что это — «легкая» работа, что негры — не бойцы и у них нет современного оружия; и это он в конце концов сказал ему, что иначе Колин не рассчитается с долгами.

— Кому я был должен? Своему отцу...

По словам Эванса, отец сам позвонил по телефону, указанному в объявлении, из своей родной деревни Дьюсберри, Норвич, и заставил сына взять трубку. Когда все было улажено, отец ласково похлопал его по плечу и сказал:

— Сегодня великий день для нашей семьи.

Встреча, о которой Колин договорился по телефону, могла состояться в любой день недели, кроме воскресенья, между двенадцатью часами дня и пятью вечера. Место встречи — железнодорожная станция Паддингтон, прямо под часами, на платформе № 1.

Уже на следующий день Эванс был в Лондоне, стоял под часами, которые показывали десять.

— Отец советовал, чтобы я пришел на пару часов раньше — на всякий случай.

Неизвестного, с кем была назначена встреча, можно было узнать по следующим приметам: светло-коричневый костюм, светло-коричневый галстук, светло-коричневые ботинки, пузатый чемоданчик, какие носят с собой врачи.

Папаше дело показалось простым и верным. Сыну — дьявольски сложным и опасным: с юных лет он испытывал страх перед законом

— Старик оказался прав: все ужасно просто. Ровно в двенадцать часов я увидел этого человека. Я заметил, что еще человек тридцать тоже дожидаются его, прогуливаясь неподалеку от часов. Я поразился невозмутимому спокойствию этого одетого во все светло-коричневое субъекта, когда тот извлек из объемистого портфеля карточки со штампом «МФГ» — «Мерсенари форсиз груп» [1] — и вручил их собравшимся, ни на ком не останавливая взгляда, как будто он раздавал извещения о распродаже по сниженным ценам в магазинах торгового центра в Дьюсберри.

Карточки надо было заполнить печатными буквами, указав фамилию, имя, возраст, имеется ли военный опыт, у кого можно навести о тебе справки, адрес, рост, вес и т. п.

Дав всем заполнить карточки, что происходило в обстановке ужасного ажиотажа и на виду у прохожих, человек, одетый в светло-коричневое, предложил всей этой компании добираться на такси до гостиницы «Гловерс» в шумном лондонском квартале.

В номере гостиницы Эванс встретился с одним шотландцем, который в свое время воевал в Кении против «Мау-Мау». Шотландец уверял его, что война будет легкой, даже веселой, чем-то вроде сафари.

— Шотландец мне сказал, что опаснее охотиться на львов, чем на черных. Как вам это нравится?

На следующий день после завтрака каждому выдали по два комплекта формы; размеры были подобраны в соответствии с данными, указанными в карточках при вербовке.

Эванс заявил, что сам этот акт произвел на него гнетущее впечатление. Опять воинская служба. Он уже отслужил десять лет в британской армии. И вот снова... Когда это кончится?

— Я ушел из армии, потому что устал.

Шотландец стал его опекуном. Все это ненадолго, говорил он, как было в Конго. Стоит им увидеть белого...

Эванс попросил человека в светло-коричневом костюме выдать форму на размер больше. При этом он узнал, что человека зовут Фрэнк.

Еще он узнал от него, что не будет абсолютно никаких затруднений с паспортами, что все «о'кей». Единственное, что надо было сделать, это приехать пораньше на ту же станцию Паддингтон и сфотографироваться в автомате, который сразу выдает готовые снимки. Но все оказалось еще проще: у Фрэнка уже были в руках чистые паспорта, которые должны были заполнить служащие гостиницы, имея перед собой карточки на каждого завербованного. Пока человек ездил фотографироваться («Всего одна минута — и аппарат выдает восемь фото»), готовился самый важный официальный документ Соединенного Королевства, удостоверяющий личность.

Эванс уверял, что все было именно так.

— Вам поможет только правда,— было заявлено ему.

Не будучи очень уверенным, что достаточно свалить на отца ответственность за эту грязную затею, Эванс стал ругать и правительство своей страны:

— Лично для меня форма, которую я примерил, означала то же самое, что и раньше, когда я носил в течение десяти лет форму другой модели. Меня заставляли делать то же самое.

Эванс перешел к критике системы:

— У нас больше миллиона безработных. Что мне было делать? В «Гловерсе» мы пробыли всего сутки, даже меньше. Со станции не возвратились в гостиницу, а прямо двинулись в аэропорт на автобусе с матовыми стеклами и кондиционированным воздухом. Причем места были заранее распределены: на каждом было написано имя. Чемоданы везли в багажнике. Организация превосходная.

Очередной приятный сюрприз ждал их, когда автобус с сорока наемниками тронулся: каждый получил по 150 фунтов стерлингов новенькими купюрами, только что из банка, и по конверту. Никто не сообразил,

[1] «Группа наемных войск» *(англ.)*.

зачем нужен конверт. Тогда Фрэнк тоном профессионального гида разъяснил его назначение.

На конверте надо было написать имя и адрес человека, который каждый месяц должен получать за них жалованье. Эти первые 150 фунтов надо было хорошенько пересчитать и положить в конверт для первой отправки.

История с почтой не очень-то им улыбалась. Но Фрэнк успокоил их, заверив, что его фирма солидная и располагает двенадцатью с половиной миллионами долларов.

Все это вместе взятое: непринужденная обстановка, деловитость, аккуратность во всех мелочах — развеяло сомнения. Колин Клиффорд Эванс, как и все остальные, любезно поблагодарил за деньги и отдал конверт с адресом сестры: Джоан Пис Коллинс, Саут-Уэст, 11, Чикенли, Дьюсберри. При этом, как ему и советовал отец, он вел себя как ни в чем не бывало, будто занимается всем этим сто лет.

В аэропорту Киншасы все было оформлено быстро. С ними обращались как с дипломатами и багаж не проверяли. Их группу человек в сорок устроили в гостинице. Времени подняться в номер не осталось — приказали сразу вернуться в автобус. Повезли в военный лагерь в часе езды от города.

Теперь Эванс толковал все это как психологическую подготовку Для этой цели им и вручили в первый же момент форму, с которой никто уже не расстанется — до победы, до смерти или до плена. Форма — в причудливую полоску от густо-зеленого цвета до зеленого, переходящего в оранжевый, пересекающуюся с черными полосами. Каждый посвященный в солдаты получил также тяжелый бельгийский автомат.

— Война приближалась, но было еще весело, был мир, непринужденная болтовня.

Они были едва знакомы, с трудом преодолевали языковой барьер (говорили они на английском, португальском, немецком, французском), но уже ощущали себя — или хотели ощущать — неким сообществом. «Один за всех и все за одного» Много говорили о том — да и кто мог сомневаться,— что война будет короткой, легкой, даже веселой. А потом, когда скопишь кругленькую сумму, вернешься домой ветераном и будешь рассказывать всякие небылицы, слушатели примут это за чистую монету.

— В Анголе мы вступили в дело, как только приехали в Сан-Салвадор. И сразу попали в заваруху.

Слово «заваруха» Эванс произнес несколько раз одним и тем же трагическим тоном, как бы выражая этим обиду на себя самого и своего отца.

Вот как выглядела эта история, записанная со слов Эванса. Как только солдаты собрались у входа в новый лагерь, разместившийся в бывшем госпитале, их построили в две шеренги. Новообращенных окинул взглядом высокий рыжеволосый мужчина. Он назвался старшим сержантом и потребовал, чтобы его величали «сэром». Через некоторое время появился другой человек, и старший сержант весьма церемонно отказырял ему. То же самое сделали все остальные. Старший сержант торжественно объявил, что к ним пожаловал их командир, полковник Каллэн.

— А потом в Макела-ду-Зомбу случилось самое ужасное: Каллэн без всякого суда отправил на тот свет четырнадцать наших солдат на глазах у всего отряда.

Эванс дал следующее описание этого убийства, которое обошло всю мировую печать.

В Макела-ду-Зомбу полковник Каллэн заставил всех построиться в шеренгу, как только вылезли из грузовиков. Спокойным голосом он спросил, есть ли здесь те, кто не собирается участвовать в боях Четырнадцать человек ответили утвердительно. Один из них, судя по акценту ирландец, вышел вперед и представился как их делегат. Каллэн потребовал, чтобы тот отдал оружие, заверив, что его определят обучать африканцев. Как только парень оказался безоружным, Каллэн выхватил свой пистолет и выстрелил в него в упор, закричав: «Здесь один закон — пуля!»

Оторопь и страх охватили всех. Каллэн заставил отдать оружие остальных тринадцать. Те не сопротивлялись Им велено было влезть в грузовик подъехавший, как только раздался выстрел в ирландца. Каллэн тоже взобрался в машину и приказал, чтобы туда забросили труп.

— Я вам уже говорил, что на самом деле не собирался сражаться, что меня зачислили инструктором. Однако Каллэн, прочитав мою карточку, уставился мне прямо в глаза, и я испугался Счастье, что я не шелохнулся. Невозмутимость, с какой этот дьявол — слава богу, что он мертв,— задавал вопросы, многих вводила в заблуждение. Что касается меня, то еще бы немного... Несколько минут спустя в грузовике раздались выстрелы. Всех их подло убили Слава богу, что Каллэн уже в аду!

Рассказывал Эванс с жаром, искренне, подобно тому, как мальчик рассказывает папе о перипетиях дня, проведенного на пляже с друзьями

Единственный раз он смутился, когда один из офицеров ФАПЛА пояснил, что все будет проверено, ибо имеются и другие свидетели расправы Их расспросят обо всем: кто стрелял, кто снимал с мертвых одежду, ботинки, часы, перстни, кто поддакивал Каллэну, издевавшемуся над «дезертирами».

Когда офицер спросил, не припомнит ли Эванс, лежали ли трупы африканцев, сложенные в ряд, по одну сторону дороги, тогда как по другую лежали четырнадцать убитых солдат, арестованный не проронил ни слова.

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

Как это выглядит у Каллэна

Познакомимся теперь с версией самого Каллэна. Он изложил ее на бумаге и попросил приобщить к делу Вот этот текст, в котором не упущено и не прибавлено ни одной запятой:

«Я получил приказ отходить к Макеле, поскольку Дамба уже попала в руки противника. В тот момент у меня было десять солдат-англичан, которые держали фронт. Мы находились там уже почти две недели, постоянно вели разведку, чтобы быть в курсе передвижений противника. В общем, все время были начеку. Если бы противник знал, как нас мало, то нас бы разбили за одну ночь; люди были издерганные и усталые (конечно, не те, что были профессионалами). Холден Роберто сообщил нам, что скоро придет пополнение и что мы должны продержаться любой ценой, так что все на передовой с нетерпением ждали этого пополнения. Тогда можно было бы перейти в наступление — все-таки разнообразие.

Два дня спустя они прибыли. Им дали перекусить, выпить чаю и немного передохнуть. Затем их выстроили перед зданием штаба. Они рассчитались по порядку. Я обнаружил двух пожилых солдат, которым было по пятьдесят. Я спросил, где служили, выяснил кое-какие другие детали, чтобы иметь представление, чего они стоят. Я их заверил, что доволен ими и их прошлым опытом, затем отдал под начало двух очень способных старших сержантов. Остальным я тоже сказал, что рад иметь их в своем отряде. Потом начал устанавливать свои правила и порядки, вводить железную дисциплину. Особенно упирал я на то, что с этого момента слышать не хочу, будто они наемники. Я заявил, что они бойцы дисциплинированных регулярных войск и что дисциплина — самое главное здесь и чтобы никакого баловства. Я подчеркнул, что тот, кто нарушит наш устав (идентичный уставу британской армии), будет казнен. С виселицей мы возиться не станем. Нарушитель будет расстрелян. Если есть такие, кому не нравятся наши порядки, пусть сейчас же выйдут вперед. Никто не шелохнулся.

Затем я объяснил, где находится противник, сообщил о наших замыслах в данный момент, о том, какое снаряжение имеется у противника, о том, как нас мало. Пояснил, какой тип противотанкового оружия я собираюсь использовать. Я предупредил, что буду посылать небольшие ударные группы «киллеров»[1] в тыл противника. Как только я кончил излагать свой план действий, по шеренге пробежал шумок.

Затем я стал расспрашивать каждого, где служил, чем занимался. Все заявляли, что не хотели бы так скоро идти на противника, а также не хотели бы иметь дело с танками. Я поинтересовался, зачем тогда они приехали сюда. Они принялись объяснять, что ждали не этого.

Тогда я выстроил тех, кто не хочет идти на фронт, по одну сторону и остальных, кто хочет,— по другую.

В этот момент один солдат принес мне депешу от Холдена Роберто, в которой он сообщал, что противник прорвал фронт в Томбоку, и спрашивал, смогу ли я немедленно выступить, чтобы остановить его.

Я сообщил солдатам содержание депеши и потребовал, чтобы двадцать человек с 106-миллиметровой противотанковой пушкой были готовы сию минуту выступить, а те, кто не хочет сражаться, пусть дожидаются здесь и займутся чем-нибудь полезным, пока я не возвращусь из Томбоку и не отпущу их на все четыре стороны. Перед уходом я отдал распоряжение своему старшему полковому сержанту двигаться вслед за танками вместе с остальными солдатами, которых было около двух десятков. Если они подойдут вплотную к Макеле и не встретят сопротивления, пусть займут оборону.

Нам потребовалось пять часов, чтобы добраться до Сан-Салвадора, потому что прошлую ночь шел дождь и дорогу развезло. По прибытии в Сан-Салвадор я обнаружил, что положение не так уж плохо, как я предполагал. Но в Томбоку возникла небольшая паника, и ситуация там стала еще хуже, чем была. Из Сан-Салвадора я повел свой маленький отряд из двадцати человек к Макеле.

Примерно в двадцати километрах от Макелы я встретил английских солдат, которые вкратце мне рассказали, что Макелу уже захватили и что там было много пехоты и двадцать танков. Я продвинулся еще немного вперед и увидел, что наши расположились в маленькой деревушке.

Времени было ровно два часа ночи. Если бы противник решил наступать, что было маловероятно, мы бы услышали. Я велел приготовиться к обороне и стал ждать рассвета.

Днем я выслал небольшой патруль с заданием проникнуть в Макелу. Мы обнаружили, что противник проводит перегруппировку Вероятно, они обнаружили, где расположилась вторая часть моей роты.

Я решил подыскать место получше для обороны. Мы вырыли окопы, заминировали подходы и стали ждать противника.

Около двух часов пополудни мы увидели приближающийся к нам джип. Посмотрев в бинокль, я узнал старшего сержанта полка с некоторыми из моих людей.

Он мне объяснил, что в Макеле не было никакого противника и что люди, которых там видели разведчики,— это люди самого сержанта. Тогда я собрал всех наших, и мы поехали в Макелу. По прибытии туда увидели, что остальные из моей роты находятся там. Я стал допытываться, что произошло во время моего отсутствия.

Как выяснилось, несколько человек из группы старшего сержанта возвратились в лагерь, чтобы прихватить съестного. Сделали это они совершенно открыто. Это были лю-

---

[1] От английского глагола «kill» — убивать.

ди, которые не захотели идти в атаку с противотанковыми гранатами.

Оба старших сержанта сообщили, что люди столпились и обсуждали план мятежа, собираясь уйти куда глаза глядят. Это были как раз те, кто сначала понравился нам, кого мы приняли за настоящих бойцов. Они-то и оказались заговорщиками.

Я подумал: может, они смекнули, чем им это грозит? Я еще раз спросил, собираются ли они воевать Тогда пятеро из них сделали шаг вперед[1] . Я объяснил, что в британской армии за дезертирство полагается смертная казнь через повешение, а здесь они будут расстреляны. Они восприняли это как шутку, именно такая реакция была написана на их лицах.

Я застрелил зачинщика, а остальных увели на расстрел люди из моей роты».

Здесь заканчиваются показания Каллэна, датированные 14 марта 1976 года, написанные и подписанные им собственноручно.

Предшественники Каллэна

Систематическое использование белых наемников в качестве ударных отрядов международного империализма, обращение в Африке XX столетия к услугам «ландскнехтов», подобных тем, что опустошали Европу в средневековье, свидетельствует о двух чертах империализма: о его свирепости и слабости одновременно

Симптоматично, что именно в 1960 году, когда была провозглашена политическая независимость многих африканских стран, когда на смену колониализму пришел неоколониализм, именно тогда белый наемник появился на африканской земле. Подобно тому как однажды в расистской североамериканской литературе появился Тарзан, белый наемник ворвался на континент, прокладывая путь в Африку империализму янки, ранее подчинившему себе Латинскую Америку.

Он кинулся на Конго (сегодняшний Заир: алмазы, уран, медь) в тот момент, когда Бельгия вынуждена была убраться восвояси. Патрис Лумумба возглавил тогда сопротивление, впоследствии став трагическим символом сил национального освобождения, которые в ту пору еще уступали своему врагу.

Предатель Чомбе развязал войну против законного центрального правительства Лумумбы. Чомбе воспользовался услугами «диких гусей» Майкла Хора, который руководил пятью группами «командос». Они-то и склонили чашу весов в пользу реакции.

Майкл Хор, полковник британской армии, прозванный Бешеным Майком, решил как следует «проучить» черных, учинив резню после захвата Стэнливиля, этой африканской Лидице.

Империалистический пропагандистский аппарат выливал потоки лжи, пытаясь изобразить дело так, будто наемники Бешеного Майка действовали сами по себе, по собственной инициативе, в рамках так называемого «частного предпринимательства», и что ими руководило страстное желание спасти жизнь сотне белых, которым якобы грозила опасность. Они действовали по примеру родезийского Смита Бешеный Майк уничтожил тысячи африканцев — мужчин, женщин, детей. И при этом почему-то помалкивала та пресса, которая раньше подняла такой шум вокруг предполагаемой Варфоломеевской ночи, якобы уготованной нескольким десяткам бывших колонизаторов.

Где они покупали оружие? На какие деньги? Каким образом доставлялись люди и снаряжение? Как, где, когда и кем проводилась боевая подготовка «диких гусей»? Об этом — ни слова.

В 1971 году имя еще одного шефа наемников приобрело такую же известность, как и имя Бешеного Майка, прославившегося десятью годами раньше Это был Рольф Штайнер. предшественник Каллэна Судебный процесс над ним в Судане вызвал сенсацию из-за его циничных высказываний. Впрочем, ему удалось скрыть имена тех, кто стоял за ним.

Штайнер дал четкий рентгеновский снимок института наемников, который «свободный мир» пестует для защиты своих привилегий.

Немец по национальности, бывший член «гитлерюгенда», солдат Иностранного легиона в Индокитае, Рольф Штайнер был послан (кем?) в южный Судан на подмогу сепаратистам из Нигерии, где он командовал группой наемников, потерпевшей поражение.

Между тем наемники снова зашевелились в Конго В 1968 году с согласия Мобуту они вторглись с территории Заира в Руанду. Это послужило поводом для создания Организацией африканского единства (ОАЕ) специального комитета по расследованию деятельности наемников Первое же решение комитета обязывало африканские страны не допускать наемников на свою территорию и выдавать каждого схваченного наемника властям страны, против которой он воевал.

Организация африканского единства заявила, что необходимо немедленно «положить конец преступным действиям иностранных наемников» в масштабе континента.

Можно было бы назвать и другие имена знаменитых головорезов, таких как пол-

[1] Одним из этих пяти был Кэвин Джон Марчент. Его рассказ расходится с версией Каллэна *(прим. автора)*.

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

ковник Жак Шрамм, печально известный своими преступлениями в Конго.

В ходе попыток отколоть Биафру, расчленить богатую нефтью республику Нигерию заговорщики, науськиваемые Центральным разведывательным управлением США, широко использовали белых наемников. Наемники-португальцы были использованы и во время атаки на Конакри в 1970 году с целью убийства президента Секу Туре.

Майкл Хор побил все рекорды по преступлениям. Это самый матерый и живучий наемник.

Сейчас Бешеный Майк, заключив договор с расистским режимом Смита, принялся переправлять своих людей в Родезию[1]. Замышляется уничтожение лучших сыновей африканского народа, составляющего большинство населения страны, народа, который борется за ликвидацию расистского ига и в то же время не хочет затем оказаться в неоколониалистских тенетах. В послужном списке этого «монстра Стэнливиля» значатся также годы «службы» в Намибии, где он развернулся вовсю, защищая жестокий оккупационный ку-клукс-клановский режим Южной Африки.

Почему же тогда Каллэн, а не Бешеный Майк?

Вопрос не праздный.

Многие журналисты, в их числе Годуин Матату, заявляют, что в конце ноября в Претории Бешеный Майк договорился с эмиссаром Холдена Роберто о поддержке ФНЛА и что вскоре 350 «диких гусей» были готовы вылететь в Анголу.

Однако возникли два препятствия, и оба финансового характера. Бешеный Майк настаивал, чтобы ЦРУ выплатило ему по тысяче рандов за человека и выдало страховой полис на 20 тысяч. ЦРУ сочло эти требования чрезмерными. Хор в свою очередь напомнил, чтобы Мобуту выплатил ему 10 миллионов долларов, которые он якобы задолжал еще со Стэнливиля. Мобуту тоже не принял этих условий.

Разгром белых наемников в Анголе имеет историческое значение: развенчан миф об их всемогуществе.

Однако нельзя ослаблять бдительность. Каллэны еще ходят по этой земле. Они отживают свой век, но все еще цепляются за жизнь в обществе, где все решают деньги.

Мы еще не все знаем, но то, что знаем, не может не вызывать тревогу.

В штате Колорадо, США, легально издается журнальчик «Солдаты удачи», который преспокойно пропагандирует преступный бизнес. Мечта его редакторов — создать целые армии карателей для экспорта оптом, а также для «внутреннего потребления»[1].

Майор Роберт К. Браун, выпускник школы геноцида, которую Вашингтон создал во Вьетнаме, редактор этого журнала, являющегося печатным органом для «профессиональных искателей приключений», руководит кампанией по вербовке и отправке наемников в Родезию.

Но дело имеет не только коммерческую сторону. В Гансаге, штат Аризона, действуют две вспомогательные организации, обслуживающие этот бизнес на крови. Одна занимается поставками оружия, в ведении другой — хорошо оборудованный учебно-тренировочный лагерь.

За спиной Брауна стоят два акционерных общества — «Феникс ассошиэйт» и «Омега груп лимитед», а за ними, конечно же, — ЦРУ. Кто за ЦРУ — известно каждому.

В одной из статей, опубликованной недавно на страницах журнала «Солдаты удачи», Браун призывает ради сохранения «порядка» расстрелять «Макговерна, Кеннеди, а также всех чиканос[2], негров, либералов и коммунистов».

Когда открытый экспорт наемников оборачивается неприятностями, ЦРУ поставляет их в качестве «экспертов» и «инструкторов», которых какие-нибудь акционерные общества вроде «Юнилевер» или «Эллайд кемикл персонел» дают напрокат по сходной цене.

Ли Эспин — один из руководителей другой организации-ширмы, «Спешл эдвайзори сервис», находящейся в Лондоне и полностью скомпрометировавшей себя в Анголе,— признал, что и в Англии действует американская разведка. Ли Эспин указал на Джеймса Леонарда и Ларри Катца из дипломатического представительства США в британской столице как на покровителей преступного бизнеса.

Лондонская «Санди телеграф» спрашивала с тревогой, не располагают ли эти организации, состоящие на службе у режимов Солсбери и Претории, секретными списками британских военных специалистов, находящихся в резерве, списками, которые помогают эффективнее вести вербовку.

Джон Бэнкс сообщил, что он уже ориентируется на другую страну, после того как прилежно выполнил условия контракта

[1] Выходящая в Претории газета «Трансваалер» сообщила в конце февраля 1976 года, что «около 1600 наемников находятся в пути, направляясь в Анголу и Родезию. В Родезии кроме правительства их вербуют от 5 до 10 частных лиц» *(прим. автора)*.

[1] Согласно сообщению американской газеты «Сан-Диего трибюн», существуют многочисленные «предприятия», специализирующиеся на вербовке наемников. Между ними даже развернулась настоящая конкуренция, как между фирмами, выпускающими сигары или автомобили. Газета сообщает: «Анубис лимитед», именующая себя в прессе «компанией доверия и успеха», подбирает людей для отправки в Родезию, а также для антикастровской организации «Альфа-66». А «Элиэт» сосредоточила свои усилия на вербовке бывших военных США, готовых сражаться в армии Израиля. Та же «Сан-Диего трибюн» утверждает, что военный атташе Тель-Авива в Вашингтоие — частый гость в конторе этой фирмы *(прим. автора)*.

[2] Американцы — выходцы из Мексики и других стран Латинской Америки.

своего «Секьюрити эдвайзори сервис» с ФНЛА, отправив из лондонского аэропорта Хитроу 120 наемников для ФНЛА. Он подчеркнул, что фирма его солидная и гарантирует качество «товара». Бэнксу нельзя отказать в умении обращаться с чисто коммерческой терминологией. «В Анголе наши убивают больше народу, чем южноафриканцы»,— говорил он.

Кто знает, может быть, кровавый диктатор Пиночет уже изъявил готовность послать солдат для защиты своего собрата Форстера, своего двойника, для спасения расистского режима?..

Пока существует империализм, будут существовать и наемники.

Зачем нужен Каллэн?

Зачем нужны были в Анголе белые наемники?

Нам придется начинать ответы со слова «уже».

Уже были закрыты остальные пути. Патриотизм ангольского народа и интернационалистская поддержка революционных народов сорвали планы колонизаторов.

Уже одни только внутренние контрреволюционные силы — Холден, Савимби — не могли ни победить, ни даже сдержать натиск МПЛА, мощь которого нарастала с ураганной скоростью.

Уже на исходе были силы интервентов из расистской Южной Африки. Если бы они захватили Луанду в ходе «молниеносной войны», когда в атаку пошли 150 танков, которые продвигались от южных границ со скоростью 60 километров в день, пока их наконец не остановили, то они превратили бы столицу Анголы в пепелище, похоронив Народную Республику, или сделали бы из Луанды еще один Иерусалим, оккупированный жестоким врагом. Однако контрудары ФАПЛА заставили отказаться от этого плана. Кроме того, регулярные южноафриканские войска не в состоянии вести войну на фронтах, разбросанных по огромной территории в миллион квадратных километров. Они вынуждены были поспешно отступать к югу, к Кунене, и затем, спасаясь от угрозы окружения силами ФАПЛА и от суда мировой общественности, ретировались в порабощенную расистами Намибию.

Уже шла речь, по сути дела, о подлинном военном и политическом фиаско.

Уже шла речь о том, чтобы, не теряя ни минуты, спасать то, что еще можно спасти.

Идея использования белых наемных убийц опиралась на миф, с которым они уже свыклись, — миф об их непобедимости: ведь в Африке не раз последнее слово оставалось за ними.

Поскольку сегодня уже нельзя игнорировать мнение мировой общественности, то им приходилось всячески оправдываться, делать вид, будто отправка наемников не имеет отношения к политическим замыслам какой-либо из империалистических держав.

Однако и сам Каллэн, и прочие каллэны, вообще все наемники олицетворяют собой неоколониализм — это замаскированное рабство, замаскированное вмешательство, эту замаскированную агрессию.

Холден Роберто проболтался журналистам (видимо, надо было придать побольше гласности этим событиям — это тоже входило в правила игры), что надеется собрать под свои знамена «не менее 600 солдат удачи».

Факты, документы свидетельствуют, что военный план предусматривал — как последнее средство — попытку перейти к партизанской тактике борьбы на неустойчивом северном фронте, рассеять силы противника и выиграть время, чтобы иметь возможность укрепить южный фронт.

Осуществление оперативного плана партизанской войны должно было создать условия для отторжения территорий, граничащих с соседними странами — Заиром и Замбией.

Нечто подобное — в случае успеха — планировалось и для южного фронта. Там уже были сосредоточены сотни наемников — португальцев, выступавших против деколонизации.

В обоих случаях планировалось создать «санитарный кордон» у границ Анголы, на территории соседних государств, и оттуда поставлять живую силу и снаряжение для контрреволюционных пиратских действий. Предполагалось также покрыть Анголу сетью потайных арсеналов оружия и снаряжения (сотнями тонн его повсюду захватывали бойцы ФАПЛА).

С точки зрения тактики был некоторый здравый смысл в идее сочетания «санитарного кордона» и партизанской войны («бей — беги»). То же самое относится и к югу — Мошику, где огромная территория Кванду-Кубангу, граничащая с Замбией и Намибией, представляет собой густые джунгли с редкими дорогами и множеством широких и стремительных рек Когда смотришь на такую реку, то порой кажется, что перед тобой море. во время дождей она затопляет огромные территории. Если бы врагу и не удалось захватить внутренние районы Анголы, то уж в этой-то дикой местности они рассчитывали создать по крайней мере многочисленные «ничейные зоны»

Короче говоря, планировалось создание баз для крупных вылазок, которые мешали бы ангольскому народу строить новое общество, основанное на справедливости и подлинной свободе.

Задача на более близкую перспективу заключалась в том, чтобы завладеть всем севером провинции Луанда и югом Мошику (оба района богаты алмазами).

Для этого необходимо было, не теряя ни одного дня, любой ценой сохранить провинцию Сан-Антониу-ду-Зайре (там хозяевами должны были быть белые наемники).

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО
АНГОЛА: КРАХ МИФА О НАЕМНИКАХ

Но не только они. Согласно показаниям пленных из ФНЛА, идея взорвать мосты через реку Мебридежи в качестве главного условия успешной обороны этой провинции была подсказана китайскими военными советниками.

4 января 1976 года Народные вооруженные силы освобождения Анголы (ФАПЛА) вместе со своими верными союзниками, кубинцами, показали, что они тоже умеют ценить время, нанеся страшный удар по новой стратегии иностранных интервентов и их лакеев: были освобождены ключевые, жизненно важные пункты — Негаже и Кармона в провинции Вижи.

Вспоминая, а больше сочиняя легенды о своих подвигах в Малайзии, Каллэн превозносил тактику активной обороны: атаки на врага с удержанием своей территории В качестве вспомогательной операции, как явствовало из показаний нескольких пленных и захваченных документов, он предполагал внедрять в тыл ФАПЛА свои силы с территории Заира, через Масау и оказывать давление на Санза-Помбу.

Что же из всего этого вышло?

Каким образом подвела вспомогательная сила — «туземцы» — и отряды белых наемников?

Наспех сколоченные из «туземцев» отряды потерпели крах не столько на поле боя, сколько в результате углубляющегося развала ФНЛА — организации, которую создавало ЦРУ на протяжении целого десятилетия. Среди ужасающих преступлений ФНЛА — сожжение целых деревень и безнаказанные убийства женщин и детей, даже каннибализм.

Джон Баркер, белый наемник, который умел неплохо обучать «туземцев», заявил, что Холден выделил ему 200 человек, чтобы он сформировал три роты. Но по прошествии трех недель из-за дезертирства ему удалось сформировать лишь пол-отделения, которое было бы уничтожено при первой же встрече с ФАПЛА.

Среди иностранных наемников тоже началось брожение, как только они узнали, что патриоты Анголы располагают современным оружием и им помогают кубинские союзники.

Пример четырнадцати наемников, которые отказались идти в бой и попросили разрешения заняться лишь обучением «туземцев», свидетельствует о степени падения дисциплины.

Хладнокровная расправа с этими четырнадцатью, возведение пули в ранг единственного закона, что весьма убедительно продемонстрировал Каллэн, выстрелив в упор в одного из своих солдат, — все это ускорило процесс тотального разложения.

Приказ «Убивай, или я убью тебя!» может заставить перепуганного головореза стрелять, но не сделает его бойцом, готовым на смерть.

За три недели был развеян миф, который культивировали в течение многих лет, с тех пор как в Африку начали прибывать белые наемники — целыми легионами или незаметными мелкими группами. Миф о наемниках, которых якобы только слегка подстегни и они сломя голову ринутся в драку.

Так неоколониализм растерял свои некогда острые клыки. Теперь это просто животное, отступающее перед хорошим кнутом опытного укротителя. Он еще может вербовать новых наемников, но уже известно, как победить его.

Случилось так, что о расправе Каллэна над солдатами вскоре стало известно всюду. Дезертиры использовали ее как предлог для разрыва контракта, предчувствуя близость края пропасти. Поскольку этот скандал поставил под удар отправку новых контингентов, ЦРУ приказало Холдену Роберто объявить 1 февраля по радио Киншасы, что «полковник» и его заместитель Сэмми Коуплэнд смещены и что Каллэн предстанет перед судом военного трибунала.

В следующей передаче того же дня сообщалось, что генеральный штаб ЭНЛА (вооруженные силы ФНЛА) назначил майора Мэйна Макробинсона и Питера Макэлиза (его воинское звание не было указано) новыми командирами белых наемников.

9 февраля, с явным намерением скрыть британское подданство Каллэна, этого преступного маньяка, и спасти бизнес на наемниках, лондонская Би-би-си в 7.30 утра передала буквально следующее: «Как сообщают, руководитель ФНЛА Холден Роберто приказал арестовать и судить военным трибуналом одного командира, грека по национальности, однако, как стало известно, последний бежал и скрылся в джунглях».

Некоторые захваченные в плен наемники свидетельствуют, что Каллэн (он, правда, этого не подтвердил) узнал из передач радио Киншасы о своем увольнении и предстоящем аресте и это побудило его начать активные операции в тылу ФАПЛА с целью поднять свои акции в глазах хозяев и сохранить пост командира.

1 февраля в 18.00 к югу от Кибоколу, в поселке чуть побольше «сензалы» — типичной ангольской деревушки из 6—8 глинобитных хижин, — настал час расплаты для Каллэна.

Он предпринял внезапную операцию, но плачевный исход ее был предрешен.

Двадцать наемников во главе с Каллэном на четырех английских джипах и французском пехотном бронетранспортере прибыли к месту операции. Машины отвели в укрытие. Солдат разделили на две группы, названные Каллэном по классической военной терминологии американской армии — группа «киллеров» и группа разведки и поддержки

«Киллеры» должны были внезапно атаковать неприятельскую колонну, которую предварительно поручили выследить второй группе. Эта колонна следовала из Дамбы к северу с целью закрепить крупный успех, которого ФАПЛА добились на-

кануне в Кибоколу и в прилегающей зоне: была отбита яростная атака наемников, 19 бандитов было убито, 16 ранено, почти вся их боевая техника уничтожена.

Как только Каллэн узнал о приближении колонны ФАПЛА, он отправил своих людей в засаду. Он рассчитывал, что дождливая погода, сумеречное небо и удобная для него местность позволят ему собственными силами успешно атаковать противника и уйти целыми и невредимыми

Выбранная в конце концов мишень — два джипа и грузовик — была частью колонны, отставшей от основной группы. Открыв перекрестный огонь, наемники убили двух бойцов с первой машины и ранили еще двоих[1].

Опьяненный первым успехом, Каллэн не устоял перед соблазном пустить ракеты вслед грузовику, который прибавил ходу, как только его экипаж услышал пулеметные очереди. Раздался взрыв: грузовик вез снаряды и взрывчатку. Как рассказывали до сих пор перепуганные пленные наемники, взрыв был такой силы, что напоминал извержение вулкана Затем последовала настоящая канонада разрывов, не утихавшая более 20 минут.

Взрывной волной убило трех наемников. Осколками гранат Каллэна ранило в спину и в ногу. Большинство атаковавших были контужены. На место подоспели бойцы ФАПЛА и истребили почти всех бандитов из группы «киллеров» и несколько человек из второй группы. Остальные в панике бежали.

Каллэн пришел в себя, и в этом переполохе ему удалось скрыться: его вынесли четверо подручных. Каллэна притащили в пустующую хижину, но как только его эскорт услышал, что приближаются бойцы ФАПЛА, они тут же бросили своего шефа и бежали в джунгли.

5 февраля Каллэна арестовали, а беглецов схватили две недели спустя. Крестьяне искали их до тех пор, пока не нашли. У крестьян не было огнестрельного оружия. Их единственным оружием была ненависть к интервентам. Так они и шли пядь за пядью, пока не наткнулись на бандитов. Долгих четырнадцать дней, питаясь лишь плодами манго, наемники пытались добраться до реки Зайре. Одному из них — Колину Клиффорду Эвансу — это удалось, его задержали, когда он пытался переплыть ее.

— Ночью мы боялись, что нас сожрут дикие звери, но, слава богу, мы не встретились с ними. А днем боялись, что нас найдут африканцы. В общем, мы не надеялись выбраться живыми.

Почти голыми руками, вооруженные лишь палками, оборванные, но сильные духом, крестьяне захватили наемников. Они сохранили им жизнь, поскольку, как и бойцы ФАПЛА, не лишены сострадания к поверженному.

Я уже знал его

Я отчетливо понял, кто такой Каллэн, еще до того, как встретился и беседовал с ним в тени миндального дерева во дворе бывшей тюрьмы ПИДЕ, ставшей эшафотом и могилой для революционеров многих поколений. А теперь сюда свозили контрреволюционеров и иностранных наемников.

Тех двух офицеров ФАПЛА, которых называют Уфолу и Кисуэйра[2], допрашивающих сейчас наемных убийц, в этой самой тюрьме били, пытали с садистской изощренностью, унижали португальские колонизаторы.

Я «разглядел» Каллэна, повторяю, еще до того, как увидел его. Мне помогли в этом его стражи и судьи. Они рассказывали мне о допросе, и их голоса гулко звучали во дворе тюрьмы, у стен, в которых слились черты арабской и португальской архитектур. А в кронах миндальных деревьев беззаботно щебетали птицы, и не было им дела до какого-то Каллэна. Я же внимательно слушал рассказ офицеров ФАПЛА.

Тот, кто знаком с удивительно благородным характером ангольского народа, поверит, что не было вовсе ненависти в глазах этих двух африканцев.

— Настоящее имя Каллэна, по его же словам,— Костас Георгиу, он грек-киприот. Британский подданный. С 1962 года его местожительство — Лондон, Брансуич, 9.

Если охарактеризовать его одним словом, то он — симулянт. Буквально во всем. Он из кожи лезет, чтобы выдать себя за того, кем не является. Он не продвинулся дальше сержанта в воздушно-десантных войсках, но первое, что сделал, когда ему поручили командовать наемниками, сам провозгласил себя «полковником». Когда его арестовали, он попытался сойти за врача, назвавшись именем того, кому, возможно, принадлежит роль главного «компьютера» всей операции по засылке наемников,— доктора Бедфорда. Каллэн сказал, что он — доктор Бедфорд, директор госпиталя в Сан-Салвадоре (под такой «крышей» действовал Бедфорд, а «госпиталь» на самом деле был казармой), что он приехал навестить старинного друга своего отца. Для пущей убедительности упомянул имя

[1] Когда перед Каллэном предстал один из тех двух раненых, главарь наемников заявил, что это невероятно, чтобы кто-то остался в живых, и если это так, то это из-за трусости его людей *(прим. автора)*.

[2] Боевые клички, на языке кимбунду означающие «Свобода» и «Мститель».

того, кто на самом деле мог быть большим другом Бедфорда-старшего,— банкира Карлуша Феррейру, одного из ярых приверженцев колониализма. Каллэн хотел, чтобы допросили и Феррейру, видимо, надеялся, что тот предпримет соответствующие демарши, чтобы спасти его. И даже когда ему уже ничего не оставалось, как признать, что он — Каллэн, он продолжал лгать и прикидываться невинной овечкой.

Во время допроса, воспользовавшись тем, что мы — революционеры, а не бандиты и не прибегаем к пыткам, не издеваемся над пленными, Каллэн признавался лишь в том, что было уже невозможно отрицать перед лицом неопровержимых доказательств. Когда наконец он признал, что является наемником,— отказывался подтвердить, что был командиром. Когда было доказано, что он не рядовой наемник, Каллэн отказывался сознаться, что это он отдал приказ расстрелять четырнадцать своих же солдат. Когда пришлось признать и это, отрицал, что собственноручно прикончил делегата мятежной группы выстрелом в упор, а затем всадил ему в спину еще две пули. Лишь после того, как мы назвали ему имена многих свидетелей из наемников, также арестованных нами, он признался и в этом, подтвердив признание письменно. Тогда он встал в позу «гуманиста», упирая на то, что расстрелял бунтовщиков, а не повесил, как это делают в Англии с солдатами, отказывающимися воевать.

Лживость Каллэна не знает пределов. Он утверждал, будто умолял своих людей бросить его, раненного при взрыве грузовика, и спасаться самим. В действительности это выглядело так: держа сообщников на мушке пистолета, он заставил их в течение полутора суток нести его до той хижины, где и нашли Каллэна. Он продолжает скрывать, что отсидел в Англии три с половиной года за налет на почтовое отделение, клянется, что никогда не попадал в тюрьму за уголовные преступления.

Выкручиваясь, «полковник» Каллэн вскоре сам разоблачил себя. Вот часть диалога, который состоялся между нами:

— Что побудило вас стать наемником?

— У меня не было работы. Сейчас в Англии миллион безработных. Миллион четыреста тысяч. Фунт стерлингов так обесценился, что ничего не стоит.

— Сколько вам платили?

— 150 фунтов в неделю.

— Если бы МПЛА заплатило вам в два раза больше, что бы вы сделали?

— Перешел бы на сторону МПЛА.

— Значит, у вас нет политических убеждений?

— Самые минимальные. Я аполитичен почти на сто процентов.

— Вам нужны были только деньги?

— Да, но... Зачеркните все, что я сказал раньше, я вас прошу. Зачеркните, или разговора больше не будет!.. Эту последнюю часть, насчет денег. Я выгляжу как скотина.

— Значит, у вас есть политические убеждения? Если деньги вас не волнуют, значит, дело в политических убеждениях, не так ли?

— Тоже нет. Я же вам сказал, что я аполитичен.

— В чем же дело?

— Я воюю не из-за денег, но и не за идеи. Я сражаюсь потому, что я солдат. У меня нет другой профессии. Каждому должна нравиться его работа. Вы так не считаете?

— Работа убивать людей труда в их собственной стране?

— Солдат должен применять оружие.

Узнав от одного из офицеров ФАПЛА, что вот уже несколько недель не было крупных боев, Каллэн потер руки и воскликнул:

— Война заканчивается! Когда я выйду отсюда, то напишу о своих приключениях. Это будет настоящий бестселлер.

— Но... Как вы думаете расплачиваться в Англии за свои подвиги?

— Те четырнадцать пришли сюда для того, чтобы убивать. Они не были ангелами. Они собирались убивать в деревнях, но не сражаться на фронте... К тому же мне известно все, что собирался делать Холден Роберто. Я знаю все про северный фронт. И я смогу вспомнить, где были спрятаны крупные склады оружия для партизан Холдена...

(Каллэн твердил о тех, кто «собирался убивать в деревнях». Мне не пришлось долго искать точные сведения о той роли, которую сыграл в Анголе этот убийца-маньяк.)

Одно информационное агентство в Лондоне представило новые свидетельства злодеяний, грабежей, преступлений, совершенных «солдатами удачи», заключившими контракт с американским ЦРУ, а также доказательства вины так называемого «полковника Каллэна».

Вот одно из газетных сообщений:

«Питер Макэлиз, один из британских наемников, которые участвовали в провалившейся авантюре против Анголы, вернувшись на прошлой неделе в Англию, заявил, что Костас Георгиу (Каллэн) руководил расправой над 160 ангольцами, жителями деревни близ городка Макела-ду-Зомбу, на севере страны.

Макэлиз рассказал, что Каллэн приехал в деревню, приказал всем жителям построиться в шеренгу и затем велел наемникам открыть огонь».

Уфолу предупредил меня, что Каллэн всячески избегает распространяться о своей службе в британских войсках на Кипре, на его родине, а также на Борнео, в Малайзии и Северной Ирландии (сначала он вообще отрицал, что служил там). Я задал ему вопрос на этот счет, но и мне он не сказал ничего конкретного.

— На Кипре я никому не причинил ни малейшего вреда. Вы должны записать это именно так. Только дикий зверь будет творить зло там, где родился.

Каллэн, естественно, «забыл» даты, названия баз и селений — все, что связано с его службой на родном острове.

Как же Каллэн стал Каллэном?

Опустим его прошлое — о нем когда-нибудь станет известно все, и его нетрудно себе представить. Ангольская эпопея Каллэна началась в ночном клубе «Замбези» — одном из бесчисленных вонючих баров, точнее, публичных домов, где вечно висит табачный дым.

В «Замбези» он пришел словно притянутый магнитом — объявлением, которое в течение двух дней подряд печатала не только «Дейли телеграф», но и весьма респектабельная «Файнэншл таймс», представляющая интересы высших кругов Лондона.

Официант обшарил его взглядом с головы до ног (у Каллэна было ощущение, будто он где-нибудь на контрольно-пропускном пункте) и указал на человека, сидящего за столиком в углу — удобная позиция для обзора. Каллэн сразу договорился с Джоном Бэнксом о цене. Правда, контракт вступал в силу лишь дня через два. Очевидно, это время было нужно Бэнксу для проверки рассказа Каллэна о собственной персоне.

Хотя мы почти ничего не знаем о его прошлом, можно заключить, что Каллэн уже был Каллэном, когда ступил на ангольскую землю. Ведь тот же Джон Бэнкс, узнав о его расправе над четырнадцатью наемниками, обронил:

— Каллэн — способный командир, но садист.

Несомненно, проверка сведений о Каллэне удовлетворила Джона Бэнкса, который хорошо знал, что ему нужно. Его всемогущее «о'кей» легло клеймом на высокого, худощавого человека с томным взглядом. Глаза у Каллэна обычно полуприкрыты. Но он широко раскрывает их, когда говорит,— чтобы придать своим словам оттенок печальной искренности.

В тот же день Джон Бэнкс экзаменовал и других молодцов — Питера Макэлиза, Сэмми Коупленда и Ника Холла, а немного позже — Чарлза Кристаделлуса, приходящегося каким-то родственником Каллэну.

Один из пленных, Макинтайр, который, судя по всему, знал Каллэна задолго до Анголы, дал своему шефу исчерпывающую характеристику, которая почти дословно совпадает с оценкой Джона Бэнкса.

— Полковник,— сказал Макинтайр, считавший, что того уже нет в живых,— был неплох как военный, но что касается преступлений, то это был просто маньяк.

Маленькие «проделки»

«О'кей» Бэнкса Каллэн отметил шампанским там же, в «Замбези», в развеселой женской компании. Затем он вылетел в Киншасу. Чтобы не терять времени, еще в баре его сфотографировали на паспорт. Что касается экипировки, то в Заире можно было получить любую, какую захочешь. А времени нельзя было терять ни минуты, потому что был конец декабря.

Согласно захваченным документам и показаниям пленных наемников, отряд, командовать которым был назначен Каллэн, должен был иметь следующий состав:

1. 600 «туземцев» от Савимби, который окончательно помирился с Холденом, о чем одна французская газета писала так: «Это союз порока и преступления».

2. Не менее 100 американцев, которые должны будут базироваться в Катанге.

3. Несколько сот наемников других национальностей.

(Вначале хотели взять «диких гусей» Майкла Хора, но сделка сорвалась, так как его требования, как я говорил, сочли чрезмерными.)

Третий контингент должен был состоять в основном из англичан, а также бельгийцев, голландцев, португальцев, немцев из ФРГ, французов и прочего «товара». Бросились разыскивать ветеранов: Робера Денара, Жака Шрамма, Чарлза Роуса, Карло Шаннона и «диких гусей» Хора — всех тех, кто принимал активное участие в войнах в Биафре, Судане, Конго и т. д. Не забыли и ветеранов Вьетнама, признанных знатоков техники геноцида.

И вообще не отказывали никому из тех, кто готов был убивать за деньги,— время торопило.

В четвертом пункте плана, разработанного генштабами, секретными диверсионными службами империалистических государств, определялась «квота» Холдена Роберто. Иностранная помощь предназначалась прежде всего ему—северному фронту более всего угрожали войска МПЛА с тех пор, как они прорвали вражеское кольцо в пятнадцати километрах от Луанды и начали контрнаступление.

Холдену, с согласия Мобуту, его тестя и покровителя, было велено немедленно выделить по меньшей мере один батальон и начать формирование еще нескольких.

Сроки отправки их были самые жесткие, так как положение становилось критическим: с каждым днем, с каждым часом войска МПЛА приобретали все больше боевого опыта и занимали все более выгодные позиции.

Подкрепления должны были прибыть несколькими партиями:

1. 28 января — 80 английских наемников, которых Каллэн должен был встретить в Киншасе и сразу же послать на подмогу базам наемников в Анголе. Выполнено.

2. 30 января — еще 30 англичан. Тоже выполнено.

3. Начало февраля — 30 американцев, двумя группами. На подходе.

4. В ближайшее время ожидалось прибытие дополнительных групп.

Особое предпочтение оказывалось наемникам с военным стажем (Вьетнам, Африка), поскольку они могли быстро проинструктировать «туземцев», которых бросил на военные действия Холден Роберто и которые могли бы удержать граничащую с Заиром провинцию Сан-Антониу-ду-Зайре, этот последний бастион, благодаря которому еще можно было попытаться спасти северный фронт.

Впрочем, вернемся к Каллэну.

Он просил то сигару, то стакан воды, улыбался, предлагал задавать ему любые вопросы, самые трудные. Ведь он всегда говорил правду, и лишь иногда ему приходилось, принося тысячу извинений, немножко «поправлять» себя во имя все той же правды.

Каллэн признался, что благодаря заботам врачей раны уже не болят. Когда на следующий день после приезда в Киншасу он вывихнул ногу, играя в футбол с «ниггерами» рядом с отелем, припомнил мой собеседник, за ним так не ухаживали. А ведь он хорошо заплатил! Он, как истинный англичанин, очень любит футбол; жаль, что раньше он не так ценил возможность погонять мяч...

— Я человек простой. И пусть даже мне не верят, я всегда говорю правду. Мне очень нравится гулять по парку. Это мое любимое развлечение. Самое любимое. На втором месте — футбол. Люблю простые житейские радости. Когда сидишь в тюрьме, особенно остро ощущаешь, как это хорошо — погулять, поиграть в футбол, хотя бы прямо на мостовой. И еще начинаешь ценить, что значит иметь возможность позвонить по телефону девчонке и просто поболтать с ней. Я не боюсь тюрьмы, но если мне и хочется поскорее выйти отсюда, то лишь для того, чтобы сдержать слово и жениться...

Когда Каллэну сказали — во время паузы, которую он сделал, чтобы выпить воды,— что тем неизвестным, которых он пришел порабощать и убивать, тоже нравились такие «маленькие житейские радости», его это совершенно не тронуло.

— Теперь я тоже задумываюсь над этой стороной дела, и мне становится немного не по себе. Может быть, я и принял бы ваши политические взгляды. Мне ведь всего 28 лет...

Основа основ

Они явно просчитались, пытаясь помешать народу Анголы завоевать свободу.

В будущем всякий раз, когда какой-нибудь мистер Бедфорд, Бэнкс, Буфкин или мистер Митчел снова будут подыскивать наемных убийц для расправы над свободолюбивыми народами, пусть кто-нибудь, а может быть, их собственный инстинкт самосохранения — он особенно обострен у тех, кто убивает ради денег,— подскажет им: помните Анголу.

Пусть помнят это предостережение «дикие гуси», свившие новые гнезда в Родезии и готовые в любой момент принять участие в кровавых преступлениях режима Смита, который безнадежно мечтает о несбыточном: сохранить господство расистов и фашистов, тиранию одного белого над двадцатью черными. Партизаны Зимбабве рано или поздно тоже одержат победу. Стойкость и солидарность всей Африки помогут приблизить этот день.

Чтобы навсегда похоронить в африканской земле развенчанный миф о белых наемниках и взрастить на ней вечнозеленое цветущее дерево свободы, необходимо заклеймить позором вербовку убийц, стать бдительными и делать все, чтобы подобные преступления против человеческого достоинства не повторились.

Наемник — порождение общества, где правит капитал.

Боец-интернационалист — это, начиная со времен Парижской коммуны и кончая Анголой, плоть от плоти трудового народа. Он прошел через горнило антифашистской войны в Испании, его идеология пропитана духом революционного пролетарского братства.

Там, где трудящиеся вытеснили капиталистов, рождаются бойцы-интернационалисты. Там, где властвует капитал, появляются наемники.

Наемник зарабатывает, убивая. Его «работа» — это агрессивная война и грабеж. Он способен сменить своего хозяина на того, кто больше заплатит, и ему безразлично, в какой валюте: в долларах или фунтах стерлингов. Но их хозяева могут быть лишь теми, кто они есть на самом деле: капиталисты, эксплуататоры, поработители, расисты.

Боец-интернационалист отдает свою жизнь за то, чтобы восторжествовали свобода, справедливость и мир.

Послесловие

Во время пребывания в Анголе в феврале месяце прошлого года мне довелось держать в руках документы и авиабилеты погибших наемников. Они вылетели из Лондона 18 января 1976 года через Брюссель в Киншасу. Листаю паспорт одного из них. Энтони Бодди, родился 10 октября 1936 года в английском городке Ричмонде. Паспорт № 005408-В, выданный 18 июня 1975 года, и медицинский сертификат пропитаны кровью. В Англии у него остались два сына — Николас и Ричард. Что привело Энтони Бодди и ему подобных на ангольскую землю? Прежде всего именно на этот вопрос отвечает книга известного кубинского публициста и общественного деятеля Рауля Вальдеса Виво «Ангола: крах мифа о наемниках», фрагменты которой напечатаны выше.

«Эта книга,— говорил мне недавно в Гаване национальный кубинский поэт Николас Гильен,— представляет огромную ценность тем, что она предельно документальна, она воистину способна убедить каждого читателя. Полвека назад война на ангольской земле закончилась бы трагически для народа этой страны. Сегодня времена безнаказанности для «собак войны», как называют наемников, ушли в прошлое. «Крах мифа о наемниках» — еще одно доказательство того, что справедливая борьба, которую ведут народы за национальное освобождение, при бескорыстной солидарности настоящих друзей, способна смести с лица земли любых агрессоров».

Книга Вальдеса Виво — это обвинительный акт платным убийцам и позорному ремеслу, именуемому наемничеством. Обученные убивать и нанятые убивать, эти преступники были посланы защищать колониализм, империалистические интересы большого бизнеса. Потерпев фиаско, они вместе со своими покровителями оказались на скамье подсудимых.

И когда летом прошлого года в Луанде проходил судебный процесс над ландскнехтами империализма, на столе у судей и в руках многих присутствующих в зале была в руках эта книга. Государственный обвинитель Руи Монтейро в своих выступлениях не раз ссылался на высказывания профессиональных убийц, приведенные в книге.

Суд в Луанде был с одобрением воспринят общественностью Анголы, других африканских стран. «Мы вершим правосудие,— говорил президент НРА Агостиньо Нето,— не только от имени нашего исстрадавшегося народа, но также от имени братских народов Намибии, Зимбабве и всех других народов мира, против которых империализм уже готовит новые агрессии с использованием наемников».

Бесславное участие наемников в ангольской войне, справедливый приговор, который был вынесен на процессе в Луанде, могут стать хорошим предостережением ландскнехтам, готовым к новым авантюрам на африканском континенте. Однако убийцы и преступники типа Каллэна продолжают свою грязную деятельность.

В Соединенных Штатах легально выходит журнал «Солдаты удачи», который называет себя «органом профессиональных авантюристов». Его издатель — майор Роберт Браун, прошедший школу массового геноцида во Вьетнаме,— руководит компанией по вербовке наемников для Родезии. В ЮАР печально знаменитый своими преступлениями в Конго полковник Майкл Хор держит в состоянии боевой готовности свою организацию «Клуб диких гусей». По-прежнему ведут активную деятельность представители так называемой Британской консультативной службы безопасности, сыгравшей постыдную роль в вербовке наемников для Анголы.

Кто же стоит за всеми этими преступными загадочными организациями, ассоциациями, обществами и группами, создаваемыми в разных странах? Один из руководителей все той же Британской консультативной службы безопасности Ли Эспин, открыто назвавший себя агентом ЦРУ, признал, что поддерживал контакты с сотрудниками американского посольства в Лондоне Джеймсом Леонардом и Ларри Катцем. Его коллега Джон Бэнкс, видимо пытаясь поддержать репутацию делового человека и защитить честь фирмы, заявляет, что его организация полностью выполнила условия контракта, заключенного с лидером прозападной марионеточной группировки ФНЛА Холденом Роберто,— она поставила в Анголу 120 наемников. «В Анголе,— хвастался он,— наши убивают гораздо больше народу, чем южноафриканцы».

В последние годы Южная Африка стала ареной ожесточенной борьбы народов против остатков колониализма на континенте, против расизма, за национальную независимость и суверенитет. Набат этой борьбы оповещает о том, что дни колониализма и расизма, несмотря на их отчаянное сопротивление, сочтены. «В будущем,— предупреждает автор книги «Ангола: крах мифа о наемниках»,— каждый раз, когда какой-нибудь мистер Бедфорд, Бэнкс, Буфкин или мистер Митчел снова будут подыскивать наемных убийц для расправы над свободолюбивыми народами, пусть кто-нибудь, а лучше всего собственный инстинкт самосохранения — он особенно обострен у тех, кто убивает ради денег,— подскажет им: помните Анголу».

В. ВОЛКОВ

◆

Антирубрика

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Стихи

Перевод с польского АЛЕКСАНДРА РОХОВИЧА

ДЕВУШКА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Я пришел, как условились, утром рано.
Мне гражданка сказала, что ты в отделе фортепьяно.
— Где эти фортепьяно? — обратился я к даме.

— На первом этаже, зал номер три.
Иду. А тебя нет. Смотрю в окно изнутри —
видна река и мост с фонарями.

— Может, вышла она в отделение арф,—
служитель закинул на горб свой шарф,—
восьмой этаж, зала двадцать вторая.

Букет распустился в лифте, как хвост павлина.
Стучу. Звоню. В отделении арф пустынно.
А за окном — зоопарк, где качаются попугаи.

Когда в полдень городские часы отзвенели,
я искал тебя в окаринном отделе,
потом среди саксофонов, и тройка подружек мне помогала,

потом по отделу барабанов совершил я бесплодный рейд,
потом хотел искать тебя в отделе волшебных флейт,
но сказали, чтоб я Моцарта из себя не строил, что такого отдела нет
и не бывало.

В четырнадцать с носом на квинте
я совсем заблудился в музыкальном лабиринте
ездил сверху вниз, то ниже, то выше.

Цветы я где-то посеял. Догнал меня служитель:
— В отделе фисгармоний еще поглядите,
стол у окна, в которое видны тучи, вороны и крыши.

Съехал этажом ниже. В седьмом зале
длинными рядами фисгармонии стояли,
одна за другой, как солдаты на площади.

А следов твоих нет — ни выше, ни ниже,
вот и встал у окна и сквозь стекла я вижу
памятник короля на чугунной лошади.

Может, ты, как в комических кинолентах,
под паркет провалилась?

И ищу тебя снова по всей базе музыкальных инструментов,
и найти не могу, как ни силюсь.

БАСНЯ О ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВЕ

На Новом Свете, в свете фонарном,
голова лежала в магазине антикварном:

этнографический монстр, а может статься,
прибор для магических манипуляций,

снаружи резная, внутри пустая,
голова — curiosité[1], химера сплошная,—

так или иначе — породы прочной,
дерево и дерево. Это точно.

Редкие вещи любя сугубо,
купил я эту балду из дуба.

Несу домой, снимаю обертку,
супруга смотрит, льет слезы горько.

Потом — монолог: «Сердечко родное,
что ты купил, зачем нам такое?

[1] Диковина, чудовище *(франц.)*.

У нас расходы на то и это,
а ты приходишь с подобным предметом.

Ох, я бедняжка, нет мне удачи,
что б ты ни сделал — все ты чудачишь,

взгляну на покупку — становится больно,
убери деревяшку, с меня довольно!»

(Монолог нарастает от слова до слова,
мы ходим вокруг головы дубовой.)

Чтоб хоть немножко блеснуть диалогом,
я так отзываюсь: «Клянусь тебе богом,

следовал я идее здоровой,
вот в чем секрет головы дубовой».

И, чтобы довод пошел за словом,
я вздел на кумпол кумпол дубовый.

Входит коллега (с башкой из дуба),
раньше со мной говоривший грубо.

Узря, что я тоже с дубовой блямбой,
начинает петь дифирамбы,

ласкает: «Мой котик!» Сидит за стаканом.
Деревянный лоб. Лоб деревянный.

Вмиг о моей голове дубовой
разносится весть, как рев коровий.

Хвала несется и поздно, и рано,
от голов деревянных — голове деревянной,

карьера — в гору, растет почитанье,
я в центре всеобщего вниманья,

дух Аполлона не мучит отныне —
по той же самой дубовой причине.

Пусть строит. трудясь, голова живая,
а я лишь итожу, я выступаю,

здесь поверчусь, там полюбуюсь,
где соглашусь, а где согласую,—

дни мчатся в блаженстве ежеминутном.
О, голова! Таинственный спутник!

Который найден мной в антикварном?
На Новом Свете? В свете фонарном?

Это простая случайность. А я-то
стал процветающим бюрократом.

■

РИЧАРД ПАРКЕР

КАК МАЛЬЧИКА ПРЕВРАТИЛИ В ТАЧКУ

РАССКАЗ

Перевод с английского МИХАИЛА ЗАГОТА

— Ну, вот что, Томис,— сказал я,— с меня достаточно. Если ты через две минуты не угомонишься и не примешься немедленно за работу, я превращу тебя в тачку. Больше делать замечаний не буду.

Разумеется, не один Томис нарушал дисциплину — все в классе баловались и вертелись. Ему просто не повезло. Надо было для острастки наказать кого-нибудь. День был ветреный, а ветер всегда будоражит детей, так что с ними никакого сладу нет. Кроме того, я знал, что отец Томиса выиграл в тотализатор крупную сумму денег, поэтому оживленное состояние мальчика вполне можно было объяснить. Однако потворствовать баловству — непростительная ошибка учителя.

Спустя три минуты я вновь обратился к Томису:

— Ну, Томис, сколько примеров ты уже сделал?

— Я только число успел написать,— буркнул мальчишка.

— Замечательно,— похвалил я.— Что же, я тебя предупреждал.— И без дальнейших разговоров я превратил его в тачку — в металлическую тачку ярко-красного цвета, с резиновым колесом.

В классе сразу же стало тихо. Они всегда замолкают, если держишься с ними построже, и следующие полчаса мы поработали довольно неплохо. Когда прозвенел звонок на перемену, я выпроводил всех в коридор, чтобы заняться Томисом в спокойной обстановке.

— Томис,— сказал я тачке,— можешь опять превратиться в Томиса.— Но этого не произошло.

Я решил сначала, что Томис на меня просто дуется, но потом понял — случилось что-то серьезное. Тогда я сразу же пошел к директору.

— Вот какое дело,— начал я,— я только что превратил Томиса в тачку, а теперь не могу заполучить его обратно.

— О-о,— задумчиво произнес директор, глядя на кучу бумаг, разбросанных на его столе.— Это очень срочно?

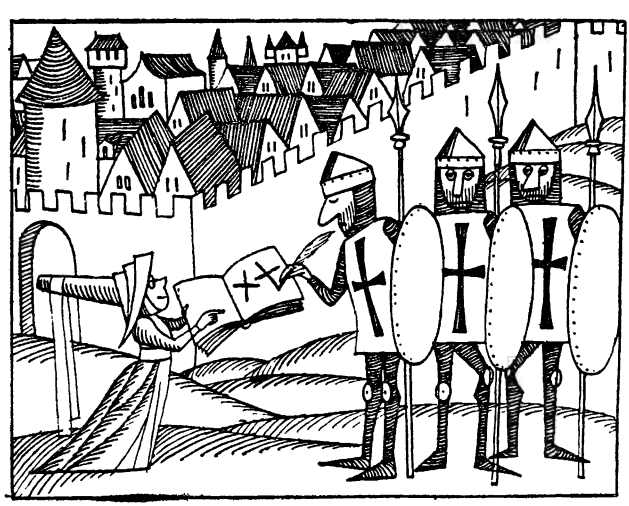
— Да нет,— отвечаю,— просто я немного обеспокоен.

— Какой он из себя, этот Томис?

— Небольшого роста, вихрастый, бледный. Все время шмыгает носом, а рот набит жвачкой.

— Это такой рыжий, что ли?

— Нет, рыжий — это Сандерсон. У этого волосы черные, как смоль, торчат во все стороны.



ТИБОР КАЯН. Автограф. Из сборника «Энциклопедия Каяна». Венгрия

— Ах да. Теперь вспомнил. Вот что,— он взглянул на часы,— тащите сюда вашего Томиса через полчасика, идет?

— Идет,— согласился я.

Одолеваемый недобрыми мыслями, я отправился наверх, в учительскую. Там Тонгело заваривал чай, и, взглянув на него, я вспомнил, что он занимает какой-то пост в нашем профсоюзе.

— Могу я сейчас заплатить тебе профсоюзные взносы? — спросил я.

Он аккуратно поставил чайничек на стол.

— И что же ты такое натворил? — спросил он.— Выкинул ребенка со второго этажа?

Я притворился обиженным.

— Просто подумал, что пора платить,— сказал я.— В злостных неплательщиках ходить неохота.

В конце концов он принял у меня деньги и выдал взамен квитанцию. Пряча ее в бумажник, я почувствовал себя гораздо спокойнее.

Затем я вернулся в класс. Томис, в образе тачки, все так же торчал за партой немым укором, красный и неуклюжий. Я никак не мог сосредоточиться на уроке, и через десять минут, дав всему классу какое-то задание, я опустил тачку на пол и покатил прямиком к директорскому кабинету.

— Ну, слава богу,— обрадовался директор,— наконец-то привезли садовый инвентарь.

— Это не инвентарь,— разочаровал его я, выталкивая тачку на середину ковра,— это Томис. Я вам рассказывал...

— Ох, виноват,— извинился он,— совершенно вылетело из головы. Оставьте его здесь, я им немедленно займусь. Я отправлю его к вам, как только приведу в надлежащий вид.

Возвратившись в класс, я дал ребятам сочинение на два урока, но Томис так и не появился. Я решил, что наш Старик, должно быть, снова все позабыл, поэтому в двенадцать часов, как только прозвенел звонок, заглянул к нему в кабинет, чтобы еще раз напомнить о себе. На ковре, без пиджака и без галстука, на коленях стоял директор. Пот градом лил с его лица. Увидев меня, он с трудом поднялся.

— Я уже все методы перепробовал,— пожаловался он,— и ничего, хоть ты лопни. Может быть, вы применили к нему что-нибудь из ряда вон выходящее?

— Нет,— ответил я,— самое обычное наказание.

— Я думаю, вам стоит позвонить в наш профсоюз,— сказал он.— Там есть юридическая консультация, спросите адвоката Максштайна. Он вам разъяснит, какие это может иметь последствия.

— Вы полагаете, у нас могут быть неприятности? — спросил я.

— У вас,— поправил меня директор.— На вашем месте я бы позвонил не откладывая, пока они не ушли обедать.

ЛАСЛО РЕБЕР. Без слов. Из сборника «Фокус-покус». Венгрия

Я дозвонился до профсоюза минут через десять, к счастью, Максштайн был еще там. Он выслушал меня, сопровождая мой рассказ невнятным бормотаньем:

— Вы, я надеюсь, состоите в профсоюзе?

— Да, конечно,— с готовностью ответил я.

— Взносы уплачены?

— Разумеется.

— Это хорошо,— сказал он.— Итак, что же с вами делать? Пожалуй, я вам через часок перезвоню. Такого случая у меня давно не было, нужно как следует подумать.

— Не могли бы вы хоть примерно сказать, чем это может для меня кончиться? — задал я вопрос.

— Мы, разумеется, вас поддержим,— заверил Максштайн.— Бесплатная юридическая помощь и все прочее. Но как все обернется, пока сказать трудно.— И он повесил трубку.

После полудня время тянулось мучительно долго. Максштайн все не звонил. У директора не было больше сил возиться с Томисом, и он выкатил его в коридор. Во время перемены я снова набрал номер телефона профсоюза.

— Извините, что я вам не позвонил,— сказал Максштайн, когда я, наконец, до него добрался.— Я был очень занят.

— Так как же мне быть? — спросил я.

— Видите ли,— сказал Максштайн,— все зависит от того, как к этому отнесутся родители. Если они решат передать дело в суд, я помогу вам защищаться.

— А Томис, между прочим,— напомнил я,— так пока и останется тачкой.

— И то верно. Тогда вот что. Отвезите его вечером домой — только сами. Выясните настроение родителей. Как знать, может, они вам еще и спасибо скажут.

— Спасибо? — удивился я.

— Недавно был подобный случай в Глазго — мальчика превратили в мясорубку. Мать была рада до смерти и умоляла не возвращать ей сына. Идите вечером к родителям. А завтра утром непременно позвоните.

— Хорошо,— сказал я.

В четыре часа, подождав, пока вокруг никого не будет, я выкатил Томиса на улицу.

На меня сразу стали глазеть, из чего я заключил, что происшествие уже известно всей округе. Совсем незнакомые люди кивали мне головой или говорили «Добрый вечер», даже выскакивали из магазинов и провожали меня взглядом.

Наконец, я добрался до места. Дверь мне открыл сам мистер Томис. В доме было полно народу и стоял невообразимый шум. Я сообразил, что мистер Томис пригласил гостей отпраздновать свой выигрыш в тотализаторе.

Он ошалело уставился на меня, потом предпринял отчаянную попытку вспомнить, кто я.

— А, это учитель нашего Тэдди,— громогласно объявил он, обращаясь к гостям.— Вы пришли как раз вовремя. Сейчас мы с вами перехватим по стаканчику.

— Видите ли,— замялся я,— нам надо поговорить насчет Тэдди...

— Ничего, это подождет,— перебил меня мистер Томис.— Входите, входите.

— Дело очень серьезное,— продолжал я.— Сегодня утром я превратил Тэдди в тачку. А теперь...

— Ладно, ладно, первым делом выпьем,— продолжал он настойчиво приглашать.

Пришлось подчиниться. Я выпил за здоровье мистера и миссис Томис.

— Сколько же вы выиграли? — поинтересовался я из вежливости.

— Одиннадцать тысяч фунтиков,— сообщил мистер Томис.— Повезет же так!

— Да, бывает. Но вернемся к Томису,— сказал я решительно.

— Ах да, эта история с тачкой,— вспомнил мистер Томис.— Ну что же, посмотрим, посмотрим.

Он потащил меня во двор. Мы подошли к тачке.

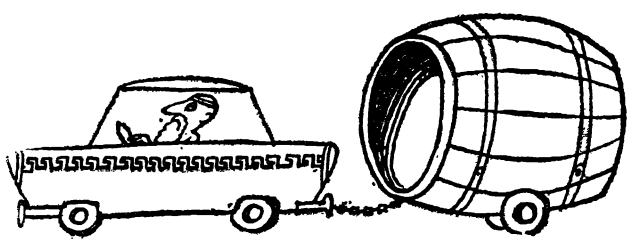
— Это он? — спросил мистер Томис.

Я кивнул.

— Ну, вот что, Тэдди,— грозно проговорил мистер Томис,— если ты сию же минуту не образумишься, я из тебя вышибу всю дурь вот этой штукой.— И он начал расстегивать тяжелый ремень, игравший вторую скрипку по отношению к подтяжкам.

Тачка тотчас же превратилась в Тэдди Томиса, который резво шмыгнул в сторону сада и исчез через дыру в заборе.

— Вот видите,— сказал мистер Томис.— Слишком уж вы, учителя, с ними миндальничаете — в этом вся беда. А теперь пойдемте выпьем еще чего-нибудь.



ТИБОР КАЯН. Диоген.
Из сборника «Энциклопедия Каяна».
Венгрия

ВИЛЛИ БРАЙНХОЛЬСТ

Улыбки Дании

Перевод с датского МАРИНЫ ТЮРИНОЙ

Иллюстрации художника ЛЕОНА

Поскольку супруг твердо уверен, что его легкомысленные поступки останутся тайной, нет никаких препятствий к тому, чтобы он хоть один-единственный раз выбрался в город и немного развлекся.

По воле создателя мужчина слеплен из иного теста, чем женщина. В качестве некоторой компенсации создатель наградил его тем, чего у женщин нет. Я имею в виду наши недостатки. Чего-чего, а этого у нас хватает. У меня у самого тоже имеются. Правда, немного. Оговорю сразу, что я, боже упаси, никогда не изменял Марианне, но ко мне приходят — да-да, сам не знаю почему — очень странные мысли, они меня иногда начинают буквально одолевать — как было в тот вечер, когда я остался дома совсем один. Марианна гостила у друзей в Хольстебро [1], это несколько сот километров от нас.

Я сидел в одиночестве уже целую неделю, коротая тоскливые и однообразные вечера у телевизора или читая детективы. Пришла суббота, а ничего хорошенького почитать в доме так и не нашлось.

Как может человек убить вечер?

Если бы я был молодым парнем, я бы позвонил своим приятелям и мы бы уж придумали, как провести время.

Но я далеко не юноша. Да и приятелей у меня таких нет, кому я вот так запросто мог бы позвонить. Все мои друзья, которых я помнил и знал, давно обзавелись семьями (попались в капкан обеими ногами) и, само собой разумеется, свободой не располагали.

Если бы я был молодым парнем, я бы пошел погулять с какой-нибудь девушкой, но я уже не был молодым...

Стоп! Сколько километров до Хольстебро? Триста двадцать два. Довольно далеко, если подумать. В десять раз больше, чем от Копенгагена до Роскилле [2]. Значит, никаких неожиданностей опасаться не надо. То есть я просто хочу сказать, что я без промедления мог облачиться в свой красивый серо-голубой костюм и отправиться в центр города. Ни одна кошка не мяукнула бы по этому поводу, и ни одна собака в Хольстебро не узнала бы об этом.

Можно, например, пойти в бар.

Нога моя не переступала порога бара за все двенадцать лет супружеской жизни. Любопытно опять попробовать. Выпить немножко и поглазеть на девочек. Совершенно невинно, разумеется. Просто вспомнить молодые годы. Разве в этом есть что-нибудь дурное? Сидеть, потягивать виски, а потом пригласить девушку потанцевать...

Диннннь!!!

Телефон. Это была Марианна. Звонила из Хольстебро. Спрашивала, как дела. Не забыл ли я полить цветы? Ел ли я? Она вернется во вторник.

Когда она попрощалась, я полил цветы.

Триста двадцать два километра до Хольстебро.

Если у меня был шанс, то он был сегодня. И почему, черт возьми, другие мужья так не переживают, когда их жены путешествуют? И вообще, почему это я так разнервничался? Разве нас не держат постоянно в узде? Что я, не имею права немного развлечься? Один раз живем! И разве не гласит старая пословица, что правда — хорошо, а счастье — лучше?

Итак, я отставил кувшин с водой, облачился в хрустящую белую рубашку и новый (очень красивый) серо-голубой костюм.

Полчаса спустя я снял с полки шляпу, закурил сигарету, поправил в последний раз галстук и, критически оглядев себя в огромном зеркале, убедился, что вполн-

[1] Город в Ютландии *(Здесь и далее — примечания переводчика).*

[2] Город в Зеландии, неподалеку от Копенгагена.

не выгляжу тридцатидвухлетним симпатичным мужчиной.

И вот тут!

Маленькая, дьявольски неожиданная штучка разрушила все! В несколько секунд она состарила меня на десять лет, приказала положить шляпу обратно на полку, стянуть с себя такой красивый серо-голубой костюм и опять нацепить домашнюю куртку, сесть на диван с одним из индейских романов Купера и постараться найти в нем утешение.

Что же случилось? А случилось то, что, оглядывая себя в зеркале, я сунул руку в карман и обнаружил кусочек бумажки. Я смял его и собрался было выбросить. Но потом решил посмотреть, что же это такое. Я развернул его. Я узнал почерк Марианны: «Ты чертовски хорош. Куда это ты собрался?»

◆

Если кто-нибудь из ваших друзей не проявляет желания общаться с вами, вы не должны к ним приставать. Дождитесь случая, когда ваши друзья сами почувствуют необходимость увидеться с вами,— тогда вы их и приглашайте.

Мы сидели за завтраком.

— Позвони Томасену,— сказала Марианна.

— Да, верно, я чуть не забыл.

Я набрал номер. Через некоторое время он поднял трубку.

— Доброе утро,— сказал я,— это...

— Какого черта ты звонишь так рано? Глухая ночь! Ты что, рехнулся?

Он швырнул трубку.

Конечно, я прекрасно знаю, что существует нечто, называемое обывателями гринвичским временем. Но я никогда не думал, что между меридианами, которые пересекают Амагер (где я живу) и Гладсаксе [1] (где живет Томасен), существует такая разница. Интересно, который час в Гладсаксе, когда в Амагере восемь тридцать пять?

Он спал!

Я уселся за стол. Спустя полчаса Марианна решила, что я опять могу позвонить.

— Ему нужно быть на работе в десять, поэтому он, наверное, уже встал.

Я опять поднял трубку и набрал его номер.

— Доброе утро! Я не думаю...

— Я в ванной!

Он швырнул трубку. Я снова уселся за стол и потянулся за последним печеньем.

Он был в ванной!

Я попробовал позвонить еще через полчаса.

— Доброе утро,— сказал я,— это...

— Привет, старик! Прости, ради бога, что я швырнул трубку, но — о боже! Я опаздываю! Я опаздываю на автобус! Прости, я...

Он опять швырнул трубку, и я сел за стол еще раз.

— Автобус,— пояснил я.

— Что такое?

— Он опаздывал на автобус.

— Тогда позвони ему после обеда, как только он придет с работы. Ты должен его поймать.

Я позвонил снова около четырех.

— Привет,— сказал я,— это опять я. Послушай, дело в том, что...

— Подожди секунду, старина! — Он словно провалился, а я ждал. Если верить нашим часам, которые стоят в углу гостиной, я ждал битых двадцать две минуты! Наконец в трубке раздался женский голос:

— Кто говорит?

— Это я,— сказал я.— А это вы, фру Томасен?

Это была фру Томасен.

— Подождите секундочку, он сейчас подойдет. Мы только что вошли, понимаете? Мужу надо перенести из машины покупки. Вы знаете, на улице ливень. Сейчас я его позову, одну минутку!

— Да не надо, мне все равно. Мы можем договориться и без него. Моя жена и я хотели бы...

— О боже! Кофе! Сбежал!

[1] Районы Копенгагена.

АНТИРУБРИКА

Фру Томасен бросила трубку.

— Кофе, — объяснил я, — сбежал!

Через час я сделал новую попытку. Трубку взял Томасен-младший.

— Алло? Кто говорит? — раздался его ясный детский голос.

— Могу я поговорить с твоим папой?

— А кто его спрашивает?

Я представился.

— Он в кладовой!

Трубку положили. Я просунул голову на кухню к Марианне и доложил:

— Он в кладовой.

— Позвони через некоторое время. Не вечно же он будет там сидеть!

— Разумеется, — сказал я. — Но, быть может, теперь он заберется на чердак.— Через десять минут я позвонил снова.

На этот раз трубку взяла собака. Во всяком случае я услышал тявканье. Потом собака сказала «гав-гав» и раздался женский голос:

— Пошла прочь, милая! Алло!

— Это опять я...

— О господи! Я совсем забыла! Сейчас я позову мужа. Одну секундочку!..

Я подождал секундочку и еще, наверное, с полсотни секундочек. В трубке опять раздался голос фру Томасен:

— Я нигде не могу его найти. У него потрясающая способность исчезать, когда на обед молочный ячменный суп и вяленая треска.

— Вы не смотрели на чердаке?

Там она уже побывала.

— Я передам ему, чтобы он позвонил.

— Да это не имеет значения. Послушайте, фру Томасен! Дело в том, что моя жена и я...

— Суп! О боже!..

Она швырнула трубку. Воцарилась тишина. Я опять пошел на кухню и доложил:

— Молочный суп,— сказал я,— он пригорел.

— Что он сделал?

— У них на обед молочный суп. Фру Томасен, вероятно, отошла от плиты, когда зазвонил телефон. М-м-м-м... как вкусно пахнет. Можно мне сесть за стол?

Мне было можно. Когда через два с лишним часа я поднялся, сытый, довольный, и в совершеннейшем блаженстве потянулся за сигарой, зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Это я, Томасен. Ты звонил? Что ты хотел?

— А, это ты,— сказал я,— закуривая сигару и откидываясь в кресле,— видишь ли, вчера я по лотерее выиграл целую утку, повезло, понимаешь? А поскольку мы решили, что на троих одной утки многовато, то я тебе и звонил, чтобы узнать, не согласишься ли ты с Ирмой прийти к нам на обед и отведать жаркое из утки с черносливом, яблоками и красной капустой...

— Конечно, мы сейчас же придем,— прервал меня Томасен,— черт возьми, а у нас сегодня какая-то противная молочная бурда...

— Сейчас уже поздно,— остановил я его и пустил колечко дыма к потолку.— Оказалось, что утка была не настолько большая, чтобы мы ее с большим аппетитом не съели без вашей помощи! Но спасибо, что позвонил!

Я положил трубку и с нежностью посмотрел, как она улеглась на свое место.

◆

MARIANE

Если муж ночью проснется и обнаружит, что постель его жены пуста, он не должен впадать в панику и подозревать свою жену в худшем, но спокойно перевернуться на другой бок, спокойно спать дальше, а утром спокойно и не теряя присутствия духа спросить ее, где она была в два часа пять минут.

Что бы вы сделали, если бы, проснувшись среди ночи, обнаружили, что постель вашей жены пуста? Что ваша жена исчезла? Совсем. Если вы хороший муж, вы бы бросились на поиски, не правда ли? Именно это я и сделал — и каков итог? Я зарекся предпринимать какие-либо попытки ее искать, если она вдруг вздумает опять исчезнуть.

Это случилось на даче. Часы показы-

вали ровно два часа пять минут ночи, когда я проснулся и почувствовал, что проголодался. Я выбрался из-под одеяла и направился было в кухню, чтобы посмотреть, нет ли чего вкусненького в холодильнике. И тут до меня дошло, что с постелью Марианны происходит что-то не то. Она выглядела совершенно необитаемой. Я скинул подушку на пол. Постель была пуста! Пуста, как кинотеатр в пасхальное утро. Странно. Она никогда не пустовала в два часа ночи! Я стал искать Марианну, но ее не было ни в ванной, ни на кухне, ни в столовой, ни в гостиной, ни в гараже, ни во дворе. И в колодец она не могла упасть просто потому, что колодца у нас не было вовсе. Я позвал ее, но ответа не последовало. Тогда я побежал на пляж. Но ее не было и там. Мне стало просто не по себе, когда на песке я увидел поясок от ее ночной рубашки. Море выглядело темным и враждебным. Неужели она утонула? Ужасная и непостижимая мысль, но ей-богу, какие только мысли не начнут одолевать верного и преданного мужа, не представляющего жизни без своей жены, да еще тогда, когда среди ночи она вдруг вот так бесследно исчезает? Быть может, она решила искупаться не просыпаясь? И проснулась только тогда, когда было слишком поздно? Я звал ее, бегал туда-сюда по пустынному пляжу и окончательно потерял голову. Вдруг я заметил — и сердце мое сжалось от страха,— что наша маленькая лодочка с навесным мотором исчезла. Может быть, это Марианна поехала покататься и мотор отказал? Но какого черта ее понесло кататься в это время? А может быть, она связалась с контрабандистами? Может быть, ее постель пустует каждую ночь? Я же не мог за этим проследить, потому что как раз ночью я сплю лучше всего.

Надо было что-то предпринимать. Но один я не в силах был справиться. Я помчался домой, схватил телефон и набрал номер ближайшего отделения полиции.

— Моя жена исчезла,— сказал я, едва переводя дыхание и чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из меня,— я искал ее всюду, но...

— Как долго она отсутствует?

— С двух часов ночи. Я проснулся и почувствовал, что голоден, и...

Полицейский прервал меня, чтобы записать мое имя и адрес, и не проявил никакого интереса к обстоятельствам дела.

Но я упорствовал:

— На пляже я нашел пояс от ее ночной рубашки, и лодка моя тоже исчезла. Может быть, моя жена отправилась в море, а мотор отказал? Вы должны оповестить все корабли, которые находятся в этом районе, и послать пару шлюпок...

— Да-да, успокойтесь, пожалуйста. Вы уверены в том, что ее нет в доме?

— Конечно нет. Если бы она была здесь, стал бы я вам звонить? Я же не круглый дурак. Я вам говорю, что скорее всего она поехала на лодке, и мотор отказал, и она в опасности, потому что лодка течет и вообще может перевернуться — она очень маленькая, а мотор навесной и совсем никудышный, потому что я его сам собирал. Вы понимаете, насколько это серьезно?

Он понимал.

— Я оповещу ближайший береговой патруль, и они отправятся на ее поиски. Мы позвоним, как только найдем вашу жену.

Я поблагодарил и повесил трубку.

— Кому это ты звонишь среди глубокой ночи?

Я обернулся. Это была Марианна. Она выходила из кухни с огромным бутербродом в руках.

— Где ты скиталась, человече? — взорвался я.

— Мне не спалось, я днем перегрелась на солнце. Поэтому я решила прогуляться — сначала по саду, а потом вышла на пляж поглядеть на луну. И проголодалась — а что ты, собственно говоря, имеешь против?

— Ты не слышала, как я кричал?

— Нет. А что это у тебя лицо такое перекошенное? Что-нибудь случилось?

— Случилось? Еще бы! Тебя сейчас морской полицейский патруль ищет! Может быть, они тебя сетью вылавливают! Лодка-то исчезла. Я думал, у тебя мотор отказал и тебя унесло в открытое море.

— Мотор отказал? Да какого дьявола понесло бы меня...

— Я уже подумал, что ты связалась с контрабандистами, и...

Марианна прищурила глаза и посмотрела на меня изучающе.

— Ты уверен в том, что не спишь?— спросила она саркастически.— Лодка ведь не исчезла. Я ее одолжила Свенсену на вечер. Он хотел попробовать поймать угря. Завтра утром он ее вернет.

С минуту я раздумывал.

— В какое же я положение поставлю себя, если позвоню в полицию и скажу, что тебе не спалось, потому что ты на солнце перегрелась! И нам придется платить за напрасный вызов, если они тебя не найдут! Мы вынуждены сделать так, чтобы они тебя нашли... в море! Я приведу лодку от Свенсена, а ты выедешь в море и заглушишь мотор. Пусть они тебя там найдут... и нам не придется платить штраф!

Несмотря на возражения Марианны, я побежал по пляжу к даче Свенсена (два с лишком километра — неплохая ночная гимнастика, а?), влез в свою лодку, завел мотор и направился к дому... и тут мотор неожиданно заглох. Я пробовал его завести и так и этак. Но он не хотел заводиться ни за что. И не потому, что я его сам сконструировал,— нет! Просто бензин кончился. Меня начало уносить течением неизвестно куда.

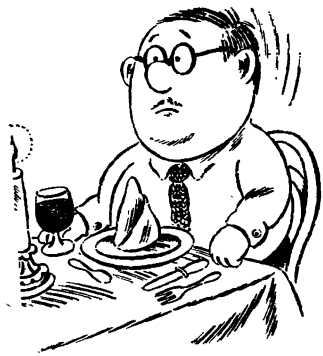
Утром в пять двадцать две морской

патруль обнаружил меня. Далеко, в открытом море. Лодка была полна воды, и я уже готовился пойти ко дну. Так что они подоспели вовремя. Когда, наконец, я перебрался в патрульный катер, полицейский спросил мое имя и адрес. Я сказал.

— Погодите,— произнес он недоумевающе,— разве не вы искали свою пропавшую жену?

— Нет,— ответил я, отчаянно ища выхода из создавшегося положения,— вероятно, вы не поняли. Это она искала меня.

◆



Мужчина должен знать, что памятные даты любого рода играют громадную роль в жизни женщины. Если он приходит домой и обнаруживает на столе вино, торт и горящую свечу, он обязан немедленно вспомнить, что же празднуется.

Что касается дней свадеб, дней рождений и прочих праздников, то я сущий болван в этом отношении. Я никогда их не помню. Еще свой день рождения я кое-как припомнить могу, но вот день нашей свадьбы... Это было так давно, что я с трудом представляю себя среди гостей, присутствующих при этом событии.

Марианна помнит все даты так отчетливо, что можно подумать, в ней спрятан какой-то дополнительный электронный мозг. Она совершенно точно знает, когда день рождения у дяди Теодора из Хадсунда и когда у Томасенов будет серебряная свадьба. Дни рождения тети Ольги, двоюродного брата Петера и кузины Алисы она помнит наизусть. Она даже знает, когда бабушка с дедушкой справляли бриллиантовую свадьбу. Ночью ее разбуди — скажет не задумываясь.

Но я готов побиться об заклад, что она и понятия не имеет о том, когда Христофор Колумб открыл Америку. Ей можно запросто внушить, что это случилось в 1864 году. Впрочем, а когда же это было на самом деле? Уж не перепутал ли я с битвой на Редене?

Мне всегда делается немножко не по себе, когда она появляется за завтраком слегка более причесанной, немножко больше подкрашенной, немножко больше возбужденной, чем обычно.

Это верный признак того, что сегодня либо ее день рождения, либо день нашей свадьбы, либо еще что-нибудь в таком же духе. И ты сидишь как дурак, прячешься за газетой, набиваешь свой рот сдобными булочками и понятия не имеешь, что же сегодня за праздник.

А недавно случилось вот что: я пришел домой такой усталый, несчастный, плюхнулся в кресло и не заметил, что на столе стоит торт. Я обнаружил его лишь тогда, когда, усевшись за покрытый белой скатертью стол, потянулся за графином с водой и его не обнаружил. Графина на столе не было вовсе. Вместо него стоял торт. И бокалы для вина. И свеча в подсвечнике.

Вид у Марианны был страшно торжественный, когда она наливала херес в мой бокал. Я бешено стал ломать голову, чтобы понять, что же отмечается так мощно.

Это не был мой день рождения. Я мог поклясться в этом. Не далее как неделю назад мне стукнуло сорок. Или тридцать девять? Нет, сорок один, это я помню точно. Да и в конце концов не все ли равно? Я при случае всегда смогу взглянуть на свое свидетельство о рождении.

Это не был и день рождения Марианны. В это время года она бы не согласилась родиться. Или все-таки согласилась? Или это тетя Ольга родилась в октябре? Кто-то, во всяком случае, во время нашего осеннего отпуска появился на свет. Теперь я вспомнил. Это я сам. А кто же тогда неделю назад родился? Одному богу ведомо.

Я поднял бокал и сказал «твое здоровье...», но Марианна на меня даже не взглянула.

— Давай выпьем за...— прибавил было я, но тут же осекся.

— За что? — спросила она издевательским тоном.

Как она меня поймала! Я оказался в ловушке.

— Разве это не...—пробормотал я,— разве это не твой день рождения? — То

есть, я хотел сказать, тети Теодоры... нет, дяди Ольги...

— Нет! — сказала она и резко отодвинула бокал.

— Ага, вспомнил, это наша медная свадьба. Подумать только, неужели с тех пор...

— Нет, мой дорогой,— процедила она ядовито, так что я задрожал.

— Значит, это все-таки твой день рождения,— залепетал я.— Не сердись, дорогая... я совсем забыл, ты ведь знаешь мою слабость. Я сейчас же побегу и куплю тебе коробку шоколада и... и цветов. Как ты думаешь, где можно купить цветы в это время?..

— Мой день рождения двадцать первого января,— сказала она сурово.

Я бросил взгляд в окно и увидел зеленые кроны деревьев. Тогда я капитулировал.

— Ну ладно,— сказал я виновато,— сдаюсь. Что же мы празднуем?

— Юбилей.

— Да, да, конечно. Но скажи, пожалуйста... какой юбилей?

Она посмотрела на меня уничтожающим взглядом. Потом проговорила медленно и раздельно:

— Ровно пять лет назад в этот день я получила от тебя последнее платье.

■

Фразы Тудора Мушатеску

Перевод с румынского МИХАИЛА ХАЗИНА

Иные люди как свечи: тают от собственного света.

В голове глупца каждый день воскресенье.

Некий дрессировщик после долгих лет работы приучил рыбу жить на суше. Но однажды обнаружил, что она утонула в луже.

Если бы удалось собрать все обломки креста господня, проданные церковниками, во всем мире не было бы нехватки дров.

Когда человек щелкает орешки, белка кладет зубы на полку.

Не верь снам — кроме тех случаев, когда они сбываются.

Величественность гор в грозу не сравнима ни с чем, кроме спокойствия моря в безветрие.

Круглые столы закругляют углы дискуссий.

Преступая закон, и ногу вывихнуть недолго.

Вол не ненавидит крестьянина. Он ненавидит лишь ярмо.

Некий лев съел своего укротителя. И теперь помирает с голоду.

Совершенно несущественно, дрожит ли твоя рука, когда пишешь. Главное, чтобы мысли не дрожали.

Растение, вызывающее кое у кого бессонницу: чужие лавры.

И колокол заговорит, если тянуть его за язык.

И часы зря теряют время. Когда стоят.

Величайшей победой ветряных мельниц была книга Сервантеса.

Так хорошо знаю мир, что последнее путешествие проделаю с закрытыми глазами.

Зубным врачом он стал из тщеславия: чтобы любой, разинув рот, смотрел на него.

Достаточно всего двух букв, чтобы справедливость стала несправедливостью.

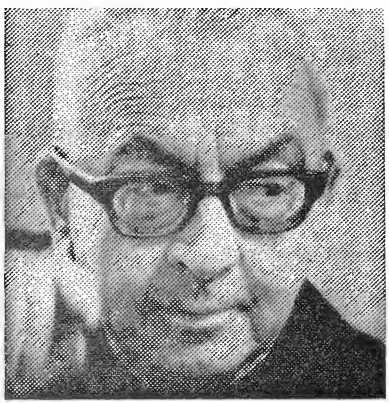
Одно дело — бросить перчатку, другое дело — выбросить.

Порой глядишь, не видя, но случается — видишь, не глядя.

Чем ты сильней в математике, тем больше у тебя нерешенных задач.

◆

Наши гости



Андре Ремакль

(ФРАНЦИЯ)

Два года назад во время беседы, состоявшейся в редакции нашего журнала, Андре Ремакль рассказал, что работает над новым романом под названием «Улица Трех Солнц». Сейчас эта книга уже вышла в свет и вызвала много откликов.

Но Ремакль известен во Франции не только как прозаик — в газете «Марсейез» уже многие годы он ведет литературно-критическую рубрику. Поэтому наш первый вопрос к нему как критику: «Какие же произведения пользуются в последнее время наибольшим успехом? Что читают французы?»

— Открывает этот список по-прежнему роман Эмиля Ажара «Жизнь впереди», удостоенный Гонкуровской премии 1975 года[1],— отвечает наш гость.— Книга Ажара примечательна не только своей гуманистической направленностью, в ней немало находок и в области стиля. Подобными поисками заняты сейчас многие французские писатели. Они стараются выработать язык и стиль, соответствующие стремительному ритму современной жизни: письмо становится прерывистым, последовательность времен нарушается, прошлое и настоящее сливаются. В этом плане интересен и очень лиричный роман Жана Жубера «Житель песков», получивший премию Ренодо 1975 года.

Разговор заходит и о новом романе «Время волков» Бернара Клавеля, писателя, у нас хорошо известного.

— Этот роман тоже один из самых читаемых,— говорит А. Ремакль и добавляет: — Сам я очень люблю Бернара Клавеля и больше всего ценю его за искренность. О чем бы Клавель ни писал, он всегда чрезвычайно искренен и правдив.

Большой популярностью пользуется и роман Жана Кейроля «История одного дома», выполненный в свойственной этому автору поэтической манере, отмечает писатель. Очень сильным представляется ему и роман Франсуазы Малле-Жорис «Аллегра». Сюжет этой книги отчасти напоминает «Жизнь впереди» Эмиля Ажара. Но если книга Ажара построена как монолог маленького араба, повествующего о своей жизни, то здесь рассказывается о девушке по имени Аллегра, выросшей в замкнутой корсиканской семье самых строгих правил, которая случайно встречает арабского ребенка и очень привязывается к нему. С точки зрения буржуазной морали ребе-

[1] Рецензия на эту книгу опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1976.
[2] Рецензию на книгу см. там же.

нок этот — настоящий «отверженный»: совершенно нищий, да к тому же еще и глухонемой. Но ради этого мальчика Аллегра покидает свою семью, чтобы посвятить себя его воспитанию.

— Мне кажется, безусловного внимания заслуживают также последние произведения нашего южанина — Раймона Жана,— говорит А. Ремакль.— По сути он является прямым продолжателем «нового романа». Но используя открытия в области стиля, сделанные «новым романом», он придает своим книгам очень острое социальное звучание. Его повесть «Двенадцатый маршрут» — об алжирском рабочем, который не может рассчитывать на справедливое к себе отношение в обществе, зараженном расизмом. А в повести «Внимательная женщина» рассказывается о драматическом моменте в до сих пор ничем не примечательном существовании молодой женщины и о ее пробуждении к активному и действенному участию в жизни.

Если же вернуться к проблеме стиля, то прекрасным стилистом считается у нас Франсуаза Саган, о чем свидетельствуют и ее новые сборники новелл. Но она пишет только о том, что хорошо знает — то есть об определенных слоях французской буржуазии. Жизни рабочих и крестьян она не знает совсем, что и придает ее произведениям известную социальную ограниченность.

В последнее время все большую популярность повсеместно завоевывает документальный жанр. Много ли интересных книг такого рода выходит во Франции, спрашиваем мы Ремакля.

— Подлинный художник одинаково серьезно и требовательно относится к любой работе: идет ли речь о романе, основанном на вымысле, или о документальной книге,— говорит Ремакль.— У такого писателя и в том и в другом случае получается по-настоящему художественная проза. Но, к сожалению, очень часто книги-документы создаются в коммерческих целях. Например, широкое распространение получили сейчас мемуары, с которыми выступают так называемые «звезды» — певцы, киноактеры и т. д. Много книг выходит о путешествиях в экзотические страны. Причем зачастую прямо перед отплытием, чуть ли не на берегу, с отправляющимися в морские плавания заключают контракты на будущие книги. В подобных сочинениях правда обычно соседствует с выдумкой, а то и с откровенной ложью. Это относится и к выходящим во Франции книгам о Советском Союзе, если их авторы руководствуются не стремлением к объективности, а конъюнктурными соображениями.

Сам писатель только что побывал в Набережных Челнах, где собирал материал для книги о строительстве КамАЗа. Как возник замысел такой книги и каковы впечатления от этой поездки, просим мы рассказать нашего гостя.

— Проблемы рабочего класса меня волновали всегда,— отвечает А. Ремакль.— Как вы помните, роман «Время жить» посвящен рабочим. И задача написать о жизни советских рабочих показалась мне очень увлекательной. Впечатления от поездки? Их много. Причем впечатляют не только размах строительства и тот высокий технический уровень, на котором оно ведется. Поражает, как много делается здесь для людей. Ведь строительство завода и города идет одновременно. Люди, приезжающие сюда работать, довольно быстро получают прекрасные комфортабельные квартиры. А вокруг города создаются гигантские совхозы и колхозы, которые снабжают население продуктами питания.

Естественно, меня очень занимал вопрос: что заставляет этих людей самых разных национальностей сниматься с обжитых мест и ехать в неизвестное? Материальная заинтересованность, быть может? Однако из многочисленных бесед с рабочими и инженерами КамАЗа я понял, что дело вовсе не в заработках. Их привел сюда единый коллективный порыв, энтузиазм, поиск своего места в жизни, желание принять участие в уникальной стройке и своими руками воздвигнуть город, где будут жить они сами и их дети. И эти люди счастливы: здесь больше свадеб и рождений, чем в других районах вашей страны.

Нигде я не видел и такой заботы о детях, как в этом городе, где царит дух молодости,— ведь средний возраст его жителей около 20—25 лет. Перед каждым жилищным массивом строятся детские ясли, сады и школы с ультрасовременным оборудованием, бассейнами, площадками для игр, стадионами. Должен признаться, что название для моей будущей книги мне подсказали дети. На одной из встреч школьники спросили меня, как будет называться эта книга. Я ответил встречным вопросом: а какое название посоветуют мне они? «Легенда КамАЗа»,— предложил один мальчик. Название мне понравилось. Что же касается самой книги, то я посвящу ее детям — будущему КамАЗа,— говорит в заключение А. Ремакль.

Н. ПОПОВА

◆

ЛЕОНГАРД КОШУТ

ОТСТАИВАЯ ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В ГДР в издательстве «Фольк унд вельт» вышел двухтомник произведений Василя Быкова. В этой связи газета «Берлинер цайтунг» поместила статью, которую мы и предлагаем вниманию читателей.

Пятнадцать лет назад, в 1961 году, повесть «Третья ракета» сразу же принесла известность своему автору, белорусскому писателю Василю Быкову — и не только в своей стране, но и за ее пределами, в том числе в ГДР. Третью, последнюю, ракету выпускает Лозняк, единственный оставшийся в живых из орудийного расчета, смятого фашистскими танками, в своего товарища Лешку, возвратившегося невредимым после ответной атаки советских войск,— в Лешку, который спас собственную жизнь ценою жизни санитарки Люси.

Большинство последующих работ писателя подтвердили его репутацию одного из лучших советских прозаиков. Во всех своих повестях Быков остается верен военной теме, но главное значение имеет для него та проверка нравственных качеств, которой он подвергает своих героев. Она свершается иначе, чем, скажем, у Симонова, в чьей трилогии отчетливо ощущается стремление показать борьбу всего народа против агрессии,— художественная манера Быкова роднит его скорее с Бондаревым и Бакланом. Как и у этих писателей, герои Быкова — участники войны народной, войны, ведущейся не на жизнь, а на смерть. Но изображение военных операций самих по себе не так уж важно в философском контексте произведений Быкова. Крайний случай представляет собой в этом смысле рассказ, где белорус Иван и немец Ганс, вместе засыпанные взрывом, оказываются на какое-то время один на один друг с другом. Так оказываются один на один справедливое и несправедливое, правое и неправое, и ставится вопрос о смысле жизни, о самом главном, за что, если придется, человек готов отдать жизнь.

По словам белорусского писателя В. Адамовича, Быков изображает всегда «стрессовые ситуации», это значит такие, когда человек в самом себе (и только) должен искать и находить силы, помогающие ему устоять в самых тяжелых обстоятельствах. С этим связано очень небольшое число действующих лиц в произведениях Быкова, ограниченность временного отрезка повествования. Но и единственный центральный образ раскрывается позже в осознании своей ответственности за других, за социалистически понимаемую человечность.

При этом люди, которых изображает Быков, вовсе не исключительны, их образам чужда заданность. Собирая как нечто само собой разумеющееся, без претензий

все свои лучшие чувства и способности, которых требует от них ситуация, они обретают яркую индивидуальность — или, если не выдерживают испытания, теряют ее. Так Сотников, стоящий под виселицей и всматривающийся в лицо мальчика в буденовке, доказывает свое моральное превосходство, когда делает шаг вниз с деревянного чурбана, в то время как Рыбак, пытавшийся компромиссами купить себе жизнь и вынужденный исполнять роль палача, уже становится тем, кого взяли во власть обстоятельства и кого они будут отныне преследовать и травить.

Человеку, осознающему свою ответственность, не нужны свидетели. Никто никогда не узнает, как лейтенант Ивановский — раненый и обмороженный после неудавшейся операции в тылу врага — продержался «до рассвета», чтобы в последний раз сделать что-то для защиты своей родины. Все чаще встречается у Быкова и такое строение художественного конфликта, когда речь идет о непосредственной ответственности каждого за всех. Один из героев «Обелиска», учитель Мороз, оставшийся в оккупированной деревне, сам отдает себя в руки немцев, чтобы не поставить под удар своих учеников. Он идет навстречу верной смерти, ибо только так он может оправдать доверие ребят и их матерей.

Художественная эволюция Быкова, его все более глубокая проверка нравственных критериев своих героев, становится особенно наглядной тогда, когда герои эти приходят в соприкосновение с общественными оценками, со спорными моральными суждениями, с требованиями разной этической значимости. В повести «Обелиск», например, писатель высказывает мысль о том, что человек, глубоко понимающий свою ответственность, может и даже должен в той или иной конкретной ситуации рисковать, показаться неправым в глазах окружающих. Быков исследует объективные проявления нравственных поступков, спорит с удобными, формальными, порождающими карьеризм суждениями.

Неоднократно высказывалась мысль о том, что многие повести и рассказы Быкова носят характер притчи. Их действительно трудно свести лишь к одной идее или проблеме, возможно, потому, что писатель удивительно умеет — с помощью самых скупых средств — воссоздать многогранное отношение своих героев к миру. Передать их мысли и чувства, полноту человеческих взаимосвязей — и все это в короткое время повествования — помогают Быкову ретроспективные приемы, никогда не приобретающие у него, однако, самодовлеющего характера.

Даже природа, которая очень органична в произведениях Быкова, присутствует там не только как нечто само собой разумеющееся — она раскрывается более интенсивно именно тогда, когда несет определенную функциональную нагрузку. Как раз деятельное отношение к ней жизненно важно для героев Быкова: чего стоило бы, например, само по себе прекрасное описание кувшинок в «Волчьей стае», если бы не связывалось оно со столь важным для Левчука знанием, что растут они там, где глубже, и, значит, он, пробирающийся через болото с новорожденным на руках, должен старательно избегать этих мест. Постоянное внимание даже к самой скромной детали, играющей свою роль в захватывающем дыхание повествовании, характерно для стиля Быкова.

Перевод с немецкого ***Н. ЛИТВИНЕЦ***

◆

Среди книг

Издано в СССР

СТИХИ Л. БЕНЬЯМИНА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ласло Беньямин. Перевод с венгерского. Составление Е. Малыхиной. Предисловие Б. Слуцкого. Москва, «Художественная литература», 1976.

ЗЕЛЕНОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ

Наконец издан Ласло Беньямин. «Наконец» потому, что тот, кто знал его поэзию [1],— давно уже не представлял себе без произведений Беньямина вообще поэзию Венгрии. И вот обложка его книги — зеленые крученые ветви на темном фоне. Удачно найденный символ для выражения самого духа глубоко жизненных стихов этого замечательного художника.

Первая черта его поэзии — демократизм. С четырнадцати лет наборщик, позже вязальщик ткацкой фабрики, затем железнодорожник, Ласло Беньямин до 40-х годов на вопрос о социальном положении отвечал: рабочий. Когда в 1972 году в Будапеште мы говорили с ним о профессионализации писателя, он сказал, что часто забывают о психологическом «самочувствии», о среде социальной, которая незаметно утрачивается вместе со сменой «рабочего места». Но Беньямин сохранил эту верность трудящемуся человеку в самой жизненной позиции, в народности подхода к любому явлению современной жизни. Чтобы служить народу, он сменил профессию, только и всего, как шутливо признается Беньямин: так и «надумал стать большим поэтом: я просто понял—выход только в этом». Но опорой для него по-прежнему остается рабочий класс:

К вам рвусь я, к ежеутренне идущим
в цех и забой;
к печатникам, ткачам; и — к виноделам,
само собой;
к тебе, мой однокашник незабвенный,
мой друг солдат!
Без вас мне литераторские дебри,
ей-ей, претят.

(«Письмо в Толну», перевод В. Корчагина)

«Он такой же, как все...»— и каждому человеку поэт говорит: не верь в гулливеров и лилипутов. Гулливеры тоже встают по будильнику, если они настоящие, а все мы вместе, народ, без «фальшивых жестов и слова фальшивого», должны чувствовать локоть друг друга. Сказанное о герое Беньямина вполне можно отнести и к нему самому:

Он народ ощущал, как тело свое
натруженное,
и всегда готов был, если это
понадобится,
из открытых ран его вытечь
капля за каплею.

(«Сверху», перевод Ю. Левитанского)

«Нет интереса у меня иного, чем будни мира...» В буднях, в сущности, проходит жизнь. Труженику терять нечего— он вечен, говорит Беньямин. Труженик, заметьте, здесь — не некто, имярек, а соль земли, понятие собирательное. Такой же труженик и сам поэт:

Я заключил с судьбою соглашенье.
Оно гласит, что жизнь моя — служенье,

[1] Стихи Л. Беньямина были опубликованы в «Иностранной литературе» № 2, 1974.

Раздать желаю людям от души я
Сокровища свои, пусть небольшие.

(«Очарованье будней», перевод Б. Слуцкого)

Считают, что простота стихов Беньямина обманчива. Но он и не отказывается от простоты. Есть у него в стихах такое место: «...ты, простота, испытанье мое, мое вечное чудо». Чудо простоты объясняется внутренним пафосом поэзии Беньямина. «...Я в стремленьях, как в формулах, точен». Быть точным в стремленьях — значит знать, что любишь и что ненавидишь. «Мерзко жить на земле ничейной». Такие стихотворения, как «Надгробное слово», «Что делает мальчик...», «Мои поражения», «Остановившиеся часы», дают достаточное представление о нравственном максимализме этой позиции. Жизнь, прожитая вполголоса, вызывает у Беньямина горькое сожаление:

На стенах, закопченных
от ничегонеделанья и табачного дыма,—
могла бы висеть одна
из четырех табличек:
Здесь святой Франциск разговаривал
с птицами.
Здесь Данте увидел Беатриче.
Отсюда отплыл Христофор Колумб.
Здесь Линкольн призывал к освобождению
рабов.

(«Надгробное слово», перевод Б. Слуцкого)

Жизненная позиция, убеждения, мировоззрение, наконец, формировались в трудном опыте той поры, когда довелось сидеть за «щедрым столом бедности». Щедрым был опыт бедности, но благодаря ему и рождается слово «с человечьей душой». Эта школа нравственного опыта не обманет. Отлично сказал об этом Беньямин:

В тот срок, который жить еще осталось,
жизнь, подари мне трудовую старость,
чтоб сам я камень высек свой надгробный
и прочь ушел, спокойный и незлобный.

(«Очарованье будней», перевод Б. Слуцкого)

Певец будней — он вовсе не ограничен ими. Реальная жизнь дает ему антееву силу, и эта сила помогает подыматься до мировых проблем духа. Но и «вечные» проблемы поэт делает повинными в судьбе человека — здесь, сегодня, непосредственно:

...ты несешь целый мир за горбом —
тесноватый и бренный.
За утопию в бой не спеши
и не верь в неземное.
Делай выбор, не ноя:
ты земной, для тебя хороши
хлеб насущный и соль. Для души
не годится иное.

(«Не скромничай, не кичись...», перевод И. Горской)

Политические стихи Беньямина остры и смелы той истинной смелостью первопроходца совести и бескомпромиссности, которые есть одновременно свойство и характера поэта — крутого и неудобного для соглашателей и приспособленцев,— и характера времени, требующего от нас прямоты и деловой помощи прогрессу, а не одних деклараций. Моральный императив этой позиции прост и прям: средства не могут противоречить цели, нельзя быть жестоким во имя человечности, бесчестным — ради чести, нельзя лгать во имя «высшей правды» («Единственная жизнь»). Право на сомненье — естественное право личности активной и мыслящей — служит познанью мира и человека. В стихотворении о покорителях космоса поэт задается вопросом:

...а что же там, с той стороны
понятья, принципа, поступка, слова?

(«А что же там, с той стороны?..», перевод В. Корчагина)

Беньямин беспощаден к мещанству, многоликому этому порождению времени, не забывая и рабского племени «аристократических потомков лавочников», «двуличных интеллектуалов»,

...упорно державшихся весьма удобной
мысли о том,
что дела мирские и дела для души — это
разные вещи.

(«С искренним словом и взглядом открытым...», перевод Ю. Левитанского)

Стих Ласло Беньямина впитал в себя разные традиции. Сам поэт называет Петефи и Йожефа прежде всего. На стенах его кабинета я видел их портреты. Добрым словом поминает он Верешмарти и Араня. Не забывает и французских поэтов. Хорошо знает русскую и советскую поэзию.

Беньямин — интернационалист. Запомнилась такая деталь: как говорил он о воинах, павших в справедливой войне с фашизмом,— русских и венграх, украинцах и сербах. Как потемнели его глаза... В книге стихов есть строки: «За две войны легли в меня мильоны мертвых, как в могилу... И каждый мертвый — это я...» Вот почему он обращается к «солдатам выдуманной армии» с просьбой «спасти» его и мир от немоты молчания. Слово — оружие. И солдат правды, чести, истины, певец простого человека, который знает толк в труде, дружбе, верности, Ласло Беньямин хорошо владеет оружием поэтического слова.

Он прочно стоит на земле. Зеленой земле надежды. И соки земли питают надежный ствол древа его поэзии.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

По-моему, переводить хорошо — задача вообще нелегкая; нелегко и прозу переводить хорошо, а уж стихи тем более. Ведь нужно заново творить стихотворение, своеобычное по всему строю, ритмике, мелодике и лексике — то есть воссоздать его на другом языке так, чтобы оно, сохранив весь смысл, ход мысли, эмоциональную насыщенность

оригинала, казалось рожденным на языке переводчика. Читателям «Иностранной литературы», вероятно, известна старая шутка по поводу художественного перевода: «Перевод — что женщина: если он верен, то вряд ли красив, а если красив, то, значит, неверен». Конечно, переводчик должен стремиться одновременно и к точности, и к красоте, но точный перевод — не всегда хороший. Ведь бывает и так (это уж целиком зависит от таланта и поэтического чутья переводчика), когда перевод, не слово в слово следующий за оригиналом, тем не менее верен ему по духу.

Думаю, что сам я — не легко переводимый поэт. Я всегда стремился писать просто и ясно, обычным, всем понятным языком, и все же — а может быть, именно поэтому — очень многое в моих стихах остается «за кадром»; в них много того, что не высказано «в лоб», много социальных, исторических, литературных, личных ассоциаций, которые лишь слегка обозначены тем или иным словом, эпитетом, метафорой,— полное же их раскрытие доверено читателю. И случается, что «читатели по призванию», да и критики тоже, интерпретируют мои стихи неправильно, слишком буквально читая слово за словом. Зато другие говорят об «обманчивости моей простоты», о том, что простые слова несут в себе весьма сложный смысл. Но если мои соотечественники испытывают со мною такие трудности, то насколько же труднее тому, кто решается на другом языке, для читателей другой страны воспроизвести мои стихи!

Я глубоко благодарен всем, кто принимал участие в издании этой книги: Елене Малыхиной — за хорошо продуманный состав, а переводчикам — за проделанную ими работу. С Борисом Слуцким я встретился впервые в Будапеште несколько лет назад; имя его было знакомо мне уже и по рассказам коллег, и по нескольким стихотворениям, у нас напечатанным. Во время беседы Слуцкий сказал мне, что последние недели в Москве «мучился» над переводом моих стихов. Я знал, что переводы, рождавшиеся в муках, не могут не быть хороши — такими они и оказались. И вот сейчас мне хочется поблагодарить его за эти переводы и за проникновенное, дружеское предисловие к сборнику. Глубоко меня порадовали и другие переводы, выполненные моим давним другом Д. Самойловым, а также Н. Горской, Ю. Левитанским, В. Корчагиным, Г. Ефремовым.

Может возникнуть вопрос: откуда я знаю, что переводы действительно хороши? Прошу мне поверить — едва я получил первый экземпляр этой книжечки, едва лишь перелистал ее, как сразу же отчетливо понял: сборник явно удался. И не только потому, что я узнавал свою строфику, свои ритмы и отдельные краеугольные — самые важные для меня — слова. Было еще и какое-то шестое чувство. И я уверен, оно не подвело меня...

Я очень радуюсь этому своему русскому томику. Знаю, что моя книга попадет в руки прекрасных читателей, владеющих большой и давней поэтической культурой, что меня прочитают подлинные любители поэзии, и от души надеюсь, что не разочарую их. Мне шестьдесят лет, сорок лет я пишу стихи, на венгерском языке выпустил уже четырнадцать или пятнадцать сборников. На родине меня считают уже старым, как говорят, «сложившимся» поэтом. Но вот здесь, в Советском Союзе, я разом помолодел на все сорок лет: стал автором первой, самой первой книжечки стихов. И с волнением начинающего, держащего в руках свою первую поэтическую книжку, я жду: как-то меня встретят, какое суждение сложится обо мне у читателей и у коллег-поэтов...

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН

г. Будапешт

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ АМЕРИКИ

Американская новелла XX века. Составление и вступительная статья А. Мулярчика. Москва, «Художественная литература», 1976.

Можно составить достаточно полную библиотеку американского романа XX века — тут потрудилось, выявив бесспорные вершины, само время. Еще проще подобрать библиотеку драматургическую: много ли написано в Америке пьес, превышающих торопливые интересы двух-трех театральных сезонов?

А вот собрание новелл, пусть даже одного лишь нынешнего столетия, — действительно проблема. Потому что буквально каждый серьезный писатель Нового Света, будь он романист, поэт или драматург, выступал также и в новеллистическом жанре. Потому что и сама американская литература начиналась именно с новеллы. Потому, наконец, что за два века выработалась исключительно высокая техника, возникли определенные правила, и порой не вдруг различишь, что перед тобой: творение мастера или поделка ремесленника, беззастенчиво пристроившегося к традиции.

Следовательно, от составителя антологии «Американская новелла XX века» требовалась не только широкая начитанность, но и строгость вкуса, позволяющая отделить подлинное от второсортного. Эти качества были проявлены, и книга, думается, получилась.

Книга — не просто сборник. Фрагменты, на первый взгляд разрозненные — и сюжетно, и стилистически, — складываются в картину.

Чем определяется ее единство?

Люди могут сталкиваться с очевидными препятствиями и прямыми угрозами — тогда нужно найти в себе мужество противостоять им. Такое мужество обнаруживается в

юном сердце Дика, не устрашившегося вступить в борьбу со штрейкбрехерами, — об этом рассказано у Стейнбека в «Налете». Такое мужество пробуждается в детской душе Биг Боя (Р. Райт. «Биг Бой покидает дом»). Ему вообще приходится совершить немыслимое для черного подростка дело — поднять руку на белого.

Но порой бывает куда труднее найти в себе силы, чтобы бросить вызов врагу невидимому, мягко опутывающему прозрачной паутиной соблазнов, врагу, прикидывающемуся союзником.

Таким противником американца двадцатого столетия оказалась Американская Мечта. Та самая Мечта, что грела сердца пуритан, некогда осваивавших суровый материк. Та самая Мечта, что, не обретя еще и имени своего, заставляла Томаса Мора искать утопию в Новом Свете. Мечта, побуждавшая Альфиери посвящать Америке свои оды, а Кольриджа — поднимать бокал за здоровье генерала Вашингтона. Время разрушило иллюзии, надежда превратилась в миф, Мечта утратила душу, распалась на набор стереотипов, следование которым отнимает у человека истинную цель жизни. Осознание этого наложило глубокий отпечаток на всю американскую литературу нашего века. Драйзер и Хемингуэй, Фолкнер и Синклер Льюис, Вулф и Фицджеральд, современники Воннегут и Оутс пишут о разном и по-разному, но непрестанно возвращаются к одной и той же социально-психологической реальности — утрате личностью подлинных жизненных ориентиров. Черты этой реальности проступают и на страницах сборника «Американская новелла», придавая ему единство

«Перестал гоняться за сутью явлений и стал играть в жизнь» одаренный живописец Энок Робинсон («Одиночество» Ш. Андерсона). Произошло отчуждение человека от самого себя, и кончилось это крахом — «нелепой ковыляющей фигуркой, время от времени... возникающей на улицах Уайнсбурга».

Горек момент прозрения у героини новеллы К. Э. Портер «Кражи»: произносятся слова, приходят и уходят люди, но жизни-то нет, всего лишь иллюзия душевной активности. Отсюда и суровый приговор: «Я никогда не боялась никаких воров, кроме себя самой, а уж этот-то вор оберет меня дочиста».

Или сюжет «Хризантем» Стейнбека. Сущая вроде ерунда: заезжий жестянщик, прикинувшийся, будто знает толк в цветах, выбросил подаренные ему ростки; но этот случайный эпизод вырастает в сознании немолодой уже женщины до размеров чуть ли не краха всех мечтаний: поверилось, что родство душ, понимание возможны, — и тут же надежда исчезла.

Но почему, собственно, портрет Америки? Не потому же только, что события разворачиваются по ту сторону Атлантического океана? Действие романов Шатобриана происходит в Америке, но проза его остается французской романтической прозой. В то же время духовная проблематика американской новеллы — это не замкнуто американская проблематика. Ведь и в Старом Свете болезненно разыгрывались драмы буржуазного мира — мира, у которого нет будущего, ибо утрачен высший смысл бытия — человек. И не об этом ли гротески Кафки, философская проза Томаса Манна или вполне бытовые сюжеты современных писателей, например, Моравиа?

Видимо, существует трудноопределимая, но вполне уловимая художественная специфика, вне которой трудно понять и содержательный смысл коллективно созидаемой картины.

Перелистаем еще раз книгу. Иные из составивших ее новелл лишены сюжета, ничего в них не происходит, они держатся настроением, их цельность — в цельности чувства. Одного и того же чувства — утраты человеческих связей, гнетущего одиночества. Вот, к примеру, «Мириэм» Т. Капоте — полуфантастическая новелла о том, как размеренная жизнь пожилой вдовы нарушается вторжением внешнего мира, принявшего облик грациозной девочки. Так до конца и остается неясным, существовала ли Мириэм на самом деле, или это был фантом, порожденный одиночеством и в то же время страхом перед необычным, неожиданным. Все тут зыбко, появление девочки сразу лишает предметы реальных пропорций, мир наполняется шепотами, шорохами — «жизнь идет тайком, прячась за блеклой, но непроницаемой завесой».

В других новеллах есть действие, есть твердо очерченный конфликт. Уильямс в «Проклятии» рассказывает заурядненшую — тем и страшную — американскую историю о том, как иммигрант, итальянский рабочий, потерял место на заводе и оказался на улице. Рассказывает? По сути дела, просто сообщает — «спрос на заводскую продукцию упал... Треть завода стала, и лишние были уволены». Тусклый язык газетного репортажа. Но в том-то и дело, что судьба Лючио сломалась вовсе не потому, что он оказался в числе уволенных, истинная трагедия в том, что хозяйка дома вышвырнула его единственного друга — кошку со странным именем Нитчево. Так человек снова вернулся в невозможность одиночества, о чем, собственно, и написана новелла. И тут уже другие слова, опять тихие и чуть таинственные, и другие образы — туманные, сдвинувшиеся в очертаниях.

Так оно как будто и должно быть в литературе, повествующей о душевной исчерпанности, о страхе. Молчание тут порой значит больше, чем слова, а конкретные описания, предметная реальность могут показаться неуместными.

Но уже у истоков своих американская литература обнаруживала как раз, напротив, неудержимое стремление к реальному, земному, осязаемому и зримому. Чудеса, всякая чертовщина у Ирвинга непременно на-

ходили в конце концов самое прозаическое объяснение, призраки оборачивались живыми людьми, совершенная готика уживалась с бытовыми подробностями, выписанными с любовью и тщанием. Недаром и Готорн, художник куда более мрачный, нежели ранние романтики, в свой загадочный «дом о семи шпилях» поместил вполне обыкновенную селяночку, а Эдгар По придал форму документа вовсе уж фантастическим приключениям Артура Гордона Пима.

Так создавался генетический код национальной литературы, формировалась традиция, верность которой сохраняли и новые поколения американских писателей. И может быть, органичнее многих других умел соединить поэзию с прозой тот писатель, которого Фолкнер, да и не он один, считал учителем нового литературного поколения в Америке, — Шервуд Андерсон, чье творчество стало своего рода звеном, соединяющим прошлое и настоящее словесного искусства.

Но в новых общественных условиях изменился и этический смысл прежних художественных открытий. В грохоте и суете «века джаза» утрачивали смысл такие понятия, как любовь, красота, нравственность. Мало было просто изобразить это — хотя в сочинениях новых мастеров и была сильно запечатлена стремительно утрачивавшая душу Америка. Искусство упорно искало пути спасения и возвышения человека.

Легко увидеть в новеллах Андерсона глухую духовную провинцию, всеобщее одичание, утрату человечности. Но есть у него и другое — вера в неисчерпаемость резервов добра и правды. Героям Андерсона дано преодолеть рутину, разглядеть в обычном необыкновенное. Идет человек накатанной дорогой лжи, притворства — и вдруг остановится и поймет, как не нужно все это и насколько простота простых вещей выше любых ухищрений и подделок. Такой миг прозрения буквально переворачивает душу юного героя новеллы «Ну и дурак же я».

На такой же эффект в некотором роде был рассчитан лаконический стиль Хемингуэя: надо было пробиться к неприкрашенной сути вещей, очистить их от рекламной фальши выражений типа «славный» и «жертва».

Поколение двадцатых годов обладало не только чутьем на неправду, не только умением рисовать картины духовного распада. У писателей тех лет хватало мужества и хватало веры в несокрушимость человека, в то, что он, говоря знаменитыми словами Фолкнера, «не только выстоит, но победит».

Но вера эта не сродни прекраснодушию. Сострадая герою, вовлеченному в круговорот видимостей, писатели в то же время были вовсе не склонны возлагать всю ответственность на несчастливо сложившиеся обстоятельства. У человека, полагали они, должно достать сил, чтобы противостоять общественной рутине. И если такой силы у него не обнаруживается, то это не только его беда, но и вина. Вина, расплатой за которую может стать упущенное счастье — как у Андерсона в новелле «Ну и дурак же я», а может и сама жизнь. В знаменитой новелле Хемингуэя «Снега Килиманджаро» эта идея широко развернута в предсмертных самопризнаниях умирающего писателя, погубившего талант в погоне за призраками удачи, соблазнившегося легким и дешевым успехом у публики.

Пожалуй, с особенной резкостью утверждается мысль о самостоятельности, неподменности человеческой воли у Фолкнера. Собственно, это основа его этической концепции, нашедшей столь богатые художественные аргументы в таких романах, как «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!». Но и в «малоформатных» своих сочинениях, органически входящих в единую сагу йокнапатофского округа, писатель возвращается к той же мысли. В сборнике опубликована среди других новелла «Роза для Эмили» — героиня ее упорно цепляется за отжившее, не хочет считаться с переменами. В этом упрямстве есть и что-то смешное, и что-то — как всегда у Фолкнера — страшное, и даже гротескное, но подобное упрямство всегда оставалось для художника и мерой человеческого достоинства. Именно в нем виделся Фолкнеру залог непобедимости человека.

«...В три часа утра, стоя у окна, выходящего на Западный бульвар, я понял, что страх мой перед мостами — всего лишь форма, в которую вылился мой столь неловко скрываемый доселе ужас перед современной действительностью» — это откровение героя известной новеллы Джона Чивера «Ангел на мосту» в некотором роде безымянно: подобный страх испытывают и персонажи Сэлинджера, Апдайка, Беллоу — тех писателей, что задавали тон в недавней американской беллетристике. Сравнения напрашиваются сами собой, а когда художники разных поколений собраны в одной книге, аналогии и вовсе неизбежны. Отчетливо видна разница — прежние герои были покрепче, они ни за что не признали бы так открыто свое поражение. Фолкнеровские люди вообще с поразительным безразличием относились к любым преградам, но даже и персонажи Хемингуэя, в которых столь легко ощутим надлом, продолжали жить стиснув зубы.

Но с подобными параллелями лучше быть осторожнее — надо иметь в виду, что испытания, выпавшие на долю персонажей послевоенной прозы, имеют совсем другой характер. Ник Каррауэй, герой-повествователь «Великого Гэтсби», мог еще отчужденно поглядывать на разыгрывающийся вокруг карнавал потребительства, теперь такая сторонняя позиция показалась бы насквозь искусственной, литературной. Потому что театр жизни с невиданной ранее настойчивостью претендует стать самой жизнью, «массовая культура»—культурой истинной. Раньше гротесками казались персонажи вроде Бэббита — легко заменяемые люди,— теперь ситуация перевернулась: утверждающим знаком неповторимости становится клоуна-

да и экстравагантность наподобие той, что позволяет себе герой новеллы Курта Вонегута «Наследство Фостера»: трижды в неделю этот бухгалтер оптовой фирмы, это «воплощение респектабельности и порядка», тайком отправляется в третьеразрядный ресторан, где лихо импровизирует джазовые мелодии. Человек-роль исчезает, возвращается просто человек.

Изображение духовной пустыни, в которой нормальные человеческие отношения подменяются условным языком «массовой культуры», стало едва ли не главной творческой задачей тех американских писателей, чья творческая зрелость пришлась на рубеж 50 — 60-х годов. И они с ней справились. Тому можно привести немало подтверждений из самых разных литературных жанров, но я сошлюсь на опубликованный в «Американской новелле XX века» уже давно известный советскому читателю рассказ Сэлинджера «Лапа-Растяпа». Все его содержание сводится к тому, что две приятельницы, постепенно напиваясь, беседуют о том о сем, вспоминают забытые лица, давно промелькнувшие эпизоды. Пустота слов зеркально отражает пустоту и никчемность жизни этих женщин: писатель передает ее самыми простыми средствами, ничуть не нажимая, не форсируя интонации. Тут чувствуется школа Андерсона, Хемингуэя, Фицджеральда. Но возникает и иное ощущение — известного разрыва с давней традицией.

Да, при всей условности сопоставлений видишь, насколько сократилась ныне мера творческих усилий художника. Не о масштабах дарований речь, но именно о масштабах поставленной задачи. Писатели нового поколения, быть может, еще сильнее своих предшественников изобразили духовный крах общества. Однако можно написать одну прекрасную новеллу вроде «Лапы-Растяпы», один отличный роман — пусть это будет «Кентавр» Апдайка, одну превосходную пьесу — скажем, «Кто боится Вирджинии Вулф» Э. Олби. Но когда таких новелл, романов и пьес появляется множество — неизбежно возникает художественная инерция, движение происходит не вглубь, а вширь. При всей изощренности литературной техники новые писатели, начиная с какого-то момента (условно говоря — с середины 60-х годов), перестали идти дальше констатации кризиса. На этом и расходятся они с традицией.

Это заметно даже по стилевому слою повествования. Пропадает то сочетание поэзии и правды, романтической приподнятости и предельной конкретности, что всегда отличало американскую литературную традицию. Во многих произведениях последнего времени с большой точностью схвачены приметы действительности, но нет ее превышения, нет поэзии, которую раньше можно было почувствовать и в самой беспощадной сатире.

Заметим, что и само детальное воссоздание жизненных подробностей преследует в нынешней прозе иную цель, чем прежде. Тогда, особенно в 20-е годы, привычность названий, тщательное воспроизведение самых простых движений — проснулся, встал, позавтракал — напоминало о естественности жизни, которая не прогибалась и под тяжким прессом буржуазной фальши. А сейчас документальная скрупулезность призвана лишний раз подтвердить бессмысленную заведенность существования.

Понятно, речь идет не о холодных наблюдателях, но о людях, серьезно озабоченных упадком моральных ценностей, мучительно думающих о настоящем и будущем, об истинно одаренных художниках. Но история, даже одной только американской литературы и одного только XX века, сама установила строгую школу отсчета — по ней и надо мерить писателей.

Путь, взятый американской прозой (надо ли оговаривать, что имеется в виду общая тенденция, постоянно нарушаемая индивидуальными отклонениями), грозил тупиками, и это начали понимать сами ее творцы. «Как хочется, чтобы кто-нибудь где-нибудь вернулся к старым идеалам», — восклицает Мэри Маккарти, выражая распространенное ощущение усталости от привычных литературных персонажей — героев «общества потребления». «Мы отчаянно тянемся к героическому идеалу, без которого отказываемся жить», — вторит ей популярный ныне в Америке прозаик Джон Гарднер.

Конечно, сказать — не написать. Поиски новых горизонтов порождают немало творческих проблем, и не всегда они находят точное художественное решение. Скажем, тот же Гарднер в своем «пасторальном романе» «Никелевая гора» так и не сумел, на мой взгляд, эстетически примирить изображение «героического идеала» с картинами быта, текущей жизни. Подобный разрыв ощутим и в последних романах широко читаемой ныне Джойс Кэрол Оутс. Да и не только в романах. В новелле «Куда ты идешь, где ты была», которой завершается рецензируемая книга, мир, окружающий юную Конни — мир предметный и земной,— не вполне сочетается с тем идеальным простором, которого героиня «никогда не видела и не узнала его, но сейчас она в него канет».

Однако в искусстве важно не только решить задачу; осознать, поставить ее — тоже большое дело. Путь к человеку, к пониманию места его и роли в сложных социальных конфликтах современности нелегок, но только на этом пути литература сохраняет себя как литература — как великая очистительная сила.

Н. АНАСТАСЬЕВ

Издано за рубежом

АЛЬФРЕД КУРЕЛЛА — РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПИСАТЕЛЬ

Alfred Kurella. Wofür haben wir gekämpft? Beiträge zur Kultur und Zeitgeschichte. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1975.

«Часто спрашивают о моей профессии. Я в таких случаях всегда испытываю затруднение и обычно отвечаю: писатель. Но это, собственно, неверно. Я действительно много писал и выступал публично — однако всегда «служил» другой профессии Ее обозначение принадлежит Ленину: профессиональный революционер» В этом признании Альфреда Куреллы, прозвучавшем в обращении к участникам X фестиваля молодежи и студентов в Берлине,— объяснение той злободневности и общественной значимости, которыми всегда отличались его статьи и выступления, вышедшие в ГДР отдельным изданием под заголовком «За что мы боролись?».

За пределами книги А. Куреллы остались его воспоминания «На пути к Ленину», запечатлевшие превращение немецкого юноши-интеллигента из стихийного противника войны в сознательного революционера Об этом лишь вскользь говорится в открывающей сборник автобиографической речи «Моя профессия». Но многим, наверное, памятны кадры фильма «Путь к Ленину», сделанного студией ДЕФА по воспоминаниям А Куреллы: юный коммунист получает задание руководства Коммунистической партии Германии доставить в Москву Ленину два шифрованных письма. Через оккупированную остатками немецкой армии Прибалтику, белогвардейскую Литву и панскую Польшу, через линию фронта гражданской войны, пешком и на попутных добирается он до красной столицы и 27 апреля 1919 года докладывает Ленину в его кремлевском кабинете о выполненном поручении

Позже по заданию Ленина он участвует в подготовке учредительного конгресса Коммунистического Интернационала Молодежи и разработке его программы. «Усыновленный» Российским коммунистическим союзом молодежи, он избирается уже как представитель советских комсомольцев в руководство Коминтерна Молодежи. После перевода Исполкома КИМ из Берлина в Москву А. Курелла на долгие годы связывает свою деятельность с нашей страной Некоторое представление о круге его интересов и литературно-публицистической деятельности той поры дает выборочная библиография, помещенная в книге. А. Курелла пишет о немецком национализме и буржуазном молодежном движении, о политическом образовании юных коммунистов и эстетике социалистической жизни, о достижениях СССР и угрозе империалистической войны. Он сознает себя участником всемирного революционного процесса и одновременно участником «великих строек», воздвигающим первое в мире государство рабочих и крестьян.

Сознание причастности к великому обновлению мира придает внутреннюю силу и победный пафос выступлениям А. Куреллы против апостолов капиталистической Европы. «За что мы боролись?» Этот вопрос троекратно повторен в книге.

Он начертан красными буквами на переплете. Так озаглавлена первая часть. Так назван открывающий книгу политический памфлет. И в этом раскрывается многогранный смысл слов — от конкретного предмета политической полемики конца 20-х годов до общего вопроса о смысле жизни целого поколения людей.

Памфлет написан в 1930 году в ответ на фельетон московского корреспондента газеты «Кёльнише цайтунг». Но это отповедь не только немецкому журналисту-либералу, но и всем тем, кто «под видом максимальной объективности старается по-своему подвергнуть нападкам Советский Союз». С фактами в руках А. Курелла убедительно опровергает буржуазных критиков культурной революции в СССР.

«За что мы боролись?» — яркий образец публицистики немецкого коммуниста-интернационалиста. В этом памфлете отразилось формирование идейных, социально-политических и литературно-эстетических позиций А. Куреллы. Они складывались под прямым воздействием ленинской теории культурной революции, конкретных указаний Владимира Ильича о культурном строительстве в СССР А. Курелла следовал им на протяжении всей литературно-политической деятельности. Он продолжал развивать их в многочисленных публикациях по вопросам теории и практики социалистического гуманизма.

Преемственность в эстетическом и культурно-политическом мышлении А. Куреллы со всей очевидностью раскрывается читателю при знакомстве с помещенными в первом разделе книги работами «Социализм и буржуазная культура», «О некоторых методологических вопросах проблемы отчуждения» и «Социалистический человек в технической революции». Написанные на протяжении 60-х годов, они как бы переносят опыт первого в мире социалистического государства, обогащенный опытом политики единого фронта, антифашистской борьбы и эмиграции, на почву Германской Демократической Республики, ставшей первым немецким государством рабочих и крестьян.

Но дело не только в преемственности. Важна глубинная диалектика, которая раскрывается в единстве философского мыш-

ления и политической деятельности А. Куреллы. Использование опыта советского государства помогало А. Курелле, когда он принимал участие в руководстве культурной политикой ГДР.

А. Курелла с полным правом называет себя профессиональным революционером. О нем, как о ближайшем сподвижнике Г. Димитрова, я думаю, еще будут созданы книги. И все же этот человек действия живет по-настоящему только в печатном слове. «Лишь за письменным столом, с пером в руке, перед листом чистой бумаги... он становится полностью самим собой. Печатное слово — его неотъемлемый элемент Он живет в литературе... Литератор..!» Эта характеристика Барбюса, данная Куреллой, полностью применима и к нему самому.

Куда бы ни забрасывала Куреллу политическая деятельность — во Францию или в Среднюю Азию, в Швецию или на Сицилию,— труд писателя всегда оставался для него и необходимостью, и потребностью.

Дорога жизни вела его не только по географическим странам. Она открывала ему целые человеческие миры: Анри Барбюс, Ромен Роллан и Макс Лингнер; Бертольт Брехт, Златан Дудов и Ганс Эйслер; Георгий Димитров, Иоганнес Бехер и Назым Хикмет. Память многолетней дружбы и духовного общения, моментальные зарисовки ярких встреч, порой лирическое, порой философское осмысление искусства и деяний этих великих сынов нашего времени живут в созданных А. Куреллой литературных портретах. Зачастую они по-новому, неожиданно освещают хорошо известные нам произведения: «Очарованную душу» Р. Роллана, «Мероприятие» Б. Брехта, «Искателя счастья и семь грехов» И. Р. Бехера. Они дают почувствовать живую атмосферу борьбы за создание социалистического искусства и остроту схватки гуманистической культуры с фашистским варварством.

В книге только один рассказ о самом себе. Все остальные — о людях и времени, о делах и событиях, которые волновали целые народы, о духовных исканиях эпохи. Но это повесть не стороннего наблюдателя, а человека, живущего в самой гуще жизни, и потому рассказ о других становится и рассказом о себе.

Созданные А. Куреллой литературные портреты современников подкупают интеллектуальной остротой и демонстрируют удивительную способность «воспринимать изнутри» произведение художника. Этой чертой отмечен анализ романа «Иосиф и его братья» в эссе «Томас Манн и современность», точно так же как и послесловие «Увядающие цветы», написанное к роману Джузеппе Томази ди Лампедузы «Леопард».

Дар проникновения в художественное произведение с одинаковой силой проявляется и в «Открытии забытого великого поэта», посвященном стихотворческой революции Алишера Навои, и в цикле этюдов «О красоте и трудности, жестокости и величии революции», «Какие это были годы», «Надо жить дальше», раскрывающих глубину художественного проникновения в «слом веков», общемировую литературную значимость крупнейшего современного эпика Михаила Шолохова.

Дар этот проявляется ярче всего при воссоздании на немецком языке творений крупнейших талантов мировой литературы. Курелла переводил Пушкина и Блока, Паустовского и Твардовского. Благодаря его любовному труду немецкому читателю стали доступны Белинский, Герцен, Добролюбов и Чернышевский. Он познакомил немецких читателей с армянским народным эпосом «Давид Сасунский», «Кобзарем» Тараса Шевченко, с «Фархадом и Ширин» Алишера Навои и «Гоготуром и Абшином» Важа Пшавелы. Своеобразие романов Луи Арагона и Андре Мальро ему удалось передать столь же убедительно, как и неповторимость драм Назыма Хикмета.

Для человека, сумевшего выразить самобытность двух десятков крупнейших писателей, неудивительно желание осмыслить тайны «художественного перевода, который сам по себе является искусством», сформулировать эстетику этого вида творчества. Так возникает трактат «О переводе произведений поэтического искусства», который завершает его сборник «Статьи о культуре и истории нашего времени».

Эту книгу он уже не смог подготовить сам. Изданный Немецкой академией искусств томик литературно-публицистических выступлений Альфреда Куреллы «За что мы боролись?» составили Соня Курелла, Ульрих Дитцель, Гельмут Шлемм, Гейнц Шнабель и Армин Цайслер. Из огромного литературного наследия они отобрали то, что воссоздает живой облик человека, писателя и революционера Альфреда Куреллы.

С. РОЖНОВСКИЙ

НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ПРАВДА

André Stil. Romansonge. Paris, Julliard, 1976.

В мае 1976 года на встрече с читателями Библиотеки иностранной литературы в Москве Андре Стиль говорил: «Вот уже около двадцати лет я пишу все одну и ту же книгу, которая состоит к настоящему моменту из восьми романов и четырех сборников новелл. Я назвал начатый цикл «Поставлен вопрос о счастье». И вопрос этот по-прежнему тревожит...»

Черта между счастьем и отчаянием очень подвижна в произведениях французского писателя-коммуниста. Его перо, воссоздавшее будни шахтерского Севера, тяготеет к суровым штрихам: угольные терриконы, нелегкий труд под землей или в огнедышащих

цехах сталелитейного комбината не располагают к светлым краскам. Такие будни то грозят обернуться трагедией (роман «Обвал», 1960), то предвещают гнетущее одиночество (роман «Кто?», 1969). Счастьем кажется уже возможность обойтись без долгов, встретиться с друзьями или просто послушать утреннюю тишину (сборник новелл «Цветы по ошибке», 1973).

Чем меньше радостных минут, тем весомее каждая из них. Автор фиксирует эти редкие мгновения, не скрывая собственной грусти,— уж очень контрастны эти лучики света по отношению к рекламному лику радости в «обществе потребления»: герои Стиля не знают ни Лазурного берега, ни снежных альпийских склонов, ни быстрой езды в собственной машине. Чтобы добраться до завода, они втискиваются поутру в автобус или жмут на педали велосипеда

Когда в 1967 году Андре Стилю была присуждена премия «Попюлист», не обошлось без споров: имеет ли он отношение к тому литературному направлению, которое в конце 20-х годов стало называться попюлизмом? Критики, склонные к поверхностным оценкам, считали: да, имеет, раз описывает серые будни людей из народа. Но более серьезные литераторы увидели между картинами, нарисованными в свое время Анри Пуляйлем, Андре Теривом, Жоржем Давидом, и той картиной, что воссоздана книгами Стиля, существенное различие: автор цикла «Поставлен вопрос о счастье» размышляет о причинах нищеты, о последствиях социальной пассивности, он меньше всего склонен к простой констатации.

Рубеж, отделяющий А. Стиля от жалостливого попюлизма, особенно отчетлив в книгах, где жизненные полосы счастья и горя сменяют одна другую с катастрофической быстротой. Светло и весело начинался, например, роман «Мы будем любить друг друга завтра» (1957). Задорный мальчишеский возглас: «А ты будешь моей, когда я захочу!», прогулки по уединенному острову, где влюбленные научились доверять друг другу, считая дни до окончания срока военной службы... Потом читатель снова видит героев на том же заветном острове, так же светит солнце и радостно шепчутся листья. Но для Раймона все затянуто туманом: память возвращает его к беззащитным алжирским женщинам, старикам, бегущим от пуль французских солдат. Воспоминания оказываются сильнее любви, сильнее жажды счастья. Любовь не может пробиться сквозь кровавый туман.

В новом романе писателя нет войны, нет жестокого груза памяти. Но на юношеские мечты легла траурная полоса горя. Нет никакой реальной угрозы. Но есть страх, проникающий даже в сны, есть комплекс неполноценности, который заставляет лгать. Отсюда название романа: «Romansonge» — это и «Роман-ложь» (ro-mensonge; romansonge), поскольку причина трагедии — ложь, непроизвольно сорвавшаяся с губ героини. Это и «Роман-сон», поскольку сильны импульсы подсознания, а финал кажется до жути неправдоподобным.

Неправдоподобная чудовищная правда... Странное в искусстве часто высвечивает самую суть действительности. В данном же случае трагическая коллизия взята из реальной жизни. «История, рассказанная в книге, почти неправдоподобна,— поясняет автор.— Она не становится от этого менее правдивой. Я попробовал положить в основу романа одно из происшествий, о котором писали газеты».

Однажды французская пресса сообщила, что молодой рабочий решился на самоубийство, так как его мучила мысль, что он никогда не сможет гарантировать любимой девушке тот уровень жизни, к которому она привыкла. Эта вырезка из газеты появится перед глазами читателя только в конце.

До этого неожиданного трагического аккорда перед нами развертывается лирическая поэма о первых часах расцветающей любви. Как и в романе «Мы будем любить друг друга завтра», первые страницы повествования выдержаны в ликующем лирическом ключе. Но словно нечаянно врываются тревожные эмоциональные ноты: то зябко ежатся влюбленные у надгробья солдата, то пугаются низко пролетевшей птицы, то прислушиваются к стуку каблуков убегающей от кого-то в темноте девочки.

Автор заставляет читателя пережить, прочувствовать назревающую драму как бы трижды: за героиню, за героя (главы, написанные от лица каждого из них) и за того, кто этот роман пишет. Введена фигура молодой учительницы, которая знала юношу, добровольно оборвавшего свою жизнь. Она решила взяться за перо. Желание рассказать об этой любви усилено ее разлукой с мужем, призванным в армию. На полях рукописи появляются пометки («Как мне удержаться на уровне их речи? Кажется, просто? Но вот парадокс: думая об этом, я усложняю повествование») и пометки мужа, присланные по почте («Пожалуй, претенциозное начало, малышка... Так начинают дебютантки, слишком заметно, что ты стараешься»).

«Современная повесть о Ромео и Джульетте»,— сообщила газета «Юманите» (роман печатался в газете из номера в номер). О наших современниках повествуется языком наших дней и не так-то легко соблюсти меру, чтобы молодой электрик не заговорил словами шекспировского времени или, наоборот, чтобы бойкое молодежное арго не подтолкнуло к пародии на вечную тему любви Автору, бесспорно, удалось найти эту меру. Полунамеки, шутки, недомолвки, язык глаз и рук. Всего два счастливых дня, отделенных друг от друга трудовой неделей. Всего несколько часов, позволивших Денизе и Даниэлю поверить, что они нужны друг другу. Головокружительно их сближение и чарующа каждая минута. «Впереди целая жизнь. У него и у нее. Ничего не пропустить, ни одного счастливого мгновения. А это значит не спешить. Когда спешишь, все бывает наоборот...»

Сцены встречи Денизы с Даниэлем написаны, наверное, во внутренней полемике

с привычным секс-романом сегодняшнего дня. Чистота лирической мелодии в любой, даже самой откровенной сцене этого романа убеждает, что «вечные чувства» вовсе не упали в цене, хотя теперь восемнадцатилетняя дочь может оставить маме записку вроде следующей: «Милый мам! Сегодня я вернусь домой уже не девушкой. Готовь или палку, или бутылку сидра — что захочешь».

С человеческой теплотой автором показаны отношения в семье Денизы, в доме, не привыкшем к достатку. Отца Денизы (он был водопроводчиком) сшиб на улице мотоцикл, когда девочке было двенадцать лет. Мать с дочерью еле сводят концы с концами, но дорожат полушутливым ласковым доверием, которое существует между ними. Каждый понедельник Дениза уезжает в Лилль, где находится ткацкая фабрика. Возвращается только в субботу. В Лилле она снимает с подружкой комнату в стареньком доме без водопровода. Она привыкла к бытовым неурядицам и к тому, что в воскресенье должна вернуться домой не позднее восьми, чтобы выдержать раннюю дорогу в понедельник. Тот, другой мир — с шикарными виллами и нарядами от Диора — ей незнаком и даже не нужен. Это совсем другая планета. Радость первой любви окрашена, однако, тревогой: какому из двух миров ближе Даниэль? Девушка в шутку, но, в общем, неспроста, отказалась рассказывать о себе, и «он соблюдал этот договор, не задавал вопросов, решив, что так даже лучше: никого между ними, никого вокруг них. Только они сами». Тревога Денизы так сильна, что врывается в сновидения. Ей снится, что она попадает в компанию Даниэля, где ее встречают удивленно: «Опять новенькая?» Модные высокомерные девицы интересуются, умеет ли она писать, а Дениза испуганно прячет под стол стоптанные босоножки и никак не может — при всем старании — без ошибки написать собственное имя. Получается то Даниза, то Дениэль, а то вдруг Гастон... так звали ее отца.

Страх оказывается сильнее доверия к любимому, и на втором свидании она начинает вдохновенно врать: отец — инженер, да, высокая должность, в доме «просторно, я люблю переходить с места на место; в одной комнате кресло рядом с низким столиком; в другой — возле камина большой диван, на котором приятно полежать с книгой. А если хочешь видеть сад, идешь в студию, что в другой части дома, садишься на низкий пуф у электропечки, а за окном — лужайка с примулами и подснежниками... Так приятно сменить одну комнату на другую...»

«Но меня ты, надеюсь, не захочешь сменить»,— пытается шутить Даниэль. Юноша тоже напуган. Пока они вместе, все кажется легким. Но за неделю все чаще и чаще возникает в сознании эта единственная темная точка: «Ну и что, если отец Денизы — инженер или там директор... Теперь не средние века. Что нам родители? Не в них же дело. Каждый живет по-своему, у себя. Их время кончилось, наше наступает... Но у нее, видно, роскошный дом. А может быть, даже два. Если не три... И машина — да еще какая! И драгоценности... Почему бы Денизе не любить драгоценности, не любить дальние путешествия?»

В субботу Дениза, заболев гриппом, не приходит. Страх Даниэля похож на безумие. Лихорадочно вспоминает он, что уже сказал ей о профессии отца и матери: отец всего-навсего механик, мать — кассирша. Значит, она решила порвать сразу? Еще несколько мучительных дней — и Даниэль повторяет то, что сделал юноша, о котором сообщили газеты.

Трагическая развязка без всякой серьезной причины. Кто-нибудь пожмет недоуменно плечами: «Досадное недоразумение, не поняли друг друга». «Но почему недоразумение?» — спрашивает автор. Не потому ли, что пугающе высока сословная лестница? Не потому ли, что отсутствие виллы и яхты может быть расценено как вина? Вина того, кто не смог подняться, не смог пробиться. Вопрос о человеческом достоинстве и человеческой теплоте заменен вопросом о движимом и недвижимом имуществе. Давление этих негласных «общественных» норм пока слишком сильно, чтобы можно было считать анахронизмом конфликт, столкнувший в прошлом два семейства — Монтекки и Капулетти. Ныне предрассудки иные, но снова счастливые влюбленные попали в их силки. Снова — драма, которая кажется неправдоподобной именно оттого, что правда бывает страшной.

«Роман-сон» — самая поэтическая книга цикла «Поставлен вопрос о счастье». В ней больше света, простора, меньше гнетущих деталей и прозаической «серости». На трудности ежедневного быта читатель вместе с героями смотрит сквозь розовые очки юности и любви. До тех пор, однако, пока эти детали не становятся «знаком» общественного положения. Вот с этого момента возникает иррациональное чувство вины, неполноценности — сначала у Денизы, скрывающей от Даниэля правду о себе, потом у Даниэля, перепуганного рассказом девушки о «привычной» для нее роскоши. Мучительно не отсутствие богатства, а то, что его отсутствием ты унижен в глазах других Ты с радостью приведешь невесту к себе на чердак, где восхитительно пахнет детством, но что подумает она, ее родители? Боязнь показаться смешным и слабым согнула Даниэля. Взглянув на себя другими глазами, он пришел в отчаяние. Андре Стиль в этом произведении ярко осветил эмоционально-социальную границу, разделяющую два мира. Именно поэтому книга выводит читателя к широким политическим проблемам сегодняшнего дня — к борьбе, которую ведут миллионы французов за коренную перестройку всего общества. Именно поэтому «камерный», интимный роман оказался таким полноголосым.

Т. БАЛАШОВА

СМЕХ ЧЕСТНЫЙ И ГОРЬКИЙ

Tom Sharpe. Blott on the Landscape. London, Secker and Warburg, 1975.
Malcolm Bradbury. The History Man. London, Secker and Warburg, 1975.

В английской литературе несть числа произведениям, бичующим чванство и снобизм аристократов, продажность и тупую исполнительность чиновников, напыщенное суесловие отправляющих закон, вернее, беззаконие судей. Сразу приходят на ум имена гигантов британской и мировой литературы — Свифта и Теккерея, Диккенса и Шоу и многих других.

Однако пороки, с которыми великие так изобретательно и последовательно боролись, оказались трудноистребимыми, ибо общественная среда продолжала их питать, и, пригвожденные к позорному столбу смехом, они возрождались и расцветали вновь. И каждому новому поколению английских сатириков приходится обращаться к традиционно знакомым темам и типажам, поскольку носители названных пороков чувствуют себя в современной Британии как рыба в воде и стремятся поставить на службу своим низменным целям и интересам даже достижения технического прогресса. Подобный аристократ-приспособленец действует в романе одного из наиболее злых и остроумных сатириков современной Англии Тома Шарпа «Пейзаж с Блоттом».

Сэр Джайлс Линчвуд, родовитый аристократ и депутат парламента, инспирирует постройку шоссе, проходящего непосредственно по тому самому месту, где стоит фамильный дом его супруги, леди Мод. Дело в том, что сэр Джайлс жаждет развода. Но по условиям брачного контракта он обязан в этом случае выплатить сто тысяч фунтов — как считает сэр Джайлс, «слишком высокая цена за свободу». Уничтожение дома позволяет ему надеяться, что, крепко насолив ненавистной супруге, он сможет в дальнейшем жить от нее отдельно. Со своей стороны, леди Мод надеется обвинить мужа в неверности и заполучить от него сумму, оговоренную в контракте. С этой целью она приказывает своему садовнику Блотту постоянно прослушивать все телефонные переговоры супруга...

В романе великое множество забавных и эксцентрических ситуаций и перипетий. Том Шарп поистине неистощим в своих издевках над вырождающейся британской аристократией, над потугами разбогатевших буржуа, получивших дворянство, выдавать себя за потомков родовитой знати.

Предки почтенной леди Мод были преуспевающими пивоварами и обрели желанный дворянский титул благодаря тому, что некий член королевской фамилии когда-то соблазнил хозяйку дома, приняв ее, правда, за служанку. С тех пор утекло немало пива, но мужским представителям этой славной семейки так и не удалось ничем прославиться, кроме стабильного и пагубного пристрастия к этому напитку. Папаша леди Мод, последний лорд Хэндимэн, был знаменит тем, что больше всего на свете страшился истощения земных ресурсов и страстно собирал всевозможные отходы и отбросы. «Ничто не должно пропасть зря»,— учил он. В результате его деятельности огромные ямы с компостом породили гигантских мух, и ему пришлось остановиться. Разведение кроликов тоже кончилось плачевно — малышка Мод из жалости всех выпустила. Венцом блистательных начинаний лорда стала утиная ферма. «Вот уж с утками никакой беды не случится», — был он уверен. Но в один прекрасный день их лордство съели сырое утиное яйцо, снесенное в непосредственной близости от бывших хранилищ компоста, и умерли от отравления трупным ядом.

Ничем не лучше нуворишей Хэндимэнов и представитель старинной аристократической семьи сэр Джайлс, изощренный интриган и негодяй. Если на личном поприще ему незнакома удача, то запустить маховик громоздкой и тяжелой на подъем бюрократической машины ему удается на удивление быстро: стоит лишь поговорить по телефону и позавтракать с нужными людьми. С плохо скрытым сарказмом Шарп замечает: «В химическом процессе прогресса он исполняет роль катализатора». В силу своего положения и связей сэр Джайлс обладает ценнейшей информацией о том, какие компании увеличат выплату дивидендов, какие акции следует покупать, а какие продавать. И он делится этой информацией с теми, кто оказывает ему услуги.

Кроме сэра Джайлса и леди Мод в романе немало и других остросатирических типов: служащий муниципалитета Хоскинс, мздоимец и шантажист, старый судья лорд Ликхэм, просто не имеющий представления о том, какое дело он разбирает, и арестовывающий леди Мод за неуважение к суду. Этот неосторожный поступок влечет за собой драматические последствия — в округе начинаются волнения, серьезность которых немедленно преувеличивается прессой и телевидением. Кабинет министров в растерянности и панике. Премьер требует срочно послать толкового и расторопного чиновника, способного быстро уладить конфликт. Но английская государственная машина подчиняется своим особым законам (некоторые из них открыты небезызвестным С. Н. Паркинсоном): на место происшествия отправляется самый бездарный и бестолковый из всех — Дандридж, начальство так от него устало, что радо малейшей возможности от него отдохнуть. Дандридж являет собой тип чиновника, исполнительность которого доходит до абсурда: он старается каталогизировать и формализовать все окружающие его предметы, присвоить им номера и индексы. Он — автор разнообразнейших проектов усовершенствования транспортной схемы Лондона, но то, что они совершенно неприемлемы, никого не пугает, ибо Дандридж занимает в министерской иерархии такой высокий пост, что никакие

его идеи уже не могут воплотиться в жизнь просто из-за нерадивости многочисленных подчиненных.

Особое место в книге занимает фигура садовника Блотта, происхождение которого даже для него самого покрыто мраком неизвестности. Во время второй мировой войны он попал в Англию в качестве военнопленного, хотя никакого участия в боях не принимал. Не имея ни родины, ни семьи, Блотт остался работать в доме лорда Хэндимэна, поскольку всегда был искренним и страстным поклонником англичан и их стиля жизни. В постоянных восторженных размышлениях Блотта о доблестной истории британской аристократии, в его увлечении книгами о Генрихе VIII, Дрейке, Кромвеле, Эдуарде I и т. д. нельзя не увидеть иронического подтекста. Уж слишком далеки сегодняшние британские аристократы от тех, кем так наивно восхищается Блотт, приписывая всем без исключения английским джентльменам вычитанные в исторических писаниях добродетели.

Однако именно Блотта, единственного из всех персонажей, Шарп наделяет чувствами. Этот человек, нечто среднее между модернизированным Фигаро и бравым солдатом Швейком, трогательно, тайно и безнадежно влюблен в уродливую толстуху леди Мод. Он беспрекословно выполняет любые ее приказы — вплоть до ожесточенного сопротивления регулярным частям британских командос, идущих на штурм дома, из которого леди Мод наотрез отказывается выехать.

Преданность Блотта вознаграждается сторицей. После гибели сэра Джайлса леди Мод выходит за Блотта замуж Его тут же выбирают в парламент, идут разговоры о том, что ему вскоре предложат пост парламентского организатора партии, естественно, консервативной. Во всех своих речах и действиях Блотт оказывается более верным приверженцем британских традиций, нежели сами британцы В головокружительной парламентской карьере безродного и безграмотного Блотта, казенный патриотизм которого сочетается с поразительным невежеством, нельзя не почувствовать едкой издевки над кризисом традиционного британского консерватизма.

Том Шарп написал злую и остроумную книгу. Но неужели в современной Англии нет каких-нибудь иных, не столь традиционных объектов для сатиры?

Второй стороной сатирической «медали» может послужить роман одного из наиболее проницательных литературных критиков Англии и одновременно талантливого прозаика Малькольма Брэдбери «Исторический человек».

Персонажи Брэдбери — супружеская пара по фамилии Кирк — отличаются поразительным лицемерием. Казалось бы, какой порок менее оригинален для представителей британского высшего и среднего классов? Но неожиданность художественного решения, найденного Брэдбери, в том, что Кирки — «революционеры», те самые молодые западные лжерадикалы, вся «революционность» которых сводится к трескучим фразам, склонности к выпивке, наркотикам и случайным связям. Пожалуй, лучше всего суть их «революционности» обнажается в реплике одной из героинь, произнесенной по поводу книги Кирка: «Я только не поняла, можно ли уже сегодня предаваться сексуальным извращениям или же следует дожидаться революции».

Говард Кирк, преподаватель социологии в одном из «молодых» университетов, автор двух нашумевших книг, многих статей по самым разным вопросам, регулярно выступающий по телевидению, известен в городе и как общественный деятель — «гроза эгоистичной буржуазии». Активистка ряда общественных организаций и его жена Барбара. Но эта внешняя сторона деятельности Кирков ничего не значит Они, если воспользоваться выражением Т С. Элиота, «полые люди», лишенные какого бы то ни было внутреннего содержания.

Все убеждения и действия Кирков диктуются обстоятельствами: «Когда бы вы ни навещали Кирков, у них всегда имелся новый сорт венского кофейного торта, который обязательно нужно было попробовать, и очередная петиция, которую было необходимо подписать». Их представление о борьбе за будущее общество сводится к следующему: каждое утро они просыпаются в надежде, что «за ночь возник новый мир, новый порядок». Но и в этих беспочвенных мечтах есть немалая доля лицемерия — никакой «новый мир» вовсе не нужен Киркам. Они великолепно чувствуют себя в том самом капиталистическом обществе, которое так яростно проклинают. Трезвая и вполне буржуазная сметка звучит в теоретическом постулате Говарда: «Если хочешь иметь нечто совершенно естественное и свободное, это следует тщательно спланировать».

Разоблачение Кирков достигается с помощью постоянного резкого контраста между тем, что они говорят наедине, на людях, и как поступают. В романе сюжет в строгом смысле отсутствует, повествование свободно уходит в прошлое, реконструируя предысторию Кирков, их происхождение. Они вышли из того, достаточно многочисленного в западном обществе, слоя, из которого буржуазия постоянно черпает своих неофитов, слепо стремящихся «наверх». Слой этот расположен на грани между мелкой буржуазией и рабочей аристократией.

В сущности, Кирки происходят из той же среды, что и «рассерженные молодые люди». Но они не «сердились» на то, что скромно, даже бедно жили в студенческие и аспирантские годы, а прилежно учились. Им было некогда протестовать — молча, сжав зубы, они карабкались «наверх».

Время высветило истинную цену протеста «рассерженных» — литературная и общественная эволюция самих писателей убедительней всего свидетельствует о том,

что молодым героям из мелких буржуа всего-то и нужно было что «место наверху».

«Наверху» себе можно многое позволить. Пока Киркам приходилось считать каждое пенни, Говард любил пожонглировать словом «зрелость», сегодня он объясняет свое увлечение этим словом «аполитичностью пятидесятых». Теперь молодой профессор, чутко улавливающий веяния времени, хочет внести свою лепту в процесс культурных и моральных изменений в английском обществе. Он создает книгу, в которой доказывает, что традиционные понятия «мужчина» и «женщина» в современном мире утратили свой первоначальный смысл. При этом Говард именует свой опус «политическим», ибо он полон слов «освобождение» и «эмансипация». Барбара не без основания замечает, что эти новые слова-фетиши столь же пусты и безосновательны, сколь дорогое ему в прошлом слово «зрелость». Но книга, подводящая «теоретический» фундамент под «сексуальную революцию», естественно, имеет коммерческий успех, и трезвая и практичная Барбара примиряется со своим пронырой-мужем.

«Немножко Маркса, немножко Фрейда и чуть-чуть социальной истории» — таков нехитрый рецепт, позволяющий Говарду держаться на поверхности и не терять популярности среди студенческой массы, искренне верящей в близкую революцию. Наивные мальчишки и девчонки не видят, как разительно его слова расходятся с делом. «Недвижимость — воровство!» — провозглашает Говард и тут же приобретает за бесценок огромный полуразрушенный дом, в котором быстро устанавливается типично буржуазный порядок, нарушаемый разве что богемными вечеринками. Эти вечеринки и есть основное доказательство «революционности» Кирков. Такое откровенное приспособленчество свойственно далеко не одному Говарду: заместитель декана слывет среди консерваторов крайним радикалом, а среди радикалов — закоренелым консерватором.

Студенческие волнения, начавшиеся в «кампусе», смешны и безобидны, это всего лишь «игра в революцию», однако самолеты британских ВВС регулярно совершают полеты над «кампусом», словно для того, чтобы убедиться, что он все еще находится в руках государства.

Зря беспокоятся военные — с такими «вождями», как Говард Кирк, молодым ничего не добиться. Окончательно раскрывается Говард в момент, когда один из студентов пытается ему робко возражать. Немедленно забыты все разговоры о терпимости, свободе и демократии. Кирк становится жестоким и авторитарным. Он преследует и травит беднягу студента, которому в конце концов приходится покинуть университет.

Роман Малькольма Брэдбери «Исторический человек» — книга честная и горькая о тех, кто, ловко жонглируя «левой» фразой, хочет примазаться к истории, — таков, полагаю, один из возможных смыслов названия. Автор трезво и остроумно показывает, что буржуа всегда останется буржуа, в какие бы ультрасовременные маски он ни рядился.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

◆

Из нашей почты

В первом номере за 1977 год мы поместили выдержки из ряда писем читателей, посвященные главным образом откликам на опубликованные в журнале «Иностранная литература» за последние годы произведения. В почте редакции содержится немало и других писем, в которых читатели, отзываясь на обращение редакции, делятся своими соображениями о том, как улучшить журнал, какие произведения печатать, какие новые разделы и рубрики ввести. Многие называют конкретные имена зарубежных писателей, чьи романы, повести, стихи им хотелось бы прочесть на страницах «Иностранной литературы».

Сегодня мы публикуем выдержки из этих писем с кратким редакционным комментарием.

И. В. МОРОХОВЕЦ
Куйбышев

...Больше всего мне по душе проза с хорошим языком и в хорошем переводе, и именно роман, когда сживаешься с персонажами на длительный срок. Очень огорчает, если переведенное произведение сокращено.

Если возможно, напечатайте романы А. Хейли (без сокращений) «Колеса», «Отель», «Окончательный диагноз». А если у автора есть новые произведения, то и их. Очень хотелось бы познакомиться с последними, да и не только с последними, а просто с теми, что еще не были переведены, произведениями Кронина, Стоуна и писателя, чье произведение «Вся королевская рать». Если есть новые вещи у писателя Барстоу, то и его, так как мне удалось с ним познакомиться только по роману «Любовь.. любовь?» Очень хочется прочитать последние произведения французских современных писателей, как Базен (прочла его «Семью Резо»), Шевалье — автора «Моей подружки Пом» и других.

ЧЕРНЫШЕВА
Москва

...Вы публикуете много разных имен, писателей старых и новых. Но вот последних, на мой взгляд, публикуется недостаточно, особенно из франкоязычных авторов, среди которых много интересных. Например, совсем нет переводов одного из оригинальнейших французских писателей Ле Клезио, в книгах которого интересно увиденный мир с точки зрения человека, родившегося в 1940 году. Он незаслуженно обойден вниманием вашего журнала. Совершенно потрясающая по своему грагизму книга Ажара — последнего гонкуровского лауреата.

Из не старых, но классических авторов мало печатается тоже Многие люди совсем не знают замечательных вещей Томаса Вулфа, одного из самых интересных англоязычных писателей. Почему-то совсем забыт и не публиковался Жан Жионо... Хорошо бы напечатать его знаменитую трилогию или небольшие романы с ярким колоритом трудной и своеобразной жизни французских горцев..

Непонятно, за что «Иностранная литература» питает такую симпатию к Хейли или Ф. Саган, произведения которых просто низкохудожественны и рассчитаны на дурной вкус или на специалистов...

Т. РАХМАНОВА
Свердловск

...Я уже давно, больше 12 лет, являюсь читательницей вашего журнала. Всегда с нетерпением жду очередного номера и, надо признаться, никогда не испытывала разочарования, открывая его... С интересом бы-

ли прочитаны на страницах вашего журнала произведения Анри Труайя, Ф. Саган, Силлитоу, Базена, И. Шоу, А. Мердок, Сьюзен Хилл, произведения японских писателей. Очень понравились отрывки из книги А. Кана «Радости и печали (Размышления Пабло Казальса)». Жаль, что последняя вещь не была напечатана полностью.

Очень бы хотелось, чтобы вы поместили в журнале рассказы Ф. Кафки (три рассказа были напечатаны лет десять назад), рассказы Дрюона, Базена, а также произведения писателей 20—30-х годов (П. Бак, Хаксли и др.).

Почему бы вашему журналу не знакомить читателей с произведениями, удостоенными различных премий? (Например, литературные премии братьев Гонкур, Фемина и др.) Уже давно не печатались мемуары зарубежных артистов, писателей, художников...

С. П. ЩЕРБАК
Днепропетровск

...Крайне недостаточно в вашем журнале произведений научной фантастики зарубежных авторов. Данный раздел литературы пользуется неизменным успехом у весьма большого количества читателей, и аргументация о профиле журнала, не позволяющем печатать данные произведения, явно необоснована...

В. Г. ЗАМОСКОВЦЕВА
ст. Сузун

...Мало внимания уделяется зарубежному юмору и сатире.

В прошлом году был удачный опыт у Андрея Вознесенского в переводе сонетов Микеланджело. Почему бы не продолжить эту работу, привлечь переводчиками Е. Евтушенко, Л. Мартынова, О. Шестинского?

Нашу страну посещают иностранные писатели. Печатайте, пожалуйста, чаще интервью с этими писателями...

Е. ХЛЫСТЕНКОВА
Хабаровск

Очень понравился из последних ваших публикаций роман Торнтона Уайлдера «Теофил Норт»...

Хотелось бы прочесть на страницах вашего журнала роман французского писателя-юмориста Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Е. КАПИТОНОВА
Ташкент

Не много есть писателей, которых я читаю, перечитываю и снова читаю. И вот неожиданный подарок — роман «Загадка Прометея». Прочитав его, я тот же час начала просматривать его и незаметно перечитала сызнова.

ЕЛЕНА БУДКОВА
Ворошиловград

Такие произведения, как «Сын директора» Эмила Манова, «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» Джеймса Болдуина, знакомят нас со сверстниками, живущими далеко от нас. И если настроение, мысли Петра Клисурова близки, понятны нам, то герои романа Болдуина поражают непримиримостью к бесправию; Фонни, находясь в тюрьме, не теряет веры в свои силы.

А. ПОДДУБНЫЙ
Батайск

«Переплывешь реку...» К. Кавальца — произведение, бесспорно, зрелое, интересное и, можно сказать, самобытное. Вопросы в нем ставятся остро, решаются принципиально. Звучит оно очень современно.

Писатель устами своего героя беседует с теми, кому сейчас по двадцать, и в мягкой, ненавязчивой форме предостерегает их от возможных ошибок.

В кратком послесловии «Нашел самого себя» к роману польского писателя Юлиана Кавальца «Переплывешь реку...» Григорий Бакланов справедливо утверждает, что герой романа подался на стройку, теша себя надеждой на большие заработки и возможностью потом показаться в деревне во всем блеске преображенного человека, барина, но там, на стройке, он нашел большее — он нашел самого себя.

Вот та главная мысль, которая заложена в романе.

В. ШЕНДРИКОВА
Якутск

...Хочу спросить: нельзя ли как-то оживить рубрику «Из месяца в месяц»? Мне кажется, что она слишком однообразна.

Хотелось бы прочитать на страницах вашего журнала произведения Трумэна Капоте, Сьюзен Хилл (очень понравились ее рассказы — нельзя ли еще?), роман Дж. Джойса «Улисс»...

М. Я. АНДРИЯН
Эчмиадзин, Армянская ССР

...Ваш журнал очень интересный и увлекательный, конечно, для тех, кто интересуется вопросами литературы и, кроме того, знает иностранные языки. У меня к вам просьба: лучше было бы, если бы в журнале нашло место объяснение отдельных литературных слов и терминов. Например: авангардизм, структурализм, суперреализм, дзэн-буддизм, трансцендентальный символизм, коммерциализация, бестселлер, кабалистика, сакраментальное видение природы...

А. Б., 22 ГОДА
Херсон

...С интересом прочитал повесть Луиджи Малербы «Сальто-мортале» и послесловие к ней. В последние годы в нашей критике считается хорошим тоном отрицательно относиться к литературным экспериментам зарубежных писателей (сколько шуму было из-за «нового романа» во Франции и других странах, в том числе и у нас). Но, думается, здесь уместно привести следующую

аналогию. В математике работы первооткрывателей всегда неуклюжи. Так необычны те новые идеи и методы, которые они предлагают. Проходит время — и громоздкие доказательства теорем становятся изящными в руках последующих поколений. Здесь новое содержание влечет за собой и новую форму. Возьмите в руки две книги по математике, написанные сегодня и пятьдесят лет назад, и вы увидите, как они отличаются друг от друга. Не надо далеко ходить. Теория относительности была революционной не только по содержанию, но и по форме, и сейчас трудно сказать, что больше ценят в ней физики-теоретики. Эйнштейн впервые так явно применил в физике аксиоматический метод. И с тех пор форма аксиоматических теорий, несомненно, изменилась. О содержании же говорить не буду. Поэтому в литературе я всегда за эксперимент. И чем больше его будет, тем лучше. Надо искать, искать, а не пережевывать давно известное. Век-то двадцатый!

В критических статьях я больше всего ценю полемичность и оригинальность мысли Всегда вызывает уважение позиция: «вызываю огонь на себя». Я не пропускаю ни одной статьи В. Днепрова и Д. Затонского...

М. М. ГОСТЕВ
Воронеж

...Не нравится мне ваш отдел критики Он какой-то незанимательный. Критика неэмоциональна. Это только во вред ей. Мне думается, что в критике лучше всего идти по стопам не суховатого Добролюбова и Чернышевского, а страстного, неистового Виссариона Белинского...

Хотелось бы увидеть на страницах вашего журнала такие произведения, которые заставляли бы читателя мыслить, вдумываться, догадываться. Чтобы произведение будило ассоциативное мышление. Чтобы это было не просто некое описание, скажем, этнографического характера, но чтобы это был роман-притча...

ГУНТИС ВАЛУЕВ, студент
Латвийская ССР

...Я хорошо понимаю исключительно сложную задачу журнала при выборе публикуемых произведений Журнал, очевидно, ставит перед собой две довольно трудно соединимые задачи: 1) показать читателям зарубежную литературу возможно шире — и по числу авторов, и «географически» шире; 2) работать с максимальным к. п. д.— то есть публиковать произведения, которые будут прочитаны большим числом интересующихся. Не тайна, что роман французского или, скажем, американского автора прочтут больше людей... Подтверждение этому факту мы находим и в библиотеках, и на полках книжных магазинов. Мне кажется, что редакция «Иностранной литературы» соблюдает именно нужную пропорцию в решении обеих названных задач. И все-таки... Я лично всегда за спорные, непривычные, новаторские произведения Читатель должен с р а в н и в а т ь, причем сравнивать на личном опыте... И я даже склонен думать, что мы все-таки слишком пуритански относимся к изображению любви в литературе. Именно поэтому нам незнакома довольно внушительная часть авторов XX века, признанных во всем мире и обсуждаемых, оцениваемых нашей глубокоуважаемой критикой. Меня всегда вводило в недоумение: какая польза от того, что я прочитаю сотни страниц наших критиков о, скажем, Джойсе, если самого Джойса я не имею возможности практически прочесть? Литература в полном смысле слова — это все-таки сами произведения, а не суждения о них... Прошу извинить меня за слишком, может быть, односторонне поставленный вопрос... Критику всегда читаю с интересом. Понимаю, что журнал должен не только показывать, но и оценивать...

Б. А. ТАРАСОВ
Москва

...Особенно мне по сердцу разделы «Публицистика», «Культура и современность». Но больше всего я благодарен журналу за отдел «Литературное наследие»...

К сожалению, мало произведений из Испании и совсем неоправданно мало переводов с португальского (Ж Амаду не в счет, он — Бразилия), хотя ход событий в Португалии вызывает естественный интерес к этой стране... Ничего крупного и по шведской литературе журнал не дает.

Может быть, изредка следовало бы давать номер журнала, посвященный одной какой-то литературе (например, норвежской, датской и т. п.). А как сделать, чтобы номер был нескучным, — редколлегия знает и умеет...

■

Легко убедиться, перечитывая эти письма, сколь разнообразны, интересны, хотя порой и спорны, пожелания и советы наших читателей. Редакция несомненно прислушается к ним и постарается, насколько это возможно, воплотить в практику многие высказанные в письмах соображения, касающиеся как отбора произведений, так и качества перевода, точности и одновременно художественной выразительности русского текста.

К сведению авторов писем: редакция внимательно изучает произведения, удостоенные за рубежом высших литературных премий, чтобы не пропустить ничего действительно важного и ценного. Недавно на наших страницах появился перевод романа Паскаля Лэне «Кружевница», удостоенного Гонкуровской премии. Будут переводиться и другие произведения недавних лауреатов.

В журнале уже появились страницы, специально посвященные зарубежному юмору, и первые отклики на «Антирубрику» подтверждают, что этот опыт сочувственно встречен читателями.

В разделе «Литературное наследие» (№ 10—12, 1976) опубликован роман Д. Джойса «Портрет художника в юности». Что касается «Улисса», то опубликовать это произведение нам не под силу ввиду его большого объема.

Любителей научной фантастики мы можем заверить, что не испытываем предубеждений и против этого вида литературы. Однако литературно-художественный журнал, чтобы не снизить уровень своих публикаций, должен достаточно придирчиво относиться к отбору произведений хотя бы и весьма популярного жанра. На страницах «Иностранной литературы» могут найти (и, несомненно, найдут) себе место такие произведения научной фантастики, которые одновременно незаурядны по своей социальной задаче и художественной ценности, То же можно сказать и о сочинениях детективного жанра, который так притягателен для многих читателей,—только несомненные идейно-художественные достоинства, а не одна лишь приманка развлекательности открывают произведениям этого рода дорогу в наш журнал.

Следует также упомянуть об одном стойком недоразумении, бытующем, судя по письмам, среди части наших читателей и подписчиков, в особенности недавних. Нам нередко советуют печатать в журнале широко известные произведения классической литературы, древней и новой, начиная от «Илиады» и «Гаргантюа и Пантагрюэля» и кончая романами Р Роллана или новеллами С. Цвейга. Понятно желание читателей перечитать или иметь дома эти прославленные книги, что не всегда легко осуществить из-за дефицита на книжном рынке. Но журнал современной литературы, а таким и является наше издание, не может подменять собой книгу, к примеру, книгу «французского писателя-юмориста»... XVI столетия. «Иностранная литература» призвана печатать на своих страницах лишь то, что еще не появлялось по-русски или, в крайнем случае, появлялось в неудовлетворительном и забытом переводе. Даже раздел «Литературное наследие» планируется редакцией таким образом, чтобы в нем печатались лишь наиболее значительные из числа никогда у нас ранее не публиковавшихся произведений.

Будут приняты редакцией во внимание предложения читателей, касающиеся более широкого представительства на страницах журнала таких национальных литератур, как шведская, португальская, некоторые литературы латиноамериканских стран.

Нельзя, по-видимому, зарекаться и от такой формы, как специальный номер, посвященный той или иной национальной культуре или литературе целого региона. В свое время у «Иностранной литературы» был удачный опыт создания «афро-азиатских» номеров. Однако чрезмерно увлекаться «целевыми» номерами, на наш взгляд, не следует. Журнал современной литературы есть журнал, а не тематический альманах или книга; разнообразие и даже некоторая пестрота материала в известном смысле в его природе и должны отражать живое движение литературы на разных широтах.

Много конкретных рекомендаций получает редакция и в отношении имен зарубежных писателей, которые наши читатели желали бы встретить в очередных журнальных книжках. Каждое деловое предложение этого рода будет нами внимательно изучено и по возможности учтено в перспективных редакционных планах.

Следует, впрочем, заметить, что отбор произведений для публикации лишь обманчиво легкое дело и на любой вкус тут не угодишь. Редакция должна принимать в расчет не только меру новизны и популярности в своей стране сочинений того или иного автора, но и его художественный уровень, его идейно-политическую позицию. Следует принимать во внимание и справедливое представительство в журнале литератур разных районов мира.

Естественно, что у каждого поколения и в разных слоях читателей возникают свои любимые имена, свои художественные авторитеты и литературные фавориты. Одни просят чаще публиковать Фолкнера и Кафку, другие — Сименона и Хейли. (Кстати, его романы «Колеса» и «Отель», упоминаемые в одном из писем, уже опубликованы в СССР.) Конечно, произведения этих столь разных по масштабу дарования и творческой задаче писателей во всем лучшем, что ими создано, не исчезают из поля зрения редакции. Однако более привлекает нас поиск новых интересных имен, вчера еще мало известных или вовсе незнакомых нашему читателю. Это те «новички» в переводной литературе, которые завтра, возможно, станут «фаворитами» и произведения которых будут впредь ожидаться читателем так же жадно, как творения вчерашних его любимцев. Давно ли на страницах «Иностранной литературы» появилось имя Сьюзен Хилл (кстати, мы рассматриваем сейчас одно из новых произведений этого автора) или Лайоша Мештерхази, а между тем именно их называют теперь многие в качестве добрых своих знакомцев и ждут новых встреч с ними на страницах журнала. А тем временем редакция готовит читателю встречи с новыми, еще совсем непривычно звучащими для читательского уха именами, которые, наверное, станут привычны и дороги ему завтра.

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«КАК ВАЖНО БЫТЬ НРАВСТВЕННЫМ»

Так, перефразировав название известной пьесы Оскара Уайльда, обозреватель «Таймс литерари сапплмент» озаглавил свою статью о новом издании его «Сказок», вышедшем в издательстве «Голланц». Сказки Уайльд сочинял для своих детей, говорится в статье, но, будучи опубликованы, они стали достоянием миллионов малышей и взрослых. Несмотря на то что действуют в них традиционные принцессы, великаны, русалки, они обладают неповторимым обаянием, что и принесло им огромную популярность не только в Англии, но и далеко за ее пределами.

Для самого Уайльда, пишет обозреватель, его сказки имели такое же нравственно-воспитательное значение, как и для маленьких читателей. Мораль фантастических историй — это урок этики не только для детей, но одновременно и для писателя. Так, пафос человеколюбия, доброты и отзывчивости первой из девяти сказок, «Счастливый Принц», по мнению обозревателя,— полная противоположность тому стилю жизни, который был свойствен писателю, страдавшему высокомерием и презрением к бедности. Кажется, пишет он, что «Уайльд в своих сказках рисовал тот идеал нравственности, пропагандировал ту высокую жизненную мораль, до которой сам не смог подняться».

В статье отмечается интересное предисловие к сборнику, написанное Наоми Льюис, и великолепные иллюстрации Гарольда Джонса.

«А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ О СЕБЕ?»

Так назван сборник рассказов известного английского писателя и критика Малькольма Брэдбери, выпущенный издательством «Секкер энд Уорбург». В него вошли семь рассказов из университетской жизни, которую писатель, как замечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Ф. Френч, хорошо знает по личному опыту (М. Брэдбери — профессор университета в Восточной Англии, г. Норидж), и восемь пародий на современных романистов, критиков, общественных и политических деятелей. По мнению рецензента, трудно отнести новый сборник писателя к одному из тех жанров, о которых М. Брэдбери писал применительно к себе еще в 1965 году. Тогда он делил свои книги на беллетристику, критику и юмористические произведения. Однако сейчас пришел к выводу об искусственности и даже определенной наивности подобного деления. Новые рассказы, по его собственным словам,— синтез трех видов творчества.

За внешне легкой, комической оболочкой рассказов, пишет Ф. Френч, кроется серьезный смысл, книга содержит важные для автора мысли о литературе, ее задачах. Критик усматривает связь последнего сборника с предыдущей книгой писателя — романом «Исторический человек» (1975), в котором прослеживаются изменения в мировоззрении современной интеллигенции за два десятилетия. В своем сборнике М. Брэдбери подверг сатирическому осмеянию весь жизненный уклад, основанный на честолюбии, лицемерии, отказе от традиционных гуманистических ценностей.

Особой похвалы, пишет критик, заслуживают пародии М. Брэдбери. Писатель искусно имитирует стиль пародируемых им писателей. Он решительно выступает против тех, кто превратил «социологию, психологию, структурализм в своего рода панацею от всех болезней современного мира».

БОЛГАРИЯ

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» МЛАДЕНА ИСАЕВА

Пролетарский поэт Младен Исаев — участник Сентябрьского восстания 1925 года, движения Сопротивления в 1941—1944 гг., становления социалистической Болгарии — всегда был тесно связан с литературной и партийной печатью и лично знаком со многими видными общественными деятелями и писателями. Поэтому с таким интересом, отмечает журнал «Септември», была встречена книга его воспоминаний, вышедшая в издательстве «Болгарский писатель» под названием «Незабываемое».

В этой книге, по отзывам критики, проявилась еще одна сторона дарования писателя — умение по-новому рассказать об уже известных событиях. Примечательны в этом смысле рассказ о последних днях Н. Ваппарова в тюрьме перед расстрелом и портрет писателя Елина-Пелина.

Творчеству Апостола Карамитева, недавно умершего замечательного артиста, посвящают статьи болгарские журналы «Театр», «Пламък», газета «Народна култура». Искусство Карамитева продолжает жить в фильмах и телепостановках, сделанных с его участием, в воспоминаниях тех, кто видел его на сцене, кто работал вместе с ним в театре и Высшем институте театрального искусства. Голос Карамитева, пишет журнал «Театр»», не умолк, он звучит как эхо и сегодня, в наши дни. Эталоном остаются лучшие из созданных им образов: Шура Ведерников в «Годах странствий» А. Арбузова, Глумов в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Виктор в «Цене» А. Миллера, Генрих IV в одноименной пьесе Пиранделло.
На снимке: А. Карамитев в роли Генриха IV.

(Журнал «Театр»)

Кадр из фильма «Пятая печать».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫБОРА

Известный режиссер Золган Фабри обратился к роману Ференца Шанты «Пятая печать». (В русском переводе известен его роман «Двадцать часов».)

Роман «Пятая печать» (1959) воссоздает события 1944 года, когда Венгрия была оккупирована гитлеровской армией. Приятели — часовщик Дюрица, столяр Ковач, агент по продаже книг Кирай — собираются вечерами в подвальчике у знакомого трактирщика поболтать о житейских делах. Усилившийся фашистский террор их словно не касается. У каждого своя жизненная философия. Лишь один Дюрица задумывается: на чьей стороне будут его приятели, если настанет решительный момент в их жизни?

Однажды в корчму зашел инвалид-фотограф, которого они, приняв за пострадавшего в войне, приглашают к своему столику. И в этот вечер Дюрица решается задать мучивший его вопрос вслух. Завязался разговор о злодеяниях фашистов. Фотограф оказался доносчиком. Речи приятелей стали достоянием полиции. И там, в полицейских застенках, Дюрица получил ответ на свой вопрос. Ценой невероятных усилий Дюрице удается вырваться на свободу, чтобы спасти трех своих и девять чужих детей, за которых он чувствует себя в ответе.

Золтан Фабри, отмечается на страницах газеты «Непсабадшаг», создал фильм-

притчу, в котором проблема выбора, то есть ответственности за свое жизненное кредо, становится насущным вопросом и для сегодняшнего человека.

ВЬЕТНАМ

НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В стране создано издательство «Национальная культура» («Ван хоа зан ток»), которое будет выпускать книги различной тематики, альбомы, плакаты, музыкальные издания как на вьетнамском, так и на языках национальных меньшинств и народностей, населяющих Социалистическую Республику Вьетнам.

Выступая на пресс-конференции, посвященной этому событию, директор издательства, заместитель министра культуры СРВ Нонг Куок Тян сообщил, что в 1977 году будет выпущено более 20 наименований книг, а также другие журнально-книжные издания. Первенцем нового издательства станет книга «О культурной работе среди национальных меньшинств», в которую войдут важнейшие материалы и документы.

ГДР

«ПУТЬ НА САМОА» ГЕРБЕРТА НАХБАРА

Новая повесть известного писателя Герберта Нахбара, выпущенная издательством «Ауфбау», называется «Путь на Самоа». Подзаголовок ее — «Летняя история» — как бы настраивает на легкое, радостное чтение. Это рассказ о летнем отдыхе писателя Пауля Дорнбуша, который вместе с сыном и дочерью проводит некоторое время на одном из островов Балтийского моря. Вместе с ними отдыхает много молодежи. Они гуляют, купаются, веселятся, а Дорнбуша постепенно охватывает тоска: он чувствует свой возраст, понимает, что говорит со своими детьми и их друзьями как бы на разных языках. О многом размышляет Дорнбуш в эти хорошие, ясные, летние дни, и постепенно ему удается справиться с тоской. Он стал ближе к своим детям, многое понял, по-новому осмыслил жизнь современной ему молодежи, ее проблемы, ее интересы.

Через всю повесть проходит мотив «пути на Самоа», экзотического путешествия, о котором мечтают молодые люди и о котором в свое время мечтал сам Герберт Нахбар. «Я тогда,— сказал писатель в одном из своих интервью,— всерьез изучал литературу о Самоа, и для меня, как и для героев моей повести, Самоа был неким поэтическим символом, попыткой как-то выразить свои мечты. Прошло много лет, пока я смог написать об этом».

«Уже из самого названия повести ясно, что тема «пути на Самоа» очень важна для Нахбара,— пишет Гейнц Плавиус в газете «Берлинер цайтунг».— Стремление молодых людей заглянуть в глубину своей души, внести в свою жизнь поэзию, элементы фантазии и таким образом раскрыть свою личность — таково значение этого символа. С ним связана и одна из основных проблем повести — проблема двух поколений, которая не получает, однако, трагической окраски... Повесть Герберта Нахбара — вовсе не беззаботное чтение, как может показаться сначала. Она написана очень серьезно и заставляет о многом поразмыслить. Можно поздравить и автора и читателей с новой хорошей книгой».

ФИЛЬМ О БЕТХОВЕНЕ

Студия ДЕФА выпустила на экраны фильм «Бетховен — дни одной жизни» (режиссер Хорст Зееман). Газета «Нойес Дойчланд» пишет, что появление этого фильма — явление знаменательное, особенно потому, что в 1977 году отмечается 150-летие со дня смерти великого композитора. «Это фильм о большом, сильном человеке,— пишет «Нойес Дойчланд»,— о его жизни и творчестве, его взаимоотношениях с современниками, о его любви, его трагической судьбе».

«Мне давно хотелось создать фильм о Бетховене,— сказал в интервью корреспонденту «Нойес Дойчланд» Хорст Зееман.— Надеюсь, что в новом фильме фигура Бетховена предстала в несколько ином свете, чем в прежних картинах, где она зачастую обрастала мифами и легендами. Нашей задачей было показать композитора и в личном, и в со-

На снимке: Донатас Банионис в роли Бетховена, Марита Бёле в роли певицы.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

циальном плане, показать, как трудно ему было бороться с реакционерами в кайзеровской Австрии, рассказать о его политических идеалах, о чувстве ответственности художника перед обществом».

Пресса ГДР отмечает отличное исполнение главной роли известным советским актером Донатасом Банионисом.

ФРГ

НОВАЯ КНИГА ВОЛЬФГАНГА КЁППЕНА

Событием в литературной жизни ФРГ стала новая книга Вольфганга Кёппена «Юность» — первая после многолетнего молчания известного писателя.

Критик газеты «Франкфуртер альгемайне» Марсель Райх-Раницкий затрудняется определить жанр этой книги: «Это не хроника, не отчет, не набросок, не повесть. В ней нет автопортрета и автобиографии... Но каждая страница этой прозы пронизана поэзией».

«Юность» — рассказ о детстве, лишенный связного сюжета: здесь нет ни начала, ни конца. Книга строится как фрагмент, и эта фрагментарность для Кёппена — своего рода эстетическая программа. О неисчерпаемости материала, который дарит писателю жизнь, Кёппен говорил три года назад в своей беседе «О тайне фрагмента».

Критик отмечает в новой работе Кёппена нотки горечи, вообще характерной для этого писателя. «Все свое творчество,— пишет рецензент,— Кёппен охарактеризовал однажды как «монолог против мира». Как и другие книги этого писателя, «Юность» противоречива. Горькая элегия в то же время восхваляет красоту и радость жизни, сетование незаметно переходит в гимн, возмущенный протест против несправедливости не отменяет светлого взгляда на мир.

«Монолог против мира — в конечном счете монолог во славу мира»,— пишет критик, давая произведению в целом чрезвычайно высокую оценку.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

КНИГА О ПРОБЛЕМАХ ЙЕМЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вышла книга «О йеменской культуре», в которой опубликованы статьи видных общественных и культурных деятелей Народной Демократической Республики Йемен.

По словам обозревателя египетского журнала «Ат-Талиа», эти статьи «отличаются самобытностью и глубиной, сочетая в себе понимание местной действительности с широким мировым кругозором».

ЙЕМЕНСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

К ГОДОВЩИНЕ ГИБЕЛИ АЗ-ЗУБЕЙРИ

Журнал «Аль-Йемен альджадид» («Новый Йемен») посвятил большую подборку материалов известному йеменскому поэту и деятелю освободительного движения Мухаммеду Махмуду аз-Зубейри в связи с годовщиной со дня его гибели.

В статьях, помещенных в журнале, рассказывается о патриотической деятельности аз-Зубейри и его признанном вкладе в развитие йеменской литературы. В жизни аз-Зубейри литература и поэзия были неразрывно связаны с политической борьбой. За свою деятельность против деспотического режима имамов он подвергался тюремному заключению и высылке из страны, приговаривался к смертной казни. Долгое время аз-Зубейри жил в Египте. После революции 1962 года, свергнувшей власть имамов, поэт вернулся на родину. Он стал министром просвещения, а позднее — заместителем премьер-министра. В 1965 году аз-Зубейри был злодейски убит монархистами.

Наследие аз-Зубейри включает два поэтических дивана — «Революция поэзии» и «Молитва в аду», публицистические книги «Большой обман» и «Имамат и его опасность для Йемена», а также роман «Трагедия страны Вак-Вак» — первое и пока что единственное произведение этого жанра в йеменской литературе.

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ КЛАССИКА

Прогрессивная общественность Индии широко отметила столетие со дня рождения классика бенгальской литературы Шоротчондро Чоттопадхая (1876—1938), развившего в своем творчестве лучшие традиции индийской литературы.

Как сообщает газета «Джан юг», в Дели состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали генеральный секретарь Национальной федерации прогрессивных писателей Индии Бхишам Сахни, известный прозаик хинди Вишну Прабхакар и другие представители творческой интеллигенции столицы. С докладом о жизненном и творческом пути писателя перед собравшимися выступил профессор Нихар Ронджон Рай.

Центральный орган КПИ еженедельник «Нью эйдж» посвятил творчеству Ш. Чоттопадхая большую статью. «Шоротчондро Чоттопадхай был одним из первых индийских писателей, использовавших перо как оружие в борьбе против всех форм угнетения и порабощения,— пишет автор статьи, известный критик-марксист Раджив Саксена. — Особая заслуга принадлежит ему как борцу за освобождение наиболее угнетенной части индийского общества — индийских женщин».

Указав на огромный вклад писателя в индийскую лите-

ратуру, автор статьи особо отмечает его участие в национально-освободительном движении индийского народа: «Именно это обстоятельство — личное участие в освободительной борьбе — раздвинуло его творческий горизонт. Без этого он вряд ли мог бы создать свои наиболее сильные произведения». В этой связи в статье приводятся слова одного из видных деятелей национально-освободительного движения, сказанные им в день кончины писателя: «Это был великий писатель, но еще более велик он был как человек, безмерно любивший свою страну, свой народ».

На снимке: Эудженио Монтале принимает поздравления.

(Газета «Паэзе сера»)

ИСПАНИЯ*

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ

Конец театрального сезона 1976 года ознаменовался для испанцев двумя крупными событиями: зрители увидели «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки и «Черное пугало» Рафаэля Альберти. В 1964 году пьесу Лорки пробовал ставить в недолго просуществовавшем театре «Гойя» режиссер Хосе Антонио Бардем. «Черное пугало» еще ни разу не ставилось на родине Альберти.

И «Дом Бернарды Альбы», и «Черное пугало» впервые появились на сцене в Буэнос-Айресе в 1944—1945 гг. В обоих спектаклях главную роль с большим успехом исполняла Маргарита Ксиргу, которой Федерико Гарсиа Лорка при жизни предназначил роль в своей пьесе. Об этой актрисе Альберти с восхищением писал в своей «Затерянной роще». Критика отмечает «близость тематики и вторичное совпадение сценических судеб этих произведений». Неудивительно, что возвращение к театру Лорки и Альберти после тридцатилетнего перерыва вызывает огромный интерес.

Вокруг премьеры «Дома Бернарды Альбы» разгорелись споры: дело в том, что роль деспотичной старухи режиссер Анхель Фасио в театре «Эслава» поручил... мужчине. Сам Анхель Фасио так поясняет свой замысел: «Бернарда Альба, по-моему, не женщина и не мужчина, а некое отвратительное существо в трауре, все подчиняющее смерти». Несмотря на некоторую экстравагантность сценического воплощения этого образа, а может быть даже благодаря ей, произведение Гарсиа Лорки получило еще большую силу трагического обобщения, отмечает рецензент журнала «Ла актуалидад эспаньола».

Высокую оценку журнала получила и вторая премьера — постановка режиссером Хосе Луисом Алонсо «Черного пугала» в театре «Рейна Виктория». Главную роль в пьесе «поэта-изгнанника» сыграла «великая испанка», живущая во Франции,— Мария Касарес. По окончании спектакля актрисе, как некогда Маргарите Ксиргу, была устроена овация. По словам рецензента, премьера переросла в «политическую манифестацию; в зале присутствовали виднейшие деятели демократической оппозиции. Мария Касарес прочитала стихи, присланные из Рима своим соотечественникам Рафаэлем Альберти... Это был подлинный, бесспорный, огромный успех».

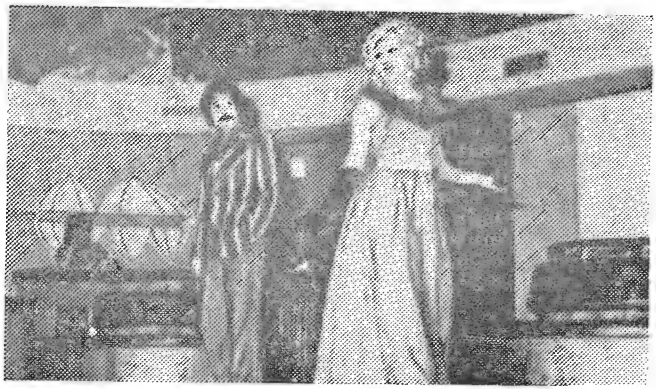
ИТАЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Итальянская печать уделяет большое внимание юбилею Эудженио Монтале — одного из крупнейших итальянских поэтов, лауреата Нобелевской премии, сенатора, отметившего свое восьмидесятилетие. Прослеживая долгий путь поэта, литературный критик Пьеро Далламано в газете «Паэзе сера» вспоминает об огромном впечатлении, которое произвел в Италии сборник его стихов «Раковины каракатицы», вышедший в 1925 году; хотя в стихах не было ни слова о политике, они прозвучали опровержением всей фашистской демагогической пропаганды, раскрывая трагическое мироощущение итальянцев. «Это была встреча с человеком, который страдал так же, как мы все, живя без утешительных иллюзий и без всякой надежды,— пишет Далламано.— «Раковины каракатицы» постепенно раскрыли нам, что мы наги, нищи и одиноки, в то время как нас с невероятной настойчивостью пытались убедить, что мы наследники великой империи и нам подвластен весь мир.

Рисуя портрет поэта, критик раскрывает его главное человеческое качество: отсутствие стремления к величию, исключительности, ощущение себя таким человеком, как все другие. Теперь, отойдя от литературной поденщины, от газетной работы, которой Монтале занимался всегда, поэт стал еще проще, еще мудрее, самые тонкие лирические мотивы в своих стихах он не боится порой перемежать обычной повседневной речью.

Монтале и по сей день много и плодотворно работает, о чем свидетельствуют его последние стихи. «Помимо букета стихов, которые мы считаем бессмертными, дедушка предлагает своим внукам, на сей раз, быть может, и невольно, еще один дар — являет им пример того, как можно не поддаваться течению времени»,— заключает Даллмано.



На снимке: сцена из пьесы катарского драматурга А. А. Абдаллаха «Куда?».

(Газета «Ас-Саура»)

КАТАР

ПЕРВЫЕ ШАГИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ

Иракская газета «Ас-Саура» опубликовала рецензию на пьесу «Куда?», поставленную Театральной труппой Катара, созданной недавно в городе Доха, столице этого молодого независимого арабского государства.

Автор рецензии пишет, что театр Катара, как всякий молодой театр, испытывает многочисленные трудности. Однако упорная работа и смелые творческие поиски помогают ему их преодолевать. Пьеса «Куда?» представляет собой новый шаг в развитии театрального искусства небольшой страны.

Эта пьеса, написанная драматургом Абдаллахом Ахмадом Абдаллахом и поставленная режиссером Хани Санаубаром,— первое драматическое произведение в Катаре, которое можно отнести к жанру «политического театра».

Катарский драматург А. А. Абдаллах — автор идущих пьес «Дело адвоката», «Мои три дяди», «Ловкий Хасан» и «Старая дева». Новая пьеса, по его словам, затрагивает несколько взаимно переплетающихся тем. Это пьеса характеров, рисующая различные человеческие и социальные типы.

Режиссер Хани Санаубар широко использовал при постановке приемы универсального театра, в котором большое место отводится музыке, пению и танцу. По его мнению, это способствует бóльшей доходчивости драматического произведения.

Пьеса «Куда?» пользуется у зрителей большим успехом. Театральная труппа Катара предполагает выступить с ней на межарабских театральных фестивалях.

КОЛУМБИЯ

В ГОСТЯХ У ИНДЕЙЦЕВ ТИКУНАС

Впервые в истории колумбийского театра, сообщает журнал «Конхунто», известная в стране труппа «Киньентос дос» совершила гастрольную поездку по южным районам Колумбии, граничащим с Бразилией и Перу. Артисты театра дали, в частности, несколько спектаклей в городе Летисия.

Самой неожиданной для гастролеров была встреча с новыми для них зрителями — индейцами из племени тикунас, живущими в местечке Арара, в первобытной сельве. Тикунас населяют обширный район в бассейне Амазонки, на их языке говорят более 20 тыс. человек. Это жители нескольких колумбийских деревень, а также бразильского селения Тонантиса и перуанского острова Майорума.

Для своего выступления перед индейцами артисты «Киньентос дос» избрали созданную ими коллективно пьесу «Арара», основанную на мифах и легендах индейских племен Колумбии, на обычаях и традициях индейцев Латинской Америки. Для индейской детворы столичные артисты показали спектакль «Кукла», поставленный режиссером Эленой де Медина по мотивам индейского фольклора. В основу сюжета «Куклы» положен известный обычай, бытующий среди индейцев племени тикунас,— посвящение девочки в женщину, хранительницу семейного очага.

Артисты столичной труппы удостоились самого горячего приема у индейцев Амазонии. Они убедились в том, что эти люди, живущие в отрыве от современной цивилизации,— чуткие и внимательные зрители. Вождь племени, в частности, оказался отличным консультантом по части костюмов и общего оформления спектаклей.

Поездка артистов прошла на редкость удачно. «Это была встреча с историей нашей страны, с тысячелетней культурой коренных обитателей американского континента»,— писал в рецензии на спектакли труппы журналист Э. Харраба-Пардо.

МЕКСИКА

ВЫСТАВКА ИЗ ФОНДОВ ЛЕНИНГРАДСКИХ МУЗЕЕВ

Крупным культурным событием в мексиканской столице стала выставка шедевров живописи из фондов ленинградских музеев. Демонстрировались 30 картин из Эрмитажа и 12 полотен из Русского музея, среди них работы Матисса, Пикассо, Сезанна, Гогена. Выставка проходила в залах Музея современного искусства в Мехико. Директор музея Фернандо Гамбоа заявил, что мечтал об организации такой экспозиции со времени своей первой поездки в Ленинград весной 1961 года. «Я бесконечно счастлив, что мы смогли доставить эту радость мексиканским любителям живописи»,— сказал он. В интервью журналу «Висьон» Гамбоа подчеркнул, что, какой бы богатой ни казалась эта экспозиция, она составляет лишь незначительную часть фондов ленинградских музеев, хранящих поистине неисчислимые сокровища.

НОРВЕГИЯ

«ЗУБАСТЫЙ ЮМОР»

Так оценивает рецензент газеты «Фрихетен» новый сборник рассказов популярной норвежской новеллистки Маргарет Йохансен «Смерть и похлебка», вышедший в издательстве «Тиден».

«До недавнего времени наша страна, к сожалению, не могла похвастаться своими писателями-юмористами. Но вот, наконец, мы познакомились с творчеством Маргарет Йохансен»,— пишет рецензент. Ее, на первый взгляд просто смешные, рассказы имеют резко сатирический подтекст. Как и в предыдущем сборнике рассказов «...Но люди смеются», главным оружием писательницы в борьбе с социальными недостатками остается колкое перо. Все новеллы нового сборника, по словам рецензента, отмечены характерным для ее манеры сарказмом. Смех ее обличителен.

ПАКИСТАН

В ЧЕСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОЭТА

20 ноября 1976 года исполнилось шестьдесят лет со дня рождения видного пакистанского поэта и новеллиста Ахмада Надима Касми. В связи с этим литературный журнал «Афкар», издающийся в Карачи, подготовил специальный, расширенный номер, посвященный поэту.

Как критические материалы, помещенные в журнале, так и любовно составленная антология из произведений А. Н. Касми позволяют составить полное впечатление о творчестве этого поэта и прозаика-гуманиста, в течение ряда лет возглавлявшего Ассоциацию прогрессивных писателей Пакистана.

Мухаммад Казим, рецензент издающегося в Лахоре журнала «Фунун», отмечает, что издатель «Афкара» Субха Лакхнави положил начало хорошей традиции — посвящать специальные номера творчеству ныне здравствующих литераторов. Издание таких выпусков в стране, не имеющей специальных литературных архивов и изданий типа «Литературное наследство», имеет огромное значение для работы критиков, историков литературы, для читателей, интересующихся творчеством известных писателей и поэтов.

В качестве авторов в журнале выступают известные литераторы урду не только Пакистана, но и Индии, что свидетельствует о положительных сдвигах, наметившихся в отношениях между этими странами в последние годы.

Выпуск специального номера, рассматривающего творчество А. Н. Касми вслед за аналогичными выпусками, посвященными Джошу Малихабади, Фаизу Ахмаду Фаизу и некоторым другим литераторам урду,— весомый вклад журнала «Афкар» и его редактора Субха Лакхнави в современную пакистанскую литературу урду.

ПОЛЬША

«ЧТОБЫ НЕ КАНУЛИ ВО МРАК ЗАБВЕНИЯ»

Под таким названием в издательстве «Ксёнжка и ведза» вышла книга, посвященная женщинам, участвовавшим в войне на фронте и в подполье, страдавшим и боровшимся в лагерях смерти, учившим молодежь в подпольных школах и университетах во время гитлеровской оккупации.

Это первый сборник, пишет Кира Галчинская в газете «Трибуна люду», широко освещающий роль польских женщин в тяжкие годы борьбы с гитлеровскими захватчиками.

Основой для книги послужили материалы научной сессии, проводившейся Лигой женщин, Союзом борцов за свободу и демократию, Институтом военной истории.

Сборник состоит из пяти разделов: «Женщины в военных мундирах, сражавшиеся на фронтах», «Женщины в Сопротивлении», «Женщины на санитарной службе в армии и в Сопротивлении», «Участие женщин в подпольном преподавании и в борьбе за сохранение ценностей национальной культуры», «Мартиролог польских женщин».

Очерки, написанные людьми разных возрастов и профессий, принадлежащими к разным общественным слоям, представляют большую познавательную ценность.

«В этих очерках,— пишет К. Галчинская,— встает образ польской женщины, которая наравне с мужчиной несла на своих плечах тяжесть вооруженной борьбы, не забывая, что героизм — это не только смерть в борьбе с врагом, но и забота о будущем страны. А для нового будущего надо было

«Теневая черта» — новый фильм Анджея Вайды, в основу которого положен одноименный роман английского писателя Джозефа Конрада, по происхождению поляка (Конрада Коженевского).
«Фильм,— как пишет рецензент газеты «Жиче Варшавы»,— повествует о переменах, происходящих в человеке, когда его беззаботность и пылкость, свойственные молодости, под влиянием событий, сменяются сознательным отношением к жизни, это фильм о человеке и о возмужании, когда человек преодолевает свою «теневую черту».
В фильме заняты английские и польские актеры. Роль Конрада сыграл молодой талантливый актер Марек Кондрат.

(Журнал «Кино»)

воспитывать молодое поколение, спасать от гибели многовековые традиции и культурные ценности, учить достоинству, справедливости, гуманности в годы, когда эти понятия выкорчевывались из сознания людей, когда молодежь в условиях гитлеровской оккупации видела вокруг себя только насилие, ненависть, варварство...

Польская женщина была солдатом, санитаркой, воспитательницей, учительницей, матерью и другом всех, кто нуждался в этой дружбе на Родине и на чужбине».

В огромной литературе о второй мировой войне, отмечает рецензент, существовал пробел — не было в ней книг о роли польской женщины, но теперь, с выходом книги «Чтобы не канули во мрак забвения», этот пробел восполнен.

ИСПОВЕДЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Под таким названием в журнале «Нове ксёнжки» опубликована рецензия Мариана Дверницкого на новую книгу писателя Януша Пшимановского «Ожесточенный».

Януш Пшимановский, автор многих книг, в том числе широкоизвестной телеповести «Четыре танкиста и собака», снова пишет о войне, которую пережил сам как офицер Войска Польского.

Новая книга Пшимановского — история молодого солдата, который в мирное время пахал бы землю или стоял у станка, но теперь умирает в полевом госпитале в страшных мучениях. Пшимановский показывает будни войны, тяжкую солдатскую долю.

«Художественная проза Пшимановского, как и его публицистика, лишена приглаженности, в его произведениях армия — это не браво марширующие солдаты, не парады и праздники, не банальные бодрящие речи о необходимости жертв, это тяжелый долг солдата и человека»,— так оценивает рецензент новую книгу писателя.

РУМЫНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЯ РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА

В материалах конгресса по проблемам политического воспитания и социалистической культуры СРР (июнь 1976 года) содержится призыв к критикам — подходить к проблемам литературы и искусства с более высоких идейных позиций на основе последовательного применения принципов марксистско-ленинской философии.

Одной из форм решения этой задачи стали «круглые столы», регулярно проводимые в редакции еженедельника «Контемпоранул». Декабрьский «круглый стол» был посвящен обсуждению романов года, объединенных общей темой — строительства основ социализма в 50-х годах. Оживленный обмен мнениями, в котором участвовали критики Л. Улич, Л. Петреску, Д. Мику, М. Йоргулеску, коснулся произведений К. Цою «Галерея»,

увитая диким виноградом», Д. Р. Попеску «Дожди незапамятных времен» и «Повелитель туч», Д. Сэрару «Мгновение», Пл. Пардэу «Круг», Ал. Ивасюка «Прозрение» и других.

Названные произведения — свидетельство развития румынского политического романа, посвященного борьбе трудовых масс за народную власть, проблемам революционного преобразования страны. Почти в каждом из них, как отмечали участники обсуждения, выведены подлинные герои этой революционной эпопеи — коммунисты, партийные работники. Вместе с тем внимание прозаиков направлено преимущественно на изображение тех, кто не выдержал накала революционного обновления, изменил революции, стал ее врагом. «А ведь куда более важно,— напомнил Д. Мику,— другое: создание образа человека, для которого коммунизм означает утверждение жизни, осуществление вековых чаяний народа... Но именно романа, в котором была бы раскрыта вся сложность характера того, кого мы называем «новым человеком», среди этих книг пока еще нет. То положительное, что существовало в те годы, все еще ждет своего полного воплощения».

Л. Улич и М. Йоргулеску отметили «полемическую» направленность многих из обсуждаемых романов, субъективизм оценок, вызванный «желанием обязательно опровергнуть то, что говорилось об этой эпохе в более ранних произведениях». В иных романах обнаруживается «та же схема, только вывернутая наизнанку». (Это относится, например, к роману И. Лэнкрэншана «Глиняная кукла».)

В лучших романах, посвященных теме 50-х годов, как убедительно показал Л. Петреску, раскрыто значение этого бурного десятилетия, в течение которого преобразованию подверглась вся структура румынского общества. Этим и определяется их место в развитии новой румынской литературы.

КОЛЛОКВИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ КОМЕДИИ

Недавно в городе Галац состоялся семидневный фестиваль комедии, на котором были показаны спектакли «Конверт» Л. Ребряну, «Кирица в провинции» В. Александри, «Бурная ночь» И. Караджале, а из современных пьес — «Взбесившийся агнец» А. Баранги, «В субботу в ресторане «Веритас» М. Р. Якобана, «Под знаком Близнецов» В. Мунтяну и другие.

Почему выбор пал на Галац? Очевидно, потому, объясняет рецензент «Ромыния литерарэ» В. Сильвестру, что у города на Дунае давно сложившиеся театральные традиции, особая тяга к комедийному спектаклю. Но главное — другое: «желание подарить жителям промышленного центра, производящего чугун и сталь, суда и невиданные дотоле платформы для подводного бурения.., радость, достойную их великолепного труда».

Многое на этом «коллоквиуме по проблемам комедии», по словам Сильвестру, происходило впервые: жюри, ставившее оценки и присуждавшее премии и поощрительные подарки (придуманные и изготовленные умелыми руками галацких рабочих), впервые состояло не только из критиков, но и из культработников, проектировщиков и строителей кораблей, сталелитейщиков, университетских профессоров и героев социалистического труда... Семь дней обсуждались проблемы комедии, судьбы румынского комедийного спектакля — и это тоже было впервые... Литературные вечера, спектакли, дискуссии перемежались посещением предприятий, культурных учреждений, встречами с трудящимися, партийными и государственными работниками. «Эти насыщенные дни и вечера в городе на Дунае надолго останутся в памяти участников коллоквиума»,— заключает рецензент.

США

ЛАНДШАФТ С ФИГУРАМИ

Не прошло и двух месяцев, как вслед за сборником рассказов «Пересекая границы» Дж. К. Оутс появился ее новый роман «Детство». Рецензия в «Чикаго дейли ньюс» озаглавлена «Мистический ландшафт Оутс», что напоминает заглавие заметки о предыдущей книге писательницы — «Топкое, туманное болото отчаяния Оутс». Судя по отзывам критики, эмоциональная атмосфера последних произведений писательницы весьма схожа.

Роман «Детство», утверждает рецензент, можно, по аналогии с живописью, назвать «Ландшафтом с фигурами». Место его действия — штат Нью-Йорк. Герои романа — три поколения некогда процветавшей семьи фермеров и преуспевающий поэт, удалившийся на лоно природы, чтобы разобраться в своей душе. Но это ему плохо удается, пока он не влюбляется в четырнадцатилетнюю дочь фермера Лэни. Среди бесчисленных братьев и сестер Лэни упоминания достоин, по мнению критика, лишь ее брат Вейл. Увечья, полученные во Вьетнаме, и душевные раны обрекают его на одиночество, он не решается вернуться домой. Наркотики помогают ему ненадолго заглушить душевную боль. Восьмидесятилетний дед Лэни, еще одна из наиболее удавшихся писательнице фигур, столь же далек от жизни своей семьи, как и живущий вдали от дома Вейл. Он погружен в воспоминания о тяготах прожитой жизни, отданной этой земле, выросшему и распадающемуся у него на глазах клану.

Тема Оутс — противопоставление природы и цивилизации — традиционна и в то же время неисчерпаема. Книга представляет собой мозаику, где повествование ведется от лица ее героев. «Роман удивительно статичен,— замечает критик,— сюжета едва хватило бы на повесть среднего размера.

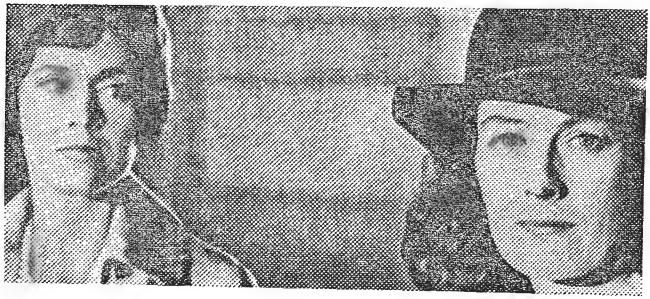
Даже главные его герои — марионетки. Это скорее архетипы мифа, чем полнокровные художественные образы».

КНИГА О НЬЮ-ЙОРКЕ 70-х ГОДОВ

Поистине сенсационным стало появление книги нью-йоркской журналистки, корреспондентки журнала «Нью-Йоркер» Ренаты Адлер — «Скоростной катер», вышедшей в издательстве «Рэндом хаус». Критики сразу же объявили ее «нью-йоркским романом 70-х годов». Впрочем, романом книга Адлер названа условно. На самом деле это семь рассказов-очерков, ранее публиковавшихся в «Нью-Йоркере». Книга представляет собой как бы выдержки из записной книжки репортера, «коллажи впечатлений», пишет обозреватель журнала «Тайм».

Повествование ведется от лица молодой журналистки, перепробовавшей множество профессий — она была преподавателем в колледже, консультантом в каком-то учреждении, работала в аппарате конгресса США, и у нее собралось достаточно впечатлений о множестве людей, с которыми она встречалась, о тех ситуациях, в которые попадала. «Пытаясь ответить на вопрос, действительно ли все мы — группа инвалидов, ипохондриков и неудачников, Рената Адлер написала гротескный отчет о тех странных, безрассудных, необъяснимых поступках, которые совершаются в наше время»,— отмечает рецензент журнала «Ньюсуик».

По мнению критиков, книга Р. Адлер не претендует на всестороннее исследование нравов современного американского общества. Писательница, говорится в журнале «Атлантик», сосредоточивает внимание на важнейших, с ее точки зрения, особенностях современной американской жизни: равнодушии и абсурдности существования. И хотя речь в книге идет только о Нью-Йорке, рецензент журнала «Ньюсуик» полагает, что, если бы «Скоростной катер» сейчас «заложили в специальную капсулу и вскрыли ее через сто лет, наши потомки могли бы судить по этой книге, как мы жили и что нас заботило в 70-е годы XX века».



На снимке: Джейн Фонда и Ванесса Редгрейв в фильме «Джулия».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

НЕОБЫЧНЫЙ ФИЛЬМ

В основу фильма «Джулия» легла одноименная глава второй части мемуаров Лиллиан Хеллман «Проклятые времена», которая рассказывает о судьбе двух подруг детства — Джулии и Лиллиан. Лиллиан Хеллман рисует два разных характера, два жизненных пути духовно близких людей. Лиллиан (в фильме ее играет Джейн Фонда) стала известным драматургом. Она прожила нелегкую, напряженную жизнь. Ее подруга Джулия (роль исполняет Ванесса Редгрейв), женщина из обеспеченной семьи, посвятила себя в 30-е годы антифашистскому движению. Лиллиан помогает ей, переправляя Джулии в Вену деньги через границу Франции. Фашисты зверски убивают Джулию. Ее изуродованное тело удается перевезти в Лондон, где Лиллиан в одиночестве хоронит свою подругу.

«Это страшный и гневный рассказ»,— пишет на страницах «Интернэшнл геральд трибюн» М. Шелл. Сценарий фильма «Джулия» написан Элвином Серджентом. Снимал его в Англии и Франции известный кинорежиссер Фред Зиннеман.

В интервью, данном в связи с выходом картины, Джейн Фонда рассказала, что она сразу согласилась сниматься в фильме, потому что положительный женский образ приходится играть очень редко. Ее привлекли образы героинь — двух благородных женщин, которые помогают друг другу. Их волнуют дела и идеи, а не бесконечные любовные истории. Впервые, сказала Фонда, ей довелось играть в фильме, который показывает женщин, связанных подлинно человеческими отношениями. Обычно же ее героини соперничают из-за мужчины, испытывают друг к другу невротические или эротические чувства. Кинозритель привык видеть фильмы о дружбе мужчин, но ему, как утверждает Фонда, еще не приходилось смотреть подобный фильм о женщинах. «Когда видишь на экране лицо Ванессы, озаренное светом воспоминаний о Вене 1934 года, или когда она увлеченно говорит о книгах — это прекрасно»,— сказала Джейн Фонда.

Над картиной работали талантливые и опытные люди, пишет М. Шелл. «Фильм «Джулия»,— заключает он свой отзыв,— это воспоминание о впечатляющей человеческой личности. Фильм должен напомнить о предвоенном времени, когда людям приходилось принимать решения, быть отважными. А эти времена всегда могут вернуться».

ФИЛИППИНЫ

ИНТЕРЕС К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Многовековое владычество Испании, а затем, с начала нашего века, сорокалетняя колонизация Соединенными Штатами Америки заметно повлияли на развитие культуры Филиппин. В частности, это выразилось в том, что современная литература этого небольшого государства Юго-Восточной Азии в основном представлена англо- и испаноязычными произведениями. Однако интерес филиппинцев к своей национальной культуре никогда не угасал. В середине XIX века свое второе рождение получила литература на тагальском (или филиппинском) языке. Развивались литературы и на других языках и диалектах.

В конце прошлого года в Манильском университете при участии Филиппинской ассоциации исследований в области культуры был впервые организован курс лекций, посвященный проблемам изучения национальных литератур страны. Как пишет газета «Таймс джорнэл», пятнадцать лучших специалистов рассказывали слушателям курса о развитии литератур филиппинских народностей. Посещать эти лекции могли все желающие.

Другим важным событием, свидетельствующим о растущем интересе к национальной культурной традиции, явилась премьера первой филиппинской оперы «Бернардо Карпио» в Маниле. Первая треть XX века, так называемая «золотая пора тагальского романа», по словам обозревателя газеты «Таймс джорнэл», была отмечена и необычайной популярностью поэзии на тагальском языке. «В настоящее же время,— продолжает обозреватель,— на смену подлинно национальным формам искусства пришли новые формы. Так, широко некогда распространенные жанры моро-моро, карильо, сарсуэла (драматические жанры народной комедии.— Ред.) сменились кинофильмами и телепостановками. Сегодня попытка возродить традиции народного искусства успешно осуществилась в постановке оперы «Бернардо Карпио».

В основе сюжета оперы лежит предание о народном герое времен испанского господства Бернардо Карпио. «В опере мы видим удачный сплав современной музыки и тагальской поэзии,— пишет обозреватель.— И звучит она очень актуально. Главная тема — внутренний конфликт человека, стоящего перед дилеммой: борьба за счастье своего народа или личное благополучие».

Стихи принадлежат лауреату национальной премии имени Карлоса Паланки поэту Вирхилио Альмарио. Музыку написал известный композитор и аранжировщик Сэмми Климако. Исполнители всех ролей в спектакле — студенты Манильского университета.

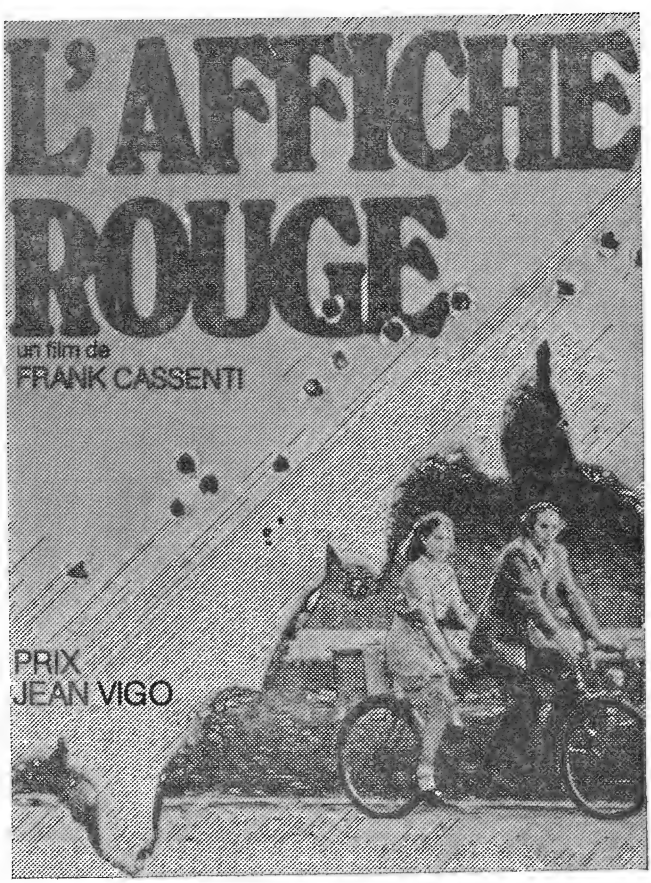
ФРАНЦИЯ

«КРАСНАЯ АФИША»

В конце прошлого года на экраны Франции вышел фильм молодого кинорежиссера Франка Кассенти «Красная афиша», ставший заметным событием французской кинематографии. В чем же причина успеха этого фильма, отнюдь не супербоевика, среди исполни-

На снимке: афиша к фильму «Красная афиша».

(Еженедельник «Юманите диманш»)



телей которого нет ни одной «звезды»?

В феврале 1944 года под Парижем фашисты расстреляли двадцать одного участника Сопротивления из «группы Манумьяна», состоявшей из политических эмигрантов — поляков, венгров, румын, итальянцев, испанцев. Сам Мисак Манумьян — армянин по происхождению, член Французской компартии.

То было время больших потерь для фашистской армии, теснимой войсками Советского Союза, и нацисты прилагали все силы, чтобы сломить крепнущее сопротивление патриотов внутри оккупированной Франции, подорвать их авторитет у населения. С этой целью был сфабрикован громкий процесс над так называемой «группой Манумьяна», на котором патриотов-интернационалистов пытались изобразить «террористами», личностями патологическими и не имеющими никаких благородных целей.

Во время шумной кампании, развернутой вокруг «дела Манумьяна», по всей Франции были расклеены красные афиши с фотографиями приговоренных «иностранных террористов», но спектакль, инсценированный фашистскими властями, провалился. Именно из этих афиш французы узнали имена героев, боровшихся ради светлого будущего, поняли истинную ценность интернационализма и патриотизма. А несколько месяцев спустя Франция была освобождена, свой вклад в дело ее освобождения внесла и «группа Манумьяна».

В подробном интервью журналу «Имаж э сон» Франк Кассенти сказал:

«Историю «Красной афиши» я услышал от депутата... Первое мое впечатление было так сильно, что на следующий же день я постарался узнать об этом как можно больше...

Начиная работать над сценарием «Красной афиши»,— продолжал он,— Рене Ришон и я подумали, что история 40-х годов может помочь лучше понять нашу эпоху и особенно помочь молодым...» Фильм Франка Кассенти — своего рода «реконструкция» прошлого на глазах у зрителей, пишет критик Ювер Дерю в «Имаж э сон». Это рассказ о том, как актеры разных национальностей (а в фильме говорят на 14 языках) ставят спектакль «Красная афиша», посвященный памяти погибших героев-интернационалистов. Они не только одеваются и гримируются на наших глазах, но и свободно обсуждают свое отношение к тому, что изображают.

Критик отмечает, что в стилистике фильма Кассенти можно найти способы выражения и приемы, свойственные разным нациям и эпохам: брехтовский театр, комедию дель арте, психологический театр, театр масок. Музыка в фильме тоже многонациональна, в основном это народная музыка разных стран в современной обработке, а для обозначения «перехода» от одной эпохи к другой использована мелодия марша республиканских интербригад в Испании.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АНДРЕ МАЛЬРО

Творческая деятельность Андре Мальро, одного из известнейших писателей, продолжалась до последних дней его жизни. Писатель скончался в ноябре прошлого года. В издательствах выходят книги, над которыми он работал незадолго до смерти. На телевидении демонстрируется многосерийный фильм, своего рода эстетическое завещание писателя,— беседы об искусстве. Работа над фильмом была прервана незадолго до кончины Мальро, но режиссер Жан-Мари Бло успел подготовить передачи, занимающие 15 часов телевизионного времени.

Последние месяцы жизни Мальро работал над эссе «Бренный человек и литература», посвященном проблеме изменения эстетического восприятия искусства в разные исторические периоды. Эта книга выходит в издательстве Галлимара.

Издательство Маэ сообщило о своем намерении опубликовать неиздававшийся до сих пор фрагмент из романа «Надежда», где рассказана история одной любви во время войны в Испании. Мальро не включил его в роман, потому что, по его мнению, книга и так была насыщена драматическими эпизодами. Фрагмент из романа издается под названием «И на земле...» и будет иллюстрирован четырнадцатью гравюрами на меди Марка Шагала. Незадолго до смерти писателя вышла его книга «Вневременное» (изд-во Галлимара) — заключительный том трилогии, первой частью которой был том «Метаморфоза богов», второй том — «Ирреальное». Во «Вневременном» Мальро размышляет о соответствиях, которые находит в искусстве Востока и Запада, о их взаимопроникающем влиянии, он пишет и об искусстве первобытных народов: о масках, фетишах, идолах, уделяя особое внимание примитивистам Гаити.

Значительное место в книге посвящено развитию любимой идеи Мальро о создании «воображаемого музея» всемирной скульптуры, который должен быть создан с помощью аудиовизуальных средств: телевидения, фильмов об искусстве, видеопластинок. Книга богато иллюстрирована.

Одна из последних работ Мальро — послесловие к книге «Быть и сказать», сборнику статей, эссе, воспоминаний о его жизни и творчестве, который был выпущен издательством «Плон» в 1976 году.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ЛИХОРАДКА»

Новелла известного словацкого писателя Йозефа Кота, которая сразу же по выходе в свет привлекла внимание читателей и критики, легла в осиову сценария фильма «Лихорадка», с успехом демонстрировавшегося на многих кинофести-

валях как в ЧССР, так и за рубежом. Й. Кот был удостоен Национальной премии Словацкой Социалистической Республики 1976 года за литературную деятельность и за участие в работе над сценарием фильма. Действие происходит в 1968—1969 гг., годы сложные и трудные, когда разрушительные тенденции не только проявлялись в хозяйственной, политической и культурной области, но и приводили к столкновениям и ломке характеров. То было «время проверки партийной, гражданской и общественной зрелости отдельных людей и коллективов,— пишет словацкая газета «Нове слово», представляя читателям новых лауреатов Национальной премии ССР.— Именно такой внутренний анализ отношений между людьми и их позиций и дается в написанном Й. Котом литературном сценарии». Благодаря смелой авторской позиции фильм правдиво и убедительно отображает события этого сложного периода, заключает газета.

В событиях, имевших место в маленькой братиславской типографии, отражается идеологическая борьба, проходившая тогда во всей стране. Умирает старый директор типографии, бывший партизан, и сразу поднимают голову люди, которые хотят «ворочать большими делами», сделать типографию «рентабельной» (например, выполняя заказы из Вены и т. п.). Сначала им кажется, что новый директор, инженер Самел,— наиболее подходящий для них руководитель: у него идеальный «кадровый профиль» — он из рабочей семьи, кончал вечерний институт, работая наборщиком, рабочие его любят, а характер у него мягкий, покладистый. И вначале действительно Самел часто колеблется, теряется, не умея дать резкий отпор чересчур предприимчивым конъюнктурщикам. Он видит их насквозь, но опасается, что этим опытным демагогам удастся повести за собой рабочих. И вот в самые трудные минуты Самел находит поддержку именно у рабочих, кадровых наборщиков, которым отнюдь не безразлично, что́ они набирают на своих машинах и для кого. «Проверку партийной, гражданской и общественной зрелости» выдерживают и Самел, и коллектив. Поэтому фильм известного словацкого режиссера Мартина Голлого, по оценке печати, является вкладом в идеологическую борьбу в современном мире.

В фильме снимались известные словацкие артисты М. Дочоломанский (исполнитель главной роли), Г. Валах, М. Губа, Р. Разлова и др.

На снимке: актер Михал Дочоломанский в главной роли в фильме «Лихорадка».

(Журнал «Фильм а дивадло»)

ЮГОСЛАВИЯ

«КРОВЬ И ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ»

Газета «Борба» отмечает появление третьего издания сборника «Кровь и жизнь за свободу», посвященного участию молодых югославов в гражданской войне 1936—1939 гг. в Испании. Уже минуло четыре десятилетия с тех пор, как эта книга впервые была напечатана в Барселоне и нелегально переправлена в Югославию. Десять лет назад Союз добровольцев испанской революционной армии в Белграде подготовил на сербскохорватском языке дополненный вариант сборника. Появление третьего издания книги, подчеркивает газета, очень своевременно, особенно теперь, когда Испания переживает новый этап борьбы за справедливое дело испанского народа.

ПРЕМИИ ЗА САТИРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В Овсиште, на родине известного сербского сатирика Радоя Домановича, состоялось вручение наград за лучший короткий сатирический рассказ 1976 года. Как сообщает газета «Борба», жюри конкурса, проводимого ежегодно в стране в честь крупного мастера сатирического пера, определило победителей. Первое место занял Вуко Безаревич за рассказ «Человек, который творит»; вторая награ-

да досталась Велибору Михичу, автору рассказа «Путешествие в Княжевац»; третьим награжден Спасой Шейич за рассказ «Зачем Смайю столько детей».

ЯПОНИЯ

МЕСЯЧНИК ДРУЖБЫ

Как сообщает газета «Нихон то Собиэто», ноябрь 1976 года остался в памяти японцев как месячник японо-советской дружбы, богатый событиями. Месячник был посвящен 20-й годовщине восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией и проводился по инициативе общества «Япония — СССР». Одним из ярких событий стал фестиваль советских мультфильмов, не только порадовавший японскую детвору, но и привлекший внимание взрослых. Известный художник-мультипликатор О. Тэдзука в интервью газете «Япония—СССР» сказал, что увиденный им 25 лет назад советский мультфильм «Конек-Горбунок» произвел на него такое впечатление, что он смотрел его не менее 50 раз и вдохновился на создание известного мультфильма «Жар-птица». «Она стала главной работой моей жизни»,— заключил он.

В этот же период театр «Хайюдза» поставил комедию Н. В. Гоголя «Ревизор» в переводе видного русиста профессора университета «Васэда» Иосио Нодзаки. Труппа начала свою деятельность в марте 1946 года постановкой именно этого спектакля, поэтому памятный для театра спектакль украсил одновременно и месячник, и 30-летие труппы. По словам выдающегося японского режиссера К. Сэнда: «Гоголь написал удивительно современную пьесу, и мы старались максимально подчеркнуть ее современность в нашем спектакле...»

Афиша спектакля «Ревизор».

Несколько месяцев назад эта же труппа показала интересный спектакль по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».

Нелегко было инсценировать роман-эпопею великого русского писателя. «Нам хотелось выдвинуть на первый план самоотверженность русского народа в борьбе с иноземными захватчиками»,— сказал актер Кэй Ямамото.

Чехов, Горький, Толстой — любимые писатели японцев. Пьесы Чехова идут во многих театрах Японии. Постановку почти всех чеховских пьес осуществил театр «Мингэй», во главе которого стоит знаменитый актер и режиссер Дзюкити Уно.

«Недавно мы ставили «Вишневый сад»,— рассказывает он.— Тогда я специально приезжал в Москву, чтобы уточнить некоторые эпизоды пьесы. Когда мы готовили «Чайку», я тоже приезжал в Москву, к ныне покойному Борису Ливанову, чтобы посмотреть его постановку.

В плане театра,— продолжает Дзюкити Уно,— постановка «Екатерины Измайловой», разумеется, не в оперном, а в драматическом исполнении. Но в спектакле все равно будет звучать музыка Шостаковича. И еще... Не знаю, осуществится ли наш замысел, но мне хотелось бы поставить новую пьесу А. Арбузова «Старомодная комедия». С Арбузовым у нас давнишняя дружба. Мы ставили его «Иркутскую историю» и «Мой бедный Марат».

◆

Авторы этого номера

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ (род. в 1947 г.).

Болгарский писатель-новеллист. Окончил филологический факультет Софийского университета; работает редактором и является членом редколлегии журнала «Современник». Выпустил несколько книг рассказов: «Если этому время» («Ако това е време», 1969), «Беспокойные чувства» («Неспокойни чувства», 1970), «Так красиво, мучительно, бесконечно...» («Така хубаво, мъчително, безкрайно...», 1972), «Большой таинственный сад» («Голямата странна градина», 1973), «Дунайские новеллы» («Дунавски новели», 1974). Последняя его работа — роман «День нетерпения» («Денят на нетърпението», София, «Български писател», 1975) отмечен премией Союза болгарских писателей. Мы предлагаем его вниманию читателя в журнальном варианте, подготовленном автором совместно с переводчиком.

ЛЕРЕР-БАША ЛИДИЯ ИВАНОВНА

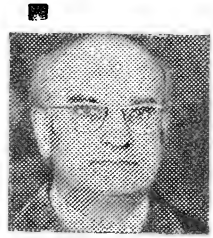
Советский переводчик со славянских языков (болгарского, чешского, словацкого). В ее переводах читатель познакомился с произведениями Э. Станева, К. Калчева, Д. Талева, К. Странджева, А. Плавки, Н. Буковчана и др.

ПАВЕЛ КОЙШ — PAVEL KOYŠ (род. в 1932 г.).

Словацкий поэт. (О нем см. вступление О. Малевича к подборке стихов).

Перу П. Койша принадлежат сборники стихов «Звезды на земле» («Hviezdy na zemi», 1959), «Жду тебя любовь» («Čakam t'a, láska», 1963), «Сердце» («Srdce», 1965), «Размораживание солнца» («Rozmrazovanie slnka», 1966), «Жестокая верность» («Ukrutná vernost» 1968), «Сколько шагов до улыбки» («Kol'ko krokov je k úsmevu», 1970), «Признание в любви» («Vyznanie lásky», 1975). Русские переводы стихотворений П. Койша публиковались в антологии «Поэзия ЧССР» (1975) и в периодических изданиях. Его поэму «Вечное лето» (1973) братиславское издательство «Смена» выпустило с русским переводом.

В предлагаемую читателю подборку вошли стихи из книги «Для чего человеку дом» («Načo je človeku dom», Bratislava, Slovensky spisovatel, 1974).



МАЛЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский переводчик и литературовед, занимающийся литературой Чехословакии, кандидат филологических наук. Автор книг «Карел Чапек» (1968) «Владислав Ванчура» (1973); переводил прозу К. Чапека, К. Полачека, Д. Хробака и поэзию В. Завады, М. Флориана, М. Руфуса.

КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
(род. в 1897 г.).

Советский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Автор многих книг, хорошо знакомых советским читателям: повестей «Белеет парус одинокий» (1936), «Я — сын трудового народа» (1937), «Сын полка» (1945), «Катакомбы» (1951), а также вышедших в последние годы повестей «Святой колодец» (1967), «Трава забвенья» (1967) «Кубик» (1969), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), «Кладбище в Скулянах» (1975) и других. Его пьеса «Квадратура круга», вышедшая в 1928 г., по сей день — в репертуаре наших и зарубежных театров.

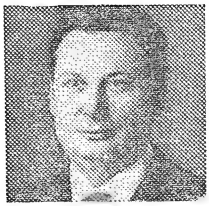
Произведения В. П. Катаева переведены на все европейские языки, другие языки мира, а также языки народов СССР. Он — член-корреспондент Гонкуровской Академии во Франции, член-корреспондент Майнцской Академии наук и литературы в ФРГ.

В рубрике «Литературное наследие» подборкой стихов «Из лирической поэзии Китая» представлены китайские поэты VII—XIII веков: Ван Цзянь (750—835), Вэй Ин-у (736—830?), Лю Юй-си (772—842), Бо Цзюй и (772—846), Вэнь Тин-юнь (812—870), Вэй Чжуан (836—910), Ли Юй (937—978), Лю Юн (1034—?), Су Ши (1036—1101), Хуан Тин-цзянь (1045—1105), Ли Чжи-и (1080—?), Чжу Дунь-чжу (1149—?), Лу Ю (1125—1210), Синь Ци-цзи (1140—1207). (См. вступление к подборке М. Басманова.)

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(род. в 1918 г.).

Советский поэт-переводчик. В его переводах с китайского вышли книги «Синь Ци-цзи. Стихи» (1961) «Ли Цин-чжао. Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974).

Переводы М Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах нашего и других журналов.



ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ
(род. в 1912 г.).

Советский литератор, филолог-востоковед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный академик Флорентийской Академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Автор книг: «Очерки современной китайской литературы» (1953), «Китайские записи» (1955), «Китайская литература. Очерки по истории китайской литературы» (1956). «Шицзин» и его место в китайской литературе» (1958), «Земля и легенды Китая» (1961), «Краски времени. Черты японского искусства» (1972), «Дипломатические записи» (1972), «Японские записи» (1974). «Проблемы исследования китайской литературы» (1974), «Меткость слова (Афористика как жанр словесного искусства)» (1975) и многих других работ, посвященных истории культуры Китая и Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства.

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА

Советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор ряда статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР— FRIEDRICH HITZER
(род. в 1935 г.). ,

Западногерманский писатель, критик, журналист, главный редактор журнала «Кюрбискерн». Автор рассказов, эссе, публицистических статей. Ему принадлежат также работы: «Советское кино 30-х годов» («Sow-

jetischer Film der 30er Jahre», совместно с У. Грегором), «Альтернативы оппозиции» («Alternativen der Opposition», совместно с Р. Опицем), издание, перевод и комментарий писем Ф. М. Достоевского и др.

Статья «Надежда и предостережение» получена редакцией в рукописи.

ГИЛЕНСОН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг: «Он видел рождение нового мира» (1962), «Октябрь в литературе США» (1968), «Америка Синклера Льюиса» (1972), «Американская литература 30-х гг. XX века» (1974), «Социалистическая традиция в литературе США» (1975) и многочисленных работ, в основном по проблемам американской литературы XX века. Статьи Б. Гиленсона неоднократно печатались в «Иностранной литературе».

РАУЛЬ ВАЛЬДЕС ВИВО — RAÚL VALDÉS VIVÓ (род. в 1929 г.).

Кубинский журналист, видный политический и общественный деятель, член ЦК Коммунистической партии Кубы. Печататься начал в 1946 г., сотрудничая в подпольном журнале «Мелья», органе молодежной организации Народно-социалистической партии. Позднее руководил этим изданием. После победы революции на Кубе — заместитель редактора газеты «Нотисиас де ой». Затем несколько лет был на дипломатической службе, в частности первым послом Республики Куба в освобожденных районах Южного Вьетнама. Автор книг «Посольство в джунглях» («Embajada en la selva»), «Ослепленные негры» («Los negros ciegos», 1971), «Бригада и калека» («La brigada y el mutilado», 1974) и др.

В феврале—марте 1976 г. побывал в Народной Республике Анголе, где начал работать над книгой «Ангола: крах мифа о наемниках» («Angola: fin del mito de los mercenarios», La Habana, 1976), фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателя.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI (1905—1953).

Известный польский поэт. Литературную деятельность начал в 1923 г. С 1939 г. по 1945 г. находился в немецком лагере для военнопленных. В 1946 г. вернулся в Польшу.

К. И. Галчинский писал сатирические и лирические стихи, поэмы, поэтические фельетоны, создал оригинальный поэтический стиль, в котором сочетаются элементы лирики, юмора, иронии, гротеска.

Произведения К. И. Галчинского неоднократно издавались на русском языке: сборники стихов «Варшавские голуби» (1962), «Стихи» (1967), поэма «Ниобея» («Иностранная литература» № 7, 1971), публиковались на страницах журналов и газет.

Предлагаемые стихи взяты из сборника «Сатира, гротеск, шутка» («Satyra. Groteska, Żart liryszny». Warszawa, Czytelnik, 1955).

РИЧАРД ПАРКЕР — RICHARD PARKER (род. в 1915 г.).

Английский писатель. Работал библиотекарем, педагогом, журналистом. Литературную деятельность начинал как писатель-фантаст, но успех ему принесли повести о детях. Из вышедших в последние годы наиболее известны: «Мальчик, который не был одинок» («The Boy Who was not Lonely», 1964), «Старая пороховая линия» («The Old Powder Line», 1971), «Он — твой брат» («He is Your Brother», 1974) и др.

Рассказ «Как мальчика превратили в тачку» взят из сборника «Музей чудовищ» («Monster Museum». Glasgow, Collins, 1973). Впервые книга была издана в 1965 г. (New York, Random House.)

ВИЛЛИ БРАЙНХОЛЬСТ — WILLY BREINHOLST (род. в 1918 г.).

Датский писатель, автор многих сборников популярных юмористических рассказов.

Публикуемые рассказы взяты из сборников: «Счастливая супружеская жизнь» («Aegstemandens søde liv», 1963), «Супруг, проснись» («Aegtemand — vågn op», 1963).

ТУДОР МУШАТЕСКУ — TUDOR MUŞATESCU (род. в 1903 г.).

Румынский драматург. Из его пьес наиболее известны комедии 30-х годов, в том числе «Титаник-вальс» (1936; рус. пер.— 1957). Эта пьеса — сатира на политическую жизнь королевской Румынии и мещанские нравы — с успехом шла в СССР.

Публикуемые «Фразы» Тудора Мушатеску взяты из еженедельника «Контемпоранул» (1966—1967).

ЛЕОНГАРД КОШУТ — LEONHARD KOSSUTH (род. в 1923 г.).

Немецкий литературный критик, переводчик (ГДР); специалист по русской и советской литературе. Переводил произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Чехова, Горького, Маяковского и др.

Статья «Отстаивая звание человека» перепечатывается из газеты «Берлинер цайтунг».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41 Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6/I 1977 г. А 10367. Подписано в печать 15/II 1977 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,06.

Тираж 595.000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 117.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

ДОГЮ ОКУМУРА (Япония). Женщина на утреннем базаре

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394